

ISSN 0130-7673

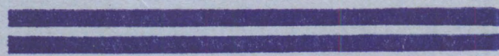
НОВОБЫИ
МИИР

7

НОВОБЫИ МИИР

1980

7



1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОЭЗИЯ — Яков Хелемский, Марк Лисянский, Олег Шестинский, Натан Злотянков, Татьяна Андропова, Николай Арсеньев, Марина Тарасова	3
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Стрельба по безоружным. Из воспоминаний сорокалетней давности	14
ВЛАДИМИР ПОПОВ — Тихая заводь, роман. Окончание	25
УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Авессалом, Авессалом! Роман. Перевела с английского М. Беккер	144
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ГЕННАДИЙ ГЕРОДНИК — Размышления над останками «Пантеры»	186
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
МЭЛОР СТУРУА — Цвета времени в Батон-Руже	196
ОТКЛΙΚИ И КОММЕНТАРИИ	
Ю. КАГРАМАНОВ — «Новые идеологи старых правых»	219
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ — О войне и о мире... Статья вторая	223
ПАВЕЛ ТОПЕР — Будущее добывается в борьбе. Новое издание книги Виталия Озерова «Тревоги мира и сердце писателя»	238
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	245
Евг. Евтушенко. Причастность. — Сергей Баруздин. Живая история. — Д. Затонский. Когда молодость зрела. — Н. Крымова. Вместо легенды.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	257
Иг. Бубнов. Дух неуспокоенности человеческой.— Вл. Кузнецов. Свидетельства очевидца.— И. Бестужев-Лада. Семья — извечная ценность.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Андрей Василевский.— Александр Вампилов. Белые города. Рассказы, публицистика. Александр Вампилов. Билет на Усть-Илим. Публицистика. ♦ Виктор Федотов.— Владимир Туркин. Полюс доверия. Стихотворения и поэмы. ♦ Марк Соболь.— Михаил Шлаин. Вечные темы. Стихи. ♦ С. Овчинникова.— Станислав Токарев. Наташа и другие. Документально-лирические поэмы о спорте	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ПОЭЗИЯ



ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

Новые стихи

..*

Он — альпинист и умирал в постели...

Н. Тихонов.

Так сказал он о друге когда-то,
Так он мог бы сказать о себе...
Обозначилась крайняя дата
На оборванной горной тропе.
Он любил по отвесам и кручам
В одиночку и в связке идти,
Цену знал ледорубу и крючьям,
Был у смелых и добрых в чести.
Все постиг — и гусарскую саблю
И палатку средь финской зимы,
Спал на крыше заоблачной сакли,
В дымной юрте на ворсе кошмы.
Все постиг — и открытое небо
И подземный спасительный кров,
И осмущку блокадного хлеба
И размах кахетинских пиров.
Видел грани безжалостной Ужбы,
Гималайские выси в снегу.
Был бессрочно на службе у дружбы,
Перед ней не остался в долгу.
Не желавший ни льгот, ни отсрочек,
Даже в позднюю пору крылат,
Переводчик и первопроходчик,
Жил он в ритме начальных баллад.
Был он в грозном и праздничном деле,
На скрещенье тревог и дорог.
От недуга в домашней постели
Умереть он, казалось, не мог.
Так уж вышло, что с первого шага
До последней минуты — всегда
В нем бродила поэзии брага
И теснилась желаний орда.
Он и впрямь не сдавался на милость
Стуже возраста, хворьям земным.
Может, льдина под ним подломилась
Иль обвалы сомкнулись над ним?

Восходитель, достигший вершины,
 На карнизе оставил он след
 И ушел, как уходят мужчины,
 Погребенный лавиною лет.

* * *

Солнце начинает накаляться,
 Полдень вызревает постепенно.
 Рядом с улицею Николадзе
 Есть в Тбилиси улица Родена.
 Старые терраски и балконы,
 Новые вместительные зданья.
 Постигает мир многооконный
 Родственных названий сочетанье.
 Имена ваятелей на стенах,
 Отзвуки воспоминаний давних.
 Николадзе — ученик Родена.
 Гостем будь, почтеннейший наставник!
 Благодарной верности примета —
 Уличные скромные таблички.
 Сколько вкуса, доброты и света
 В непрестанной этой переключке.
 Вечное грузинское радушье,
 Щедрое и мудрое наследство.
 Скоростное время не разрушит
 Двух имен достойное соседство.
 Двух кварталов близкие названья
 Вписаны в пространство городское,
 Праздничные, словно изваянья,
 Созданные памятью людскою.
 Здесь, у друга своего бывая,
 С ним блуждая по булыжным спускам,
 Новые широты открываю
 В переулке первозданно узком.
 Старых крон струящаяся крыша
 Осеняет эти тротуары.
 Схожие с платанами Парижа,
 Шепчутся тбилисские чинары.

* * *

...А мне внезапно вспомнилось опять
 Протяжное: «Чини-и-ть, лудить, паять!»
 Точильщик озирает этажи,
 Взывая: «Точим ножницы, ножи!»
 Тряпичник долго ноет за окном:
 «Старье берем! Бе-е-рем! Старье берем...»
 Стук молотка, пружинок звонкий пляс —
 Обойщик чинит старенький матрас.
 Стекольщик ходит по двору, причем
 Он ловит зайчик солнечный плечом.
 Шарманка плачет. Но точильный круг
 Ее печали заглушает вдруг.
 Он мечет искры, он свое берет,
 Необратимых лет круговорот.
 ...Столичный двор брандспойтами промыт.
 Футбольный матч в транзисторе гремит.
 Я на балкон устало выхожу.
 Фырчит «Москвич», причалив к гаражу.
 Мастак-механик подхалтурить рад,

Уже достал паяльник и домкрат.
 На промысел идет соседский внук,
 Он за плечи закинул книжный тюк —
 Несет макулатурные тома
 В обмен на сочинения Дюма.
 И вновь, хоть годы поросли быльем,
 Послышалось: «Бе-е-рем! Старье берем...»
 Из-за угла почудилось опять
 Протяжное: «Чини-ить, лудить, паять!»
 Ушедшее уже не починить,
 А все ж крепка связующая нить.
 Забытый клич бродячих мастеров
 Звучит как детства отдаленный зов.

МАРК ЛИСЯНСКИЙ

Из испанской тетради

Я здесь впервые

Иду Мадридом, улицею Прадо
 Среди деревьев будто бы в саду.
 И нынешний сентябрь шагает рядом
 С тем сентябрем, в тридцать шестом году.
 Ложатся фиолетовые тени
 На мрамор, на траву и на гранит.
 Мое уже седое поколение
 Испанию как молодость хранит.
 Мы на судьбу, пожалуй, не в обиде,
 Нам все судьбою выдано с лихвой,
 Но как тогда мечтали быть в Мадриде
 Мальчишки, окрыленные Москвой.
 На самой главной площади испанской
 Неустрашимый рыцарь Дон Кихот
 И верный Санчо Панса — сын крестьянский,
 Еще не завершившие поход.
 Грохочет гром орудий в небе синем,
 Ко мне взрывная катится волна...
 А вот и холм с казармой на вершине,
 Где началась гражданская война.
 Здесь ждет меня великое искусство,
 А я стою, мне дальше хода нет.
 Я здесь впервые, и такое чувство,
 Что опоздал сюда на сорок лет.

Клубничная

Нарядная испанская столица,
 Беспечная на посторонний взгляд,
 Танцует, и поет, и веселится
 На улицах, где столики стоят.
 Вот улица Клубничная в Мадриде,
 Под надписью рисунок на стене,
 На нем клубника в натуральном виде,
 Вращенная в испанской стороне.
 Мне догадаться самому едва ли,
 При помощи прохожих понял я:

Клубнику на стене нарисовали
 Для тех, кто вырастал без букваря.
 Быть может, удивляться не пристало,
 Чужая жизнь не сразу нам видна.
 — У нас таких в Испании немало! —
 Мне пояснила женщина одна.
 Потом я шел по улице Почтовой,
 Прямой и звонкой, будто по струне,
 И почему-то удивлялся снова,
 Когда письмо увидел на стене.

От Севильи до Гренады

От Севильи до Гренады —
 Красно-бурые поля,
 От Севильи до Гренады —
 Андалузская земля.
 «От Севильи до Гренады», —
 Я в автобусе пою,
 От Севильи до Гренады
 Слышат песенку мою.
 Слышат пальмы и агавы,
 Горы, рощи, целина...
 Слева пинии, а справа
 Бьет пшеничная волна.
 Раздвигаются, белея
 Из тенистой полумглы,
 Эвкалиптовой аллеи
 Обнаженные стволы.
 Песне нет конца и края,
 Я гляжу во все глаза:
 С сизым осликом гуляет
 Белокурая коза.
 Впереди, в дали туманной,
 Под распластанным орлом,
 На горе обетованной
 Машет мельница крылом.
 «От Севильи до Гренады», —
 Я в автобусе пою,
 От Севильи до Гренады
 Думу думаю свою.
 Это песенка что надо,
 В ней знакомые слова,
 В ней Севилья и Гренада,
 Николаев и Москва.
 Вот он, город корабельный, —
 На земле как на волне,
 Здесь под шепот колыбельный
 Засыпал я в тишине.
 Вот я вижу на рассвете
 Златоглавую Москву,
 Где мне жить до самой смерти,
 Где сегодня я живу.
 От Севильи до Гренады
 Кипарисы держат ряд.
 И за нами долгим взглядом
 Вслед подсолнухи глядят.
 Монастырь вдали маячит,
 Замок вырос в стороне,

Вдоль электропередачи
 Мчится рыцарь на коне.
 Плащ, и шпага, и гитара,
 И транзистор — все при нем.
 Новь соседствует со старым,
 Новый день с вчерашним днем.
 Раздается серенада,
 Городок ночной не спит,
 И светловская «Гренада»
 Над Испанией звучит.
 Слышу в башне мавританской
 Звук таинственных речей,
 Слышу во поле крестьянском
 Стук воинственных мечей.
 Ветерок листву полощет
 Над бугром и за бугром,
 И оливковые рощи
 Отливают серебром.
 Как разверстый зев граната,
 Предо мной в конце пути
 На холмах на трех Гренада
 Вырастает впереди.
 Нет желаннее награды
 В Магометовом раю...
 «От Севильи до Гренады», —
 Я пою, пою, пою!

ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ

Из новой книги

..*

Какие обидные сроки
 отмерены нашей любви!..
 На желтой крестьянской дороге
 стоим сами мы не свои.

На что нам с тобой опереться?
 На что нам с тобой загадать?
 Давай улыбнемся, а сердцу,
 как водится, нужно страдать.

Взгляни на цветы иван-чая,
 на луг, что от ливня намок,
 смятенно от них ожидая:
 подсказка ли будет, намек?..

Но поле молчит простодушно...
 А я, возвратившись домой,
 заплачу в саду, потому что
 все яблоки пахнут тобой.

..*

Сергею Воронину.

Нету разницы в возрасте
 меж тобою и мной,
 ибо жили без корысти,
 жизнью жили земной.

Обсуждали события —
и судьбу и страну,
в час нелегкий подпития
пели песню одну.

И в малиновом вереске,
в перелеске грибном
удивлялись мы прелести
той земли, где живем.

Не томились мы скукою
иль докукой какой,
с самой малой пичугою
были ровно с сестрой.

А когда нас обидами
донимали порой,
шли с сердцами открытыми
мы друг к другу домой.

Ничего не расколото,
чтоб грустить или скорбеть...
Ах, как жили мы молодо!
Ах, как хочется петь!

На берегу Ирландского моря

Милая мать, на земле чужой
тебя вспоминаю...
Нынче прилив намечался большой.
Жду. Ожидаю.

Вижу прибрежную тину и грязь,
мертвую птицу...
Хоть бы скорее вода разлилась,
чтобы им скрыться,
чтобы сияла чистая гладь
моря без края,
чтобы нам очи смогла озарять,
нас возвышая...

Нежностью материнской своей,
вечной любовью
в пору печали и мелких страстей
душу сыновью

мать наполняла, чтобы сокрыть
зависть и лживость,
мать наполняла, чтобы сокрыть
ревность и лстивость...

Часто я думал, кто же под стать
в счастье и горе
матери...
Нынче могу я сказать —
море лишь, море!

Милая мать, на земле чужой
тебя вспоминаю...
Нынче прилив намечался большой.
Жду. Ожидаю.

НАТАН ЗЛОТНИКОВ

*Снайпер Людмила Павлюченко
в пионерском лагере*

Дочь не знает о Людмиле
Павлюченко ни словца.
Ну а мы ее любили
Как бесстрашного бойца.

И встречал ее весь лагерь,
Много знавший о войне.
Над ее пилоткой флаги
Пролетали в тишине.

В гимнастёрке с орденами
По линейке не спеша
Проходила перед нами,
Робкой славой хороша.

Принимала честь по чести
Полевых цветов букет,
Ангел справедливой мести,
Девушка во цвете лет.

Было ясно и легко нам,
Строй был прочен, как металл.
А над полевым погоном
Локон темный трепетал.

Темный локон, темный локон
Перед нами, предо мной...
Неужели так далек он,
Что подернут сединой?

Минул год сорок четвертый
Неужели навсегда?
Неужели кто-то мертвый
Из друзей, живых тогда?

Но что в памяти я запер,
Слитно — не разлить водой
Молодое слово «снайпер»,
Темный локон молодой.

Русский часовщик

Памяти В. К. Лутцау.

Я вспомнил и слезу утер.
А в Брюсовском печальный хор
Отраду предрекал.
Был образован и умен,
Кто слово на краю времен
Спокойно произнес.

Ни заповедное число,
Ни дорогое ремесло

Не осветят лица —
 А слово, что живет, живет,
 Низин касаясь и высот,
 Начала и конца.

Кто сможет подковать блоху
 И вторить музыкой стиху,
 Чтоб сделать лишний шаг
 Навстречу жизни? Близясь к ней,
 Остаться без живых корней —
 Кто сможет? Кто? И как?

Никто... Он жил шутя, всерьез
 И долго видел свет берез
 Неслыханной красоты,
 Он к небу поднимал бокал
 И, ходики чиня, вникал
 В державные часы.

* * *

Просторны над Сходней леса,
 В сухих небесах ни дымочка,
 И верит пока в чудеса,
 Гуляя над Сходнею, дочка.

И я на закате хочу
 Скорей на рассвете проснуться,
 К летящему низко лучу,
 Как к медной струне, прикоснуться.

Пускай он беззвучен почти,
 Но слышу рассветное пенье.
 Оглохну — и мне не найти
 В реке своего отраженья.

ТАТЬЯНА АНДРОНОВА

Время счастья

Время счастья встанет вдруг виденьем,
 как живое, и глядит в лицо,
 и небес безоблачных кольцо
 надо мной поднимет в умиление,

и, простором душу обласкав,
 разольет, раскинет дали трав,
 чтоб лететь дорогою незримой
 до российских и земных краев,
 где так долго был мой юный кров.
 И я вспомню облик твой любимый.

И на сердце радостью беспечной
 мир надежд пролетит лукавый свет,
 как заря, легко и быстротечно:
 ни следа, ни объяснения нет,
 прогорит лишь, полыхнет огнем,
 но ушедшим или новым днем?

Все равно я в солнечном просторе
всех лугов и сосен впереди.
К теплым дюнам северного моря
ты меня увидеть приходи.

Но не помни лишь, о чем сказала
в твой тяжелый час однажды там.
От колонн прибрежного вокзала
по балтийским рубчатым пескам

прибегу, спеша, в который раз.
И уже сквозь слезы различая
взгляд суровых напряженных глаз —
молодой, как прежде, обернусь!
Я в твоих краях великих, Русь,
время счастья жду и возвращаю.

* * *

Свою тревогу зло гоню из дома,
когда крутом рассветное тепло,
но каждый вечер слышу вздох знакомый —
она глядит сквозь темное стекло,

откроет дверь, чуть скрипнет половица
под осторожной, легкой ногой,
и вот чужие (праведные) лица,
родные лица (грешные) со мной

в кругу беседы ждут и ждут признанья,
глаза горят, в них жалоба и страх:
не в силах праведным понять мой мечтанья,
а грешным научить меня, в слезах.

Но все исправлю, слабая душою,
и добрый сон придумаю для них.
«Ну что ж, тревога, говори со мною,
суди одна, без грешных и святых».

И, хмуря брови, она скажет мудро:
«Не обвинять, но слушать лишь люблю».
И я, поверив вдруг, ее ненастным утром
как неизбежность в сердце поселю.

* * *

Ликую, молодости губы
целуют землю по весне
(зеленых трав густые шубы)
и для меня, как в легком сне,
пророчат счастье безмятежно
и ловят капли родника,
и руки прижимают нежно
ромашки белые к щекам.
Волос рассыпанные волны
покрыты желтою пылью,
и дым любви, как ветер горный,
как шлейф, кочует вслед за мной;
глаза глядят, глядят на грозы
полны беспечности еще,
и все дожди — девичьи слезы —

лишь холодят мое плечо;
и смутны дальние надежды,
предел неясен и не скор,
и жизни лучшие одежды
зовут к себе, потупя взор,
святым обманом заменяя
простую сущность бытия.
Ведет вперед тропа земная
всех за собой. Иду и я.

НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВ

Прогулка в Эрмитаж

Мне нравятся фламандские панно,
Там устрицы, омары и вино
Разбросаны пестро, с беспечностью небрежной,
Блеск скатерти морозно-белоснежной...
Как много значат свет и переходы тона.
С младенцем на руках задумалась мадонна.
За аркою крутой пустые небеса.
Спокойна и проста холодная краса.
Вступает с ней в контраст безумный пир природы:
Женоподобный Вахх, дородные амуры.
Тела переплелись в неутолимой страсти,
И замершую лань рвут гончие на части...
Но душу берedit мне лишь одна картина,
Где старец сторбленный встречает пилигрима,
Тот на колени пал, главой поникнул вдруг.
И непроглядный мрак окутал все вокруг...

Нескучный сад

1

В аллеях безлюдьем и прелостью веет,
И жалко себя, как душой ни криви,
И день этот тихий печалит и греет,
Как солнце твоей уходящей любви.
О, жизнь коротать — это тоже наука.
Душе уж пора бы привыкнуть к труду.
Вдруг сердце зашлошь от внезапного звука —
То лебедь вскричал на заглохшем пруду.
Над садом кружат отдаленные птицы,
И как поминанье о прошлой весне
Там купол Галицинской старой больницы
Один зеленеет в сплошной желтизне.

Здоровье пошло на поправку.
На заросли спелых репьев,
Во двор, на больничную травку
Слетает чета воробьев.
Здесь день начинается в восемь,
А в десять в больнице отбой.
Спокойная ранняя осень
Сравнима с такою судьбой.
Сентябрьские запахи остры,
Грядущая жизнь далека.
И в небе как белые сестры
Идут и идут облака.

2

Тускло теплится память бывшего.
Почему же опять день за днем
Опаляешься снова и снова
Этим призрачным, тщетным огнем?
Сад оснеженный, лед неокрепший...
Все как той невозвратной зимой...
Умиляешься каждой воскресшей
И пронзающей душу чертой.
И опять ощущаешь как чудо
Уходящую в прошлое нить...
Может, лучше уехать отсюда,
Все прошедшее враз позабыть.
И в иной, в незнакомой столице,
Где чужие мосты и дома,
Может быть, уже только приснится
Этот город и эта зима.

МАРИНА ТАРАСОВА

* * *

Береза пела статью лебединой,
ей подпевали рослые стволы,
а лес мерцал большой щербатой льдиной
в немом заливе предрассветной мглы.
Казались белоснежные соцветья
посланцами эпох совсем иных,
и воздух двадцать первого столетья
легко коснулся влажных губ моих.
И Млечный Путь, как просека лесная,
повлек меня под звездную метель,
он звал меня, на ветки осыпая
из поднебесья звонкую кудель.
Спешили вдаль тропа и имярек.
Она и я в один и тот же век.

* * *

Приворожил меня рассветный луч
своей лукавой флейтой птицелова.
Был первородный дар его могуч,
а я из слова высекала слово.
Какой гипноз, что впереди простор
благих, нераспечатанных мгновений!
Непрочен с певчим счастьем уговор
и строги мастеров великих тени.
Поэт как бог. Его удел таков:
насытит всех людей семью хлебами,
семью хлебами огненных стихов,
что рождены бессонными ночами.
А луч горел, и, жаром обдуваем,
лес набухал тяжелым караваем.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

СТРЕЛЬБА ПО БЕЗОРУЖНЫМ

Из воспоминаний сорокалетней давности

Когда черт старится, он идет в монахи.
Пословица.

1

Женщина с двумя детьми вышла на утреннюю прогулку. Солнце только поднялось. Воздух был свежим и вкусным. Снисходительно смотрела она на своих малышей. Мальчик и девочка, они весело возились, шумя и взвизгивая. У женщины было прекрасное настроение. В нескольких шагах ее ждал обжитый и прочный дом, дети росли не по дням, а по часам, сама она чувствовала себя здоровой и сильной.

Внезапно прогремел выстрел. Тут же она ощутила обжигающий толчок в левую руку. Сразу за первым выстрелом второй, третий... Женщина едва смогла крикнуть детям: «Бегите!»

Девочка кинулась в кусты, мальчик бросился к дому. Здесь он привык чувствовать себя в безопасности. Но вскоре за дверью послышались голоса бандитов. Они о чем-то спорили между собой. Наконец один переступил порог и через переднюю проник в комнату. В левой руке у него была шапка, в правой нож. Забившись в угол, мальчик с ужасом следил за уголовником. Он был храбрым подростком и, не выдержав, метнулся навстречу преступнику, царапаясь и кусаясь. Отбиться ему не удалось. Сильная рука схватила его за шиворот, рот заткнула мохнатая вонючая шапка. В яростной тоске он вспомнил старшего брата, тот сумел бы его защитить, когда бы не ушел из дому.

У крыльца мальчуган вывернулся, выплюнул шапку и побежал прямо по слежавшемуся насту, почти не оставляя следов, он был легким мальчишкой. «Не уйдешь», — услышал он хриплый голос. «Убьет», — промелькнуло с голым отчаянием. Это отчаянье заставило его огрызнуться последний раз. «Ах ты так!» — ожесточился тот же голос, и острая сталь с невыносимой болью ударила его под лопатку.

Девочку настиг тот же конец. Потом разбойники разожгли костер и за спиртом принялись хвалиться и хвастаться. Их было трое — двое молодых ребят и старший, годившийся им в отцы. Судя по разговорам, власть принадлежала юнцам, взрослому это дело было в новинку.

2

Рыжий, плюнув на палец, поднял его над головой и удовлетворенно хмыкнул:

— Ветер на нас!..

Чубатый поглядел туда, где на краю поляны паслась медведица с двумя медвежатами. Темный ее профиль четко рисовался на бледно-зеленом небе. «Красота-то какая...» — успел подумать парень.

Порядок стрельбы установили заранее.

У Рыжего был пятизарядный винчестер, к тому же он считался опытным стрелком. Ему определили стрелять последним, на завершение и страховку. Чубатый шел с одноствольной «ижевкой» шестнадцатого калибра. Ее хвалили за меткость. Она была впрямь без отказа. Он открывал стрельбу, целясь под левую лопатку. Взрослому с его «зауером» центрального боя наказали метить в ляжку, чтобы обезножить добычу на случай, если Чубатый промахнется. «Ижевка» и «зауер» были заряжены жаканами.

Взрослый не выдержал и ударил первым. К тому же не в заднюю лапу, а в переднюю. Чубатый выругался и нажал спусковой крючок, за ним рывкнул винчестер Рыжего. При первом выстреле медведица нагнула голову и куснула ужалившего ее овода. При следующем заревела и попыталась подняться. После винчестера повалилась на бок. Перезаряжать не пришлось. Все кончили быстро.

С ружьями наперевес охотники вскарабкались вверх по обрыву. На краю поляны лежала на боку крупная медведица. Кровь еще не загустела, но глаза успели застекленеть.

Оба парня не сговариваясь наступили на нее и прокричали условленный охотничий клич «йю-го-го». Такова была придуманная ими традиция.

— Теперь к берлоге, — скомандовал Рыжий. — Она где-то рядом.

Шагах в десяти от убитой медведицы нашли вход в берлогу. Это была большая нора под вывороченным корневищем. Зоркий взгляд Рыжего уследил, что туда нырнул медвежонок. Взрослый начал мастерить петлю.

— Не надо, — сказал Чубатый. — Я его так достану.

— Там пестун может быть, — заметил Рыжий. — Тогда тебе не поздоровится. Не дезь...

Пестуном называли медвежонок от прошлого приплода, медведя на выросте.

— А нож на что? — усмехнулся Чубатый. — Полезу.

В левую руку он взял шапку, в правую — финку. В эту минуту ему, как говорится, море было по колено. «Словно сто грамм без закуски выпил», — подумал он про себя. Но азарт в отличие от вина не туманил, а обострял зрение, наливал мускулы жестокой силой, придавал мышцам ловкость и крепость. Все в нем подобралось и напряглось.

Чубатый нагнулся и полез в берлогу. Наклонный лаз был узок, и парень в считанные секунды успел удивиться, как сюда пробиралась медведица. Берлога оказалась просторной, сухой, сумрачной. Свет проникал, видимо, сверху, по следам вывороченных корней.

Пестуна в берлоге не было. Медвежонок забился в угол. Он ощерился и заворчал навстречу чужаку. Чубатый переложил нож в зубы, ткнул шапку медвежонку в пасть, а освободившейся рукой схватил его за шиворот. Тот заголосил, стал упираться и вывертываться. Парень стал толкать его в лаз. Протолкнуть его стоило труда.

Оказавшись снаружи, медвежонок опретью побежал прочь по слежавшемуся насту. В тайге снег держался до начала июня. Правда, только там, где было тенисто и укромно. Парень бросился за ним, финка снова была у него в руке. Нагнав, зажал его коленями, медвежонок был с хорошей собаку. Обернувшись, попытался укусить обидчика. «Ах ты так», — ожесточился Чубатый и ударил его ножом под левую лопатку.

Потом парень возвратился к берлоге, где Рыжий связывал другого медвежонка, пойманного в кустах.

— Притащим в поселок, — пообещался он.

Но вскоре, когда охотники разбрелись, медвежонок перегрыз ремни и залез на лиственницу.

— Вот стервец, — огорчился Рыжий. — Ну что с ним поделать, не лезть же на дерево.

— Давай я ударю... — предложил Взрослый.

Приложился и одним выстрелом снял с лиственницы Медвежонок мягко шмякнулся оземь.

Нужно было подумать о том, как дотащить добычу до поселка. В медведице было пудов пятнадцать. Прежде всего надо ее выпотрошить. Стащили с поляны на снежный склон. Рыжий вспорол ей брюхо. Чубатый стал наматывать кишки на руку. «Словно аркан», — усмехнулся он. Лилово-красные, они кольцами собирались у него под локтем. С медвежатами дело пошло быстрее.

Выпотрошив, они зарыли добычу в снег. Наступила пора отдохнуть. Взрослый, пока ребята занимались медведицей, разжег костер. Все трое собрались у огня, вскрыли консервы, вскипятили чай. Воду достали из снегового ручья в нескольких шагах от привала. Жир в консервных банках шипел и брызгал, хлеб зачерствел, чай пахнул дымом, но все оказалось вкусным. Взрослый предложил отметить это дело, и ребята подставили кружки. Он разлил им из фляжки спирту. Мальчишки закусили снегом и с непривычки быстро захмелели. Начали было пререкаться, но Взрослый, до того державшийся на заднем плане, снова почувствовал силу возраста и прекратил начавшуюся ссору.

— Тише, волчата, — миролюбиво сказал он. — Больше ешьте, а пить вам хватит.

Ребята согласились и на ветках стланика, нарубленного Взрослым, легли отдыхать. Проспали до вечера и, поднявшись, стали собираться в обратный путь.

3

Пора прояснить рассказ. Действие происходит в 1936 году. Рыжий — это Володька Кузнецов-Морев, Чубатый — это я, Взрослый — Александр Никифорович Юдин. Мы с Володькой выпускники нагаево-магаданской средней школы, Юдин — преподаватель литературы и завуч в той же школе. Его, отчасти завистливое, положение объяснялось тем, что на медведя он шел впервые, в то время как Володьке уже приходилось ходить на него однажды, мне тоже. Кроме того, не мы просили взять его с собой на охоту, а он нас, и это, конечно, заранее определило наши отношения. Мы знали, что он будет для нас обузой, но ссориться в разгаре экзаменов со школьным начальством не хотелось. Завуч, наоборот, мог оказаться нам полезен. Юдин и вправду каши не испортил. В пути он едва поспевал за нами, продираясь сквозь бурелом и чащобник, но все же поспевал. Нас злило, что он временами прикладывался к фляжке, это казалось нам профанацией святого дела. Володька даже пробурчал про себя: «Охотиться так охотиться, а не спиртягу глушить», но Юдин сделал вид, что не расслышал. В момент стрельбы он нарушил порядок выстрелов и перепутал заднюю лапу с передней, но охота сошла удачно и нарушений не вспоминали. Даже спирт был реабилитирован за обеденным костром, понадобился, чтобы отметить удачу.

Что мы из себя представляли? Раз уж я начал с Юдина, о нем и продолжу. Александр Никифорович был человеком лет сорока, сухощавым и подвижным. Лицо у него было презаурядное, но прищур глаз, в которых мелькали острые огоньки, заставлял о нем думать как о незаурядном субъекте. Фантазер он был необычайный. Чего только он не нес на своих уроках! Его анализы художественных произведений были порой головокружительны. Вопреки программам того времени отчаянный завуч ниспровергал устоявшиеся авторитеты. «Я обязан вам сегодня рассказать о значительном поэте Демьяне Бедном, — начал он однажды свой урок. — Так вот, никакой он не значительный и никакой он не поэт». И стал подробно доказывать свои обвинения. Вряд ли ему поздоровилось бы за такую болтовню, но как раз в этот

момент поэтическая звезда Демьяна Бедного стремительно покати­лась вниз и московское радио передало о разгроме его литературно-общественных установок. Александр Никифорович невероятно тщесла­вился своей прозорливостью: «А что я говорил!»

Как охотник он зарекомендовал себя, раза два возвратившись с ближних озер увешанный утками. «Хоть стрелять умеет», — заметил Володька Кузнецов-Морев.

Теперь о своем товарище. Он был заметным парнем на местном горизонте. Охотничья звезда его стояла высоко. Во всем, что касалось куропаток, уток, белок, а позже медведей, он считался признанным авторитетом. Соответственно и держался. Ссора у костра, погашенная Юдиным, вызвана была охотничьей ревностью. Это ему, Кузнецову-Мореву, следовало лезть в берлогу, несмотря на явную опрометчивость такого поступка. Володька сразу понял, что именно здесь была пере­йдена грань, отделявшая поступок от приключения. А он от него сам отказался. Будут другие охоты, а вот слова «лазил в берлогу» произне­сет не он, а его приятель, черт бы его побрал.

Володька был отчаянно самолюбив, и стремление к первенству жило в нем едва ли не с пеленок. Не касалось оно только имени; так уж сложилось, что звали его почти всегда Володькой, иногда Кузьмой (по созвучию с фамилией), как другого товарища Недиком, а меня Сергеем.

У нас был очень развит зимний спорт. Володька славился как отлич­ный лыжник и конькобежец. Длинные дистанции на коньках — три тысячи и пять тысяч метров — он брал первым. До сих пор помню его в темном вязаном трико на голубом льду стадиона. Тощий и стре­мительный, он отщелкивал круг за кругом, пока под аплодисменты зрителей не рвал финишную ленту. На лыжах он ходил так, как будто на них родился. Мы все были неплохими лыжниками, мне после это помогло на войне с белофиннами, но Володька шел вне конкурса. Я так и вижу его в гонке на пятьдесят километров, к ее концу он при­ходил так, словно только что начинал дистанцию.

Нормы ворошиловского стрелка первой степени все мы выполни­ли шутя и тут же принялись сдавать вторую степень. Норма была, ка­жется, сорок четыре очка из пятидесяти. Я выбил сорок семь, Володь­ка с Недиком сорок девять, поделив первое и второе места.

Необычной фамилией мой приятель гордился, она досталась ему от отца-революционера. Когда его пытались называть сокращенно, он часто раздражался: «Кузнецовых много, а я Кузнецов-Морев. Так-то».

Рыжим его можно было называть только приближенно, это уж ребята, как всегда, сгущали краски. Не был он огненно-красным. Про­сто в сильную рыжину. Да вдобавок веснушчатый и желтоглазый. Все это вместе отчасти и оправдывало прозвище.

Казалось бы, при таких условиях в Володьке должна была гнез­диться заносчивость и неуживчивость. Иногда это и прорывалось, но, на его счастье, в нем жило сильное чувство юмора. Он быстро подме­чал у людей потешные черты и подсмеивался над ними весело и без­злобно. С ним нельзя было соскучиться. В школьной постановке чехов­ской «Свадьбы» он играл телеграфиста Ятя. Хорошо играл. Вот этот юмор, умение понять и оценить смешное очень красило моего то­варища. У людей напористых и самолюбивых такое качество в редкость.

Остается сказать о себе. В ту пору я был ладным поджарым пар­нем с копной светлых волос, решительным и азартным. От своих дру­зей я мало в чем отставал, а кое в чем и перегонял их. Ну, например, я сочинял стихи. Неважно какие, но сочинял. Это среди ребят це­нилось.

Обычная наша охотничья тройка составлялась из Володьки Куз­нецова-Морева, Недика Подойницына и меня. В этой охоте Недика

заместил Юдин. Вряд ли это чем-нибудь обуславливалось. Скорее всего Недик почему-либо не смог пойти, и его место было отдано Александру Никифоровичу. Три человека — лучший состав. Меньше — рискованно, мало что с кем может случиться, одному другого тащить трудно, двое легко справятся. Больше — будут мешать друг другу. А трое — как раз!

Проще всего уходить было из дома Кузнецову-Мореву. Его родители рано уверились в охотничьей опытности сына. Нам с Недиком приходилось труднее. Происходили неприятные сцены. Крики матери с порога: «Не пуцу! Вернись!» — были делом обычным. Павел Захарыч, отец Недика, был человеком строгим, моя мать тоже женщиной с характером. Однажды они договорились — ни в коем случае нас не пускать. Недика заперли дома, а я сумел вырваться. Младший Подойницын месяц потом не разговаривал с отцом. Еще, к счастью, мы с Володькой вернулись тогда с пустыми руками. Можно, конечно, понять родителей. Не на зайца все-таки шли, на медведя!

4

Охота на медведицу с медвежатами у нас с Кузнецовым-Моревым, как говорилось, была не первой. Ей предшествовали другие. Выходили мы на охоту часто, но не каждый раз возвращались с добычей. Прошляешься дня три по тайге, а зверя не увидишь. Или увидишь, да не встретишь. Мелькнет черная движущаяся точка на далеком каменистом хребте и, мелькнув, скроется из глаз. Ищи-свищи. Приходили домой несолоно хлебавши.

Спустя неделю-другую опять лезли в тайгу. Что нас туда гнало? Попробую разобраться, когда больше накидаю фактов. Для этого нужно вспомнить первую охоту.

О ней мне подробно рассказал в письме Недик Подойницын, о котором я уже упоминал. Я попросил его поделиться воспоминаниями. Мой давний товарищ работает горным инженером в Кузбассе. Память у него оказалась очень точной, многое, забытое мной, он видел так, словно это случилось вчера. Письмо привожу с малыми сокращениями:

«Здравствуй, Сергей!

Вот что сохранилось в моей памяти о медвежьих охотах.

Первая охота. Участники — ты, Володька К-М и я. 1936 год. Место — 56 км. Весна, только что сошел снег и ушла вода. На 56 км. приехали в середине дня. По пойме какой-то речушки к ночи пришли в горы. Ночевали с костром. Этой же ночью вблизи проходил медведь. Слышали, как скатывались камни и глыбы от его походочки. Утром поднялись выше в горы, на гольцы. В расщелинах и каменных россыпях еще снег. Тундряные куропатки тоже еще белые, у них брачная пора. Гоняли их, но ничего не убили.

Часам к 12 дня разместились на ближайшей к пойме вершине одной из сопки и стали завтракать. Пойма в этом месте — обширная котловина с когда-то выгоревшим лесом. Тогда еще сохранился редкий сухойстой. Почва — мох, болотце, травы прошлогодние. Кругом брусника, тоже прошлогодняя и выбродившая на весеннем солнце. Позже, когда я остался с медведем, а вы ушли, я нажрался этой брусники и, как мы тогда считали, захмелел и уснул.

Вот в этой-то пойме мы увидели с сопки на расстоянии примерно одного километра медведя, здорового самца, оказавшегося весом около 20 пудов. Он махал иноходью так быстро, что мы смогли его нагнать только через 1,5 часа.

С того момента я отлично все помню, так как последующие события составляют главное содержание охоты.

Быстро спустившись с горы в пойму и пройдя с полкилометра, мы потеряли медведя из виду. Снова поднялись на другую, меньшую сопку, чтоб оглядеться, и снова увидели его, но уже ближе. Здесь мы уже бежали. Выйдя на старое сухое русло лесного ручья, где было пониже, и прячась в нем, сократили расстояние к медведю до 300 м. Здесь сбросили рюкзаки с котелками, сбросили ботинки, чтобы не гремела галька, и, пригибаясь, начали скрадывать медведя, как договорились, до расстояния 30 м. Медведь быстро уходил, мы, нагоняя, шли за ним следом, сгибаясь и стараясь видеть только его спину. В месте, где когда-то в ручье была заводь, сейчас находилось углубление, и медведь скрылся в него. Что было нашей прыткости мы ринулись к медведю и в 20 м. от него, еще ближе, чем условились, разбежались в стороны метров на 8—10 и разом выстрелили.

Володькина пуля в правом боку, моя в левом, а твоя прошла ему хребет, так как ты оставался в центре. Медведь завалился назад, страшно заревел, оглядываясь и задирая голову, и сразу же рухнул. С расстояния 10 м. я еще выстрелил ему в лоб, чтобы удостовериться, что он не хитрит! В это поверье мы тогда, а в особенности Володька, верили почти что слепо.

Пожалуй, верно ты говоришь, что это похоже на убийство, но тем не менее представился бы мне еще такой случай охоты, я бы не упустил его и сейчас.

Медведя убили. Володька пошел за лошадью, ты ушел за оставленным впопыхах на месте завтрака ножом, а я развел костер, стал лопать бруснику и как-то уснул.

Разбудили меня выстрелы уже вечером, которыми вы меня искали. Володька и ты страшно ругались, потому что не могли меня найти более 2-х часов. Медведя загрузили на волокушу и с грехом пополам добрались на трассу. Лошадь храпела, не хотела идти, кидалась в стороны, пока тушу не закрыли пиджаками, фуфайками и какими-то тряпками. До трассы добрались в середине ночи. Отдали четверть туши горной страже, а остальное погрузили на цистерну бензовоза. Тушу привязали за горловину цистерны, мы с тобой, стоя на боковых площадках, поддерживали медведя до самого Магадана.

Венедикт».

Такова фактическая сторона первой охоты, освещенная моим другом с достаточной полнотой. В Магадане нас встретили примерно так, как Тома Сойера с Геком Финном после находки клада. Ясно, что мы стали героями не только дня, а, пожалуй, и месяца. Наши подвиги живописали в местной газете. Меня подробно расспросил ее сотрудник и написал все как запомнил. Недик отнесся к статье, по-видимости, безразлично, а Володька хоть и тщеславился, но ворчал по поводу мелких несоответствий. Я был, откровенно говоря, польщен первой известностью.

Июньский номер «Советской Колымы» сохранился у меня до сих пор. Приведу текст публикации, чтобы увидеть нас глазами газетчика той давней поры:

Молодые охотники

Этого дня они ждали давно, и вот сразу же после испытаний ученики девятого класса Магаданской школы комсомольцы Наровчатов, Кузнецов-Морев и Подойницын отправились в тайгу охотиться на медведя.

Захватив с собой ружья и немного провизии, 13 июня ребята выехали на 56 километр. Сойдя с машины, юные охотники углубились в тайгу.

...Поздний вечер. Мокрая вата тумана окутала сопку. Пробродив несколько часов, ребята решили остановиться на ночлег.

Холодно. Валежника и воды нет. Кто-то предложил перевалить через крутой перевал и там заночевать. Спустившись с перевала, охотники увидели ущелье. На снегу медвежьи следы. Слышно, как кто-то вблизи ворочает камни. Кругом горелый мокрый стланик. Стало совершенно темно. Ветер дует в спину. С большим трудом Володя Кузнецов разжег костер и приготовил чай.

На другой день поднялись очень рано. Снова туман и пронизывающий холод. Взобравшись на какой-то хребет, стали пережидать туман. Все продрогли и единодушно назвали это место «перевалом неудачной попытки».

Наконец туман рассеялся. Показалось солнце. Но медвежьи следы потеряны. Доев последние запасы пищи, ребята разбrelись, расстроенные неудачей, оставалось спускаться на трассу...

Вдруг послышался радостный голос Подойницына:

— Ребята! Медведь!

Не поверив, Наровчатов и Кузнецов поспежали к Подойницыну. И действительно, по долине в стланике двигалась черная точка.

Ветер дул на медведя. Наровчатов бросает: «Нужно зайти ему в лоб».

Проверив еще раз ружья, охотники бросились вниз, с трудом пробираясь через стланик и густой ивняк. Пробежав километра четыре, вылезли на сопку. Оттуда была уже видна трасса. Невдалеке очень быстро двигался большой бурый медведь, поедая на ходу прошлогоднюю бруснику. В тридцати шагах взвели курки. Однако зверь невозмутимо шел вперед, не обращая на разгоряченных юных следопытов никакого внимания. Приблизившись к нему шагов на пятнадцать, охотники внимательно прицелились и спустили курки.

Медведь, страшно зарывав, свалился на бок. Смертельно раненый, он, однако, пытался встать. Раздалось еще два выстрела, и зверь затих.

Убедившись, что он мертв, ребята издали победный клич.

Володя Кузнецов отправился на трассу за подводой. Вскоре он вернулся, и многопудовую тушу зверя погрузили на подводу.

Храбрые молодые охотники — каждому из них по 16 лет — были счастливы.

Б. Боровский.

Без цветов газетного красноречия здесь не обошлось, но суть дела вплоть до победного клича изложена верно. Не вспомню сейчас причин Володькиного недовольства. Наверное, нарушена была последовательность событий и допущены какие-то неточности.

Несколько слов о Недике. В описываемую пору он был крепко сбитым парнем, ловким и быстрым. Умный и пронизательный, он легко прикидывался ничего не понимающим увальнем. В жизни, думается, это ему помогало.

Все трое — Кузнецов-Морев, Подойницын и я — были хорошими товарищами друг другу, хотя внешне это ни в чем не выражалось. Никаких изъятий дружбы не делалось, мы сочли бы такие слова ненужными и нелепыми. Конечно, нас сближало многое. Прежде всего условия жизни таежного поселка, каким был Магадан в середине 30-х годов. Затем физическое и нравственное сходство. Ребята были сильные, выносливые, подвижные, с хорошими нервами. Никакая рефлексия нам жить не мешала. О каких-либо комплексах мы тоже ничего не слышали.

Нравственный уровень у нас был примерно одинаковый. Храбрость являлась той заданностью, без которой выходить на медведя было нельзя. О ней никогда и не упоминалось. Она как бы подразумевалась сама собой. А ведь ясно, что подбираться к большому зверю на

двадцать шагов, сбросив перед тем башмаки, в одних носках, чтобы не слышно было, надо было обладать определенной выдержкой. Она-то и называется обычно смелостью или храбростью. От храбрости, к сожалению, не всегда отъединима жестокость. Это было то отрицательное качество, которое прививала охота. Убийство медвежат, потрошение медведицы казались нам вполне естественными поступками.

Жестокость норовила переплеснуться за рамки охоты. Недик в опущенном месте письма напомнил, как на другой охоте Володька чуть не пристрелил вора, укравшего с телеги медвежонка. Это была не угроза. Пристрелил бы и глазом не сморгнул. Тот, по счастью, взмолился. Хорошо взмолился. И Володька его отпустил. А то бы пришла беда. Незамолимый грех.

Во всем остальном мы были ребята как ребята.

5

Когда черт старится, он идет в монахи. Не зря я взял эту давнюю пословицу в эпиграф. В ней заложен большой заряд возрастного сарказма. Вправду, трезвенниками становятся сплошь и рядом на склоне лет, обременив себя всеми печеночными, почечными и желудочными заболеваниями. Вегетарианцы легко вербуются среди пожилых язвенников. Курить бросают после пятидесятилетних инфарктов. Беспардонные женолюбы записываются в поборники нравственности, когда обзаведутся брюхом и лысиной, мешающими их похождениям.

Прямая аналогия и здесь. На места юношеских охот меня разве на вертолете теперь вывезешь. Иначе не доберусь. Зрение тоже не то. Очков еще не ношу, но в яблочко уже не попадаю, мишени остаются еле тронутыми.

Однако есть и другие соображения, идущие вопрекор жестокой пословице. Но прежде чем их высказать, попробую привести все доводы в пользу юношеской страсти. Для начала возьму в помощь поэзию.

Сыну, бывало, скажет мать:
— Ну что тебя гонит снова
По целым дням в тайге пропадать,
Бежать из дома родного? —

Для меня же в доме моем порог
Только лишь тем и хорош,
Что гремят за порогом
Десятки дорог
И одной из дома уйдешь.

Туда, где сосны красны, как медь,
Где, свесив над речкой тушу,
Опытный в промысле
Бурый медведь
Лапой глушит горбушу.

Где лебедята над гладью озер
Пробуют крылья впервые,
Где светит и манит
Далекий простор
Сквозь стланика ветви густые.

Ради его золотого огня
Надолго бросал я поселок...
Охотно в подручные
Брал меня,
Со мной подружившись, геолог.

Я думал, что той же дорогой пойду.
Дело его продолжая,
Но участь написана

Мне на роду
Сходная, но другая.

Как недра родные, язык наш щедр,
И заново вспомнишь и снова
Неистовый труд
Разведчика недр
В поисках верного слова.

К тому, о чем идет разговор, ключевые строки: «Для меня же в доме моем порог только лишь тем и хорош, что гремят за порогом десятки дорог и одной из дома уйдешь». Эти треклятые дороги вправду гремели грузовиками, мчавшимися по колымской трассе. Они переходили потом в таежные тропы, вившиеся по редколесью, шагавшие через поваленные стволы, пробиравшиеся сквозь сухой и колючий чащобник. Потом тропы растворялись в таежном сумраке, терялись во влажном болотном мху, исчезали в каменных гольцах. И вот уже одно небо над тобой на вершине сопки. Прозрачное весеннее небо, изредка прорезываемое быстрыми белыми облаками. На сопке резкий прямой ветер. Он несет первые запахи тающего снега, оживающей черной земли, старой гниющей хвои. До чего же хорошо!

Дальше идут строки: «Туда, где сосны красны, как медь, где свесив над речкой тушу, опытный в промысле бурый медведь лапой глушит горбушу». Это картина, известная таежникам. Недик Подойницын еще в одном месте письма так описывает это медвежье занятие, увиденное им вместе с Володькой: «Мы видели этого медведя за ловлей рыбы в речушке. Ловил он ее так, как действительно рассказывают многие очевидцы. С берега кидает лапой назад не оглядываясь, а рыба, трепыхаясь, снова скатывается в воду. Но какая-то часть, наверно сильно помятая, остается».

Вот бы, скажет догадливый читатель, и ограничивались такими наблюдениями. Легко сказать! Фоторужье — выдумка недавняя, да и вряд ли таким сорванцам, как мы, фотографирование могло заменить прицельную стрельбу. Да и не только стрельбу — выслеживание, риск, ощущение победы. В общем, все охотничьи похождения.

Ружьями мы обзавелись, когда нам стукнуло по четырнадцать лет. Помню, вечером отец принес из магазина «ижевку», и я еле дождался утра, чтобы испробовать ее на деле. Набивать патроны я уже умел: знал, какая дробь на какую птицу может понадобиться; так что вышел во всеоружии. Речка, на которой стоял Магадан, в то время еще принимала утиньи выводки, но прямо против поселка утки уже остерегались садиться. Мне было невтерпех, и я вышел на пойму в сотне-другой шагов от окон нашего дома. Ну что я мог подстрелить?!

Какая-то шалая пичуга затрепетала надо мной, не ведая не гадая о своей плачевной участи. Я вскинул ружье, прицелился, и — бац! — она оказалась у моих ног. В половину моего кулака. Вдребезги изрешетил я злосчастную птичку своею дробью. Не был я таким уж бесчувственным зверенышем, и чувство сострадания шевельнулось во мне. Я держал на раскрытой ладони теплый комок, и неоправимость содеянного наполняла меня досадой и жалостью. Возвратившись домой, я повесил «ижевку» на стену и несколько дней смотреть на нее не хотел. Но потом ребята позвали меня на охоту, теперь уже настоящую, и я пришел с нее, держа за поясом четыре утки. Никаких состраданий, сожалений и прочей сентиментальщины моя милость теперь не испытывала.

К жестокости, как ни печально, тоже нужна привычка. Печально, ибо одна жестокость не заставляет ждать другую. Вот и в этом случае: окровавленная пичуга могла бы навсегда меня отратить от стрельбы по безоружным, но следующая удачная охота полностью вытеснила первый горький опыт. А ведь жестокость на этой удачной охоте по числу убитых уток была у етверена.

Возвращаюсь к медвежьей охоте. Тяга в глухомань, шляние по тайге, бездомное и бездумное бродяжничанье освещалось завидной целью. Такой целью была охота на хозяина тайги — медведя. Охота трудная, жестокая, рисковая. Трудная, потому что можно было проходить по тайге неделю и так и не встретить зверя. А таежная тропа — это не московский асфальт. Вывороченные деревья, сухостой, коряги. Выходишь из чащобы, надо лезть на сопку. Камнепады, скользкие гольцы, снег в распадках. С хребта видны долины и поляны. Авось да углядишь медведя. И углядывали.

На сопки вылезали еще потому, что там меньше донимал гнус. А то идешь, и вокруг твоей башки, как нимб святого, злейшая мощкара. Как мы терпели, ума не приложу. Никаких мазей, сеток, накомарников знать не знали. «Не иначе они вокруг нас профсоюзные собрания устраивают», — острил Володька. Похоже было на то!

Трудности искупались возможным успехом. Если удача, все тебе валило сполна. Преодоленная опасность, оправдавший риск, богатая добыча — это вначале. А потом — въезд в поселок с медвежьей тушей, восхищенная зависть друзей, горделиво-сдержанные рассказы. Право, один ответ, брошенный через плечо на танцах, куда мы как ни в чем не бывало устремлялись с охоты, стоил многого. «Что-то тебя не видно было?» — спросит девочка. «Да мы только что медведя привезли». Такая томсойеровщина живет не только в юнцах, какими мы были, но и во взрослых людях до седых волос. Живет, лишь слегка изменяясь в зависимости от обстоятельств.

Теперь о риске. На мой взгляд, это необходимая плата за добычу. В нашем примере риск уравнивал удачу. Переменись ветер — медведь мгновенно учуял бы нас, и нам была бы крышка. При неверных выстрелах с короткого расстояния он тоже легко мог бы нас настичь, перезарядить ружья нам бы вряд ли удалось. С раненым зверем шутики плохи. Мы к тому же были без башмаков, и удирать в носках по неровной гальке трудно. Да и не удерешь — за медведем в тайге лошадь не поспеет.

Во второй охоте опасным моментом был мой нырок в берлогу. Будь там пестун, нож мог и не пригодиться. Охотника-практика озолоти, он бы туда не полез. Недик в своем письме назвал мою акцию беспечной. Но владела мной не беспечность. Толкал меня в берлогу азарт, о котором я после писал:

Но, свои утверждая законы,
Захлестнет не спросясь глаза
Ни родных твой, ни знакомых
Издавна не щадящий азарт.

В данном случае он, азарт, не щадил в первую очередь меня самого.

Правда, приключение с берлогой можно было бросить на чашку весов против расчетливого убийства медвежьего семейства... Можно? Нет, нельзя. Прежде всего мы были нападающей стороной. Покалечь меня или сломай в берлоге шею пестун, мне бы, как говорится, было поделом. Нельзя равнять, скажут, человеческую жизнь с жизнью зверя. Но эти мерки тут не подходят. Нарываешься на опасность — рассчитывать.

Но, как ни суди, риск все-таки был, и это единственное, что дает нам скидку во втором случае.

Теперь же риск перестал уравнивать добычу. Уже в мое время — сорок пять лет назад — он едва ей соответствовал. А сейчас и говорить нечего. Идет стрельба по безоружным. Причем из современных ружей, часто с оптическим прицелом, на большом, безопасном расстоя-

нии. Дичи становится все меньше, зверь исчезает. Вон в Африке слонов и носорогов почти к нулю привели. Но что Африка? Африка далеко. У нас своих проблем хватает. Никакие Красные книги не помогут, если не уймется беспорядочная пальба по живности, пока еще населяющей наши доли и леса, реки и озера.

7

У меня нет практических советов, рецептов, рекомендаций. Свое отношение к охоте я обрисовал в этом очерке достаточно четко. Пришло оно ко мне не сразу, ироничная пословица о черте и монахе говорит сама за себя. Будь бы моя власть, я прекратил бы стрельбу по безоружным и преобразовал бы всю землю в цветущий заповедник, но, видимо, это дело неблизкого будущего. А жаль... Святые слова поэта: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове» — следовало бы сделать заповедью подрастающих поколений. «Спаси, господи, звери твоя!» — хочу переиначить я древнюю молитву.

8

Ободранная лапа медвежонка удивительно напоминала детскую руку...



ВЛАДИМИР ПОПОВ

★

ТИХАЯ ЗАВОДЬ*

Роман

5

Дни шли медленно, а неделя пролетела точно порыв ветра. Но пролетела с пользой: завалки на печах пошли быстрее. Если раньше лошади привозили по одной вагонетке с шихтой, то теперь, когда появились мотовозы, к печам сразу прибывал целый поезд вагонеток, не менее пяти. Не успеют с ними разделаться, как мотовоз, попыхивая голубым дымком, снова толкает перед собой груженный состав. При такой работе как не появиться азарту соревнования. Кто скорее завалит, кто скорее даст плавку, и главное — кто выпустит лучший металл. Выпускать только качественную сталь — к этому упорно приучал Балатьев. И не на собраниях — в них он особого проку не видел, — а в личных беседах с рабочими. Не забывал он и газогенераторщиц. Женщины особенно чутко отзывались на ласковое слово. Хорошим отношением Дранникова они избалованы не были. Поволочиться тот был горазд, а чтобы проявить заботу — такого от него не жди. Почувяв душевность в Балатьеве, они охотно шли к нему со своими невзгодами. У одной дитенок заболел, у другой муж попиивает, у третьей коза никак не разрешится. Балатьев далеко не всегда мог помочь, однако не только реальная помощь бывает нужна в таких случаях. Простое сочувствие и то окрыляет. Дай человеку выговориться, поплакаться — и сразу становится легче и уже не такой злокозненной видится жизнь.

Пришла однажды к начальнику и Заворушка, прослышав, что тот подыскивает приличное жилье. Крутанула бедрами, прожгла угольно-черными глазами, но первой заговорить не решилась, хотя по отчаянности равной ей в поселке не было.

— Слушаю, — с сухой официальностью бросил Балатьев, чтобы сразу приструнить эту шалую, бесстыжую бабенку.

Заворушка вдруг зарделась как маков цвет и с видом застенчивой невинности опустила долу глаза.

— Нет у меня никого щас. Мужика одна гадюка отбила, и коза наемни сдохла. А дом хороший, из лиственницы. Сто лет ему и еще сто простоит. Слободно. Тепло. С утра как протоплю, так весь день ровно в бане. И чисто что в бане.

— Так чем я могу помочь?

Заворушка присела на уголок стула.

— Квартиранта бы мне. Спокойного, самостоятельного. Он бы у меня как у Христа за пазухой жил. — Случайно или нет поправила бретельку лифчика, демонстрируя содержимое своей пазухи.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

Как ни сдерживал себя Балатьев, эта женская уловка выдавила у него улыбку. Заворушка заметила ее и, истолковав по-своему, еще пуще зарделась.

— Этой беде легко помочь,— весело сказал Балатьев.

Обнадеженная Заворушка просияла и тут же сникла, когда Балатьев посоветовал:

— Выбирай любого из мотористов. Кроме женатых, конечно.

— Насмешничать удумали?

— С чего ты взяла?

— Что с них толку, с пожилых-то? Нет, такие мне без надобности. Им только и знай что сподники стирай да припарки на поясицу ставь. И надоедны они — с разговорами про жизнь лезут. Мне б помоложе. Ласково слово да молодое — что вешний день.

Балатьев решил не играть больше в прятки.

— У меня невеста есть.

— С этого цыленка толку, что с яловой коровы молока,— последовал Заворушкин ответ.

Она поднялась, постояла еще, выпятив объемистую грудь, чтобы начальник сравнил ее с «цыленочьей», и величаво удалилась.

Николай проводил крепко сбитую, статную, несмотря на полноту, фигуру оценивающим взглядом и с радостью констатировал, что чисто мужской инстинкт не властен над ним. Не привык размениваться. А сейчас, когда душа полна другой женщиной и все помыслы заняты только ею, он прочно защищен от чьих-либо чар.

Вошла бригадир газогенераторщиц Игнатьевна, самая немолодая из всех них, лет под пятьдесят, и самая старательная. Лицо у нее по возрасту — примятое, а глаза молодые, ясные — засмотреться можно.

— С чем это к вам Заворушка приходила, товарищ заведующий? — требовательно, будто имела на то право, спросила Игнатьевна не присев, хотя Балатьев жестом показал на стул.

— А вы знаете, что такое тайна вкладов в сберкассе? — вопросом на вопрос ответил Балатьев.

— Откуда мне про сберкассу знать, ежели я в ней за свою жизнь ни разу не была. Что заработала, то в расход пустила. Семерых вырастила как-никак.

— Сберкасса никому не сообщает, сколько у кого денег на счету, и потому пользуется доверием. Так вот у меня здесь,— Балатьев похлопал себя по груди, где по общим представлениям должна находиться душа,— сберкасса. Кто что вложил — тайна.

Ответ Игнатьевну не устроил. Скривила рот, прищурилась.

— Может, на постой к себе звала?

— До этого она еще не додумалась,— бодро соврал Балатьев.

— Ох, ох,— усомнилась Игнатьевна.— Я стреляная воробиха, товарищ заведующий, меня на мякине не проведешь. Да и знаю я ее. Это с виду она баская, пригожая, а внутрях... Завсегда чертову думку держит.

Хотя Балатьев поднялся, дав понять, что не желает продолжать разговор, Игнатьевна не сдвинулась с места.

— Клавка баба такая, что кого хошь затреплет,— заботливо, как сына, наставляла она начальника.— Мужик ейный чего сбег? Все соки выжала. Доходил совсем, от ветру колыхался. Сказывают, кто хоть раз к ей на ночь попадал, потом за версту дом обминал. А сейчас, при еном питании... Поверьте мне, товарищ заведующий, добра я вам желаю.— Игнатьевна сложила щепотью пальцы, как бы готовясь осенить себя крестом.— Бегите от ее как от огня.

— Да не нужна она мне.— Балатьев хотел было выйти на площадку, но это ему не удалось — Игнатьевна загородила собой дверь.

— А ежели на постой удумали, то послушайтесь моего совета. К Дуняхе Богатиковой идите. Женщина она тихая, аккуратная. И не

разведонка какая-нибудь. Муж у ей, ребяенок. Лицом, правда, не вышла, но с лица воды не пить.

Неизвестно, сколько времени продолжался бы этот назидательный разговор, но в дверь вошел Эдуард Суров, которого Балатьев после знакомства в доме Давыдычевых так больше и не видел.

— Здравствуйте, товарищ начальник,— буркнул он, бросив на Балатьева быстрый исподлобный взгляд, и неохотно протянул сильную, жилистую руку.

— Здравствуйте,— довольно безразлично ответил Балатьев.— Садитесь, слушаю.

— Пришел в правую ногу пасть.— Слова хоть уничижительные, но произнесены с достоинством.— Возьмите на работу.

— Об этом долго просить не придется. Пишите заявление.

Заявление Суров приготовил заранее. Достав его из кармана пиджака, вручил Балатьеву. «Хороший почерк, ошибок нет, грамотный парень»,— отметил про себя Балатьев, накладывая резолюцию.

— Где был? — спросил коротко.

— Надумал было на Магнитку, да не пробился. Посмотрели в трудовую книжку — Чермыз, колымка разбитая — и амба. Не пустили к печи. А в ОТК не захотел.

— Это они зря. На хорошей печи легче работать. Я, например, практику для студентов ввел бы именно на тяжелых старых заводах. Моряков тоже сначала обучают на паруснике. Потом теплоход игрушкой им кажется.

Такая точка зрения согрела Сурова.

— Я и сам так считаю, но переубедить не удалось. Поехал в Синячиху, да там еще хуже, чем здесь.

Без всякого понуждения Суров стал рассказывать о заводе, где проработал три месяца. В Синячихе в отличие от Чермыза есть доменная печь и одна мартеновская, по уральским нормам большая — девьянсто тонн. Работает на жидком чугуне, чугун из домны выдают по длиннющему желобу прямо в печь, и оттого все неприятности: кто может точно определить по струе, сколько прошло металла? И получается: то в печи меньше девьянста тонн, то за сто перехлестывает. Мало — плохо, много — еще хуже. Куда девать излишек? Перельют ковш, припаяют тележку к рельсам — и начинается сабантуй. Да еще выпускают в два ковша. На юге тоже в два ковша льют, но там они одинаковые, а в Синячихе разные. Один на тридцать тонн, другой на шестьдесят. Попробуй распредели струю без ошибки.

— И часто ошибаются? — поинтересовался Балатьев.

— Чтoб часто — не скажу. Но бывает, что все кругом зальют, потом месяц стоят, залитую канаву раздирают. Так что мне после такого пекла Чермыз все равно что рай.— Суров поднялся, сказал проникновенно: — Спасибо, Николай Сергеевич.

— За что?

— Зла не держите. А ведь тогда... ну, у Светланы Константиновны... Обидно мне стало. Столько времени в мыслях ее держал — и вдруг...

— Пульную сейчас плавим, требования к ней жесткие,— предупредил Балатьев.

— Знаю. Мне Роман Капитонович все подробно рассказал.

«Ага, вот чей ты кадр,— засек Балатьев.— Не к Акиму Ивановичу пошел, а к Дранникову».

— В какую смену выходить? — деловито осведомился Суров.

— Неделю-другую потолкаетесь с утра. Присмотреться надо.

— Чего тут присматриваться,— с обидой в голосе произнес мастер.— Десять лет в этом цехе.

— Новая марка как-никак, работаем с мазутом. И плавки выпускаем по-иному — с задней стороны.

— Ну, эту премудрость я в Синячихе прошел. Там только с зад-

ней и пускают. А вот пульная у них не задалась. То в анализ не попадут, то испытания на пластичность не выдерживает.

— А у нас сразу получилась.— Балатьев взглянул на часы и со словами «меня ждут на шихтовом дворе» вышел.

На установке дисковой пилы для резки металла мотор уже был подключен, тонкий диск вращался с бешеной скоростью, но собравшиеся вокруг рубщики смотрели на него с открытым недоверием. Они уже прониклись уважением к начальнику, так как все его нововведения завершались успешно, но поверить, что сравнительно мягкая сталь будет резать твердую рельсовую, ту самую рельсовую, о которую быстро тупятся и даже крошатся зубила,— этому поверить они не могли. Убеждать их Балатьев не собирался — теоретическим доказательствам предпочитал доказательства делом, но предупредить о возможных опасностях считал необходимым. Глядя то на одного, то на другого рубщика, стал объяснять:

— Рельс будете надвигать ровно, без перекосов, как бревно на лесопилке, чтобы диск ни в коем случае не заело.

— Иначе осколки полетят,— добавил один из рабочих.— А скорость у них как бы не поболее, чем у пули,— и до поселка достанут.

— Лишь бы не в задницу кому-нибудь,— глубокомысленно изрек другой.

В том, что диск будет резать, Николай нисколько не сомневался, а вот с какой скоростью, как быстро будет изнашиваться и окажется ли этот способ эффективным — этого он определить не мог, в промышленности такой пилы для резки холодного металла не было. Не удержав тревожного вздоха, сказал:

— Поехали!

Рабочие подняли двенадцатиметровый рельс, положили его на раму, потом на упоры и стали медленно надвигать на диск.

Все, кто был рядом, замерли в тревожном ожидании.

Рельс коснулся своей подошвой диска, и мгновенно вверх взвился сноп искр. «Отчего искры? От рельса или от диска? — силился понять Николай.— Может, диска и хватит всего на один рельс, а то и на один заход? Тогда всей затее грош цена». Пригляделся. Врезаясь в металл, диск по-прежнему оставался черным, так как на такой скорости мгновенно охлаждался воздухом.

Кто-то рядом зычно потянул носом.

— Подошву рельса хорошо режет, а вот как головку...

Однако диск легко прошел головку, оставшуюся часть подошвы, и кусок рельса отделился.

Считанные секунды показали Николаю невероятно долгими — настолько томительно было ждать, чем кончится эта затея.

Электрик остановил мотор, все принялись осматривать диск. Износ был минимальный, даже замером установить его не удалось.

— Ну вот и вся недолга! — торжественно произнес бригадир рубщиков. О его стаже можно было судить не столько по возрасту, сколько по многочисленным шрамам на лице, оставленным отлетающими осколками.

Сняв кепку, он низко поклонился Балатьеву, тряхнул его руку своей изработанной, в бугроватых мозолях рукой и, отойдя, добавил:

— За день так молотом намахаешься, что домой как мякина плетешься. А дома-то еще сено косить или в огороде ковыряться.

— Еще раз напоминаю: не допускайте перекосов,— предупредил рубщиков Балатьев. И отдельно электрику: — Переключите мотор в обратную сторону.

Электрик передернул плечами.

— А какая разница?

— Искры вниз будут лететь, под стойку, и осколки туда же в случае чего, а не в белый свет.

Весть о чуде быстро разошлась по цехам, достигла заводоуправ-

ления, и от любопытных не было отбоя. Рубшики сами толком не понимали, почему рельс режет тонюсенькая пила, но когда их спрашивали об этом, отвечали с достоинством: «На то и пила, чтоб резать». Немыслимой штуковиной заинтересовались и служащие главной конторы, и начальник отдела кадров, и сотрудники бухгалтерии, и особенно ко всему равнодушный главбух, учувший, что вот тут он уж воспользуется своим правом снизить расценки, потому что рубшики, по существу, превратились в резчиков и производительность у них возрастет. Однако Балатьев быстро охладил его пыл.

— Нет! И чтоб впредь никаких разговоров на сей счет.

Кто только не приходил в этот день на установку. Не побывал на ней лишь Кроханов. И не потому, что не хотел отдать должное Балатьеву. Удерживало другое соображение: не исключено, что на первых порах произойдет несчастный случай и пусть за него отдувается Балатьев. Его выдумка — на нем и ответственность. Попробуй доказать потом, что директор был в курсе. Письменного распоряжения нет. А что по телефону разрешил, от этого ничего не стоит отпереться — свидетелей-то чертма. И строителям никаких указаний не давал. Передал через Балатьева — так и это еще доказать нужно. Чечулин Иустин против него не пойдет, он лучше других знает, чем такое может кончиться. Это Балатьеву зеленому невдомек. Но ничего. Придет время — поймет. На своей шкуре почувствует.

К концу смены на шихтовый двор забежала Светлана. Постояла среди зевак, послушала, что говорили про Балатьева, порадовалась за него и решила пойти в цех, чтобы рассказать Николаю, сколь восторженно приняли люди его нововведение.

Как на грех, в кабинете его не оказалось, не было и у печей и в разливочном пролете, где пыхтели паровые краны, снимая изложницы с раскаленных слитков. Прождав еще немного, Светлана направилась к проходным воротам. И вдруг ее окликнул сильный женский голос:

— Эй, гражданочка!

Оглянувшись, к ней спешила какая-то работница, пышнотелая, полногрудая, с закопченным лицом. Оно показалось Светлане знакомым. Где-то встречала эту женщину, как встречала многих в поселке, не зная, кто они.

Запыхавшись не то от быстрой ходьбы, не то от волнения, незнакомка победительно выпалила:

— Ты в нашу с Николай Сергеем жизнь не встрывай! У нас все идет ладом, и попробуй чего — за тридцать земель лететь будешь! Хоть бы телом обросла, заморыш.

От этих грубых, язвительных слов, от взгляда, полного превосходства, у Светланы отнялся язык, а по рукам пошла дрожь.

Красотка тем временем выламывалась перед ней. То руки упрет в крутые бедра, то ногу выставит, то голову закинет. Торжествующе поблескивая глазами, она ждала. Чего? Что Светлана набросится на нее и даст повод для потасовки? Возможно. А может, просто хотела покуражиться, насладиться своей затеей.

Постояв обессиленно, Светлана повернулась и неверными шагами, ощущая слабость в ногах, побрела к проходной, ничего перед собой не видя, думая только об одном: как бы не упасть, а если и упасть, то хоть не на виду у этой вертихвостки. «Вот почему такое четкое «нет», — твердила она про себя. — Дурочка, несмышлениш, размечталась: Коля такой, Коля сякой, а он самый заурядный бабник». Представила себе Николая в жарких объятиях этой женщины, вспомнила свои поцелуи и почувствовала тошноту. Кому поверила? Пошлая, для которого высокие слова — только маскировка. Инстинктивно вытерла тыльной стороной руки рот, словно стирая следы его губ, постояла, отдышалась и, миновав проходную, решительно зашагала по улице.

Нежданно-негаданно перед ней как из-под земли вырос Николай.

— Куда и откуда, Светланка?

Худшего момента для встречи нельзя было и придумать.

— Отстаньте! — негодуяюще выкрикнула Светлана и быстро, словно ее стегнули, прошла мимо, оставив Николая в полной растерянности.

В приемной трезвонил телефон. Уверенная, что Николай не мог дойти до цеха так быстро, Светлана подняла трубку.

— Светочка, дорогая... — Голос Николая срывался. — Я не могу понять. Об...

Телефон зазвонил снова и звонил упорно, долго. Внутренний голос повелевал Светлане быть стойкой, непреклонной, не поддаваться лицемерным увещаниям и вообще не затевать с Николаем никакого разговора, а кто-то со стороны упорно долбил: «Ну выслушай, выслушай...»

— Света, мы с тобой взрослые люди...

Она оборвала его:

— Вы чересчур для меня взрослый!

Решительно повесив трубку, покрутила ручку туда-сюда и больше на звонки не отзывалась.

Минут через десять в приемную влетел из коридора взбешенный Кроханов.

— Ты что, спишь тут, что ли? Звоню, звоню... — Подошел к столу, устало оперся о него руками. — Напиши распоряжение плановому увеличить по мартену месячное задание на десять процентов. — На вопрошающий взгляд ответил: — Улучшение условий, мотовозы, мазут и теде и тепе.

Как ни была расстроена Светлана, замысел Кроханова дошел до ее сознания. Хитрован, ловкач, ишь что надумал! Увеличить план ради того, чтобы на доске показателей работы цехов, выставленной у проходной, не маячили трехзначные цифры по цеху Балатьева, резко отличавшиеся от показателей остальных цехов.

Обычно Светлана составляла распоряжения быстро и толково, Кроханов подписывал их без единой поправки, хвалил всячески и втайне даже изучал, наивно надеясь, что и сам в конце концов постигнет премудрость их написания. Но сейчас в голове был полный сумбур, текст не складывался. Не только по смыслу, но и по форме. Решив пренебречь и тем и другим, отстучала распоряжение, отнесла Кроханову. Тот уже приготовился было подписать, но ручка повисла в воздухе.

— Ты хоть сама поняла, что настукала? Шифровка какая-то! А ну давай выходи из неграмотного состояния. Это шуры-муры все...

Светлана стояла ни жива ни мертва. Кровь густо подступила к ее лицу, твердый ком застрял в горле, перехватил дыхание. На душе было так скверно, что слов она не воспринимала. Что говорил Кроханов, как говорил — оставалось вне восприятия.

— Ты, часом, не запузателя?

Эта фраза, грубая, скотская, ударила Светлану как пощечина. Глаза ее наполнились слезами. Боясь, как бы не разреветься, она стремглав выбежала из кабинета.

Но посидев за своим столиком, пришла в себя и поняла, что поведением своим лишь подтвердила предположение директора. «Так как же быть? — металась она в мыслях. — Пойти к нему объяснить? Но разве дойдут до этого бурбона какие-то слова? Пусть думает что хочет. Пусть думает? — тут же возразила себе. — Дудки. Предоставить ему такую возможность было бы непростительной глупостью. Он без всяких оснований может облить грязью, а повод, который дала молчалием...»

Вернулась, взяла незадавшееся письмо, сказала укоряюще:

— Ну как можно так, Андриан Прокофьевич?..

— Ладно, ладно, будет тебе кукуться...— миролюбиво отозвался Кроханов.— И пошутить нельзя...

— Хорошенькая шуточка...

Вернувшись в приемную, Светлана снова принялась за распоряжение, и оно получилось с ходу. Это как-то уравнило. Злополучный момент, когда в голове был полный сумбур, миновал, можно без паники подумать, как отвадить Николая, какой подыскать предлог для окончательного разрыва. Так или иначе он появится здесь, сегодня или завтра, может даже с минуты на минуту появиться, и от него недомолвками не отделаешься. Бросить в лицо, что он разоблачен? Это было бы унижительно и означало бы, что она признает свое поражение — отрекалась, потому что он отрекся раньше. А играть в молчанку... Что это даст?

6

Ровно в одиннадцать вечера, как только забасил заводской гудок, Дранников выпустил плавку на второй печи и, кивнув Акимову Ивановичу — принимай-де смену, — отправился в конторку к Балатьеву. Он давно хотел поговорить с начальником цеха насчет посменной работы. Такая работа казалась ему, человеку почтенного возраста, к тому же заместителю начальника цеха, умаляющей достоинство.

Это необоснованное требование, да еще высказанное крайне категорично, взбесило Балатьева, но слушал он внешне спокойно и спокойно проговорил:

— Иного способа, Роман Капитонович, обеспечить цех круглосуточно квалифицированным руководством я не вижу.

Дранников открыл было рот, чтобы ответить, причем по запальчивому виду его уже можно было понять, каков будет ответ, но в этот момент влетел запыхавшийся, бледный Аким Иванович.

— Ковш парит! Вес! Под плавку сырой подали!

Сообщение обрушилось на Балатьева как гром среди ясного неба.

— Людей разогнали? — отрывисто спросил он, хорошо понимая, чем это грозит.

— Сами разбежались.

Заполненный жидкой сталью непросушенный ковш — все равно что бомба замедленного действия. Никто не знает, когда произойдет взрыв, но все знают, что он неминуем. Еще разлищиком работал Николай, когда из ковша выбросило тонн десять жидкого металла, и случай этот потряс его. Двух рабочих похоронили, и у самого навечно осталась отметина на левом плече. Причиной того взрыва был всего один ряд непросушенных кирпичей, а тут весь ковш сырой.

Уставился на ошалевшего от испуга Дранникова.

— Как это получилось?

Тот непонимающе вздернул плечи.

Балатьев перевел взгляд на Акима Ивановича:

— Что будем делать?

Обер-мастер ничего не ответил, но у Дранникова вдруг прорезался голос.

— Драпать надо, — панически проговорил он. — Может так рвануть, что и здания не останется. — Вобрав голову в плечи, он опрометью выскочил из конторки.

Аким Иванович продолжал стоять, выжидаяще глядя на Балатьева.

Тот не ответил на его безмолвный вопрос. Поднялся и пошел через рабочую площадку к тому месту, где каждую секунду могла развиться беда.

Преодолев страх, обер-мастер последовал за ним.

Обогнув печь, Балатьев увидел жуткое зрелище: ковш, наполненный до краев металлом, был объят паром. Пар проходил сквозь бесчисленные отверстия — они специально сверлятся в кожухе, чтобы ковш «дышал», — и вырывался с такой силой, как из предохранительного клапана парового котла при избытке давления.

Расплавленный металл и вода несовместимы. Как только они соприкасаются в замкнутом пространстве, происходит взрыв, равносильный взрыву мощной бомбы, и последствия его могут быть поистине ужасающими.

Балатьев вернулся на рабочую площадку. Он знал, что и здесь не найдет спасения, но в стороне от этого страшного зрелища ему было легче думать. Взрыв не произошел мгновенно, это означало, что наружная корка огнеупорной кладки прогрелась и металл не соприкоснулся с влагой. Но ковш при разливке придется перемещать, и, если металл проникнет хоть в один из бесчисленных швов между кирпичами и доберется до сырых мест, взрыв неминуем. А не трогать ковш — значит, оставить в нем пятидесятитонный монолит. Но слабые паровые краны ни убрать ковш, ни освободить его от козла не смогут, следовательно, придется остановить печь. Остановить? На какое время? Пока не освободится ковш. А как его освобождать? И это теперь, когда фронт не дает отсрочки ни на мгновение, но требует металла во все возрастающих количествах.

Раздавленный грузом мыслей, Балатьев не заметил, что Аким Иванович уже побывал за печью и вернулся обратно.

— Бегите хоть вы, Николай Сергеевич! Чего двоим подышать!

Не ответив ему, Балатьев снова пошел посмотреть на ковш.

Корка шлака пристыла, стала темно-бордовой, и сквозь нее уже пробивались голубоватые огоньки газа. Сталь остывала быстрее, чем обычно, потому что футеровка ковша была холоднее, чем обычно, и отнимала много тепла. Но главная опасность состояла в том, что футеровка все сильнее прогревалась, все больше выделялось пара из отверстий и струи его становились длиннее и длиннее. Это означало, что вот-вот, в любое мгновение мог наступить такой критический момент, когда отверстия в броне не пропустят накопившийся внутри пар, и, если даже это произойдет в одном месте, если только один кирпич отойдет от брони, тут же все полетит к чертям собачьим.

«Успеем разлить или не успеем?» Как это бывало с Балатьевым в ответственные мгновения, решение пришло само собой, будто подчинялся он не своей, а чьей-то чужой твердой воле. Уже не внемля голосу рассудка, стал лихорадочно быстро спускаться по лестнице в разливочный пролет. В тишине цеха услышал, как застучали по железным ступеням подковки каблучков Акима Ивановича. Обер следовал за ним.

Двоем они открутили болт, удерживающий механизм стопора, нажали на металлическую рукоять. Еще, еще. Стопор не поддавался — очевидно, застывшая на дне ковша сталь уже прихватила огнеупорную пробку, которая закрывала отверстие в сталеразливочном стакане. Нажали изо всех сил, и — о счастье! — пробка выдержала, не оборвалась, и струя хлынула из стакана.

— Может, выскочим! — бодряще произнес Балатьев.

— Ох, не говорите гоп... — Аким Иванович захлебнулся струей пара, которая была поблизости от его лица.

Медленно, но равномерно заполнялись металлом изложницы.

— Перегрел Дран плавку. — Аким Иванович, когда сердился, иначе Дранникова не называл. Покосил глазом на ковш, который парил пуце прежнего. — На этот раз, пожалуй, будет как раз. С запасом на обогрев футеровки.

Наполнили сорок изложниц. Теперь ковш предстояло передвигать на следующий круг и подвергнуть его новому испытанию.

Управлять сталеразливочной тележкой, на которой стоял ковш, Балатьев не умел, потому что с подобной допотопной техникой прежде не встречался. В Макеевке ковши с металлом держали на весу мостовые краны, они и перемещали ковши с места на место.

Увидев замешательство начальника, Аким Иванович хоть и без всякого желания, все же пришел ему на помощь. Взобравшись в кабину, он взялся за рукоять контроллера, повернул ее, тележка двинулась с места, проехала несколько метров и остановилась точно в том месте, где было нужно. От движения металл в ковше заколебался, пар из него повалил сильнее.

Аким Иванович застыл на месте, даже дышать перестал. Но убедившись, что и на этот раз беда миновала, соскочил с тележки, помог Балатьеву поднять стопор, и сталью начали заполняться изложницы второго круга.

А впереди еще четыре. «Выдержит ли ковш, выдержат ли нервы?» — не раз спрашивал себя Николай.

Никогда еще время не тянулось для него так изнуряюще долго. Не раз попадал он в сложные ситуации, был свидетелем нескольких крупных аварий, но происходили они так стремительно, что не оставляли времени для принятия решения, и ликвидация их последствий не требовала отчаянного риска. А вот сейчас, стоя рядом с ковшом, который в любую секунду мог вышлеснуть расплавленный металл, а то и разлететься на части, Николай физически ощущал, как кто-то незримый медленно и непрестанно тянет из него жилы. Все помыслы, все желания его сводились к одному: скорее бы все кончилось. Не будь здесь никого другого, возможно, эту пытку ожиданием он переносил бы не так тяжело. Но вид Акима Ивановича, бледного, взмокшего, с трудом преодолевающего страх, все время напоминал об опасности и замедлял и без того медленное течение времени. Мгновениями Николаю было невыносимо жаль самоотверженного мастера, и тогда он спрашивал себя, вправе ли подвергать человека такому риску. Пусть он не понуждал к этому Чечулина, но, подав пример безрассудства, вынудил его поставить на карту и свою жизнь.

При переезде на четвертый круг из нескольких отверстий в броне ковша вместо пара появилась непонятно откуда взывшаяся мутная белесая вода, что выглядело уже совсем страшно. Николай решил было выйти из этой игры, прекратить разливку, но представил себе закозленный ковш, остановленную печь, поникшие лица рабочих, злорадствующего Кроханова, возмущенного секретаря горкома — и не тронулся с места.

— Век прожил, а такого не видывал... — выдохнул Аким Иванович, показывая на потоки воды на броне ковша. Остановил на начальнике умоляющий взгляд, как бы говоря: «Уйдем отсюда, покуда целы», но тот отрицательно покачал головой, и Аким Иванович, глубоко, с перехватом вздохнув, остался.

Разлить благополучно металл до конца так и не удалось. На последнем круге сталь в изложницах начала застывать, а в отдаленные изложницы и вовсе не пошла. Сыграли тут свою роль и минуты, затраченные на раздумье, и сырая футеровка, забравшая много тепла и остудившая сталь. Разливку прекратили, оставив часть металла в ковше. Но плавка все же была спасена и, главное, был спасен ковш.

Балатьев подозвал машиниста тележки.

— Давай на яму! Учти, остался металл, тонн восемь!

Решив, что опасность миновала, машинист погнал тележку со все еще парящим ковшом в конец разливочной канавы, на ходу наклонил его, чтобы вылить оставшийся металл в чугунные чаши, но в радостном возбуждении переусердствовал, стукнул ковш о борт чаши, да с такой силой, что несколько кирпичей в нем сдвинулось, обнажив влажные места. И — произошел взрыв. Из ковша, словно из гигантской мортиры вылетели брызги металла, шлака, куски кир-

пича, из окон от сотрясения полетели стекла, со стропил посыпалась залежавшаяся пыль, цех заволокло, как дымовой завесой.

Аким Иванович вытер потное, грязное, измученное лицо. Он еще пребывал в том тревожно-взвинченном состоянии, когда все, что стряслось, казалось не прошлым, не пережитым, а тем, что лишь предстояло пережить.

— Сколько грохоту от такой малости, а если б... Пойдемте в ваш курятник, посидим, передохнем...

Николай направился к лестнице.

— Ох, нет, не сдюжу, обмяк,— посетовал Аким Иванович.— Кругом обойдем, через шихтовый двор. И на звезды заодно поглядим. Я-то уж думал... увидим, когда через крышу вылетим...

Несколько раз глубоко вдохнув холодный ночной воздух, Аким Иванович чуточку пришел в себя.

— Ну что ж, можем поздравить друг друга с возвращением с того света.— Протянул руку.— Здравствуй, Николай Сергеевич, в рубашке рожденный.

Как все истинно храбрые люди, Балатьев по-настоящему осознал всю серьезность опасности лишь после того, как она миновала.

— Да-а, могли б и косточек наших не собрать...— Поежился.— Так в металле и закопали б...

Однако спокойно посидеть и передохнуть им не пришлось. Взрыв всполошил поселок, телефонным звонкам не было конца. Пробылся и Константин Егорович.

— Чую, как бы не у вас, Николай Сергеевич.

— А где ж еще? — усмешливо ответил Николай.— Не на дрово-разделке ж.

— Обошлось?

— Как ни странно. А могло б...

— Да, ужнуло здорово. Последние известия не слышали, конечно. Я уж было подумал, отсалютовали в честь разгрома...

— Ка-ко-го?

— Под Брянском. Пятьсот танков накрыли, больше двадцати тысяч фрицев полегло.

— Наконец-то! Ну, будем надеяться...

Балатьев положил трубку, потому что в конторку влетел Кроханов. Разразившись бранью, особенно оскорблявшей, потому что состояла она из одних точно адресованных нецензурных эпитетов, навалился на Балатьева с обвинениями. Чего только не наговорил он, чего только не приписал! И ослабление дисциплины, и зазнайство, и отсутствие критики и самокритики, и потерю бдительности, и даже вредительство.

Смешно и в то же время горько было Балатьеву выслушивать все это. Ущерб от аварии по сравнению с тем, каким мог быть, ничтожен, и причина ярости Кроханова объяснялась лишь тем, что за такой ущерб начальника цеха с завода не выгонишь. Балатьев продолжал выслушивать абсурдные нападки, всячески сдерживая себя, чтобы не взорваться и не послать директора по популярному русскому адресу.

Истоцив весь запас эпитетов и не дождавшись от Балатьева никакой реакции, Кроханов бросил, вконец выведенный из себя:

— Чего молчишь, как египетский свинкс?

И на эту фразочку Балатьев не среагировал. А вот Акима Ивановича прорвало:

— Креста на вас нет, Андриан Прокофьевич. Я-то думал, придете как человек, скажете: «Спасибо, Николай Сергеевич, что жизнью своей рискнули, от такой беды упасли. Вот вам рука моя, вот талон на литру водки, чтоб очухались». А вы... Ровно кобель, с цепи сорвавшийся. Тьфу!

Аким Иванович в сердцах отшвырнул еще не зажженную сигар-

ку, что при недостатке табака являло крайнюю степень раздражения, сочно сплюнул и, тяжело поднявшись, поковылял на площадку.

От обычно покорного обер-мастера Кроханов такого дерзкого отпора не ожидал и, решив, что это балатьевское влияние, зашипел:

— Во, полюбуйся! Твоя выучка! Развратил мне тут народ!

— А разве он не прав? — удосужился ответить Балатьев, удивленный и обрадованный тем, что Аким Иванович показал наконец-то зубы. — С кандидатами в покойники полагалось бы говорить уважительнее. Когда заглянешь за тот порог...

Дверь открылась, вошли Дранников и ковшевой его смены, которых Балатьев как раз собирался вызвать. Это было кстати. На них, истинных виновников, пусть и перенаправит директор свой державный гнев.

— Остаток запала, — сказал он жестко, — вот на этих деятелей израсходуете. Один дежурил, другой ковш подсунул, разберитесь, как это получилось, а я послушаю.

Знал бы Кроханов, как все обернется, подбирая бы выражения полечче. Гробить Дранникова, да что гробить, даже наказать в его планы не входило. Ковшевого, кстати, тоже, поскольку за него отвечал Дранников.

С любопытством наблюдал Балатьев за тем, как осторожно задавал Кроханов вопросы, подсказывал ответы, как старательно спускал разбирательство на тормозах, и в нем кипела ярость от этого бесстыдства. История, которая чудом не окончилась катастрофой, мало-помалу приобретала характер рядового, почти невинного эпизода. Один ковшевой запомнил закрыть кран, когда охлаждал ковш, отчего тот до краев наполнился водой, другой, вместо того чтобы пустить промокнувшую кирпичную кладку ковша на слом, решил удовлетвориться просушкой, а Дранников в цехе вроде не присутствовал и потому ответственности за действия своих подопечных не несет.

— Какое взыскание заслужили ковшевые, товарищ начальник? — уже совсем другим тоном, чуть ли не заискивающе, обратился Кроханов к Балатьеву, сидевшему с опущенными веками.

Тот приоткрыл один глаз.

— Это в зависимости от того, как директор квалифицирует их поступки. Халатность это или вредительство.

— Чепуху буровите! — врезался в разговор Дранников. — Какое это вредительство? Ишь, мода пошла! Чуть что — к ногтю.

— Не я буровлю — директор, — невозмутимо отозвался Балатьев. — Пока он считал, что виноват я, он расценил содеянное как вредительство.

Кроханов болезненно поморщился.

— В запале чего не скажешь. Спал уже, а тут ка-ак ахнет, стекла ка-ак задрезбежат! Ну, думаю, фрицы бомбят. А оказывается, свои расстарались. Ладно, будет вам тут кто да что. Поставим точку. Фартовый ты, вот что я тебе скажу. — Кроханов по-свойски стукнул Балатьева по колену и впервые за все время их совместной работы взглянул на него без обычной неприязни.

7

Ночная смена только разошлась по домам, а поселок уже гудел о происшествии в маргене. Балатьев и Чечулин были подняты молвой на уровень героев. О них вели речь в домах, о них заводили разговор на улицах.

О том риске, которому подверг себя Балатьев, Светлана узнала на следующий день и не от кого-нибудь, а от самого Кроханова. Появившись в приемной, он прямо с порога заявил:

— Эх и парня ты околдовала, Светка! Смелый невозможно какой, экспозантный, семи пядей на лбу.

Возбужденно расхаживая по приемной, он принялся взахлеб рассказывать о том, что было ночью и что могло стрястись, если б Балатьев «умом нерасторопный был» да не полез к черту в пасть.

Хотя Николай никогда еще не казался Светлане таким далеким и чужим, все же она испытала гордость и радость за него. Оценив наконец своего подчиненного по достоинству, Кроханов перестанет заедать его, и между ними установятся нормальные отношения. Было только мучительно жаль, что деловые качества Николая расходились с его моральной сутью.

За ужином Константин Егорович тоже завел разговор о Николае. Его истолкование событий соответствовало крохановскому, только разве что больше изобиловало лестными словами. Это насторожило Светлану. Она заподозрила, что отец преднамеренно расхваливает Николая, зная о конфликте и не допуская мысли, что в нем повинен один Николай. Противясь его замыслу, заняла наступательную позицию.

— Это не героизм,— утверждала она.— Героизм подразумевает самоотверженность, а им руководила тривиальная самозащита, к тому же вынужденная — спасал себя от возможных последствий. Как в поединке: то ли противник тебя одолеет, то ли ты его. Это мужество отчаяния. Вот Аким Иванович проявил подлинный героизм. В чистом виде. За последствия он ответственности не нес, а собой рисковал. Так что твоих восторгов, па, я не разделяю.

Константина Егоровича удивила холодная, даже жестокая рассудительность дочери, сознательное стремление принизить если не сам поступок Балатьева, то хотя бы его мотивы.

— Постой-постой, давай исходить от противного,— в замешательстве заговорил он, тщательно обдумывая, как опрокинуть весьма логично построенные доводы Светланы.— Дранников отвечал за последствия в большей мере, однако предпочел улепетнуть. Как ты назывешь его поступок?

— Благоразумием,— неожиданно заявила Светлана.— Он хорошо усвоил истину, которую мы неустанно повторяем, что самое ценное у нас — люди и отдавать жизнь за пятьдесят тонн стали... А тем более за двадцать пять, как могло получиться у твоего Балатьева. Фактически он поставил на карту две жизни: свою и Акима Ивановича. Ты скажи мне, какое право имел Николай Сергеевич тащить его с собой на тот свет?

Константин Егорович вскочил со стула, походил, пытаясь уравновеситься.

— Ну, дочка, ты сегодня с левой ноги встала.

— Она последнее время только с левой и встает,— как бы вскользя заметила Клементина Павловна.

Светлана будто не расслышала этих выпадов, продолжала свое:

— Я понимаю, когда люди на войне совершенно сознательно жертвуют собой. Бросаются под танк, закрывают своим телом амбразуру дота, идут на таран. А в условиях глубокого тыла...

И вот тут выдержка окончательно оставила Константина Егоровича.

— «Я понимаю, я понимаю»...— Он с сожалением посмотрел на дочь.— А я,— постучал рукой по груди,— не понимаю: всерьез ты все это говоришь или... Вбила себе в голову: в тылу, в тылу... Завод, который работает на оборону, живет не по законам тыла, а по законам фронта! И не пятьдесят тонн спасал мой Балатьев,— Константин Егорович в пику дочери сделал ударение на слове «мой»,— а неизмеримо больше! Он спасал печь от длительного простоя, спасал, если хочешь, миллионы пуль! И такому человеку в ноги поклониться надо, шапку снять перед ним, а не осуждать.

— Вот и сделай это, если... встретишь,— непреклонно сказала Светлана.— И давайте разойдемся до завтра.

Клементина Павловна появилась в комнате дочери, как только муж стал мирно похрапывать. Села у изголовья, легким прикосновением расправила складочки на лбу, развела в стороны насупленные брови — давний испытанный прием, каким успокаивала дочь, когда та была чем-нибудь расстроена, и исподволь выпытывала все, что залегло на душе. Условно это означало: а ну-ка выкладывай все без утайки.

Светлана упорно молчала. Ей было больно и стыдно признаться, какой оскорбительный отпор получила от Николая, когда, по существу, предложила себя, и какому жестокому осмеянию подвергла ее Заворыкина, фамилию которой вспомнила, после того как немного пришла в норму. Но мать не уходила, ждала, и, собравшись с духом, Светлана медленно, через силу принялась рассказывать обо всем, не щадя себя, ничего не скрывая, ничего не смягчая.

Закончив свою мучительную исповедь и ища сочувствия, повернула лицо к матери и увидела, что та улыбается.

— Глупышка ты моя маленькая, — благодушно произнесла Клементина Павловна. — Впрочем, совсем не маленькая. Большая глупышка. Навоображала бог знает чего. Николай поступил вполне достойно, отказавшись перейти к нам. И мотивы его весьма резонные. А на самом деле, почему мы не могли подумать: предприимчивый молодой человек, быстро ухватился за возможность получить меблированную комнату со всеми... со всеми услугами, что ли. И почему ты решила, что мы должны были встретить его с распростертыми объятиями? Честь и хвала ему, что не клюнул на твой слишком, буду говорить прямо, эмансипированный жест.

— Мама! — вспыхнула Светлана.

— Я давно уже мама, — опять-таки благодушно отозвалась Клементина Павловна, — и в этой своей беспокойной должности дурных советов тебе, кажется, еще не давала. Так ведь?

— Так, — насупив брови, неохотно подтвердила Светлана.

— Тогда слушай дальше. Николай — мужчина, был женат...

— Ты хочешь оправдать его хождения к этой бабе?

Клементина Павловна укоризненно прищурилась.

— Не горячись. Ты уже достаточно погорячилась. Если б Николай ходил к ней, об этом гудел бы весь поселок — шила в мешке не утаишь, а у нас и подавно — тут все нараспашку. Кроме того, я вообще не могу допустить, что Николай способен унизиться до... до связи с этой блудливой бабенкой. У нее же... «на лбу роковые слова: „Продается с публичного торга“». Как ты могла поверить?

— Но зачем, зачем ей это нужно было?

— Да мало ли отчего подличают? Может, какие-то практические соображения, а скорее всего ядовитая бабья зависть.

— Мама, ты неисправимая идеалистка! — не сдавалась Светлана. — Всю жизнь прожила с кристально чистым человеком и всех меришь на его аршин.

— Юпитер, ты сердисься, значит, ты не прав, — осадила дочь Клементина Павловна. — Давай хладнокровно. Я считаю, что в личных отношениях не должно быть невыясненных ситуаций.

— Попробуй выясни. И как ты предлагаешь сделать это? Задать ему в лоб такой вопрос?

— Нет, разумеется. Тут нужно подойти тонко. А как именно — тебе должно быть виднее. — Клементина Павловна передохнула и, почувствовав, что слова ее на дочь не воздействовали, заговорила медленно, глядя сощуренными глазами в одну точку, напрягая память. — Расскажу я тебе одну весьма поучительную историю, причиной которой послужила именно скоропалительность решения. Повела мне об этом в поезде незнакомая женщина под впечатлением пережитого. Брат, ну, женщины этой женился на ее подруге. Он и она натуры цельные, чистые. Любили друг друга, как не часто бы-

вает, скучали нестерпимо, когда по роду своей деятельности уезжали в командировки. И вот однажды, вернувшись домой, брат обнаружил на столе записку: «Ушла навсегда, не ищи». И — как растворилась. Потрясение. Три месяца больницы, да и потом... Словом, сломался этот человек. Что мог он предположить? Полюбила кого-то? Но почему так таинственно исчезла? Остался холостяком. Женщины были — недурен собой, положение, но обходился он с ними как с существами низшими, бросал, едва болезненная подозрительность нашептывала, что может остаться покинутым. Говорил: «Женщины рождены, чтобы подличать и реветь». И вот спустя много лет особа, что рассказала об этом случае, на одном из южных вокзалов неожиданно встретилась со своей бывшей подругой, женой брата. Бросились друг к другу, обнялись, расцеловались. Ну что? Ну как? Та рассказала, что живет в небольшом городишке, работает не по специальности, наплодила детей от посредственного человека, с которым свела судьба. В общем, никакого счастья. На вопрос, почему бросила мужа, ответила, что, вернувшись однажды из командировки домой в то время, как он был в отъезде, обнаружила в постели заколочку для волос. «Это было зимой перед Новым годом? Витая белая заколка?» В ответ — удивленная мина: откуда известно какая? И тут все выяснилось. Заколочка принадлежала рассказчице, которая проездом переночевала в пустующей комнате, где жила счастливая пара... Вот к чему может привести блуждание в потемках, — закончила свой рассказ Клементина Павловна.

Светлана задумалась, и Клементина Павловна, хорошо знавшая самолюбивый нрав дочери, решила прийти ей на выручку.

— Я бы на твоём месте первая...

— Вот это здорово! — вспыхнула Светлана. — Почему я должна...

— Потому что в вашей глухой размолвке виновата ты. Да, да, не делай такие глаза.

Выражая несогласие с матерью, Светлана отвернулась к стене.

— Ни за что! Если любит — сам придет.

— Учти, у тебя сейчас есть хороший предлог, — сказала Клементина Павловна тоном, каким наставляла дочь в детстве, когда та проявляла строптивость. — Поздравь Николая с возвращением с того света. Этого, если хочешь, требует даже элементарная вежливость.

Никогда не предполагал Николай, что слава так обременительна. Ему буквально не давали покоя. Со всего завода приходили в цех люди, выражали восхищение его мужеством, благодарили, задавали самые неожиданные вопросы вроде того, какие мысли владели им, когда стоял у сырого ковша, и сколько шансов было за то, что ковш не взорвется. И на улице его останавливали и по телефону звонили, чтобы сказать несколько трогательных слов или о чем-то спросить. А ребяташки, завидев в поселке новоявленного кумира, в почтительном безмолвии сопровождали его стайкой или вертелись вокруг, стараясь рассмотреть получше.

И вот при таком повышенном внимании со стороны совсем посторонних людей очень странным казалось Николаю молчание Светланы. Идти к ней выяснять отношения он не торопился и не знал, пойдет ли. Ее поведение не поддавалось никакому объяснению. Что явилось причиной яростного «отстаньте!»? Перед злополучной последней встречей они все выяснили, обо всем договорились, пусть чуть по-детски, так уж получилось, и вдруг — новая вспышка и ненавидящий взгляд. За какие грехи? Он больше ни в чем не провинился, ничего дурного не совершил. Может, мать отсоветовала? Если дескать, у вас с самого начала не клеится, чего дальше ждать? А не сподличал ли Суров? Напел какую-нибудь несусветицу из ревности. Но Светлана достаточно умна, чтобы не заподозрить в таком ходе коварного умысла. Впрочем, почему он решил, что она умна? На-

читанна, развита, музыкальна, неглупа безусловно, но житейского ума у нее нет и откуда бы он взялся. Росла в стерильно чистой семье, как правило, такая среда воспитывает доверчивость и незащитность против козней.

Когда Николай в который раз решал это уравнение со многими неизвестными, в двери конторки появилась Заворушка.

— Чего вам? — спросил Николай неприязненно.

— Да я, Николай Сергеич, все насчет жильца.— Заворушка на этот раз устала на Балатьева глаза смиренной овечки.— Вознамерились вы аль нет? — Истоиво перекрестилась.— Вот крест даю, лучше, как у меня, вам нигде не будет. Хоть зайдите избу посмотрите ну и так дальше. Разве я такая дома? Вы-то привыкли только что в этой робе видеть. А приоденусь когда...— Обретя обычную наговатую уверенность, она вошла в помещение, непринужденно уселась.

— ...или вовсе разденусь...— в тон ей подхватил Николай.

Жгучие глаза на белом-белом Заворушкином лице сверкнули радостью.

— Э, картину писать можно!

Николай не без любопытства смотрел на домогавшуюся его женщину. Таких прямых атак он еще не знал. Стало как-то мутно, и все же что-то похожее на жалость шевельнулось в нем. Красивая женщина, осанистая, а пошла по рукам, потому что сама идет в руки.

Заворушка истолковала его молчание как нерешительность и поднажала:

— Не прогадаете, Николай Сергеич. Уедете — хоть будет чего вспомнить, с чем сравнить. Давеча вакуированные как нагрнули... Еле выпроводила. Для вас две лучших комнаты берегу. Понеже любви вы мне. Оченно. Право слово.

С трудом сдерживаясь, чтобы не выбраться, Николай сказал охлаждающе:

— У меня невеста есть.

— Была, Николай Сергеич.— Заворушка злорадно рассмеялась ему в лицо.— Была, куда Сурова не было. А вернулся — уплыла. Как вода меж пальцев.— Увидев, что озадачила Балатьева и избегая дальнейших расспросов, поднялась.— Значица, жду, Николай Сергеич. Мой дом вы знаете. Не доходя Вячеславого.

На лице Николая заблуждала неопределенная улыбка. Происходил бы этот разговор до страшной аварийной ночи, фуганул бы он эту липучку, чтоб навсегда забыла к нему дорогу. Но пережитое ослабило в нем какую-то пружину. Он стал снисходительнее к людям и больше не воспринимал их дурные наклонности и греховные помыслы как нечто отвращающее.

— Послушай, Клава,— сказал он мягко,— бери-ка ты ноги в руки и потихоньку топай отсюда.

Заворушка вдруг ожесточилась, и от ее привлекательного облика не осталось и следа.

— Что, не того поля ягода? Все равно никуда не денешься! — Уходя, повторила: — Покуда!

«Нет, эта бестия знает гораздо больше, чем говорит,— размышлял Николай.— Раз ей известно о размолвке со Светланой, значит, известно и о причине ее. Так как же, каким путем докопаться до истины? Тряхнуть ту же Заворушку? Недостойно. Поговорить с Суrowым? Унизительно. К Светлане не подступить. А что, если по-мужски раскрыться Константину Егоровичу? Он поймет и даст какой-то совет, а может, и окажет содействие. Только вряд ли он в курсе дочерних вывертов. Вот кто наверняка знает все, так это Клементина Павловна но не идти же к ней плакаться».

Когда, отсидевшись в своем укрытии, Николай появился у печи, Вячеслав Чечулин без обиняков осведомился:

— Опять Клавка с жильем набивалась?
 — Вязкая она баба.
 — Переходите ко мне, Николай Сергеевич. Сколько можно в Доме заезжих отираться?

Предложение было заманчивым. И жил Вячеслав близко, и дом у него просторный, и семья маленькая, но Николай отказался. Чтобы смягчить нанесенную обиду, стал объяснять:

— Не хочу подводить вас. Выйдете на первое место в соревновании, заработаете премию — а дело к тому идет, — злые языки сразу и понесут: это потому что начальника пригрел.

— На каждый роток не накинешь платок, — беспечно отмахнулся сталевар. — И что вам до них, до этих самых языков, Николай Сергеевич?

— Допустим, на это начхать. Но есть и другое соображение. По-серьезнее. Я ли уйду отсюда, меня ли уйдут, это ведь не исключено...

— Конечно. Не век же вам тут вековать, — согласился Вячеслав. — Разве это по вас цех?

— Так вот уйду, говорю, а Дранников останется. И что, простит он вам хорошее отношение ко мне? Не из тех он. Будет вымещать зло, пока не насытитсЯ.

— Что верно, то верно, память у него злющая, — согласился Вячеслав. — До сих пор косит на меня, как ворона, что сапоги вам одолжил и на поиски побег.

— Ну вот видите. Мне бы комнатку на нейтральной линии. Чтоб хозяин с цехом... нет, даже с заводом связан не был.

— Знаете, за что вас люди уважают? — пустился вдруг в откровенность Вячеслав, растроганный такой предусмотрительностью начальника. — Вы о них больше думаете, чем о себе. А когда вы на этом ковше клятушем со смертью схлестнулись, тут вас и вовсе вознесли. На что Кроха зуб на вас точил — и тот теперь в пример всем ставит.

Хотя Николай уже знал, что прямые и сдержанные по характеру уральцы на лесть неспособны, похвалы в лоб, даже если они исходили от чистого сердца, всегда оставляли в его душе какую-то оскомину. И он замаял этот разговор, спросив:

— Вячеслав Евдокимович, а что из себя представляет Суров?

— Мастер высокого класса, в этом вы и сами убедитесь, погромнее Акима Ивановича, старательнее Драна.

— Все это я знаю. А как человек? Добрый, злой, честный, подлый? Мне разобраться трудно, я ведь почти не сталкивался с ним.

— Нормальный в общем. Все у него как у каждого, но плохого не замечал. А насчет честности — кто ее испытывал?

Характеристика была довольно неопределенной, и, возможно, потому Николай стал склоняться к мнению, что нити разгадки поведения Светланы тянутся к Сурову.

Едва заводской гудок возвестил об окончании утренней смены, как в конторку к Балатьеву зашла Игнатъевна, зашла, даже не умыв задымленного лица, и, упреждая появление посторонних, накинула на дверь крючок.

— Товарищ заведующий, чтой-то я вам сказать хотела, да все оказии не было, — с ходу начала она. — Давеча, когда мы с утра работали, заходила в цех... ну, Светлана Константиновна ваша, искала вас, видать. А пошла к проходной — Клавка за ней увязалась. Тогда я, простите меня, грешную, работу бросила, хоть генератор был недогруженный, — и следом. Стала у колонны, смотрю: догнала Светлану Константиновну и чтой-то ей... Что — не ведаю, но, видать, пакостное, потому как Светлана Константиновна, ничего не сказавши, повернулась и пошла. Так пошла, как ношу тяжелую на себе потащила. Поимейте это в виду. От ентной стервячей Заворыкиной всего ожидать можно. Она когда мужика в свою башку втемяшит...

— Час от часу не легче,— буркнул Николай, хотя в глубине души был несказанно рад тому, что причина Светланиной немилости хоть как-то прояснилась.

— Подальше вы от ее, окаянной,— продолжала наставлять Игнатъевна.— Ловкая она мужиков привороживать — спасу нет. У нас тут не одна баба от ее обплакалась.

— Меня она не приворожила.

— Так приворожит,— убежденно ответила Игнатъевна.— То ли зелье у ее приворотное есть, то ли ворожея какая на ее робит, только мужика, ежели на него глаз бросила, хоть на одну ночь, а залучит.

— Спасибо, поймею в виду,— оживился Николай и, опасаясь, что выдал себя, поддел: — А у вас что, заведено так — друг на друга наговаривать?

Игнатъевна горделиво подняла голову, молвила с достоинством:

— Не то слово сказали, товарищ заведующий. Несправедливое. Наговаривать — значица, врать. А от меня еще никто лживого слова не слыхивал. Я как мать к вам, а вы...

Уязвленная в лучших своих побуждениях, Игнатъевна круто повернулась и вышла, не закрыв за собою дверь, чтобы начальник понял, какую нанес обиду.

Николай пожалел, что огорчил добрую женщину, и впрямь проявившую к нему материнскую заботу. Вспомнил о своей матери, от которой вот уже полмесяца не было никакой весточки. В последнем письме она сообщала, что завод бомбят, город — не очень, и категорически отказывалась выехать к нему, надеясь, что вот-вот придут невестка с детьми, за которыми отправилась Лариса. Из этого письма он понял, что от брата никаких сведений нет, а где находятся его жена с ребятами и какую роль играет в этой истории Лариса, оставалось неясно. Трудно было допустить, что после всех семейных перипетий Лариса поддерживает отношения с матерью, тем более что с самого начала они не нашли общего языка.

Сообщение Игнатъевны приободрило Николая. Когда знаешь, в чем заключается болезнь, и врачевать ее легче. Теперь у него появилась уверенность в том, что со Светланой все наладится, что они снова станут близкими друг другу, даже более близкими, нежели были раньше.

Но прежде чем явиться к ней, надо было найти пристанище, четыре стены и крышу над головой, чтобы чувствовать себя независимо. Но где его найти? На помощь Кроханова рассчитывать не приходилось, хотя какой-то сдвиг в их отношениях произошел, из сослуживцев никто к себе жить особенно рьяно не звал. И вдруг его осенила мысль: а почему бы не поселиться у Афанасии Кузьминичны, чье подворье забор в забор с Давыдычевыми? Она с семьей живет в доме на четыре окошка, другой, малюсенький, на два, пустует. Если ничего не изменилось, то что может быть лучше такого «особняка»?

Его размышления прервал вошедший Аким Иванович:

— Пропали мы с вами, Николай Сергеевич, ни за понюх табаку.

Положив на стол областную газету, он ткнул пальцем в статью с коротким заголовком «Подвиг» и с подписью — Федос Баских. Секретарь райкома обстоятельно поведывал о халатности, которая могла привести к крупнейшей аварии, и о мужестве людей, ее предотвративших. В адрес инженера Балатьева и обер-мастера Чечулина были сказаны самые высокие слова. Не скупясь на краски, Баских воздал должное их бесстрашию и самоотверженности.

— Так что тут плохого? И почему мы пропали? — недоуменно спросил Николай.

Аким Иванович взглянул на начальника так, будто тот сказал что-то чудное.

— Эх, Николай Сергеевич, вы ровно дитятко малое. Не простит нам Кроха такой почести. О нем, о директоре, хоть бы когда словечко

доброе, а нас с вами во как подняли! — Аким Иванович для образности вытянул вверх руки. — Надо всей областью. А самое страшное, что из этой статьи значится, так это — вот у тебя, директор, какие на заводе безобразия, что людям приходится живот свой класть.

Николай передвинул кепку со лба на затылок — жест, который перенял у Акима Ивановича и который означал озадаченность.

— Мои заслуги он явно преувеличил.

На эти слова Аким Иванович снисходительно усмехнулся. Сказал, что лежало на уме и просилось с языка:

— Тут все не зазря, Николай Сергеевич. Тут каждое лыко в строку. Статья эта с дальним прицелом. Баских давно метит Кроху погнать. Только вот... В общем, вопрос — кто кого раньше: он Кроху или Кроха вас.

Афанасия Кузьминична была крайне удивлена, когда Балатьев появился в ее доме. Выслушав просьбу, горестно всплеснула руками и запричитала:

— Где же вы раньше были, чего раньше не отозвались? Я только три дни как вакуированную туда с двумя детенками приняла. От незадача какая вышла... Вам хорошо было б и соседи б возрадовались.

Кузьминична огорчилась искренне, и это еще больше расстроило Николая. И впрямь в том домишке жить ему было бы всего удобнее. Когда пришел, когда ушел — никому никаких беспокойств. И как он раньше про это убежище не подумал? Скорее всего потому, что Кузьминична была ему неприятна.

Уходя, с грустью посмотрел на дом Давыдычевых, в стенах которого ему бывало так тепло и радостно, и пожалел, что не удалось поселиться рядом. Теперь он был уверен, что примирение все равно наступит, и так удобно было бы забегать друг к другу.

Подошел уже почти что к центру поселка, когда до ушей донесся детский голос:

— Дядя Николай! Дядя Николай!

Оглянулся. К нему прытко мчалась девочка в распахнутом ватнике и в валенках на босу ногу.

Подбежав, схватила за руку, тараща светлые глазенки со светлыми же ресничками, и выпалила в счастливом возбуждении:

— Мамка сказала, чтоб ворочались.

— А квартиранты как?

— К себе в дом заберем. Все одно харчи таскаем, будем одним котлом жить. Так перейдете? — Девочка замерла в ожидании согласия.

Николай потрепал ее по щеке.

— Тебя как звать?

— Надька.

— Чего ж это ты — мамка, Надька? — пожурил Николай, застегивая пуговицы на ватнике. — Скажи маме, Наденька, от меня спасибо. Обязательно перейду.

Стыдно стало ему перед собой. Составил себе представление о Кузьминичне по двум незначительным фактам, а сердце у нее оказалось добрейшее. В такую лихую годину при наличии своих детей принять в семью еще три рта — вот чем определяется человек, а не каким-то невинным беззлобным любопытством.

В субботу вечером Николай перетащил свой скарб в протопленный, хотя пока еще не натопленный домик. На бревенчатой нештукатуренной стене над высокой деревянной кроватью повесил ружье, умылся в кухоньке над тазом из звонкого медного рукомоиника, утерся свежим, пахнущим морозцем домотканым рушником и, усевшись на скамью у некрашеного, но чисто выскобленного стола, ощутил ни с чем не сравнимое блаженство — наконец-таки у него появился свой угол. Никто сюда не ввалится, не будет галдеть днем и хранить среди ночи, никто не станет докучать разговорами. Даже трогательная за-

бота Ульяны стала ему невтерпеж. Что нет телефона — не беда, поставят — линия рядом, а пока будут вызывать из цеха нарочным, как повелось здесь издавна. Хуже, что нет радио. Без радио все равно что во тьме. Сейчас его не выключают с утра до ночи даже те, кто никогда ничего, кроме музыки да песен, не слушал. Что ж, пока он насладится тишиной и покоем, создававшими иллюзорное ощущение, будто все житейские вопросы решены и никакие мытарства не ждут его впереди. Его состояние чем-то походило на состояние странника, который после долгого мучительного пути наконец обрел желанный приют.

Утром он брился уже не согнувшись в три погибели против маленького висячего зеркала в металлической рамке, которое Ульяна повесила для себя, а стоя в полный рост. Огладив подбородок рукой и убедившись, что он чист, внимательно рассмотрел свое осунувшееся за эти военные месяцы лицо и нашел, что не так уж оно изменилось. И норовистости не убавилось, и глаза не утратили живости. И вдруг у него появилось отчаянное желание увидиться со Светланой. Да, да, сейчас же, не откладывая больше ни на день и даже ни на час, выяснить все и закончить с этим разладом. В воскресенье она наверняка дома, ну а он ради такого случая явится в цех позже.

Решение, родившееся столь внезапно, вызвало смешанное чувство суматошной радости и тревоги — от этой чудесной, но взбалмошной девчонки можно было ожидать чего угодно. Заторопился так, точно от скорости его появления зависел исход встречи. Поспешно достал из чемодана чистую, хоть и изрядно примятую рубашку, натянул ее на себя, облачился в единственный выходной костюм и выскочил, даже не накинув на плечи пальто. Долго ли тут — из калитки в калитку.

Его визит особого удивления не вызвал, отсутствие верхней одежды тоже — Афанасия Кузьминична уже успела похвастаться жильцом, однако Клементина Павловна все же заметила, что так и простудиться можно.

— Ну уж — простудиться! — возразила Светлана тоном, не окрашенным никакими эмоциями. — Николай Сергеевич не только огнеупорный, но и хладостойчивый.

Николай пожал супругам руки, а Светлане не посмел — кто знает, как она поступит. Заметив его нерешительность, Светлана сама протянула ладошку, а на настороженно-вопросительный взгляд ответила легкой улыбкой.

— От имени нашей маленькой, но дружной семьи горячо поздравляю вас, Николай Сергеевич, — торжественно произнес Константин Егорович. — После такой статьи, может, и орденом наградят.

— Эх, Константин Егорович, — вздохнул Николай, — у металлургов еще не такое бывает. И награждать за подобное... Монетный двор не управится.

— А что вы насчет утренней сводки скажете?

— Я и вчерашней не слышал. В моем дворце радио нет.

— О, сейчас репродуктор не достать, — вторглась в разговор Клементина Павловна. — Самый дефицитный и дорогой товар. Два мешка картошки предлагают — и то не отдают. Впрочем... Постойте, постойте. В чулане у нас валяется какой-то подшибленный. Если сможете починить...

— А почему же не сможет, — ответила за Николая Светлана. — Печи спасает, а чтоб какую-то там говорящую шкатулку до ума не довести... Присаживайтесь, соседка, будем чай гонять.

— Ожесточенные бои под Киевом, — доложил Константин Егорович чуть ли не с отчаянием в голосе. — Похоже, что не сегодня-завтра...

Известие ошеломило Николая неожиданностью. За какие-то сутки такое ухудшение на фронте. Понуро склонился над стаканом.

— Под Брянском отбросили, а на Украину жмут, не дают опом-

ниться,— продолжал Константин Егорович.— Что ж это получается? Тринадцатого — Кременчуг, четырнадцатого — Чернигов. Если так пойдет, то до конца сентября как бы в Донбасс не вскочили.

— Ничего, ничего, будет и на нашей улице праздник,— бодрячески молвила Клементина Павловна, но по пригасшему взгляду ее чувствовалось, что запас оптимизма, каким была переполнена в начале войны, сильно поиссяк.— А что слышно от ваших, Николай Сергеевич? Семья брата нашлась?

— Нет, все еще полное неведение.— О том, что на выручку к ним отправилась Лариса, Николай, естественно, умолчал.

— Как бы мама ваша вместо родичей гитлеровцев не дождалась,— высказал опасение Константин Егорович.

— Что ты, па! — возмутилась Светлана.— Отдать Донбасс — это проиграть войну.

Николай:

— Я тоже считаю, что Донбасс не отдадут ни в коем случае. Весь уголь, вся металлургия юга... Без этого — труба...

Кивок Светланы Николай воспринял как награду за единомыслие.

Заметив, что гость ни к чему не притронулся, Клементина Павловна придвинула к нему тарелку с оладьями.

— Хоть и пополам с картошкой, а все-таки съедобны.

— А сметанка? Николай Сергеевич гурман.— Опередив мать, Светлана одобрила оладьи.

Этот жест Николай истолковал как хорошее предзнаменование. Похоже было, что восстановление мира не потребует от него тех усилий, к каким приготовился. И все же его не оставляло опасение, что Светлана вежлива только при родителях, а стоит им остаться вдвоем — и маска радушия слетит с нее. Он уже знал, каким беспощадно-жестоким бывает ее лицо, какой ледяной тон приобретает голос, когда чувствует или даже полагает, что ее женское самолюбие уязвлено.

Глава семейства снова ударился в рассуждения о войне, но Клементина Павловна прервала его:

— Дочь говорит, Николай Сергеевич, что Кроханов резко изменился к вам.

— Это было временное потепление. Теперь, после статьи...

— А что после статьи? — непонимающе уставился на Николая Константин Егорович.— Сейчас вы как корабль, защищенный броней.

Николай скептически прищурил один глаз.

— Чем толще броня, тем мощнее торпеду для нее подбирают.

— А вообще как он?

— Непоследователен, как всегда, шарахается из стороны в сторону. Болезненно тщеславен, как всякий малокультурный человек, достигший определенного положения... Ну а что касается речи... Ни одной нормальной человеческой фразы, сплошные словесные выкрутасы вроде «в Донбассе я вращался с лучшим обществом». Каково?

— А это чем не перлы: «У нас в продмаге жаждущая обстановка», «Вами довлеют мрачные чувства», — добавила Светлана.— А все потому и только потому, что из кожи вон лезет, чтобы доказать свое превосходство, пыль в глаза пустить.

Переглянувшись с мужем, Клементина Павловна сообщила, что им нужно проведать занемогшую учительницу, и заторопилась, даже не убрав со стола посуду.

Их уход Николай воспринял как маневр, чтобы оставить молодых людей наедине, и был преисполнен признательности за проявление такого такта.

— У меня в детстве был пес,— подперев голову руками и не глядя на Светлану, заговорил Николай уже после того, как хлопнула калитка.— Когда он чувствовал себя виноватым, его можно было ударить, а если нет...

— Начинал скалить зубы?
 — Не подходил, пока не позовешь.
 — Для чего такое уничижительное сравнение?
 — Собаки — существа с очень чистой душой.
 — Не поняла.
 — То, что сболтнула Заворушка...
 — Сболтнула или соврала?
 — Какая разница?
 — Огромная. Сболтнуть — значит, проболтаться, выдать тайну, сказать правду. Соврать — придумать несусветицу, оговорить, оклеветать.

— Соврала,— поправился Николай, поняв, что слишком слабым словом назвал подлый провокационный поступок Заворушки. При взаимной настороженности в словах необходима такая же точность, как в математике.— Соврала. Самым бесстыдным образом. Но меня не столько это удивляет, сколько то, как ты могла поверить. Представь себе на секунду: не подгляди случайно Игнатьевна, что с тобой разговаривала эта стервоза, да не надоумь меня...

Светлана долго молчала, затем лицо ее залила краска смущения, затем в глазах появилось виноватое выражение. Заговорила покаянно:

— Знаешь, Коля, когда тебя бьют обухом по голове, то, чтобы очнуться, нужно время, а иногда и помощь. Если можешь, забудем об этом эпизоде. Вычеркнем из памяти, будто его и не было.

— А его и не было,— с жаром подхватил Николай.

8

Порой война виделась Балатьеву как небыль, кошмар, наваждение. Мысли о ней неотступно сверлили мозг всегда, всюду, где бы он ни находился — в цехе, на улице, дома,— не оставляли даже во сне. Как никогда часто стала сниться мать, страдающая, плачущая, беззащитная. Балатьев просыпался измученный, выжатый, требовалось время, чтобы войти в норму.

И все же у него начался наиболее благополучный период уральской жизни. Не пропали зря полуночные бдения у печей, бесконечное пребывание в цехе. Принесла реальные плоды и терпеливая кропотливая работа с людьми. Не на ошибках учил их Балатьев, а предупреждая ошибки. Теперь независимо от того, находился ли он в цехе или нет, каждый на своем месте знал, как поступить в том или ином непредвиденном случае. Сложная технология была прочно закреплена, плавки выпускались только по заказу. Он обходил цех с тем острым чувством радости, какое испытывает настройщик, вслушиваясь в звуки хорошо налаженного инструмента, и думал о том, что, если бы вот так все шло и дальше, можно было бы ослабить все еще туго натянутые нервы и не доводить себя до изнеможения.

По натуре человек отзывчивый и чуткий, Балатьев и в цехе насаждал атмосферу доброжелательности и взаимоуважения. Еще в ту пору, когда он работал подручным сталевара, его идеалом были руководители, мягкие в обращении, деликатные, излучавшие тепло и в то же время умевшие взбодрить и острым словом и хлесткой шуткой, что в условиях горячего цеха освежало, как глоток воды. Такие попадались редко, и ценили их рабочие безмерно. Их стиль, их манеру поведения усвоил Балатьев и всячески прививал другим. Мужской персонал этот стиль взаимоотношений усваивал легко — он вполне соответствовал принципам уральского рабочего, воспитанного на взаимовыручке. Даже шумливый и ругливый Дранников поутих и редко когда срывался на крик, а мрачноватый, замкнутый Суров, оказалось, умеет улыбаться и если не пошутить, то подхватить шутку или отшутиться. Труднее поддавались воспитанию женщины. Игнатьевне, например, невозможно было втолковать, что ей, почтенной матери се-

мейства, не следовало бы при всем честном народе высказывать Заворушке все, что думает о ней, тем более в форме, которая выходила за пределы обычной перебранки. И все же раздоры между женщинами происходили реже, чем раньше, когда никто из руководителей не обращал на них внимания.

Не забывал Балатев и про ад под рабочей площадкой, где делали свое дело шлаковщики. Он был первым начальником цеха, кто стал спускаться к ним, чтобы установить, в каком состоянии находятся шлакоприемники, и, если нужно, помочь. После того как наладили вывоз шлака вагонетками и забыли про носилки, а также благодаря наступлению холодов работать в этой преисподней стало легче, и все равно условия оставались тяжелыми. Балатев чувствовал себя чуть ли не виновным перед шлаковщиками, но больше ничем помочь не мог — специфика старого цеха не позволяла сделать еще что-либо для облегчения их труда.

Теперь Балатев перестал быть притчей во языцех на заводских рапортах. Кроханов не то чтобы возблаговолит к нему, но придирается по каждому незначительному поводу перестал и даже, случалось, ставил в пример другим руководителям. Однако на историю с сырым ковшом он так и не среагировал, не наказал виновных, не поощрил подвижников. Не устраивало его, чтоб в Главуралмете, куда посылаются копии всех приказов, узнали о грубом нарушении технологии подготовки ковшей и, главное, о самоотверженном поступке начальника мартеновского цеха.

Четко налаженное производство позволило Балатеву несколько перекроить свой распорядок дня. В цех он по-прежнему приходил к семи утра, чтобы лично проверить работу ночной смены и пообщаться с людьми, принимал сам и дневной рапорт, а по вечерам использовал для этого телефон либо свой домашний, либо Давыдычевых. В этой семье он стал бывать почти ежедневно. Светлана обычно возвращалась домой к пяти часам, так как Кроханов после четырех в заводоуправлении не задерживался, а чета Давыдычевых появлялась дома поздно. Константин Егорович тоже стал преподавать в школе, заменив ушедшего на фронт учителя истории. Занятия с начала учебного года из-за недостатка педагогов — в армию призвали не только мужчин, но и женщин, окончивших курсы медсестер, — велись в две смены, и оставшимся приходилось нести двойную нагрузку.

Иногда два, а то и три часа Николай и Светлана проводили вдвоем. Это были истинно радостные часы. Они непринужденно болтали, постепенно раскрываясь друг другу, узнавая друг друга, с удовольствием читали вслух стихи и занимались хозяйством, что создавало иллюзию семейной общности. Николай выполнял мужскую работу — колол и приносил дрова, топил печи, лазил в погреб за овощами. Светлана готовила еду.

— Все же тебе повезло, — подшутила как-то она. — Хорошо, что у нас нет коровы, а то пришлось бы и хлев убирать.

— Вот как раз не повезло, — в тон ей ответил Николай. — Молочко попивал бы. К тому же идеал невесты по местным представлениям, да еще в военное время — девушка с коровой.

— Но и ты не очень чтоб жених. Ни подворья, ни одежды. Вон у Эдуарда дом двухэтажный, корова, лошадь, свиньи, туфли расписные...

Кончился их шутейный разговор взрывом смеха и поцелуями.

И все же Светлана медленно избавлялась от тягостного ощущения пережитого, от въевшегося в душу горького чувства обиды и разочарования, которое испытала, поверив в виновность Николая. Настороение ее иногда менялось час от часу. То непосредственно, мила, шаловлива, то настороженная, замкнувшаяся. В такие мгновения Николаю казалось, что не было у них ни горячих признаний, ни рассудительных разговоров о будущем, что ее расположение нужно еще за-

воевать. Проявление чувств сдерживалось и ощущением временности их отношений, поскольку Светлане предстояло уехать на учебу. Однако мало-помалу здравый смысл взял свое, а отъезд отодвинулся на неопределенное время. От воронежской подруги Светланы пришло очередное письмо, в котором та сообщала, что немцы стали нещадно бомбить город, что институт готовится к эвакуации, но когда это произойдет и где он обоснуется, пока неизвестно. Возможно, в Татарии, а возможно, где-то в Средней Азии. Николай несказанно обрадовался тому, что Светлана остается, да и Светлану не очень огорчил такой поворот событий. Теперь в те счастливые вечера, когда они подолгу оставались вдвоем, поцелуи их становились все жарче, объятия все сильнее. Постепенно даже мысль о надвигающемся появлении родителей становилась им в тягость, и однажды, когда кровь забурилась особенно горячо, Николай, с трудом оторвавшись от губ Светланы, сказал:

— Пойдем ко мне.

И она пошла. Без жеманства, без ложной стыдливости, ясно понимая, что им уже не жить друг без друга.

Запершись в крохотном домике, они долго стояли, иступленно целуясь, испытывая блаженство от сознания, что в эти их владения никто не вторгнется, что они изолированы от всего мира. Когда Николай стал порывисто расстегивать пуговицы на платье, Светлана отстранила его.

— Я сама. А ты...

Он знал, что женщины стыдятся полураздетости больше, чем наготы, и покорно вышел в кухню. Вернулся, когда услышал, что Светлана улеглась. Закрывшись одеялом до самого подбородка, она смущенно улыбалась, а глаза светились ожиданием.

Часть третья

1

Вечером, когда Балатьев слушал сводку Верховного Главнокомандования, он испытал такое сильное нервное потрясение, что почудилось ему, будто разом померк свет: пал Донбасс.

Богатейший край предстал в его воображении мертвым. Бездымные трубы, затихшие заводы, замершие копры шахт, недвижимые поезда, степь без привычного зарева от городов и поселков, от сплохов заводских огней, и повсюду орды беснующихся варваров, беспощадные ко всему живому, одержимые манией разрушения и истребления.

Всю эту ледящую кровь картину он увидел как бы целиком, сверху, с высоты поднебесья.

Пал Донбасс... Значит, страна осталась без донецкого угля, без донецкого металла, без донецких химических и военных заводов, без донецкого хлеба, без всей той многочисленной трудовой армии, которая добывала уголь, плавала металл, крепила оборону, растила хлеб. Что будет с ними, не вырвавшимися оттуда, не получившими такой возможности? В кровавой сутолоке событий далеко не все могли избежать страшной участи оказаться во власти врага. Слишком стремительно наступали фашистские полчища, слишком много надо было сделать на оставляемых территориях, чтобы захватчики не распорядились их богатствами. Пренебрегая опасностями, эти люди до конца, до самых минут вторжения гитлеровцев несли верную службу отчизне и обрекли себя на неслыханные мучения.

Пал Донбасс... Значит, вся тяжесть снабжения военных заводов ляжет теперь на плечи шахтеров и металлургов Востока, на плечи магнитогорцев, кузнечан, уральцев. Выдержат ли они то сверхчеловеческое напряжение, для которого не подготовлены в полную меру?

Пал Донбасс... Как восполнить эту потерю морально? До сих пор, хотя жертвы были неимоверно велики, надежда на поворот событий не оставляла людей. Но отдать Донецкий угольный бассейн, источник жизненной силы страны, лишиться множества предприятий, наиболее мощных, наиболее оснащенных,— это представлялось чудовищным. А подспудно ноющей болью отзывалась в сердце мысль о матери. Как она там, одинокая немолодая женщина, истерзанная думами о сыновьях, особенно о Михаиле, затерявшемся в пучине войны, о внуках Славе и Любочке и невестке — очевидцах всего того, что не способно нарисовать самое изощренное воображение?

— Мама, мама...— вырвалось у Николая.— Славная моя, дорогая мама...

Стало знобить. Чтобы согреться, вскипятил и заварил чай, налил большую кружку, выпил, обжигая губы, однако озноб не прекратился.

Лег в постель, плотнее укутался одеялом, и вспомнилось ему, как летел ночным самолетом над Донбассом и не отрываясь смотрел на трепещущую россыпь огней внизу, такую нескончаемую, что ее можно было принять за звездное небо в сильный мороз, когда небесные светила всего гуще и ярче, и вслед одна за другой перед глазами стали возникать панорамы заводов. Раскинувшийся вдоль большого водоема Макеевский с башнями доменных печей и воздухонагревателей, с корпусами бесчисленных цехов, с гигантским силуэтом коксохимического завода, над сушилкой которого то и дело поднималось белоснежное облако пара, означавшее, что процесс идет бесперебойно. Потом проплыла панорама «Азовстали», проплыла такой, какой запечатлелась из окна поезда,— величавый завод этот протянулся по берегу моря на добрый десяток километров. Вспомнились и заводы поменьше — Краматорский, имени Ильича, Сталинский. Даже самый маленький из них, Константиновский, давал металла неизмеримо больше, чем злополучный Чермызский, на который занесла судьба. Вспомнилась и столица Донбасса, бывшая Юзовка, преображенная в большой красивый город, как горной цепью окольцованный остроконечными терриконами бесчисленных шахт.

Поняв, что успокоиться не удастся, что одному в таком состоянии оставаться нельзя, оделся и пошел в цех.

Ночь была неуютная, беспокойная, и к холоду внутреннему добавился холод извне. Подхлестываемый налетавшими порывами ветра, Николай быстро дошел до цеха и с удовольствием окунулся в тепло, исходившее от печи. Чтобы не маяться без дела, достал рамку с синим стеклом, стал смотреть на неугомонно беснующееся пламя.

Кто-то подошел к нему сзади, остановился.

— Стекло у глаз, а ведь ничегошеньки не видите... Выпускать под утро будем.

Обернулся. Это был Аким Иванович.

— Мне ваши глаза в стекле, как в зеркале, видны,— объяснил он свою фразу.— Далеко отсюда были?

— Далеко,— признался Николай.— Все уже, конечно, знаете.

Аким Иванович пригорюнился.

— Вот же страсти какие... Я, услышавши, что макеевское направление исчезло, первым делом о вас вспомнил. Подкосит, думаю, вас эта весть...

— Да-а, весть...— Николай сунул стекло в карман. От Акима Ивановича этой ширмой не прикроешься, да и ни к чему прикрываться.

— Вот вам и война малой кровью, на чужой территории...— В голосе Акима Ивановича не столько упрек, сколько щемящая грусть.— Свою оставляем, своей кровью заливаем... Э-эх, просчитались в чем-то, сильно просчитались... Вот вы образованный человек, Николай Сергеевич. Как вы думаете, куда все повернется?

— Не знаю. Тут хоть бы сам факт осмыслить, а что касается прогнозов...

Аким Иванович помолчал, злобно нахмутив закосматившиеся от постоянного теребления брови, потом сказал:

— Я не насчет прогнозов хотел. Прогноз один: под Гитлером народу нашему не быть! Пришел незванный — уйдет драный. Так драпака дадут, что небу жарко будет! Нам не впервой с антихристами лбами сшибаться. Сколько их было, охочих до нашей земли, а хоть кто удержался? Так насчет этого меня нисколечки сомнение не берет. Ожгутся. Как пить дать. Я только вот...

Николай снова притормозил Акима Ивановича. Но выложиться хотелось обоим, и разговор не угас.

— Хороший имели б мы вид, не построй в свое время Магнитогорска да Кузнецка,— сказал Николай.— Представляете? Один Урал остался бы. Старый седой Урал. Что это значило бы, не вам объяснять.

— Урал с уральцами,— самолюбиво поправил мастер.— А какие они...

— А какие? — с повышенным интересом спросил Николай. Его подмывало услышать, как подаст своих одноземельцев Аким Иванович, местный старожил и патриот.

Чечулин заносчиво хмыкнул.

— А такие, что все выдюжат, хоть кто навалился. Край наш строгий, суровый. Каждая зернинка хлеба, каждая картофелина с трудом дается. А дрова? Их тут не купишь. Наруби, приволоки, да почти что на себе. А сено? Попробуй покоси на лесных делянках, лозой поросших. Вот и вырос тут народ духом сильный, неприхотливый. Его хоть в прорубь, хоть в пекло к дьяволу...— Неожиданно хмыкнул.— Я знаете когда в бога перестал верить?

— Откуда мне знать?

— У меня отец с матерью шибко набожные были, адом на том свете и себя и детей своих девятерых стращали. А я когда подрос да к нашему брату уральскому мужику присмотрелся, тут меня и взяло сомнение насчет ада. Ежели и был когда, то мужики наши таких там чертей чертям дали, что ни одного не осталось. А коли ни одного и некому боле огонь поддерживать в геенне огненной, знать, и ада не стало. Вот так я с адом для себя решил, ну и с раем в одночас тоже. Так и в бога веру потерял.

Всерьез ли говорил Аким Иванович, подтрунивал ли над самим собой, а то и над собеседником или уводил от мыслей, которые наваливались, как только появлялась для них лазейка, понять было трудно, но Николай с удовольствием слушал его.

От ада и бога разговор невзначай перешел на Кунгурскую ледяную пещеру, потом на Кизелковскую, где обнаружены настенные рисунки древнего человека и бело-розовый жемчуг, от пещер на птиц — как высиживают яйца садовая сойка и грачи, от птиц на рыбу редкостную — на омуля, когда и почему стал переводиться. Все-то знал Аким Иванович, все-то ведал. Дай ему волю — заведется безостановочно, чего только не обскажет.

В контору заглянул подручный, протянул Акиму Ивановичу откованную плюшку. Взглянув на нее, тот вышел.

Балатьев остался один, и опять острой болью отозвалось в сознании: нет Донбасса. Мысленно прошелся по рабочей площадке макеевского цеха. От печи к печи. Сталевар Михальченко, подручный сталевара Чемоданов, мастер Шерстюк. Где они сейчас? Кое-кто, конечно, на фронте. А те, кто стоял у печей до последнего часа? Успели вырваться или нет? А если нет, то что они будут делать? Затаятся, отсиживаться станут или найдут какие-то способы борьбы с врагом?

Вспомнил о Ларисе и даже устыдился, что забыл ее так прочно. Что ни говори, жена, его фамилию носит. Как она? Эвакуировалась или осталась?

Ответить на этот вопрос определенно он не мог. Лариса особым патриотизмом не отличалась, впрочем, и проявлять его было не на чем и проверять незачем. Да и можно ли считать всех, кто не уехал в тыл, непатриотами? По разным причинам не могли выехать люди, даже желая того. Многие расценивали обстановку примерно как Клементина Павловна, женщина, в общем, неглупая: война эта быстротечна, вот-вот кончится, а если так, к чему огород городить, бросать на разграбление имущество, подвергать себя и родных опасности в дороге, тащиться в незнакомые дали, и все для того, чтобы вскоре вернуться к разоренному гнезду. Лучше перетерпеть, переждать, дома и стены помогают. Мужчины в этом отношении существа более беззаботные. Вот он сам, когда уходил из дому, что взял? Одежду, какая попалась под руку, да ружье. Хорошо хоть осеннее пальто прихватил, иначе имел бы вид...

Впрочем, вид у него был не из лучших. Уральцы уже ходили в полушубках, в меховых шапках, кое-кто залез в катаные валенки, или попросту катанки, а он щеголял в демисезонном пальто, в кепке и ботинках. Благо закала была спортивная и вдобавок мартеповская: от жаркой печи на холода — дело привычное. Более чем кого-либо одежда начальника беспокоила Акима Ивановича. «Да тряхните вы Кроханова, не протянете ж так зиму, — не раз советовал он. — На заводском складе все есть. А то как ударит под пятьдесят, как пролезет под шкуру...»

Вот и сейчас, заметив, что начальника бьет озноб, Аким Иванович встревожился — долго ли до беды? Исчезнув куда-то, принес в двух колбочках спирт и самогон, извлек из свертка, который захватил из дому, кусок сала, проткнул его проволокой и, поднеся к гляделке заводского окна, принялся жарить, подставив под него ломоть хлеба, чтобы ни одну каплю не уронить.

В конторке они устроили *сущее* пиршество — жареное сало, черный хлеб, соленые огурцы да еще шаньги с картошкой, сдобренной жареным луком. Спирт Аким Иванович отдал Николаю, сам же за компанию чуть отхлебнул самогону.

— Откуда спирт? — любопытствовал Николай.

— Свет не без добрых людей, — сначала уклончиво ответил Аким Иванович, но, чтобы не обижать начальника недоверием, незамедлительно признался: — В лаборатории разжился. Ничего, там Дран всегда пасется — они с Макрушиным закадычные.

— А самогон?

— Они же дали. Что этого спирта, говорят, ежели заболел. Для хорошего человека... Дома-то у меня завсегда есть — водки не стало, приходится, грешным делом... Зайдет кто — ну как не угостить? Да и самому, бывает, страсть как захочется. Особенно ежели услышу... Э-эх! — Аким Иванович сделал такую закорючку рукой, что даже воздух дрогнул. — А знаете, когда мужик наш стал самогон гнать?

— Думаю, с тех пор как Русь появилась, — с улыбкой ответил Николай.

— Вот уж нет, не с давних давен, представьте себе. С войны четырнадцатого года, когда правительство издало сухой закон и водка с продажи начисто исчезла. — Чечулин знаком предложил Николаю допить оставшийся спирт, подсунул еще прожаренного сала, еще кусок просаленного хлеба. — Ешьте, да смотрите не ожгитесь.

— А закадычные — знаете, как произошло это слово? — решил внести Николай и свою лепту в водочно-самогонную тему.

— Не-е.

Николай чиркнул пальцем по шее.

— За кадык заливать.

— Хо-хо! — деланно хохотнул Аким Иванович. — Вон откуда!

Он с отеческой нежностью смотрел на начальника, аппетитно

похрустывавшего огурцом, и, о чем-то сокрушаясь про себя, задумчиво вздыхал.

— Неудобно мне под хмельком ходить, — смущенно проговорил Николай, по-своему расценив этот взгляд. — Репутация...

— Хорошую репутацию глотком спирта не испортишь, — философски заметил Аким Иванович. — А что касается хмеля — так его вы и не почувствуете. Спирт сейчас до головы не доберется. Весь на обогрев тела и души пойдет.

И действительно, хоть выпил Николай с полстакана, голову даже не затуманило. Согрелся только и малость приободрился. А вернее, не столько спирт согрел, сколько участие, в котором нуждался сегодня более чем когда-либо.

Вскоре началась доводка плавки. Она поглотила все внимание. Металл капризничал, не давался. Плюшка отковывалась с рванинами по краям — серы оказалось многовато. Предстояло работать со шлаком и греть, греть...

2

Кама стала прочно и надолго. Отправка металла баржами прекратилась, теперь его возили на склад, где он накапливался и накапливался. Обещанные Селивановым грузовые машины не появлялись, и причина тому могла быть одна: ему не удалось добыть грейдеры для очистки дороги от снежных заносов. Работа на склад мало радовала Балатьева — очень уж она расхолаживала людей. Если раньше их подстегивало сознание, что металл с ходу идет в дело, то теперь у них крепла уверенность, что продукцию начнут отправлять с открытием навигации, через полгода. «К тому времени наша пульная никому не будет нужна, — слышались разговоры. — Лучше бы кровельное лить — сколько сгоревших домов восстанавливать придется».

И все же настал день, когда десять грузовых машин пробились в Чермыз. Остановившись на площади, они выдали первый груз — из каждой кабины по одному, по два эвакуированных, в заводе сбросили второй груз — первосортный металлолом, и подъехали к складу принимать стальную полосу и лист.

В обкоме рассудили по-хозяйски: металлолома до весны в Чермызе все равно не хватит, особенно хорошего — тяжеловесного, габаритного, и зачем гонять туда машины порожняком, если их можно использовать в оба конца.

Шофер головной машины, малый с девичье-нежным лицом в шлеме танкиста, с повышенным интересом оглядев Балатьева, передал ему записку. В ней наставительные и обзывающие слова: «Не обольщайтесь, Николай Сергеевич, думая, что всегда будете получать такую отборную шихту. Пойдет и стружка, тут уж не до жиру... Проследите, чтоб завод организовал выгрузку-погрузку за минимальное время, сигнальте, если что не так, я нажму на Кроханова отсюда. Спасибо за победу над ковшом. Селиванов».

— А вот это директору завода, — сказал водитель, вручая Балатьеву пакет с пятью сургучными печатями.

— Как дорога? — поинтересовался Балатьев.

На лице водителя появилось такое выражение, будто он укуса хлебнул.

— Хуже некуда — спуск, подъем, спуск, подъем. По хорошей на спуске прижмешь, на подъем по инерции выскочишь, а на этой на спусках тормозить приходится — ухаб на ухабе, на подъем еле вылезешь. — Он безнадежно махнул рукой и сплюнул в сторону.

— А что в городе?

— Гудит, как пчелиный улей. Людно слишком. Здание речного вокзала для эвакуированных отвели, коек не хватает, на полу матрацы разложили — покоем спят. Во Дворцах культуры та же картина.

Некоторые уже дважды эвакуированы — из Белоруссии в Донбасс, из Донбасса сюда. Как бы не пришлось в третий...

— Ну-ну,— урезонивающе произнес Балатьев, хотя у самого такой уверенности не было.— А вот и директор.

Вдали шествовал Кроханов. В белых фетровых бурках, в новеньком дубленом полушубке и в огромной меховой шапке, как нельзя лучше подходившей к его дородному лицу, он выглядел весьма величественно.

Водитель посмотрел на директора, потом окинул взглядом с ног до головы начальника цеха, снова взглянул на директора и, забрав пакет, пошел ему навстречу. Откозыряв и передав пакет, повел какой-то разговор. О чем шла речь, Балатьев понять не мог, заметил только, что Кроханов наливается краской. Сначала у него краснели нос и уши и уже потом щеки.

Водитель со своими ребятами отправились в столовую, а все еще не открасневший Кроханов подошел к Балатьеву.

— Ну что, уличил момент, накапал? — прошипел он, вскинув голову и глядя на Балатьева как бы сверху.

— Кому?

— Брось невинность корчить! Шофер что, из своей головы спросил, почему ваш герой таким шаромыгой ходит?

Балатьев не выдержал, рассмеялся.

— Ей-богу? Вот молодец парень! — И еще не заглушив смеха: — Можете не верить, только я и не заикнулся. Это он... из классовой солидарности.

Глаза Кроханова засветились грозной синевой.

— А у тебя что, корова язык проглотила? Пришел бы, сказал: так и так. У меня вас вон сколько.— Сделал широкий жест, как бы обводя завод рукой.— Что я, про каждого догадываться должен?

И фальшивое «сказал бы», и жест самодержца, и уничтожительное «у меня вас» разозлили Балатьева.

— Я у вас комнату просил, а что толку?

— Комнату! — пробубнил Кроханов.— На складе у меня комнаты нету, а одежда есть. Пойдешь получишь.— Окинул Балатьева оценивающим взглядом.— Пододенешься — в одночас куда каким красавцем станешь. А то совсем на героя, что в газете прописали, не похож.— И вдруг небрежным движением пальца позвал к себе бригадира грузчиков, с важным видом стоявшего неподалеку.

Когда, путаясь в огромных валенках, тот приблизился, ошаршил вопросом:

— Ты политминимум сдавал?

— Ну сдавал.

— Что такое прибавочная стоимость, знаешь?

Грузчик растерянно замигал глазами, не понимая, куда клонит директор и что ему вообще нужно. Ответил уклончиво:

— Ну, примерно...

— Так вот смотри. Тут у тебя грузят, а вон там раскуривают. От этого стоимость металла прибавляется, что и есть прибавочная стоимость.

Чуть не поперхнувшись от сдерживаемого смеха, Балатьев пошел прочь, чтобы не мешать Кроханову демонстрировать свои познания в политической экономии.

На материальном складе он появился раньше, чем туда позвонил директор. Огромный детина с лоснящимся от жира лицом — такому бы на шихтовом дворе чугунные чушки ворочать,— переговорив с Крохановым и убедившись, что инженер не плурует, допустил его к осмотру своих владений. Полушубки и пимы лежали навалом.

Балатьев выбрал себе то и другое по размеру и унес не надев. Странно было ему показаться в поселке в этом северном одеянии, хоть сколько-нибудь не свикши с ним.

Минуло всего десять дней, как Светлана перешла к Николаю, а у них уже сложился свой быт и свой характер отношений. Они легко, без всяких усилий приспособились друг к другу, легко чувствовали себя друг с другом, и общий настрой, возникший сразу, лирический и гармоничный, ничем не нарушался.

Если б не грусть, которую испытывали, расставаясь по утрам, и не жгучая радость, охватывавшая обоих при встрече после работы, могло показаться, что семейное их гнездо свито давно и не было того времени, когда жили они порознь.

Целый день Николая согревало ощущение, что его ждут дома, ждут с нетерпением, отсчитывая минуты, — ощущение почти неизведанное и потому особенно ценное.

Если только не предвиделись какие-либо осложнения на работе, Николай возвращался к семи, чтобы хоть нанемного продлить счастливое время общения со Светланой. А вот сегодня он появился на целых полчаса раньше и был вознагражден за это таким всплеском восторга, таким горячим поцелуем, что у него закружилась голова.

— Я немного сумасшедшая, да? — смущенно спросила Светлана, заметив, что Николая качнуло, когда выпустил ее из объятий. — Я эгоистка, да? Человек устал, а я висну на шее.

Они не произносили слов «муж», «жена». Светлане эти слова казались приземленными, Николаю — неуместными и непозволительными, поскольку пока он не имел на них законного права.

— Немного сумасшедшая, немного эгоистка, но очень, очень родная.

— А это больше или меньше, чем любимая?

Вопрос был непростой и задан неспроста. Эта девочка, точная в словах, требовала точности и от него.

Николай привлек Светлану к себе, поцеловал в ухо, прошептал, поводя по нему рассыпавшимися волосами:

— Для меня — больше. Родные почти всегда остаются родными, а любимые... Очень по-разному получается...

Истребив скромную еду и запив чаем с леденцами вместо сахара, уселись рядышком на обветшавшем деревянном диванчике, который старанием Светланы был преобразен в «мягкий» — к спинке она прикрепила вышитые подушки, на сиденье уложила сложенную вдвое плюшевую дорожку, — и, обменявшись новостями, притихли в ожидании концерта знаменитостей из Свердловска.

Открыл его Ойстрах. Полагая, очевидно, что местная публика не искушена в серьезной классической музыке, он подобрал несложный репертуар и ошибся. В зале — только сдержанные аплодисменты вежливости.

— Наверняка он закончит рондо-каприччиозо Сен-Санса, — уверенно заявила Светлана. — Это его коронная вещь.

Однако и напоследок Ойстрах исполнил технически легкий этюд, и публику снова постигло разочарование — те же жиденькие аплодисменты. Выступивший следом Борис Гольдштейн учел ошибку именитого собрата и начал именно с рондо-каприччиозо. В мастерстве он несомненно уступал Ойстраху, но за смелость и своеобразную интерпретацию произведения публика устроила ему бурную овацию.

Светлана торжествовала.

— Вот так наказывается недооценка аудитории. Ойстрах решил, что истинные ценители скрипичной музыки находятся только в Москве, и просчитался. А Гольдштейн почувствовал публику. Молодец.

Николай хитро улыбнулся и, чтобы подзадорить Светлану, сказал:

— Ойстрах не учел, что у него на концерте две трети москвичей и это они задают тон, а не уральцы.

Миролюбиво настроенная Светлана не придавала язвительному за-

мечанию никакого значения, хотя ей не нравилось, когда умаляли достоинства уральцев.

В дверь кто-то постучал и, не ожидая ответа, вошел. Это было облепленное снегом существо непонятно какого пола. Валенки, ватные брюки, полушубок с поднятым воротником и шапка с опущенными ушами придавали ему до крайности неуклюжий вид. Но вот воротник откидывается, шапка стаскивается и пышные белокурые волосы падают на спину.

— Лариса!

Нет, не радость — удивление прозвучало в голосе Николая. Инстинктивно прижал к себе Светлану, точно испугавшись, что ей грозит опасность.

— Да, да, я, — ответила женщина, нимало не обескураженная увиденным. Страхнув варежкой снег с полушубка, стала неповинующимися, замерзшими пальцами расстегивать пуговицы.

Николай не только не помог ей, но даже не стронулся с места.

Пошатываясь, Лариса сбросила полушубок прямо на пол, сделала несколько шагов и присела на табурет у стола, безвольно свесив руки.

Клетчатая фланелевая кофточка с широкими подкладными плечами плохо сочеталась со стегаными ватными брюками, но Светлана, к великому своему огорчению, отметила, что женщина эта, будь она хоть в рубище, хоть в отрепьях, невероятно хороша. Лицо ее было красиво и кукольной и в то же время осмысленной красотой.

Пытливо рассмотрела Светлану и Лариса.

— Чаю бы... — попросила она почти беззвучно, одними губами.

Только теперь Светлана пришла в себя.

— А, да, да... Может, поест? У нас картошка...

— Чаю...

Унылая поза, жалкий вид Ларисы, всегда тщательно следившей за собой и привыкшей держаться с достоинством, вызвали в душе у Николая щемящее чувство острой жалости к ней и смятение.

— Мама где? — спросил он, когда Светлана вышла на кухню.

— Осталась,

— А Нонна с детьми?

— Не нашла.

— Твои тоже там?

— Тоже.

Принеся и поставив на стол большую чашку с чаем, Светлана снова присела на диван, теперь уже поодаль от Николая.

Лариса отхлебнула чаю и вдруг, закрыв лицо руками, безмолвно заплакала. Чтобы не разрыдаться, она изо всех сил сдерживала себя, только плечи ее вздрагивали все сильнее и сильнее.

Николай был беззащитен перед женскими слезами, но слезы Ларисы оставили его безучастным. Было разве что неловко, и то не перед собой, а перед Светланой: как он выглядит — женщина заливается слезами, а он сидит точно пень.

А вот Светлана разжалобилась, подошла к Ларисе, тронула за плечо.

— Воды дать?

Не отняв рук от лица, Лариса отрицательно покачала головой.

— Может, валерианки?

В ответ кивок согласия.

И вот тут Светлана пожалела о своем порыве. Валериановых капель в этом доме не водилось, за ними надо было идти к родителям, а оставлять Николая и Ларису с глазу на глаз даже на короткое время не хотелось. Вдруг Николай позволит себе расслабиться, разнюниться. Он и так уже растроган, по лицу видно. Все же пять лет совместной супружеской жизни...

И Светлана схитрила. Позвонила домой, попросила отца принести валерианку.

— Нет-нет, не мне,— ответила на его тревожный возглас.— Тут одна женщина...

Содержимое стакана Лариса выпила, как алкоголики пьют водку,— залпом. Немного успокоившись, принялась рассказывать:

— Когда от Нонны пришла телеграмма из Орши — больная с больными детьми на вокзале, помогите,— Екатерина Степановна обезумела: «Лариса, поезжай, увези, иначе погибнут». Вижу — вне себя женщина, в пору саму спасать. И пустилась в путь. Туда добралась быстро, за три дня, санитарным поездом. К счастью, немцы не бомбили, знали: идет на запад, значит, порожний. Приехала — и ни на вокзале, ни в больницах не обнаружила. Даже следов пребывания никаких. В том хаосе... Обратного добиралась полтора месяца... Нет, это невозможно передать, что творится на дорогах...

— Слышал...— обронил Николай.

— Слышал — это не то, видеть надо, Коля, самому пройти этот крестный путь, на себе испытать...— Лариса умолкла: горло перехватила спазма. Всклинув, продолжала:— Тем, кто эвакуируется организовано, легче — едут эшелонами. Но чужим в них не воткнуться. В иных вагонах стоймя стоят, впритык друг к другу...

— Как же ты?

— Я?.. И на тендерах приходилось, и в открытых тамбурах, и на крышах. Но крыша — это еще рай. Хуже, когда на подножке. Руки коленеют, слабеют, того и гляди сорвешься. А он, проклятый, то бомбит, то из пулеметов... Отбежим от полотна в стороны, а поезд вдруг отправился... Сколько сменила их, сколько пешком прошла... В дождь, в грязь, по дорогам, по бурьянам, по стерне... Обносилась, оборвалась, как нищенка.

Николай не спускал глаз с лица Ларисы, Светлана — с лица Николая. Она видела, что он не только растроган, но и растерян. Еще бы — такая самоотверженность. Уже за одно это можно быть милостивым к Ларисе. Во всяком случае, на дверь ей не укажешь.

— А потом? — глухо спросил Николай.

Лариса молчала. Выпив чашку остывшего чая, попросила другую. Когда Светлана принесла, прежде всего приложила к ней все еще не отогревшиеся руки.

— Потом? — заговорила снова.— Потом была Макеевка, встреча с Екатериной Степановной. Не знаю, как она жива осталась, когда увидела меня одну. Едва отходила. Потом... Эвакуация кончилась, последний эшелон отправился, оставалось только пешком уходить. Но не это ее остановило. «Надо, говорит, хоть кому-то на месте переисдать, а то разметало семью в разные стороны, как после войны искать друг друга?» Так мы и расстались. Оделась я потеплее, сунула что можно было нести в рюкзак — и вон из города. Меня халат выручил — опять попала медсестрой в санитарный поезд. Мук людских насмотрелась через край...— Лариса судорожно вздохнула.— Ох, Коля, Коля, до чего же терпелив русский человек. На иного посмотришь — живого места не осталось, бели нестерпимые, а он с полными слез глазами тебя еще и подбадривает — да что ты, сестричка, уби-ваешься, выдюжу...

Наступило молчание длительное, тягостное.

«Вот она, женщина, с которой Николай не один год был счастлив и которая ради его матери, ради него пошла на муку мученическую, отправившись в тяжелый и опасный путь,— молотом стучало в голове Светланы.— Не покажется ли Николаю, что он в долгу перед Ларисой, и не потускнеет ли его личная обида на фоне огромного народного бедствия с миллионами смертей?» Ею овладела тревога за свое счастье, которое вот-вот может рухнуть.

И вдруг — о радость! — холодный вопрос Николая:

— А он где?

Лариса показала глазами на Светлану. Безмолвный, но требовательный намек Николай понял, однако не принял его.

— У меня от Светланки секретов нет. Так где же все-таки Александр Леопольдович? — повторил свой вопрос.

Лариса снова закрыла лицо руками.

— Коля, не пытай меня... То есть... сейчас не надо, дай отойти... Вся эта передряга...

Не хотелось Светлане, чтобы Николай подумал, будто она торчит здесь из опасения оставить его наедине с Ларисой. Поднялась, бросила на него вопрошающий взгляд. Он согласно кивнул, предупредив:

— Не запирай калитку.

На улице пуржило, было непроглядь. Понизу снег несло в одну сторону, поверху — в другую, от раскачивающегося фонаря метался световой круг, снежинки в нем переливчато вспыхивали и, уносясь, гасли.

Светлана заходила от дома к дому в ожидании, когда уляжется сумбур в голове, когда нестройные мысли, как рассыпанные бусы, можно будет нанизать на одну ниточку.

Мало-помалу снег перестал валить, ветер куда-то умчался, стало на удивление тихо. Только с дроворазделки доносился тонкий звук пилы да неподалеку докучливо перебрехивались собаки.

Свежий воздух, размеренная ходьба, глубокое дыхание сделали свое благое дело. Светлана почувствовала, что сможет спокойно рассказать родителям о появлении нежданной гостьи и относительно внятно ответить на всевозможные «почему?», «как?», «что?»

Удивительная интуиция оказалась у Клементины Павловны. Как только Светлана появилась в доме, спросила:

— Не жена ли Николая прибыть изволила?

— Жена.

— И что теперь будет?

— Будет что будет.

— Ты сама ушла или?..

Светлана вымученно улынулась.

— Сама. Не могла я иначе. Им надо поговорить. Есть о чем, накопилось... Да и я не собираюсь в перетяжки играть: одна за одну руку, другая за другую — чья возьмет.

Константин Егорович в разговор не вмешивался, но уже по тому, как сидел он, настороженно повернув голову так, чтобы ни одно слово не прошло мимо слуха, было видно, что событие разволновало его.

— Вот и давайте решим, как быть, — рассудительно проговорила Светлана. — Если Николай не примет ее, разразится скандал — кому и зачем будет он сейчас объяснять, что жена изменила ему? Где доказательства? Их нет. Приехала же, причем взяв на себя тяготы розыска его родственников. Кроханов, ясное дело, доложит нарком. И ради перестраховки и в силу кляузной своей натуры. И нарком снимет Николая, это как пить дать.

— Снимет, — подтвердил Константин Егорович. — Десница наркома, карающего за прелюбодеяние, уже опускалась на Черныш. Снял же он главного инженера, узнав, что тот порезвился с вдовушкой.

— И тогда Николая — на фронт, и кончена его жизнь, — досказала Светлана то, чего не досказал отец.

— Будто на фронте все гибнут...

— Не все, а Николай погибнет. Слишком он смел и горяч, такие с войны не возвращаются. Так уж лучше пусть он будет не мой, но останется живым. Николай любил ее, и вполне возможно... Я же скорее эпизод в его жизни. Не простой, конечно, но может ли быть вторая любовь сильнее первой?

— И ты так спокойно... — не выдержала Клементина Павловна.

Светлана нашла в себе силы пошутить:

— Закалка...

Строгие логические построения, которыми Светлана удивила родителей, мгновенно рухнули в тартарары, как только она, улегшись в постель, положила голову не на теплое, уютное плечо Николая, а на холодную подушку. Ее охватил ужас одиночества, к которому готовила себя и не подготовила. Она была глубоко убеждена, и тому способствовал максимализм цельной, неиспорченной натуры, что Николая никогда не разлюбят, никого другого не полюбит, потому что никто другой не будет так соответствовать ее духовным запросам и человеческим качествам.

И захотелось Светлане, чтоб сейчас отворилась дверь, вошел Николай и, припав к ней, сказал, что ничего не изменилось, что они были и будут вместе, невзирая ни на какие препятствия.

Но шло время, а он не появлялся. Вспыхнуло неудержимое желание подняться и нагряться в избушку, где решались три судьбы. Надо помочь Николаю уйти от этой женщины, не только красивой, но и безусловно наделенной даром обольщать. Подчиняясь порыву, поднялась, но представила себе, как будет выглядеть в глазах Ларисы, Николая да и собственных глазах, снова свалилась на подушку. Пусть сам решает, как поступить. Конечно, благоразумнее было бы остаться с Ларисой. Пройдет время, распри забудутся, отношения наладятся, и чувства возродятся, может быть даже с прежней силой. А если не возродятся, будут жить так. Мало ли людей тащат семейный воз без всяких чувств, по привычке или по необходимости.

На душе стало так безнадежно, что хотелось взвыть. И все же она ждала, что вот-вот звякнет щеколда калитки, заскрипит снег под ногами и Николай, ее Николай предстанет перед ней независимо от того, какое примет решение, потому что знает, как томительна для нее неизвестность. Однако и настроив себя на благоразумную развязку, Светлана холодела при мысли, что может услышать роковое «мы помирились». Потрогала наручные часы, подарок Николая, и с горечью подумала: «Единственное, что от него останется...»

Разговору в домике рядом не виделось конца. Николай по-прежнему сидел на диване, Лариса — у стола, только верхнюю одежду она сбросила и осталась в тонком спортивном костюме из бумажного трикотажа.

Тепло комнаты, тусклый свет лампы, горевшей вполнакала, потрескивание сырых чурок в печи — все это мало-помалу утихомирило обоих, хотя вскоре после ухода Светланы страсти было разбушевались всюю.

— Ну согласишься же, что ты не прав, — мягко журчала Лариса. — Услышал по телефону одну-единственную фразочку...

— Ничего себе фразочка! «Я тебя уже целую вечность не видел...»

— Но ты же помнишь, как я ему отрезала.

— Потому что знала, что я взял вторую трубку.

— Представь себе, не знала.

— Ну уж... Тут нечего знать — слышно.

Лариса прошла по комнате, устало потянулась, подседа к Николаю. Запах ее волос, когда-то притягательный, вызвал такой рой воспоминаний, что ему стало не по себе. Отодвинувшись на край дивана, заговорил быстро-быстро, словно прогоняя наваждение:

— Я верил, что твои поездки в Донецк связаны с аспирантурой...

— Так оно и было... — отозвалась Лариса. Голос ее прозвучал глухо, как издалека.

— ...что ты оставалась на ночь, потому что либо опаздывала к автобусу, либо дорогу занесло, либо рейс отменили...

И опять как издалека:

— Так оно и было.

— ...что ночевала то у Нины Рязановой, то в общежитии.

— Да, у Нины и в общежитии.

— Все это вранье. Отвратительное вранье! И телефонный разговор лишь прояснил то, о чем я догадывался. Стать профессоршей, без труда защитить диссертацию куда как соблазнительно. Пусть намного старше, пусть неказист собой, зато какой взлет!

— Оставь! Ты говоришь пошлости!

— Я только говорю, а ты поступала пошло.

Лариса снова приблизилась к Николаю, положила руку ему на колено.

— Ну хорошо, давай танцевать от этой сакраментальной фразы, которая якобы открыла тебе глаза. Из нее ясно, что если что и было, то кончилось. Он же сказал — «вечность не видел».

— Для близких людей вечностью бывает один день.

— А почему ты буквально не воспринял эти слова: действительно вечность? Да и мало ли что старый дурак мог ляпнуть.

— Ты всегда восторгалась его умом.

— Когда старики влюбляются, они становятся дураками.

— Небось про себя ты его стариком не называла. Да и какой он старик. Сорок восемь только.

Лариса поняла, что ей не мешает повести себя хитрее. Раз уж от всего отпереться не удалось, надо чуточку уступить. Уступил в малом, авось выиграет в большом.

— Признаюсь, я поддерживала в нем надежду,— сказала она.— Играла в навязанную мне любовь, но порога...

— Вот и доигралась! — беспощадно бросил Николай.

Его непреклонность окончательно сбила с толку Ларису. Неужели одни только подозрения могли вытравить у него все чувства? Или он знает больше, чем говорит, и держит доказательство ее вины в резерве, как держит про запас опытный следователь самую главную улику? Решила сделать еще один заход: обвинить и его, обвинить, чтобы разжалобить.

— Если без предвзятости, то мы с тобой квиты,— заговорила она, укоряюще заглядывая Николаю в глаза.— Ты тут тоже не растерялся, быстро утешился.— И вдруг, поняв, что нападением ничего не достигнет, резко изменила тактику.— Колюша, стоит ли из-за путяков делать такую трагедию, какую сделал ты? Если бы все супружеские пары поступали так, их вовсе на свете не осталось бы.

Николай зло усмехнулся.

— Ничего себе пустяки. Когда-то за такие пустяки травили, на дуэль вызывали.

— Те времена прошли бесследно. Аминь... И очень плохо, когда сегодняшние мальчишки воспитываются на Вальтере Скотте и Дюма. Ты же сам признался мне, что они формировали твой характер.

— Плохо, когда девчонки воспитываются на бульварных романах.

Суетливо поднявшись, Лариса подошла к столу и жадно принялась есть оставшиеся картофелины, повинувшись не столько желанию утолить голод, сколько необходимости что-то делать.

Николай скользнул взглядом по ее туго обтянутой трикотажем фигуре и невольно вспомнил изваянную в бронзе девушку с веслом в мажорском парке. Он не раз любовался этой скульптурой, где гармония линий сочеталась с логичностью позы, и думал о том, что автор ее знал толк в красивом теле, выбрав такую натурщицу. И когда он впервые увидел Ларису в этом же парке на волейбольной площадке, то сразу подумал: а не она ли послужила оригиналом для скульптуры? Подошел к ней, спросил. Лариса посмеялась над его предположением, но была польщена. С этого началось их знакомство.

— Послушай, Колюша,— голос Ларисы прозвучал по-домашнему миролюбиво, и Николай даже вздрогнул от неожиданности, забыв на какую-то минуту о ней реальной, вот тут находящейся,— бывают положения, при которых ни одна сторона не может доказать доказательно.

Даже в юриспруденции недостаток улики оборачивается в пользу обвиняемого. Так называемая презумпция невиновности.

— То в юриспруденции,—огрызнулся Николай.—А в семейной жизни все основывается на доверии.

Лариса подошла к Николаю, ткнула коленами в его колени.

— Колюша, пусть я натворила глупостей, пусть споткнулась. Но... Будь великодушен, поддержи. Кто это сделает... кроме тебя? — Заботливым движением расправила воротник на его рубашке.—Коля, милый, родной, ведь у нас за плечами пять лет счастливой жизни.

Николай отстранил Ларису, сказал неумолимо:

— Это у меня пять лет! У тебя только три! Два ты с ним путалась. Да, да, это так, и ты не крути. Ни у какой Нины Рязановой ты не только не ночевала, но и...

— Ловко придумал, правдолюбец!

— Это ты неловко придумала. Я был у нее. После защиты диплома она тебя не видела. Так что миф о невинных ночевках рухнул!

— Она лгала! Нагло лгала! — зашлась Лариса.—Из зависти! Она всегда завидовала мне. Всему. Внешности, способностям, даже замужеству. Ты не представляешь себе, какие есть коварные женщины!

— С некоторых пор представляю,—многозначительно произнес Николай.

Подойдя к кровати, снял со стены ружье. Лицо Ларисы исказилось от страха.

— Ты что собираешься делать?! Коля! Колюша! Что ты задумал?!—Инстинктивно выставила перед собой руки, будто они могли защитить ее.

Николай постоял, не сводя с Ларисы тяжелого исподлобного взгляда, потом резким движением разобрал ружье, сунул его в чехол.

— Жилье это я оставляю тебе, деньги на первый случай вот,—выложил на стол несколько сотенных бумажек,—о работе для тебя договорюсь.

— Ты все взвесил? — уже холодно спросила Лариса.

— В делах сердечных в отличие от тебя я ничего не взвешиваю.

Принеся из чулана чемодан, Николай положил его у порога, побросал в него что подвернулось под руку и, накинув полушубок, ушел, не сказав «до свидания» даже из вежливости.

...Время близилось к утру. Светлана уже потеряла всякую надежду дожидаться Николая, но заснуть не могла. Вертелась с боку на бок, выбирая удобное положение, переворачивала прохладной стороной подушку, на считанные мгновения освежая разгоряченное лицо, и, вконец отупев от бессонницы и нервного напряжения, лениво перемалывала в голове одни и те же мысли.

Но вот скрежетнула петлями осторожно открываемая калитка. Светлана вздрогнула и замерла. Идет. С какими вестями?

Сообразив, что входная дверь, очевидно, на запоре — на появление Николая среди ночи родители не рассчитывали,—выскочила в прихожую, отодвинула засов.

Николай шагнул в полумрак, что-то опустил на пол и, закрыв Светлану полами полушубка, обнял с такой силой, с таким жаром, что ей сразу все стало ясно.

— Прости, что заставил так долго ждать.

Тихонько прошли в комнату Светланы, освещенную призрачным светом ночника-грома из полупрозрачного мыльного камня.

— Ты уверен, что поступил правильно? — спросила Светлана, нырнув под одеяло.

Вопрос был настолько неожиданным и странным, что Николай оторопел.

— Я не понимаю тебя... Какой другой вариант тебе видится?

Со стоном вздохнув, Светлана сказала, напрягая голос:

— Сядь и давай обсудим, как быть.

— Светочка...

— Выслушай меня. Ты доброхотно кладешь голову на плаху, и я... я боюсь за тебя. Кроханов безусловно разыграет эту кривую даму, тебя снимут и угонят отсюда. И неизвестно куда. Скорее всего на фронт. А это значит... Что тут строить иллюзии?.. Будем смотреть жизни в глаза...

— Будем. Жизнь сгибает тех, кто ее боится.

— Жизнь ломает тех, кто не сгибается.

— Я предпочитаю сломаться, чем согнуться.

— Ладно, Коленька, не до философии сейчас. Тебе не жизни в глаза смотреть придется, а смерти.

— А что бы ты посоветовала?

Светлана задумалась над ответом, но сказала без дипломатических ухищрений:

— Вернись к ней.

— Вот это советик! — фыркнул Николай. — Во имя чего? За кого ты меня принимаешь?! Покупать собственное благополучие такой ценой!..

— Почему только собственное? А благополучие людей тебе доверенных? Они же останутся на произвол судьбы, вернее на произвол Кроханова и Дранникова.

Николай отвел глаза — пристальный взгляд Светланы мешал ему сосредоточиться.

— Довод веский, — согласился он. — И все равно даже ради других... не могу. Кроме того, я брезглив.

На лице Николая появилась такая выразительная мина, что Светлана не нашла, а может, не стала искать чем возразить. Потребовала:

— Рассказывай, что было. Тяжко тебе пришлось?

— Да уж нелегко, — признался Николай и стал излагать суть разговора.

Перспектива встречаться с Ларисой даже изредка, звать и постоянно чувствовать, что она где-то рядом, огорчила Светлану. До сих пор все относились к ней хорошо, теперь же заведется человек, который будет ее ненавидеть, хотя она, собственно, ни в чем не виновата. А если Николая отправят на фронт, злорадству Ларисы не будет конца. «Что, спасла своего милого? Угробила. А со мной бы...» Об этом, однако, она не сказала. Спросила только:

— Она каялась или лгала?

— Лгала.

— А если бы каялась?

— Это ничего не изменило бы.

— Тогда еще один вопрос.

— А может, хватит? — взмолился Николай. — Я и так провел вечер вопросов и ответов и изнемог донельзя. Да и время... Пять часов.

— Последний, Коленька. Если бы меня не было, ты принял бы ее?

Задумайся Николай над ответом, Светлана могла бы усомниться в его справедливости, но он отчеканил:

— Нет.

Светлана приласкалась к Николаю и заплакала от счастья. Он поцеловал ее, ощутив соленую влагу на своих губах, прижался к ее мокрой щеке и зашептал нежные успокаивающие слова.

Тесна старенькая девичья кровать для двоих, но рядом с ним было тепло и уютно. Только сознание неизбежности разлуки омрачало радость.

Когда Лариса открыла глаза, серое зимнее утро уже зияло в заледенелые оконца. Увидев бревенчатые стены, дощатый потолок, не сразу сообразила, где она и что с ней, а когда на нее вдруг навалилось все, что произошло ночью, сжалась от вскипевшей злости. Нужно же было тащить в эту медвежью дыру, чтобы ползти такой

унизительный отпор. И эта девчонка с глазами мадонны будет торжествовать, строить на осколках их семейной жизни свою семью.

Наткнувшись взглядом на старенький «эриксон» на стене, решила сделать еще одну попытку к примирению — не сдаваться же так сразу. Встала, надела женские тапочки, отметив, что у Светланы маленькая нога, и подошла к аппарату.

— Света, это ты? — отозвалась на вызов телефонистка.

— Какая еще Света?! — бросила в трубку Лариса, обозленная тем, что роман ее мужа здесь легализован и тайны отнюдь не составляет. — Это жена Балатьева Лариса Варфоломеевна.

Как ни спокойной казалась самой себе Лариса, все же у нее дрогнул голос, когда сказала Николаю:

— Я надеюсь, что ты одумаешься и...

— Пора бы прекратить! — последовал холодный ответ. — Желаю успехов!

— Ты в этом горько раскаешься! — не найдя чем парировать, пригрозила Лариса.

Люди типа Ларисы обладают облегчающей жизнь способностью видеть причины своих бед в других и любой поворот событий обращать себе на пользу. Вот почему боль рухнувшей надежды обосноваться у мужа перешла у Ларисы в злость на него, а предстоящий отъезд стал казаться не вынужденным, а желанным. Скучно здесь, голодно и, главное, бесперспективно. Решила немедленно возвратиться в Свердловск и поскорее, пока не нагрелась основная масса эвакуированных, устроиться на работу.

Скучно позавтракав ломтиком печеной репы и краюшкой зачерствелого хлеба, вернулась в Дом приезжих, где накануне оставила рюкзак, и узнала от комендантши неприятную новость: выехать из Чермыза не так-то просто — начальники автоколонн берут людей только по разрешению военкомата или директора завода. Это правило было введено из-за тех неугомонных, которые, получив отказ в местном военкомате, уезжали в Пермь в надежде, что оттуда им повезет попасть на фронт.

Пришлось отправиться к директору.

Где-то около десяти утра Лариса вошла в приемную и остолбенела. За столом секретаря сидела девчонка с глазами мадонны.

— Мне нужно... Я хотела бы... поговорить с директором, — с трудом вымолвила Лариса, чуть оправившись от неожиданности.

Светлана показала на дверь.

— Пожалуйста, он свободен.

Лицо Светланы не выражало ни неприязни, ни торжества, и Ларису уязвило такое безразличие к ее особе. На язык напрашивалось что-то грубое, резкое, но она смирила себя.

Кроханов принял ее прямо-таки с родственным радушием. Знакомы они не были, но в Макеевке жили по соседству и при встречах на улице Лариса часто ловила на себе его оценивающий взгляд.

О ее приезде Кроханов был поставлен в известность Ульяной еще вчера, она же сообщила сегодня о предполагаемом отъезде — служба информации у директора работала безотказно.

— Приятно видеть землячку! — Кроханов вышел из-за стола, широко раскинув руки, явно намереваясь заключить Ларису в объятия — женщины, тем более красивые, действовали на него, как шпоры на застоявшегося коня. Пользуясь правом земляка, трижды облобызал Ларису. — Рад служить вам правдой и кривдой, — произнес торжественно, перепутав в поисках надлежащих случаю слов грешное с праведным. — Раньше первым делом спрашивали, как здоровье, а теперь... Позвольте поинтересоваться: завтракали? Если нет, не откажитесь — ваше присутствие сделает честь столу.

Лариса кивнула было — завтракала, мол, — но тут же отступила: впереди долгий и тяжелый путь.

— Если вы так любезны...

Кроханов нажал кнопку невидимого глазу звонка.

Светлана появилась только на третий вызов.

— Куда ты деешься? — начальственно прикрикнул Кроханов. — Накрой нам завтрак в кабинете главного.

— На каком уровне?

Вопрос был отнюдь не праздным — Светлана знала, что Кроханов принимает гостей соответственно их значительности.

— Сама понимать должна. На высшем.

Пока Светлана организовывала завтрак, досадуя на превратности судьбы — второй раз приходится ей ухаживать за этой женщиной, — в кабинете шла доверительная беседа. Закончилась она так.

— А вашего мужа, дорогая Лариса Варфоломеевна, — Кроханов самым наглым образом ощупывал Ларису замаслившимся взглядом, — нужно наказать. Очень уж все мы... как это... снисходительные к нему. В Свердловске напишите наркомун; так-то и так-то, намучилась, приехала, а он нанес такую фиаску. И обязательно с пометкой «лично». А пока подайте заявление мне, ну... все, что рассказали и еще что просили у мужа помощи, а он...

— Он как раз предложил, — справедливости ради вставила Лариса.

Кроханов недовольно поморщился, но тут же спохватился и разогнал морщины — в трезвом виде, да еще в приподнятом настроении он не допускал, чтобы незаурядное лицо его утрачивало привлекательность, и бдительно следил за этим.

— Тогда в заявлении на мое имя попросите материальную поддержку деньгами и продуктами. Я человек обязывающий, все устрою с фешенебельным участием. А где вы остановились?

— В Доме приезжих.

— Когда намерились уезжать?

— Сегодня.

— А может, отложим до завтра? — вкрадчиво предложил Кроханов.

Лариса с трудом удержала возглас негодования.

— Нет, я тороплюсь.

Как ни огорчился Кроханов, марку человека заботливого он все же выдержал.

— Тогда я заеду за вами и проведу до автоколонны собственной персоной. — Приступ красноречия у Кроханова не закончился и когда он перешел на деловую стезю. — Советую не пускать все на самотек. Зайдите в райком партии и скурпулезненько, подробненько выложите все как было кому-нибудь из секретарей, лучше всего, конечно, первому. А то носятся с ним как с писаной торбой, одни реферамбы поют. Договорились? — Галантно поклонился. — А теперь пойдёмте перекусим.

4

Сказали бы Николаю раньше, до приезда в Чермыз, что две карликовые мартеновские печурки могут доставлять не меньше хлопот, чем шесть мощных печей, дающих металла в тридцать раз больше, он посмеялся бы над таким утверждением да и только. В Макеевке его начальник Стругальцев, человек пожилой и уставший от вечной суеты, как-то признался в минуту откровенности: «Знаешь, Николай, о чем я порой мечтаю? Рвануть на Урал. В Чусовую, допустим. Цех там небольшой, работы, естественно, тоже немного и сказочные окрестности. Буду с удочкой сидеть, с ружьишком по лесам бродить, грибы-ягоды собирать и тихонько доживу отведенный жизнью срок».

А вот теперь на собственном опыте Николай познал, что такое маленький цех с допотопной техникой. Казалось бы, все возможное он сделал, все отрегулировал, работой себе без бурь и треволнений, так

нет, новая незадача — в барже у завода застыл мазут, да так, что его оттуда никак не достать. Ни лопатой не копнешь, ни ломом не расковыряешь — вязкий. До морозов хорошо было — черпали ведрами, как из колодца, а сейчас что делать? План установили по достигнутому производству, и военный заказчик покоя не давал, требуя повышения выплавки.

Холоднее пошли печи — возроптали и сталевары, уже привыкшие к такому удобному ускорителю процесса. А Кроханов — так тот прямо взбесился: вот до чего ученость доводит! На селекторных совещаниях да и при встрече в цехе он снова взялся распекать Балатьева, не стесняясь в выражениях, особенно при рабочих. Тот молчал. Что уж тут скажешь: начальник — и как начальник виноват. Ну пусть раньше он не имел дела с мазутом — печи в Макеевке шли на смеси коксовального и доменного газов, смеси высококалорийной, и в дополнительном топливе не нуждались, — но как он не подумал о том, что с наступлением холодов мазут может застыть? Не подумал, как не подумали и другие, потому что до сих пор здесь его не применяли. Однако для него это не оправдание. Обязан был если не знать, то предвидеть.

— Какой с тебя руководитель, когда ты на месяц вперед не видишь! Выдумал мазут — теперь расхлебывай.

Положение создавалось более чем нелепое: топливо есть, а взять его, использовать нельзя. Так что же, стоять баржонке на приколе до навигации? А в навигацию что спасет? Сойдет лед — она понадобится речникам, и те без колебаний уволочут ее вместе с мазутом. Это им зимой до нее нет дела: какая разница, где стоять — в затоне или в заводе? В заводе даже лучше — простой платный.

Балатьев стал ходить в цех как на каторгу. Стоять рядом со сталеваром, смотреть, как беспомощно, точно овечий хвост, трепыхается в печи слабое, чахлое пламя, было невыносимо. Благо еще терпелив уральский рабочий, недовольства впрямую не высказывает, разве только посмотрит укоризненно, но безмолвное осуждение рабочего человека донимало Николая куда сильнее, чем крохановские неистовые разносы. «Котел бы какой-нибудь раздобыть, хоть захудаленький, — как о самом вожденном мечтал он. — Тогда в баржу можно опустить змеевик, в его зоне мазут будет всегда жидким, и мытарствам придет конец».

С этой робкой надеждой поехал Николай на Камскую базу металлолома. Чего только не было там в кучах негабарита! Станины машин, поломанные грейферы, изржавленные гребные валы пароходов, огромные цилиндры старых воздуходувных машин, маховые колеса. Не увидел он только котлов. Никаких. А ему бы хоть какой, лишь бы пар давал или хоть горячую воду.

Вот змеевик, который можно было сделать самим, как в насмешку, нашелся. Надежный, толстотрубный. На всякий случай Николай распорядился сразу же погрузить его на платформу узкоколейки и сам сопровождал на шихтовый двор, чтобы рубщики, паче чаяния, не задумали разделать на куски. Но где взять котел? Где?

Змеевик увидел Дранников.

— Что это вы утильсырье на задворках подбираете? — не без язвительности спросил он.

Выслушав объяснение, глубокомысленно поспеел и ушел, не произнеся ни слова.

Но вскоре Дранников вернулся к этому разговору. Однажды, когда Николай укрылся от людей в своей конторке и даже не снимал телефонную трубку, чтобы не налететь на очередную директорскую выволочку, он появился с загадочно-таинственным видом, сел на второй стул — больше их здесь не умещалось — и бодрым тоном подкинул вопросик, который можно было истолковать и как издевку:

— Так что будем делать, товарищ начальник?

— Если б знал, то делал бы,— безучастно ответил Николай.

— Я не измываться пришел, Николай Сергеевич. Я с советом.

Николай поднял вопрошающие удивленные глаза. От того-кого, а от Дранникова он до сих пор не то что совета — нормального слова не слышал.

— Есть котел, который можно использовать.

— Где-е?

Дранников охлаждающе поводит рукой.

— Сначала давайте кое-что разомнем по-мужски, на пляжик, а то привыкли скользить друг мимо друга, как дерьмом обмазанные.

Очень хотелось Николаю сказать, что если кто и виноват в этом скольжении, то только он, Дранников, но удержался — котел важнее.

— Поверьте, я вам теперь не враг,— зашел Дранников и далека.— Мужик вы что надо, закваску получили хорошую и кумекате неплохо. Допилы железо резать я б не додумался, мазут применить, что тут греха таить, тоже не допер бы. И в вас я не сразу разобрался, злость мешала — очень уж много накопилось ее во мне. То начальник, то зам, то начальник, то снова зам. Если б хоть дельных присылали, не так досадно было б. А то все курам на смех — ни плавков пускать, ни печь отремонтировать. И получалось: я работаю, а они либо вт в этой забегаловке отсиживаются,— Дранников постучал пальцами по столу,— либо рыбку таскают. А шишки на меня. Осточертело тянуть эту лямку во славу ближнего своего. В мирное время, поверьте, в этом цехе никто лучше меня не справлялся, я это без самохвальства. Вы можете меня понять?

— Понимаю.

— И вот слышу — опять нового начальника прислали. Ну, думаю, снова какой-нибудь хрен моржовый и снова мне за него вкляивать — я-то не могу допустить, чтоб цех угробили.

— А где же котел? — не сдержал нетерпения Николай.

— Минуточку,— притормозил его Дранников.— Слово свое вы держать умеете. Вот с медью. Какой козырь у вас в руках был! Помните, когда Кроханов сказал на совещании, что такая ошибка в анализах на заводе впервой? Вы ведь об истории с фосфором уже прослышали. Знаю даже, кто рассказал. Но — молчок. Вот резанул и б тогда Кроханову в глаза, что случай этот повторный, что это чистая подделка,— пожалуй, не усидеть бы ему в кресле. Секретарь райкома давно на него целится.

— Да, был такой соблазн,— признался Николай.— Но слово...

— К этому я и веду,— продолжал Дранников.— Дайте мне слово, что никому ни звука, ни намека.

— Даю честное слово! — с жаром произнес Николай.

До сих пор Дранников старался не встречаться с ним глазами. Глядел то в пол, то куда-то в сторону. А тут — прямо, открыто. И Николай вдруг увидел, что глаза у него умнящие и грустные, как у человека, знающего, почему фунт лиха.

И снова Дранников повел разговор издалека:

— Мне ведь, по-честному говоря, помогать вам незачем. Чем раньше вас снимут, тем лучше мне. Мог бы и не советовать. Подождал бы, пока вас не станет — конец-то все равно один,— воспользовался б котлом сам. Только ведь война идет, люди гибнут, и давать нынче металла меньше, чем можно давать... это последний стервой надо быть. А я... ну, не могу, хоть меня советская власть, по-честному сказать, не обласкала и лично мне благодарным ей быть не за что.

Балатьеву стало не по себе. Сидит перед ним человек, которым он, кроме как о деле, ни о чем не говорил, к которому в друзья не навязывался, да и не стал бы навязываться, и вдруг так бесстрашно раскрывается. А, впрочем, бесстрашно ли? Откровенничать с человеком, судьба которого предрешена, так же безопасно, как с умирающим.

— Котел, который я имею в виду, стапливает заводоуправление,—

наконец-то через колючие заросли рассуждений продрался к финишу Дранников.

Балатьев досадливо махнул рукой. Ждал путевого совета, а получил пшик, да еще с провокационным душком — оставить без отопления служебное здание. Да Кроханов облает его как свихнувшегося, а если, припертый к стене, и уступит, то служащие заводоуправления проклянут. Сидеть в шубах и валенках в замороженных комнатах... А Светлана? Что ей, в перчатках на машинке печатать?

И он молвил коротко, обобщив все сразу — и оценку затеи и отношение к ее инициатору:

— Чушь. И вонючая вдобавок.

Дранников обиделся, но разъяснение его прозвучало спокойно и убедительно:

— Котел, Николай Сергеевич, к вашему сведению, установили всего-навсего три года назад, а до того простыми печами обходились. Кстати, куда теплее было. Печи остались в целости и сохранности. а дров, как вам известно, у нас в досталь.

5

Светлана с нетерпением ожидала Николая. Обед у нее давно был готов, роскошный обед для военного времени: суп-затирушка из ржаной муки, с микроскопическими кусочками застарелого рыжего сала и с луком, запеченный прямо на плите картофель и компот из черники, от которого зубы становились черными, как у столетнего деда. Картофель уже успел остыть, а Николай все не появлялся.

Но вот скрипнула калитка, Светлана бросилась к окну, выходящему во двор, и уже по походке Николая поняла, что возвращается он с доброй вестью.

— Неужели нашел? — веря и не веря, спросила она, едва Николай переступил порог их обители.

— Представь себе!

Николай подхватил подбежавшую Светлану, приподнял ее и закружил по комнате:

— Ты у меня, Коленька, просто гений! Я ни чуточки не сомневалась, что ты раздобудешь котел, чего бы это ни стоило, — стрекотала Светлана, радуясь его радости. — Где? Каким образом?

Присвоить себе чужую находку Николай не хотел, выдать ее автора не имел права, но соврать Светлане не повернулся язык.

— Роман Капитонович подсказал. Этот котел вас отапливает.

У Светланы мгновенно потускнели глаза.

— Кроханов ни за что не отдаст его.

— Отдаст как миленький.

Николай принялся умываться. Недавно налитая в умывальник вода была студеной, такую он и любил: освежает не только лицо, но и мозги. Вытираясь, сказал:

— Он далеко не дурак и безошибочно определяет, что можно, а чего нельзя. На том, собственно, и держится. А заупрямится — заставят. Для этого есть и обком, и главк, и нарком. Только он не допустит, чтоб я в колокола ударил.

Пообедали. Николай с аппетитом и досыта — хлеба-то вдоволь, в горячих цехах килограмм на день, — а Светлана едва притронулась к еде. Оптимизма Николая она не разделяла, и кусок в горло не шел.

— Что сегодня по радио? — Прежде чем сесть на диван, Николай поправил на нем дорожку.

— Все так же, ничего радостного, — отозвалась Светлана. — Что-то я уже не разберу, где сейчас проходит линия фронта.

Помыть посуду (теперь это можно было делать и холодной водой — на тарелках ни жиринки), Светлана села возле Николая, положила голову ему на плечо и притихла. Тревога не проходила. Очень уж

зримо представилось ей, как взорвется директор, когда Николай потребует котел. Паровое отопление сделано при нем, и он не казался гордиться этим своим единственным техническим нововведением.

— Слушай,— прервал ее мысли Николай,— что у Дранникова в прошлом? Почему он советскую власть не жалуется?

Светлана убрала голову с плеча, настороженно взглянула на Николая. Она знала, что Кроханов охотно подбирает себе кадры из людей замаранных, таких легче держать в узде. Но для чего Николаю понадобилось копаться в грязном белье?

— А зачем это тебе нужно? — спросила напрямик. — Что ты сбить его с ног?

Николай откровенно рассмеялся.

— Да как могло такое прийти тебе на ум? Просто пытаюсь понять, что он за человек. Неужто бескорыстно посоветовал, и лучших чувств?

— Разные слухи о нем ходят, но ты знаешь, как вообще верить слухам.

— Знаю. И все же кой-каким верить можно,— с шуточной серьезностью отозвался Николай.— Вот, к примеру, расползлись необоснованные слухи, что мы с тобой поженимся, а оказались обоснованными.

Светлана чмокнула Николая в щеку и принялась рассуждать:

— Говорят, подчеркиваю, говорят, что отец у него участник антоновского мятежа на Тамбовщине, к тому же кровавый участник. Дранников оттуда вовремя смылся, на завод устроился, в техникум попал и, возможно, закончил бы его благополучно, да решил вступить в партию. Вот тогда его и разоблачили. В партию не принял, из техникума за сокрытие социального происхождения выгнали. Пыкался он по белу свету и нашел наконец тихое пристанище. Только вот всякие приезжие,— Светлана толкнула плечом Николая,— спокойно жить ему не дают. Не надо тебе...

— Ну что ты, ребенок, я таким оружием с врагами не воюю. Предпочитаю открытую войну.

Оба замолчали, и обоих бередили одни и те же мысли: удастся или не удастся выманить у Кроханова котел и во что это обойдется?

Первой заговорила Светлана:

— Коленька, может быть, действительно умнее, чем пробивать лбом стену, отойти от нее? Кроханов с радостью отпустит тебя по первому твоему заявлению, хотя ты и номенклатура Главуралмеа. А там... Пожурят и пошлют на другой завод. Я уверена, что в любом месте, на любой должности тебе будет лучше, чем здесь.

— А ты? — Николай притаил дыхание в ожидании ответа.

— Я? Я приеду, как только позовешь.

Эти бесхитростные слова женщины любящей и уверенной в своем избраннике тронули Николая. Благодарно поцеловал Светлане руку.

— Во всяком случае, до конца года я постараюсь добротать,— проговорил он твердо.

Долго не смог произнести Кроханов ни слова, когда выслушал требование Балатьева отдать отопительный котел в целости. Только глаза его меняли выражение. За удивлением последовало негодование, за негодованием сверкнула люта я ненависть.

— Уй-ди,— угрожающе прошипел он, с трудом сдерживая себя, чтобы не заорать, не разразиться бранью.

— Уйду. Но только получив согласие на котел.

Кроханов крутнул ручку телефона и попросил дежурного соединить его с главным врачом поликлиники. Когда тот откликнулся, сказал:

— К вам сейчас подойдет Балатьев... Да, да, начальник мартена. По-моему, у него затылок горячий, может, пропишете постельного режима недельки две... Направление? Будет направление.

Вызвав Светлану, приказал напечатать для Балатьева направление в поликлинику.

Светлана перевела вопрошающий взгляд с Кроханова на Николая, снова на Кроханова и мгновенно поняла ситуацию.

— Я не нанималась сюда всякую ересь печатать, — сказала, не повысив голоса, но с достоинством. — Сами пишете. — И вышла.

— Ишь штучка! — окрысился Кроханов. — Пока в девках ходила, ниже воды была...

Ничего не оставалось ему, как достать из папки листок с заводским штампом и написать направление от руки. Сделал он это довольно бегло, расчеркнулся и щелчком подтолкнул листок Балатьеву. Тот скосил глаза на него, явно не желая брать, но, прочитав, заулыбался и взял.

— Ошибок... Высшее образование без среднего? Как это вам удалось?

Сложил листок, сунул в карман пиджака, а из другого кармана вынул бланки заготовленных телеграмм в три адреса, разложил перед Крохановым.

Едва Кроханов прочитал одну из них — наркому, как к лицу его стала приливать кровь, да так быстро, что Николай испугался за его состояние — еще паралич хватит.

— Это шантаж, — еле слышно выдавил из себя Кроханов.

Николай ответил тихо:

— Это не шантаж, это железная необходимость. — Чтобы смять Кроханова окончательно, добавил: — Вы не учли одного: остер топор, да сук зубатый.

— Сука ты, а не сук! — изо всех сил рывкнул окончательно потевший самообладание Кроханов.

У Николая сжались кулаки. Эх, двинуть бы сейчас Кроханову между глаз, да так, чтоб искры из них посыпались. Помолчал, укрощая себя, но от грубости не удержался.

— Вас, Андриан Прокофьевич, давно били? Что в Макеевке в ресторане — это мне известно, а вот...

— Сука! — повторил Кроханов в расчете, что Балатьев выполнит свое намерение, и тогда... Тогда ему несдобровать. Фонарь под глазом не такая беда, как этот распроклятый бузотер. С ним надо разделаться раз и навсегда. — Ну, что ж ты пасуешь? — явно провоцировал он. — Ишь, молодец против овец... Испугался?... Может, аверьяновки нюхнешь для подхрабрения?

Какое-то время они разглядывали друг друга, как быки перед схваткой. Николай боялся, что гнев замутит сознание и, только свершив поступок, он поймет, что произошло. Во избежание этого дружинисто поднялся и выскочил в приемную.

На него во все глаза смотрела насмерть перепуганная Светлана.

Ничего не сказав — двумя-тремя словами ничего и не расскажешь, а задерживаться он не мог, — Николай прошел мимо нее, погрозив пальцем — жест, которого Светлана так и не поняла.

Выйти вслед за ним в коридор она не решилась — в любую минуту директор мог вызвать ее. И действительно, вскоре раздался звонок. Кроханов наказал ей дать команду на конный двор, чтобы подали выезд.

К саням он подошел с верным своим спутником в дороге — с пухлым портфелем, в котором всегда был лабораторный спирт. Водворив драгоценный груз на мягкую подстилку, неожиданно вернулся в приемную.

— Найди своего... идиота... немедленно и предупреди, что я поехал добывать ему котел. Так что пусть он со своими телеграммами вой подпридержит. Как бы не на почту помчал. Ступай туда. — Не увидев у Светланы никакого желания выполнить приказ, сказал примирительно: — Одевайся быстренько, подброшу.

В валенки Светлана влезть не успела, голову покрыть тоже, только накинула шубенку и со всех ног помчалась за Крохановым.

Дежурная уже выписывала последнюю квитанцию, когда, подбежав к Николаю, Светлана тихонько передала слова директора и дала бавила от себя:

— А мне кажется, пусть идут. Отношения тут у тебя сложились острые, это из текста телеграмм ясно. Пусть там об этом знают. А находчивость и требовательность тебе в актив запишут.

Несмотря на свою житейскую неопытность, Светлана довольно трезво оценила обстановку, и Николай на секунду замешкался, не зная, как поступить. Но жаловаться было не в его натуре, да и необходимость в этом, как ему показалось, отпала. Приблизился бы к холодному Светланиному уху.

— Пойми, мне не запись в актив нужна, мне до зарез котел нужен. Вот если у него не получится — запущу.

Дежурная заупрявилась, когда Николай попросил вернуть телеграммы. Номера поставлены, квитанции выписаны, надо было думать.

— А я денег не заплачу, — сказал Николай.

— А я милицию вызову, — пригрозила дежурная.

Пришлось обратиться к заведующему почтой. Благообразный, вежливый, с наружностью сельского попика мужчина сначала принял сторону дежурной, но, ознакомившись с текстом посланий, передумал, вернул телеграммы.

— Что это он вдруг перестроился? — сам себе задал вопрос Николай, когда вышли из здания.

— Кто? Кроханов или этот?..

— Этот...

Сняв с себя кашне, Николай набросил его на голову Светланы, завязав под подбородком.

— Наивненький ты мой. Крыша почты чьим железом крыта? Заводским. Кто крыл? Заводские кровельщики. Понял, что если не примет такие телеграммы, окажет директору немалую услугу. Упрекнула: — А все же напрасно ты не послушал меня. С противником надо вести превентивную войну, а ты занял оборонительную позицию.

На следующий день жители поселка увидели необычное зрелище. По улицам медленно двигались расписные сани, в которых важно восседал директор, а за ними запряженные цугом лошади тащили водруженный на мощные полозья, наспех вытесанные из бревен, котел локомотива, освобожденного от всех движущихся частей — колес, маховика и прочей механики.

Заинтересовался этой процессией и Баских, увидевший ее из окна своего кабинета. Быстро надев полупухок и шапку-ушанку, он вышел из райкома и, чтобы не задерживать расспросами движение, подсел в сани к Кроханову.

Лицо у Кроханова одрябло от выпитого, глаза все еще были мутные.

— Откуда, куда и зачем? — Баских решил сразу выяснить все. Кроханов судорожно слотнул, подавляя изжогу.

— Везу вот недоумка твоего из петли вытаскивать. Мазу будем паром разогревать. — Он не упустил случая попрекнуть секретаря райкома в пристрастии к Балатьеву и по возможности накапать на него.

— Где взял?

— В колхозе. В аренду до молотбы дали.

— Дорого обошлось?

— Не больно. Три литра спирта, ну и железа подброшу.

— А если учесть, что полтора ты сам наверняка выглотал, то и вовсе пустяк. — Баских метнул на Кроханова открыто саркастический взгляд и соскочил на дорогу.

А еще через день Николай горько пожалел о том, что не внял совету Светланы, не отправил телеграммы. В цехе на доске объявлений был наклеен — не кнопками прикреплен, как обычно, а именно наклеен — новый приказ директора. Что отважился составить его Кроханов самолично, можно было установить по красотам стиля, но смысл был достаточно ясен и даже убедителен.

«Пункт 1. За обморожение мазута, что вызвало его недоставаемость из баржи и недоставляемость к печам, что вызвало у них слабый ход и уменьшенную выплавку, объявить начальнику цеха т. Балатьеву Н. С. строгий выговор.

Пункт 2. За исправление положения, что выразилось в подании предложения подать пар через колхозный локомотив, заместителю начальника цеха т. Дранникову Р. К. объявить благодарность с премированием месячным окладом и отрезом из шевиота.

Пункт 3. Бюро рационализации срочно подсчитать премию от этой рационализации и предъявить к выплате т. Дранникову Р. К.»

Потуги на лапидарность, несмотря на крайне неприятное содержание приказа, вызвали у Николая неудержимый приступ веселости. И хотя стоять у доски и захлебываться от смеха было неприлично, он ничего не мог поделать с собой. Его буквально переламывало пополам.

Кто-то приблизился к нему сзади, дружески взял за локоть. Это был Вячеслав Чечулин.

— Я, Николай Сергеевич, откровенно скажу, и подойти к вам боялся, думал, сшибет этот приказ вас с ног. А вы... Правильно делаете. Наплюйте и разотрите. А Кроханова к едрене фене. Мы-то все знаем: котел требовали вы, это ваша мысль. Вот где достать его — это директора забота, тем более он по всей округе шарит. Вы-то про локомотив знать не могли и вам не в упрек.

— Я и плюю,— вытирая слезы, выступившие от смеха, беспечно отозвался Николай, подумав, однако, что действия Кроханова — очередная подсечка, и довольно крепкая. За строгим выговором мог последовать выговор с предупреждением, а там недалеко и до увольнения. Кроме того, все приказы поступают в главк для ознакомления и подшиваются в личное дело.

Не преминул высказать свою точку зрения и Дранников. Он чувствовал себя неловко и, приняв смену, прежде чем осмотреть печь, что делал неукоснительно, предстал пред начальником цеха.

— Вы только не посчитайте, Николай Сергеевич, что это я директора науськал,— сказал он, открыто встретив взгляд Балатьева.— Слово свое я держу крепко, это вам каждый подтвердит. Но тут так вышло, что славу и деньги Кроханов вам отдавать не хочет. А кому-то нужно. Себе он премии выписать не имеет права — по должности думать полагается, на другого выпишет — не отдаст, а у меня он все до копеечки вытянет. Это ж не первый раз.

Беззастенчивая до цинизма откровенность сразила Николая. Понимает Дранников, больше того, знает наверняка, что дни начальника сочтены и нечего играть с ним в прятки.

Неохотно возвращался он домой, ожидая, что Светлана встретит его упреками: говорила, мол, тебе, не послушал — теперь будешь пожинать плоды своего либеральничания. Но на сей раз Светлана была милостива, встретила шуткой.

— Ну, Коленька, теперь ожидай следующего приказа: «За непризнания законной жены в собственные объятия и оставление ее...»

Николай рассмеялся и вдруг почувствовал, что напряжение куда-то ушло и на душе посветлело.

Начальник строительного цеха Иустин Ксенофонтович Чечулин решил, что испытания на надежность Балатьев по всем пара-

метрам выдержал, настало время повести его в заповедные места на охоту. У Иустина Ксенофонтовича не осталось ни малейшего сомнения в том, что Балатьев доживает в Чермызе последние дни, надо же чем-то порадовать этого достойного человека. И в памяти его не хотелось остаться вруном и обещалкиным. Пусть знает, что уральцы слово держать умеют.

Встретились они, как заговорщики, ровно в час ночи за поселком, у пятого телеграфного столба — об этом договорились заранее — и дружно зашагали по хорошо укатанной санными полозьями дороге, по которой, как по льду, мягко и бесшумно неслась поземка.

С одной стороны дороги, отступив от нее, стеной стояла вековой хвойный лес, с другой тянулись бесконечные вырубki с пнями, прикрытыми высокими снежными шапками, и с островками молодой, еще не окрепшей поросли.

Круглая, словно очерченная циркулем луна светила так ярко, что было видно, как то здесь, то там струился в воздухе снег, осыпавшийся с потревоженных ветром лапчатых ветвей.

Прошагав с полкилометра и обсасав заводские события, принялись обмениваться впечатлениями о событиях фронтовых.

— Страшновато мне стало, — признался Иустин Ксенофонтович, — когда услышал, что ростовское направление появилось. На Кавказ, сволочи, рвутся.

— Не это страшно, — возразил Николай. — До Кавказа они еще побрякнут. Меня больше беспокоит, что Можайск взят. А если учесть, что к калининскому и волоколамскому направлениям прибавилось тульское, то картина создается грустная — рвутся фрицы к Москве, наверно, в кольцо задумали взять.

— Так что же... — Иустин Ксенофонтович не закончил фразу, то ли потому, что поскользнулся, то ли не посмел высказать страшное предположение.

— Нельзя... нельзя ее сдавать, — с болью в голосе проговорил Николай. — Это вам не восемьсот двенадцатый год, когда впустили, заморозили и выгнали. Нынче и противник не тот и Москва не та. При этом, дорогой Иустин Ксенофонтович, Москва — это не географическое понятие. Это символ.

— Вы и насчет Донбаса говорили — не сдадим.

Балатьеву претило делать прогнозы и слушать их. Когда глубоко штатский человек пускается в философствование о стратегии войны, высказывает свои суждения и выносит приговоры, он уподобляется неучу, который с видом знатока ставит диагноз и дает совет больному. Нахлобучив поглубже шапку, выданную «напрокат» Вячеславом, спросил, чтобы уйти от этого разговора:

— Патронов достаточно захватили?

— Семь штук. А больше для чего? На обратном пути каждый грамм скажется.

— Тяжелее всего идти с охоты порожним, — заметил Николай. — Когда настроение хреновое, тогда и ружье тяжело и патронный ящик хоть бросай. А когда с добычей — ноги сами несут.

— Посмотрим, как они понесут вас обратно. Девять часов пути беспривального, а с привалом... Оттуда я сам меньше чем за двенадцать не ходил. Груз да подбьешься... А я, поверьте уж, ходок из ходков. — Иустин Ксенофонтович молодецки хохотнул. — По лесам, конечно, не по девочкам.

— А я и по лесам не ходок, — на всякий случай предупредил Николай.

Вспомнил, что этого опасалась и Светлана, пытаюсь говорить его от охотничьей вылазки. «У нас места глухие, — говорила она, — поселки редкие, а к северу и вовсе километров на сто жилья не встретишь. К лесу привыкнуть надо, а ты где его видел? Заблудиться, не выберешься». «Так мы же вдвоем». «Все может случиться. Разойде-

тесь друг с другом, потеряетесь — и ты один на один с лесом. А лес чужаков не любит. И люди в том краю чужаков не любят. Там знаешь кто поселился? В основном высланные».

— Неужели нельзя лошадь добыть да подъехать? — спросил Чечулина, когда прошли километра три.

На губах Иустина Ксенофонтовича появилась снисходительная усмешка.

— Рановато ты, охотничек, о лошадке возмечтал. Нельзя на лошадке. Во-первых, при ней человек нужен, а секрет, который знают трое, уже не секрет, а во-вторых, проезжей дороги туда нету. Она только вначале. Дальше пойдут тропы да болота.

— Первого довода можно было б не приводить, достаточно второго: нет дороги, — хмуро сказал Николай.

— Можно бы, — согласился Чечулин. — Это я нарочно напомнил, чтоб не сболтнули где.

От досады Николай сплюнул и даже шаги ускорил, точно хотел оторваться от своего недоверчивого спутника.

— Ну сколько можно об этом? Вы-то меня знаете.

— Вот потому и веду, что знаю, а то б ни в жизнь не повел. Кроханова немилости как дурного глаза боюсь, а вот же не веду. И так и сяк подмачивался. И с просьбами и грозил, а не веду — и все тут. Этот уголок для меня как вотчина, как собственное охотничье угодье. Понадобится мясо — потопал. У иных заповедные грибные места есть, да ни почто не скажут, а у меня охотничье. И это здорово как хорошо, что от проезжей дороги далеко, а то б давно зайца выбили.

Дорога и впрямь вскоре сменилась узкой тропой, потом началось полное бездорожье. Как ориентировался в этой негляди Чечулин, Николай понять не мог, тем более что луна надолго ныряла за облака и не спешила показываться. Но шел он уверенно, словно по шоссе с дорожными указателями.

— Можно и с другой стороны подобраться к моим угодьям, там дорога полегче, безболотная, — сказал он, — но для этого километров двадцать лишних надо делать.

К замерзшему болоту подошли, когда луна снова забаррикадировалась облаками. Будь Иустин Ксенофонтович один, зашагал бы по нему не раздумывая, но напарник по кочкам не обхожен. Решил дожидаться, когда ночное светило приступит к своим прямым обязанностям и кочки станут различимы.

— Прибился небось? — осведомился Чечулин, незаметно для самого себя перейдя на «ты». — Посидим, что ли?

Расчистив от нагрудившегося снега кожаной рукавицей поваленный ствол, он уселся. Сел и Николай.

— В валенках непривычно, — посетовал. — Как в колодцах.

Иустин Ксенофонтович покопался в походной сумке, извлек из нее и протянул Николаю небольшой засушенный плод, по виду похожий на урюк.

— Вот эту штукювину за щеку и держи.

— А как ее зовут? — Николай с безразличностью повертел перед глазами ягоду.

— Ложи, ложи и держи. Почувствуешь что — скажу как.

Болото оказалось широким. Коротконогий, на вид неуклюжий, Иустин Ксенофонтович перемахивал с кочки на кочку с акробатической ловкостью и вызывал у Николая невольную зависть. Сам он то и дело срывался с кочек и, чертыхаясь, не без труда взбирался на них.

— А как же назад с добычей? — озаботился Иустин Ксенофонтович.

— Вот об этом я как раз и подумываю.

— Придется тебе кругоком по лесу. Хоть дальше, но безопаснее и вернее. А то, не дай бог, ногу подвернешь или сломаешь, как мне тогда с тобой? Волоком, что ли? Чего доброго, еще в отталину угодим.

Есть такие ловушки: сверху корочки наледи, а ступишь — буль-буль... Кочка — она надежная, а эти...

Николая взяла оторопь от предостережений вожака. Пошел медленнее — еще хуже: стал соскальзывать чуть ли не с каждой кочки. Искусство ходьбы по кочкам как раз и состоит в быстроте передвижения — ступив на нее ногой, надо мгновенно, пока не потерял равновесие, переступить на следующую. И так без задержки дальше.

Чечулин уже добрался до земной тверди — впереди непроизвольно маячил огонек его сигарки.

Однако отдышаться Николаю не пришлось. Иустин Ксенофонович сразу повел его дальше.

Лес сосновый сменился лесом березовым, потом пошел смешанный лес, где березы с проволочно-тонкими веточками выглядели раздетыми рядом с пышными елями, распростершими свои широкие лапы над снежным покровом, потом потянулся осинник, потом снова сосняк — и так без конца и края.

К своему удивлению, Николаю утомления теперь не ощущал. Когда он сказал об этом своему спутнику, тот удовлетворенно крикнул.

— Это она, ягодка, что у тебя за щекой. Лимонником называется. Тело подкрепляет и дух бодрит. Слышал про такую?

— Где-то что-то... А, от мамы. Она у меня фельдшер.

— А отец?

— Отец с финской не вернулся. Юрисконсультантом был на металлургическом.

— Финская война нам дороже обошлась, чем сначала показалось. Здорово она Гитлера ободрила, — сокрушенно произнес Иустин Ксенофонович.

— Больше всего Гитлера европейские страны ободрили. Щелкал он их, как орехи, одну за другой. Особенно Франция. Такая державка, с военными традициями, неприступная «линия Мажино» — за несколько дней. Было с чего Гитлеру возомнить себя Бонапартом двадцатого века.

Уже рассветало, когда выбрались из леса. Пространство, охватываемое глазом, сразу раздвинулось, и новое болото представало перед путниками угрожающе большим.

— Ну как, перемахнем с ходу? — Чечулин скосил глаза на своего подопечного.

Николай изобразил на лице нечто вроде бодрой улыбки.

Пошли. Кочки попадались всякие. И широкие, плоские, на которых можно было постоять, отдышаться и островерхие, где и шага с трудом умещалась, — с такой надо было сразу перескакивать на следующую; одни располагались почти рядом, другие — не дошагнешь, приходилось прыгать. Ох уж эти кочки, будь они неладны!..

И когда Николаю показалось, что он не сможет сделать ни шага дальше — ступни одеревенели, плечо занемело и уже не ощущало свою ношу, — Иустин Ксенофонович, ухнув, торжественно объявил:

— Держись, Николай Сергеевич! Подходим! Вот они где, зайчишки!

Место на первый взгляд было неказистое, ничем не примечательное. Узкую долину с замерзшим извилистым ручьем и редким лозняком окаймляли невысокие холмы, на которых черной густиной стоял бор. Снега здесь оказалось до странности мало, и залег он неравномерно — кое-где наметами, а местами даже не покрывал землю, и она рыжела высохшей мертвой травой.

— Второй уговор помнишь? — строго спросил Иустин Ксенофонович.

— Помню. Не больше пяти.

— Тогда разошлись. Ты налево, я направо. Сойдемся здесь.

Взяв ружье наизготовку, Николай двинулся к ближайшему кусту,

но, как он, настроенный скептически, и ожидал, в кусте не шелохнулось, никто из него не выскочил. Пошел дальше и остановился от яростного окрика спутника:

— Не так! Не так! Стой и всматривайся!

— Есть!

Николай двинулся к следующему кусту. И снова окрик:

— К тому, к тому вернись!

«Чудит старик,— решил Николай.— Да и какой, к черту, заяц после такого галдежа?» Однако же, чтобы не портить ни настроения своему напарнику, ни отношений с ним, вернулся на прежнее место, застал у куста, вглядываясь в переплетение ветвей и бурьяна, и совершенно неожиданно заметил уставившийся на него из глубины зарослей немигающий светло-коричневый глаз. Руки мелко задрожали. Дрожь эта была отнюдь не охотничьим возбуждением. Она больше походила на дрожь от испуга. Не поднимая ружья, чтобы не сделать резкого движения, а лишь чуть наклонив стволы, Николай нажал спуск.

Когда развеялся дым от выстрела, глаз исчез. Николай подумал, что либо то была галлюцинация, либо он промахнулся, так как выстрелил не целясь. Но тут на сером пятне, которое принял за высохший мох, появилось пятно красное. Он! Забрался в куст, вытащил зайца.

— Ну, что я говорил? — услышал торжествующий возглас Иустина Ксенофонтовича, который так никуда и не двинулся, твердо зная, что в этом благословенном месте торопиться не след. И действительно, увидев пробежавшего шагах в двадцати зайца, он даже взглядом за ним не проследил.

— Что же вы?! — досадливо крикнул Николай.

Хотя заяц был уже шагах в сорока, вскинул ружье и выстрелил. Ткнувшись носом в землю, заяц перекувыркнулся через голову и остался на месте как пригвожденный.

Иустин Ксенофонтович укоризненно покачал головой:

— Негоже стрелять в убегающего. Ежели убегает — не такой уж он дурак и потому заслуживает снисхождения. А еще — при такой стрельбе подранки могут быть. Изволь бить только сидячих, как твой первый.

С трудом удержался Николай, чтобы не рассмеяться. Он уже понял, что лихая стрельба задевает самолюбие напарника, что стреляет тот лишь по неподвижным целям — так вернее. Но сказал серьезно:

— Это уже не охота, а убийство.

...Не прошло и часа, как они отстрелялись. Выбрав сухой, прогретый неяркими, но все же теплыми лучами солнца пригорок, перекусили, отдохнули и стали собираться в обратный путь. Иустин Ксенофонтович отрезал зайцам головы и лапы, выпотрошил их, отчего они, естественно, сильно сдали в весе. Николай же, несмотря на уговоры, наотрез отказался последовать примеру бывалого охотника, увидев, как неприглядно выглядит добыча после такой обработки. Ему хотелось принести домой пятерку зайцев не изуродованных, не искромсанных.

Иустин Ксенофонтович обладал не только опытом, но и твердым характером, решения принимал быстро и назад не пятился.

— В таком случае ты тем более со мной старой дорогой не пойдешь,— категорически заявил он.— Смеешься, что ли,— зряшных пять килограммов веса! А я кругом не пойду. Шутка ли — лишних двадцать километров топтать!

Уперся один, уперся другой — что тут поделывать? Разошлись по разным дорогам.

— Держи солнце с правого боку! — крикнул на прощание Иустин Ксенофонтович.

Николаю предстояло отвалить километров семь нехожеными тропами до проселка, потом чуть поменьше до большака, а там, чем черт

не шутит, случится — и подбросит кто хоть сколько-нибудь попутными санями.

Лес на пути однообразный, бесприметный. Единственный ориентир — солнце, тускло просвечивавшее сквозь легкий застил облаков. Но вскоре облака сгустились, пропал и этот единственный ориентир. А тут еще замело, запуржило. Пришлось идти наугад.

На одной из полян Николаю попалась одинокая сосна. Ветви ее на всю высоту были срублены, и по голому, как телеграфный столб, стволу до самой вершины поднимались прибитые перекладины. «Никак специально для заблудившихся». Сбросив на снег добычу и ружье, Николай стал взбираться наверх. Перекладины были приколочены давно, крупные корабельные гвозди поржавели, дерево кое-где прогнило, того и гляди какая перекладина расколется, сломается, оторвется, не успеешь опомниться, как полетишь вниз. И все же напрягаясь, он поднимался все выше, чтобы определить, в каком направлении следует двигаться. Вот и последняя перекладина. Помотрел окрест — всюду сплошняком лес и нигде ни дымка. Уж не в какую сторону подался он, где, как уверяла Светлана, на сто километров от живой души не сыщешь?

Ругнул себя, что отстал от Чечулина. Лучше бы с кочки на кочку, да рядом. Вспомнил наставительное Светланино: «К лесу привыкнуть надо».

Осторожно спустился вниз и уже с неприязнью взглянул на распластанных на снегу зайцев. Выглядели они если не эффектно, то, во всяком случае, впечатляюще. Это вот желание сохранить внешний вид добычи и подвело его.

Куда идти? В направлении, какое подсказывало чутье? Но чутье как раз ничего определенного не подсказывало. Он знал, читая где-то, а может быть, слышал, что заблудившиеся часто кружат, причем главным образом в левую сторону. Шел бы по равнине, мог бы сберечься со своими следами, выдерживая их по прямой. А здесь, в лесу, следы мигом терялись за деревьями. И лес тут был какой-то страшный, дремучий — ни полян, ни просек.

И вдруг после долгого блуждания, когда силы, казалось, были на исходе и от потери ориентировки стала брать оторопь, наконец выглянуло солнце. Но выглянуло не справа, как ждал, а за спиной. Это означало, что шел он не в ту сторону и забрался в чащобу довольно далеко.

Пошел увереннее и быстрее, неуклонно держа солнце в правой стороне, как и наставлял его, благословляя в самостоятельный путь, Чечулин. Покуда пересекал сосняк, шагалось легко — сосны стояли поодаль друг от друга, как мачты на голой палубе, когда же его сменил березняк да пришлось продираться сквозь молодую поросль, и шаги и груз становились все тяжелее. Пришлось пожалеть, что прихватил и лишние патроны, целых двадцать штук, и складной туристский нож с ложкой, вилкой и многочисленными лезвиями на все случаи походной жизни.

Уже догорал скупой желтоватый зимний закат, когда Николай выбрался на проселочную дорогу. На душе сразу полегчало. Та это дорога, о которой говорил Чечулин, или не та — все равно она приведет к людям, к жилью, где можно будет отдохнуть, а главное, узнать, как кратчайшим путем добраться домой.

При мысли о доме к сердцу прилило тепло. Да, у него теперь был свой дом — он снова вернулся в избушку, в которую нагрелась было Лариса.

С трудом передвигая ноги, обутые в тяжелые валенки, — все же тренировки в такого рода ходьбе не было — долго шагал по плохо укатанной дороге, пока наконец не услышал звук колокольчика — навстречу ехал почтарь. Поравнявшись с одиноким путником, почтарь остановил лошадь, вывалился из розвальней. Маленький, тусклокрасный

мужичонка с редкой, как выщипанной бородкой клинышком, весь утонувший в огромном тулупе, с завистью оглядел добычу.

— Откуда и куда? — спросил с затаенным любопытством.

— В Чермыз.

Почтарь выразительно присвистнул, что, должно быть, означало: ничего себе расстояннице.

— А откуда?

Николай не мог выдать охотничьи угоды Чечулина и показал в сторону, противоположную той, где был.

— Это чо ж, никак у Власевой заимки?

— Да, неподалеку, почти рядом, — обрадовался подсказке Николая.

— Справа или слева?

Почтарь оказался не только дотошным расспросчиком, но и доброжелательным человеком. Подробнейшим образом, используя для наглядности жесты, он разъяснил, где свернуть на встречающихся развилках, где не надо, и, ширя глаза, предупредил, чтоб в Петрушине ни в одну избу не заходил, оттого как люди там — звери. Из ссыльных. Их даже в армию не берут. На улице, может, и не тронут, но из избы не выпустят.

— Я и сам когда через энти выселки еду, вот за эту штуку держусь. — Распахнув тулуп, почтарь с гордостью похлопал рукой по огромному «ковбойскому» «смит-и-вессону», торчавшему из-за пояса.

Николай вошел в Петрушино, когда луна была высоко в небе и светила вовсю. На исходе почти сутки, как он на ногах, и уже не было никакой мочи двигаться дальше. Вспыхнуло почти непреодолимое искушение зайти в первую же попавшуюся избу, посидеть, вытянуть ноги, проглотить чего-нибудь и особенно попить горячего, но он подавил его. Слишком уж большой соблазн представляло для обитателей Петрушина охотничье ружье. Заложив за щеку одну из ягод лимонника, предусмотрительно навязанных Чечулиным, поковылял, уже не глядя по сторонам, дальше.

Поселок состоял из одной улицы, длинной-предлинной — все тянулась и тянулась она ровной линией вдоль дороги, почти сплошь обстроенной новыми добротными домами. Электрического освещения не было, сквозь наглухо закрытые ставни кое-где просвечивал слабый желтый свет керосиновых ламп. Сторожевые псы выполняли свои обязанности прилежно, и от первого до последнего подворья Николая сопровождал разноголосый собачий лай. Потревоженный ими, где-то сдуру загорланил петух, его сонно поддержали другие.

Сразу за поселком начинались открытые безлесные места. Равнина, на которой оказался Николай, походила на донецкую степь в зимнюю пору и навеяла грусть. И сейчас трудно было смириться с мыслью, что этот край отторгнут врагом и «курганы темные, солнцем опаленные», находятся за чертой, разделившей два мира.

Вдали на дороге отчетливо обозначалось черное пятно. Кто-то ехал на саях без колокольчика. Колокольчик был привилегией почты, по его звуку все беспрекословно уступали ей дорогу. Кстати, уступить дорогу в этих местах дело не такое уж простое. Укатана она всего на ширину колеи, свернет лошадь чуть в сторону — тотчас окажется по брюхо в снегу. А ежели сани с грузом, то требовались и сноровка, и время, а подчас и помощь, чтобы снова выбраться на дорогу.

От черного пятна отделилась черная же точка и помчалась навстречу Николаю. Не сразу понял он, что на него мчит огромный, с теленка ростом волкодав, а когда понял, спохватился, сбросил с плеча ружье, взвел курок.

Захлебываясь от лая, волкодав стал кружить вокруг него, норовя зайти сзади, за спину, и заставляя Николая тоже крутиться. Мужик не отзывал собаку, хотя она продолжала яростно атаковать.

В конце концов Николаю надоело играть роль затравленного. Он

выстрелил в землю. Пес с перепугу кинулся прочь по нетронутому снегу и, лишь оказавшись от путника на почтительном расстоянии, снова залился лаем.

Только теперь мужик подал голос:

— Какого черта в собаку стреляешь, язви тебя?

Остановив лошадь, он вылез из саней и зашагал к Николаю. Бородатый, в меховой шапке, в огромном тулупе, он был похож на медведя, поднявшего ее на задние лапы.

— А ты какого черта ее не отзываешь? — довольно спокойно ответил Николай, еще не определив степени опасности, и вдруг насто-рожился.

Левой рукой гигант остервенело размахивал, а правая была опущена и отведена назад. Не оставалось сомнения, что в ней он держал что-то грозное.

— Не подходи, стрелять буду! — Николай взвел курок второго ствола.

— Стреляй! — Левой рукой гигант распахнул полу тулупа, под которым был еще полушубок, и шел вперед, по-прежнему держа руку опущенной.

— Стой!

Никакого внимания. Одно натужное сопение в ответ.

«Пьяный, что ли?» От этой мысли легче не стало. Какая разница? Ни пьяного, ни трезвого в запале подпускать нельзя. Петрушинец, наверно.

— Стой! — во всю мочь крикнул Николай и поднял ружье к плечу.

Выпятив шалелые глаза, гигант бесстрашно продолжал наступать. Расстояние сократилось до семи-восьми шагов.

Николай понял, что дальше медлить нельзя. Дать предупредительный выстрел в воздух? Но в ружье у него только один патрон, правый ствол он не перезарядил после выстрела — не выработался еще у него автоматизм, заставляющий охотника закладывать в ружье новый патрон по инерции.

— Стой, мать твою!.. — Николай выжал из голоса все оставшиеся силы и... сделал шаг назад.

Нападающий продвинулся на шаг вперед. Так и пошло. Один — шаг назад, другой — шаг вперед. Неторопливо, испытывая обоюдную выдержку.

«Вот и найди выход из положения, — молотом стучало в мозгу у Николая. — Попробуй улови то мгновение, когда придет время выстрелить. Сколько должно остаться шагов? Четыре, три?.. И как это — всадить заряд в человека? И куда всадить? В ноги? Но они закрыты тулупом и валенками...»

И тут он с ужасом вспомнил, что левый курок у него, бывает, дает осечку.

Снова отступил назад и внезапно провалился по колено в снег. Сообразив, что сошел с дороги, что дальше пятиться некуда, держа стволы на уровне груди гиганта, затих в решимости отчаяния: еще один шаг — и он выстрелит.

Но тут произошло неожиданное. Пока Николай кричал, предупреждал, угрожал, это не оказывало на верзилу никакого воздействия, а когда затих, тот понял, что наступил критический момент, и остановился. Подняв правую руку — в ней оказался топор, — погрозил им, громкоподобно матюгнувшись и заспешил к саням.

Погружаясь все глубже в снег, Николай на всякий случай отошел подальше от дороги — топор можно запустить и на расстоянии.

— Ну погоди, падло, сейчас соберу мужиков, догоним — будет ужо тебе похлебка! — разухабисто крикнул верзила и стегнул лошадь.

«Прохладится — остынет», — решил Николай, выбираясь на доро-

гу и на всякий случай закладывая в двустволку патроны, заряженные пулями. Пули, конечно, не спасут его, если нагонит ватага, однако же он почувствовал себя увереннее.

Вскоре дорога вывела его на большак, на тот самый большак, о котором говорили Чечулин и почтарь. Но не успел он сделать и полсотни шагов, как до его ушей донеслось улюлюканье. Оглянулся. Трое мужиков, стоя на трех саях, во весь опор гнали лошадей, догоняя его. Кругом равнина, ни дерева, ни пенька, за которым можно было бы укрыться, из-за которых можно было бы отстреливаться.

— Поохотился...— вырвалось у него, и он не узнал своего голоса. Хрипый, чужой, посторонний.

А преследователи между тем приближались. «Эх, пощадил бандюгу, не выстрелил». Бросил зайцев на обочину и только собрался залечь в снег, чтобы не торчать мишенью, как услышал рокот мотора. По большаку, мигая фарами, мчалась легковая машина. «Остановится или проскочит мимо?» Николай стал посреди дороги лицом к машине, опустил ружье на землю, чтобы не отпугнуть едущих, и широко раскрыл руки. «Могут и проскочить — большак достаточно широк. Тогда — амба. Глупо все, глупо... Люди гибнут на войне, а я...»

Машина вильнула в сторону, объезжая его, и в этот момент лошади выскочили на большак. «Проехала...» Николай поднял ружье и побежал к обочине, чтобы залечь там. Но вдруг скрипнули тормоза, машина пошла юзом и, скользя, как на полозьях, остановилась поперек дороги. Остановили лошадей и возницы.

Из машины выпрыгнули Светлана и Баских. Подбежав к Николаю, Светлана обхватила его руками, прижалась. А он стоял безучастный, со взмокшим от нервного напряжения лицом и только следил глазами за своими преследователями. Передний возница начал уже было разворачивать, но вовремя подоспевший Баских взял лошадь под уздцы.

— Здорово, мужики! Куда это собрались среди ночи?

— На охоту,— пробасил вожак.

Николай сразу узнал этот голос. Он принадлежал бородачу.

— По какому зверю?

— Вестимо по какому. По зайцу.

Из задних саней вылетел какой-то небольшой темный предмет и провалился в снег.

— Гриша! — окликнул Баских шофера.— Видел?

— А как же!

Из машины выскочили еще двое: шофер и с ружьем наперевес Иустин Ксенофонович.

Шофер полез в снег, долго топтался в нем, шарил и наконец довольно свистнул. В руках у него был обрез. Иустин же Ксенофонович, покопавшись в соломе передних саней, извлек из нее двустволку. Подержав ее в руках и оценив по достоинству, сказал в похвальбу мужику:

— Хорош хозяин, ладно ружьишко содержишь.— Открыл патронник, достал патроны.— И стрелок, видать, отменный — на зайца с пулями идешь. Я вот дробью и то не всегда попадаю.

Молчал бородастый детина, только глаза его люто поблескивали из-под нависших бровей, как у пойманного зверя.

Баских поискал оружие во вторых саях и не нашел. Но шворень обнаружил увесистый — быка можно оглушить.

— Все плачетесь, идолово семя, что зря вас обидели, а как были волками, так и остались,— с неприкрытой враждебностью сказал он и добавил обманчиво миролюбивым тоном: — Что ж, мужики, поохотились — и шабаш. Поехали-ка в Чермыз. Впереди нас. И не вздумайте драпать. Давайте так уж, по-благородному. Чтоб без стрельбы обошлось. Все равно далеко не укачете.

Когда стали усаживаться в машину, хозяйственный Иустин Ксенофонтович вдруг вспомнил:

— А зайцы где?

— Да вон на дороге, — повеселев, отозвался Николай и пошел подбирать забытую добычу.

Чечулин заговорщицки склонился к Светлане.

— Держи его в узде, Светка, не то не сносить ему головы.

Долго ехали молча. Впереди шофер и Баских, на заднем сиденье остальные. Светлану усадили посредине, чтобы было теплее. И всё равно ее бил озноб. Перенервничала и никак не могла успокоиться.

— Ты меня прости, Коля, что одного отпустил, — виновато заговорил Иустин Ксенофонтович. — Беспартийность подвела.

— А это при чем? — сквозь усмешку спросил Баских, не повернув головы — он зорко следил за едущими впереди.

— Да не верил я, что такие они подлюги. Думал, люди все-таки. Даже жалел иногда. Попадали вроде и зазря некоторые, не праведливо.

— Те, которые несправедливо, как ни странно, менее мстят, — заметил Баских и добавил: — А вы, Николай Сергеевич, скажите спасибо Светлане. Это она забила тревогу. Как узнала, что вам идти через Петрушино, — сразу ко мне. А Григорий, как на грех, мотор разобрал. Пока из дома прибежал, пока собрали наспех... Вот будет номер, если заглохнет.

Григорий в охотку рассмеялся.

— А мы тогда лошадак запрежем и этих бугаев в протяжку. Дуйте-ка, такие-сякие!..

— М-да! — Баских потрепал шофера по плечу. — Проставляю себе такой въезд в поселок.

Только нареченные супруги за всю дорогу не проронили ни слова. Светлана продела свою руку под руку Николая и так прижалась к нему, точно боялась, как бы его не отняли.

Очередной приказ Светлана писала с внутренним удовлетворением. За самовольную отлучку с завода Кроханов объявил начальникам мартеновского и строительного цехов по выговору. Это вполне соответствовало намерению Светланы отбить у Николая желание предпринимать охотничьи вылазки. Позволил себе два раза — и оба раза с такими злоключениями.

7

Снова пошла в цехе хоть и напряженная, но ритмичная работа. Локомотив, рассчитанный на солому, прекрасно работал на дровах, и мазут в обогреваемом змеевиком пространстве постоянно был жидким. Балатьеву удалось раздобыть и установить насос для выкачки мазута, и его больше не надо было черпать ведрами. Об этом участке можно было и забыть, но перестраховки ради Балатьев проверял его ежедневно.

Спокойствие, однако, продолжалось недолго. Однажды среди ночи его разбудил телефонный звонок.

— Не доставили известняк с Камской базы. Можем спать, — без лишних слов доложил Аким Иванович. — Паровоз застрял на полдороге.

Известняк Кроханов держал на складе Камской базы, и сколько ни воевал Балатьев, ему никак не удавалось создать необходимый запас на шихтовом дворе.

Попросил телефонистку вызвать директора. Та сначала отнекивалась — очень уж не любил Кроханов, когда его будили, бранился, но Николай настоял на своем.

Не то со сна, не то от раздражения директор спросил крило:

— Чего тебе еще?

Николай доложил о создавшемся положении, попросил воздействовать на транспортников. Ничего не ответив, Кроханов положил трубку — думай что хочешь, поступай как знаешь.

Проснулась Светлана, обеспокоенно повернулась с боку на бок, оторвала голову от подушки.

— Что там такое?

— Спи, спи, детка. Досматривай сон.

Светлана послушно сомкнула веки, и вскоре послышалось ее ровное дыхание. Николай улегся на краю постели, закинул руки за голову и задумался. Не о цехе. О Светлане. Что, если необходимость вынудит его на какое-то время расстаться с ней? Пока Кроханов терпит ее, но стоит ей лишиться защиты — и секретарству придет конец. Подберет из эвакуированных. Число их в поселке неуклонно растет. Вот даже группа недавно прибывших художников и скульпторов нашла себе применение — расписывают стены бывшей церкви фресками, превращая ее в современный клуб, лепят бюсты знатных людей завода. Не идти же Светлане на физическую работу — с наступлением холодов ее стали донимать боли в ноге. Нет, если уж ему суждено перевестись на другой завод, сразу заберет ее с собой. И семейное жильё куда проще получить по приезду, чем добиваться потом.

Не прошло и часа, как Аким Иванович сообщил: вагоны с известняком не подошли, первая печь остановлена.

Дальнейшие попытки связаться с Крохановым успехом не увенчались.

— Директор звонил кому-нибудь после разговора со мной? — спросил Николай телефонистку.

— Никому.

— Как ваша фамилия?

— А что я могу сделать, если он не поднимает трубку? — грубо ответила телефонистка.

Снова проснулась Светлана, стала прислушиваться к разговору.

— Назовите вашу фамилию, — потребовал Николай.

— Ну Чечулина.

— А сколько вас, Чечулиных?

— У нас две.

— Как вас зовут?

— Да что вы навязались на мою голову! Ну, Антонина.

— Так вот что, Антонина, прошу запомнить: директор после моего звонка никого не вызывал, никаких распоряжений не отдал.

— Что тут запоминать? Оно так и есть.

Светлана похвалила Николая за предусмотрительность и, уткнувшись лицом в его плечо, опять быстро заснула.

За окном разыгрывалась вьюга, ее завывания еще больше взвинчивали нервы Николая. Когда же Кроханов сподобится вызвать рабочих на расчистку путей? Хорошо все-таки, что мартеновскому цеху не всучили Камскую базу. Не знать бы ему ни минуты покоя.

Уже под утро Аким Иванович сообщил, что паровоз все-таки пробылся, хоть и с одним вагоном, и что печь простояла два часа пятнадцать минут.

В полдень Кроханов собрал всех начальников цехов и отделов на рапорт. Очные рапорты он проводил редко, обычно в особо важных случаях, и на них обязательно присутствовал один из секретарей райкома. Вот почему появление в кабинете Баских никого не удивило.

Рапорты теперь проходили быстрее, чем в недавнем прошлом. Излюбленная тема — обращение с лошадьми — отпала, поскольку в мартеновском цехе мотовозы работали исправно, а в остальных цехах лошади неприятностей не доставляли — не тот темп, не тот ритм.

Чего угодно мог ожидать сегодня Балатьев, но только не того, что произошло.

Когда подошла его очередь отчитываться — а он почему-то был оставлен напоследок, — директор без всякого стеснения потребовал объяснить, почему ночью простояла печь.

От неожиданности, от чудовищного бесстыдства у Балатьева язык прилип к гортани.

— Ты что, оглох, что ли?! — набросился на него Кроханов.

— Вот это здорово! — Балатьев еле-еле овладел собой. — Ты-то отлично знаешь почему.

— Знал бы — не спрашивал.

— Ах так! Не знаете! — Голос Балатьева накалялся. — Что ж, объясню. Простой произошел по вашей вине, товарищ директор. Во-первых, потому, что вы не создали запаса известняка на шихтовом дворе и кормите печи с колес, во-вторых, потому, что не приняли никаких мер ночью, когда я сообщил, что состав застрял. Продолжали себе преспокойно спать. Вот и доспались. И к чему этот разговор у нас — не понимаю.

Недостаток ума в жизни очень часто компенсируется хитростью и умением актерствовать. Кроханов закатил истерику, да с таким мастерством, какому могли бы позавидовать прославленные лицедеи.

Выдавливая из глаз слезы, он кричал, что Балатьев нагло лжет, что на дом он не звонил, ничего не просил, ссылаясь на жену, которая тоже мирно спала всю ночь, твердил, что ему надоели проделки Балатьева — «во всем виноватит директора». Лошади обедают — директор виноват, грузы с Камы не везут — тоже, телефон не работает — он же. А между тем он, Кроханов, пластом стелется, чтобы цеху помочь, бесконечно дыры латает, которые по причине балатьевской нерадивости «размножаются все больше».

Вспомнил Кроханов и про историю с застывшим мазутом, при этом не преминув изобразить себя и Дранникова этакими спасителями чести завода.

На лице у Балатьева появилась насмешливо-снисходительная мина.

— У вас свидетель жена, а у меня..

— ...полюбовница! — задыхаясь, выкрикнул Кроханов.

И на этот раз Балатьев не потерял самообладания. Он словно задался целью быть тем спокойнее, чем больше расходился директор.

— Родственники в счет не идут, — парировал он. Взглянул на Баских. — Есть объективный свидетель — телефонистка Антонина Чечулина, дежурившая ночью. Так что установить, кто лжет, несложно.

Баских возмущенно взглянул на Кроханова, не менее возмущенно на Балатьева, поднялся и, не сказав ни слова, пошел к двери. Уже открыв ее, бросил:

— Время сейчас не то, чтобы сводить счеты! Делом заниматься нужно!

Кроханов закрыл очный рапорт, так и не доведя его до конца. Когда все разошлись, вызвал начальника отдела кадров.

Разговаривали они так тихо, что Светлана не могла расслышать ни единого слова. А ведь затевалось что-то недоброе, это было ясно как дважды два.

Конспиративная беседа продолжалась недолго. Кадровик вышел из директорского кабинета необычно сосредоточенный, торопливо прошагал мимо Светланы. Он явно спешил выполнить задание.

Баских неприязненно относился к Кроханову. С первого взгляда, с первого знакомства. Сначала понять не мог почему. Внешность

у директора вполне благопристойная, никакими пороками не отмеченная, синие глаза даже кажутся умными, пока он что-либо не изречет. Скорее всего подсказало чутье на людей, развившееся за годы комсомольской и партийной работы. Мнение о человеке у него складывалось сразу и редко когда было ошибочным.

Только впоследствии он разобрался, за что невзлюбил Кроханова. Безынициативен, тяжел на подъем, больше всего печется о собственном покое, а если поточнее, то о собственном благополучии, мстителен, нечистоплотен. Все это Баских мог доказать на множестве примеров. Все, кроме нечистоплотности. Делишки свои Кроханов обдeldывал настолько тонко, настолько хитро, что не подберешься, не подкопаешься. Слышал Баских, что директору возят из колхозов продукты за полцены, а то и бесплатно. Но за руку пока никто его не поймал. Слышал и про амурные похождения, но и тут все было шито-крыто. И хотя Баских давно хотелось выпереть Кроханова с завода ради того, чтоб восстановить у людей веру в справедливость, зацепиться ему было не за что. К тому же в главке да и в наркомате на чермызский завод смотрели сквозь пальцы: первый кандидат на остановку и кто им руководит — никого не заботило. Открытых скандалов нет, хищений нет, пусть себе работает человек. Завод не закрывали из гуманных соображений, из тех же соображений не трогали и директора. Да и вообще нарком старался не менять руководителей. Много терпел, многое прощал, давал возможность одуматься, обуздать себя, а уж если снимал, то с треском, широковоещательно, чтоб другим неповадно было, и бдительно следил за тем, чтобы обманувший его надежды больше на руководящую должность не попал.

У самого Баских жизнь складывалась не совсем удачно. Поначалу все шло вроде хорошо. На «Дальзаводе» во Владивостоке, куда прибыл из Соликамска по комсомольскому призыву, его избрали комсоргом механического цеха, потом завода, потом поставили редактором заводской многотиражки. Ту пору своей деятельности он вспоминал с удовольствием — тогда он прошел школу конкретной работы. Напечатав заметку о каких-либо недостатках в цехах, упорно добивался, чтоб их устранили. На заводе он был фигурой более популярной, чем директор. Тот мог не проследить за выполнением своего приказа, но чтоб Баских не проследил за действительностью заметки — такого не было. И по телефону напомним и в личном разговоре, не помогало — вторично пробирал кого следовало в газете, да так, что люди животы надрывали от смеха. А смех — орудие острое, беспощадное. Баских на себе испытал это.

Послали его как-то в район на хлебозаготовки, и случился с ним грех: влюбился в учительницу. Женщина была — что стать, что лицо. Как родная сестра Светланы Давыдычевой. Может, потому и к Светлане у него повышенная симпатия, что будила она в нем лирические воспоминания о молодости. И что обиднее всего — была у него с учительницей чистая, бережная любовь, даже нацеловаться вдоволь не успели. Между тем пошли по селу разговорчики, будто они сожителствуют, и вернувшийся из командировки муж учинил такой дебош, что пришлось учительнице бежать, а его, голубчика, вытащили на бюро райкома. Ну что тут ответишь, когда вполне серьезно спрашивают: «Не находишь ли ты, что проявление полового чувства на селе в условиях классовой борьбы хуже правого уклона?» Признал, что хуже, но с определением своего чувства, как полового не согласился. А райкомовцы требовали полного признания вины, покаяния. Не добившись своего, осерчали и вынесли решение — просить окружком ВКП(б) исключить его из рядов партии «за проявление полового чувства в условиях классовой борьбы и срыв народного образования в районе». Отделался он выговором только потому, что в окружком послали протокол в том виде, как он был

написан, сохранив все несуразности. Ходил этот документ по отделам с не меньшим успехом, чем «Крокодил», и вызывал взрывы смеха. Где бы ни появился потом Федос — в окружке ли партии, в окружке ли комсомола, — тотчас его поддевали язвительными вопросами: «Ну как, хуже правого уклона?» — или: «Что, явился срывать народное образование?»

Следовало бы, конечно, перетерпеть с полгода и добиться снятия выговора, а он не выдержал насмешек и махнул домой, на Урал. Так и плавает за ним в личном деле выговор за аморальное поведение. Соберутся куда повыше выдвинуть, заглянут в него надо придержать, аморальная личность. Вот так дальше партийного руководителя небольшого района и не пошел.

По-разному действуют на людей несправедливые вычисления. Большинство озлобляют, а у Баских оно воспитало повышенное чувство справедливости. И когда на кого-либо возводили обвинения, он дотошно проверял, соответствуют ли они фактам.

Вот и сегодня он решил разобраться, по какой причине простояла печь, и не только для того, чтобы знать, кто врет, а кто говорит правду, но и для того, чтобы наказать виновного.

Анализируя положение, он задал себе вопрос: кому было выгоднее лгать? И ответил: Балатьеву, потому что наказание за простой печи грозило ему, а не директору. С другой стороны, и опаснее всего было лгать Балатьеву, так как его ссылаку на телефонистку ничего не стоило проверить. Таким образом, одно соображение исключало другое, и это не позволяло прийти к определенному выводу. Чутье подсказывало Баских, что Балатьев ничего не приумал. Как ни искусно разыграл Кроханов роль несправедливо обиженного, все же в истерическом пафосе его Баских уловил фальшь.

Но чутьем можно лишь руководствоваться, его к делу не подопьешь. Нужны доказательства. И Баских решил добыть их, поговорив с телефонисткой, причем не откладывая, по горячим следам: вызовов во время дежурства много, пройдет какое-то время — может и забыть.

Узнав в узле связи адрес Антонины Чечулиной, Баских отправился к ней пешком.

С трудом пробалансировав по обледенелому и вдобавок ветхому тротуару — давненько не заглядывали сюда, на окраину, коммунальщики поселкового Совета, — открыл калитку бедненького двухоконного домика и нос к носу столкнулся с начальником отдела кадров завода.

— А вы что тут делаете? Или она... ваш личный кабинет?

— Забота о семьях военнослужащих, — нашелся кадровик. — Насчет дровишек выяснял и разных прочих нужд.

Баских понял, что опоздал, однако от своего намерения не отказался.

Чечулиной было лет под сорок, но землистый цвет лица, гармошка морщин над верхней губой и седина делали ее много старше. Трое ребят мал мала меньше, сидя за столом, наперехват таскали деревянными ложками прямо из казанка жидковатую порю. Даже вторжение чужака не отвлекло их от этого занятия.

Когда Баских изложил причину своего появления, Чечулина, глядя в сторону, ответила, что директору начальник марта не звонил и ни о чем его не просил. Лукавить она явно не умела, слова ее звучали заученно и потому неправдоподобно.

— А ну-ка посмотрите мне в глаза, — потребовал Баских, невольно поддавшись раздражению.

Чечулина взглянула на него, сказала с вызовом:

— А что вы в них увидите, товарищ секретарь? Красные от бессонницы и от слез. Ни одной весточки от своего с начала войны. — И заплакала.

Сочувствуя женщине, Баских принялся утешать ее. Говорил, что убиваться ей незачем, так как письма с фронта идут подолгу, а бывает, и вовсе не доходят, примеров тому множество. Постепенно Чечулина успокоилась, и хотя Баских было крайне неловко продолжать допрос, все же он спросил:

— Так за сколько кубов дров вас ублажили, Антонина Власьевна?

Чечулина горделиво подняла голову, выпрямилась и сразу будто сбросила с себя добрый десяток лет.

— Ублажают не дровами, а заботой. И ежели уж напрямик у нас разговор пошел, так вам, товарищ секретарь, эту самую заботу о нашей сестре, о вдовых бабах, нынешних и завтрашних, не мешало бы проявить.

Это было фактически признание во лжи, но сделанное в такой форме, что на него не сошлешься. А переход от обороны к наступлению означал, что дальнейший разговор бесполезен.

Вышел Баских от Чечулиной в самом дрянном настроении. «Вот тебе доказал, вот тебе наказал,— распекал он себя.— И на этот раз выскочил Кроханов сухим из воды. Предусмотрительная он штучка. Трудновато единоборствовать с таким Балатьеву. Надо вызвать его да подбодрить».

Но вызывать Балатьева не пришлось. Когда Баских вернулся в райком, тот уже расхаживал по коридору.

— Ну как, убедились? — Балатьев был уверен, что телефонистка не станет отпираться: и резона для этого у нее не было и разобраться в ситуации не сможет.

Баских завел Балатьева в кабинет и, ничего не тая, рассказал, как неожиданно все обернулось.

— Ты хоть сам не подставляй под удар свои бока, вот как с мазутом,— посоветовал в пылу искренности.

— Был такой грех.— Балатьев молитвенно сложил руки.

— Вот видишь? Тебе тут каждое лыко в строку. Впредь в подобных ситуациях не забывай про райком. Здесь всегда кто-нибудь дежурит. Позвонил бы — не получилось бы такой катавасии.

— По каждой задержке беспокоить....

— Дорогой мой, каждая задержка — недочет тысяч пуль. А они во как нужны сейчас.— Баских резанул ребром ладони по горлу.— Не то что можешь — должен звонить мне или Немовляеву. Вот третьего лучше не тревожить.

— Почему? Спать мастак?

Не хотелось Баских отвечать на этот вопрос, но, подумав, все же позволил себе довериться.

— С Крохановым на дружеской ноге, из его рук подачи получает, так что снисхождения ты от него не жди.— И тут же поправился: — Кстати, и от нас не жди, хотя в объективности можешь не сомневаться.

Открылась дверь, вошел Немовляев, по-военному, даже несколько утрированно выпятив грудь.

— О, Аркадий! Легко на помине. Хочу предупредить вот о чем... Немовляев непонимающе вздернул брови.

— Ты разве ничего не знаешь? Завтра с ложкой, чашкой, кружкой ша-а-гом марш!

— Что-о?

— А чему ты удивлен?

— Так ты ж рядовой необученный.

— А разве в армии политсостав не нужен? Кому прикажешь сдать дела?

— Как кому? Семипалову, конечно. А впрочем... Тащи лучше мне.

Предложение понравилось Немовляеву. Он удовлетворенно подмигнул Баских и покинул кабинет.

— Посиди-посиди,— придержал Баских Балатьева, когда тот поднялся, полагая, что беседа закончена.— В порядке взаимной открытости: как у тебя со Светланой?

Николай помедлил с ответом. В этой официальной обстановке лирические слова, которые наворачивались на язык, казались ему неподходящими, а обычные, стертые говорить не хотелось.

Расценив молчание как увиливание от прямого ответа, Баских упрекнул:

— А я рассчитывал на взаимность.

И Николай ответил, как мог ответить только себе:

— Я люблю эту девочку. Как никого до сих пор.

— Это всякий раз кажется, что на этот раз...— Умудрено улыбнувшись, Баских принялся старательно заклеивать лопнувшую гильзу единственной оставшейся в пачке папиросы.— Тогда чтоб тебе яснее было, что меня беспокоит: ты думаешь оформить с ней отношения?

— Пока еще мы не говорили об этом.

— Мы не говорили... Мы! — сердито повторил Баских. Об этом должен говорить ты, мужчина. Для нашего брата регистрация — факт третьестепенный, а для женщины... Положа руку на сердце: ты внутренне решил для себя?

— Решил, и давно.

— Тогда на кой ляд тянешь? Это во всех отношениях неблагоприятно. Светлана молчит из такта, а ты... Знаешь, как ей будет радостно? Кроме того, если тебя заберут в армию, что очень возможно... Давай начистоту. Если б не райком, Кроханов с тебя давно бы бронь снял. Так вот если тебя заберут, у нее хоть льготы будут жены военнослужащего. И третье...— Баских пытливо заглянул Балатьеву в глаза.— Впрочем... Достаточно и этого.

— Вполне. Сегодня же оформлю развод.

— Раз так, скажу еще вот что. Под тебя подведена мина — конфликт с женой. Спасет тебя или нет факт регистрации — не знаю, но взрыв он несомненно ослабит. Нарком и разводящихся не жалует, а с разгулявшимися поступает беспощадно, будь хоть самый незаменимый из незаменимых. Снимет даже в ущерб делу.

— Спасибо,— проникновенно сказал Николай.

— За что?

— Что сначала все выпытали, а уж потом подсказали. А то, чего доброго, решили бы, что мною руководили соображения безопасности.

Устал Баских сидеть за столом. Поднялся, зашагал по кабинету, уважительно поглядывая на Балатьева. Как важно, когда у человека здоровое нутро. С женой хлебнул вдосталь, тут попал, как в камнедробилку, а вот же сохранил в себе и душевную чистоту, и доброжелательность, и силу сопротивления. Таким было и его поколение. Проходили через всяческие горнила, горели и не сгорали. Неиссякаем был запас бодрости, который называли революционным оптимизмом.

— Плохого я о тебе не думаю,— вернулся он к разговору,— хотя ошибок, пусть небольших, ты наделал. Но все это искупается искренним твоим патриотизмом. А суть его не в пышных фразах и в восторгах от хорошего, но в непримиримой враждебности ко всему дурному. Только смотри у меня не моргай. На то и щука в море, чтоб карась не дремал.— Протянул руку.— На, держи. А я как смогу выручать буду.

Хорошая рука у Баских, сильная, настоящая мужская рука. Да и у Балатьева не хуже. Рукопожатие получилось крепким.

Как важно бывает, когда дружеские советы расположеного к

тебе человека попадают на подготовленную почву, отвечают твоим намерениям, совпадают с твоими желаниями. Ты как бы получаешь толчок к свершению тех действий, которые со дня на день откладывал, исходя из ошибочного представления, что спешить незачем, ибо впереди у тебя вечность, и забывая непреложную истину, что отложенное на завтра часто откладывается навсегда. Об этой истине думал Николай, когда из райкома прямым ходом направился в загс.

Изнывающая от безделья молодая девушка, чистопицая, быстроглазая, с перманентом-завитушками и выщипанными в ниточку бровями, оживилась, когда Николай сказал, что пришел оформить развод.

Процедура эта оказалась простой и непродолжительной. Заявление, штамп о расторжении брака — и дело с концом.

Вручая паспорт владельцу, девушка многозначительно произнесла:

— Давно пора бы, Николай Сергеевич. А когда вас со Светланой ждать? Мы в одной школе учились.— Неумело протянула руку.— Лиля.

— Если вы так жаждете, Лилия, то хоть сегодня,— ответил Николай приветливо.

Лиля с самым серьезным видом взглянула на часы.

— Сегодня уже не успеете. К тому же в один день как-то... не солидно.

Пожелав Лиле хорошего мужа, Николай направился к выходу.

— Где уж тут хорошего.— В словах девушки, брошенных вдогонку, прозвучала неспрятанная грусть.— И нехороших в армию забрали.

Николай вышел из этого учреждения, испытывая облегчение от того, что порвал последнюю нить, связывавшую его с Ларисой, и пожурил себя за то, что не удосужился оформить развод раньше. Это предохранило бы его от многих неприятностей.

Против обыкновения Николай не застал Светлану дома. На столе лежала записка: «Коленька, пообедай и приходи. Мое столь явное отчуждение от отчего дома обижает родителей. И по тебе здесь соскучились. Светлана».

Поев, Николай посидел за столом, обдумывая, как преподнести сюрприз, сменил спецовку на костюм и пошел к Давыдычевым.

Семья оказалась в кухне — здесь было теплее. Женщины вязали варежки для солдат, Константин Егорович читал вслух газету.

Поклонившись каждому в отдельности, Николай произнес с торжественностью, подобающей для такого случая:

— Дорогие Клементина Павловна и Константин Егорович, я прошу руки вашей дочери.

Все сразу улыбнулись, но улыбнулись по-разному. Радостно — Клементина Павловна, озадаченно, даже, пожалуй, оторопело — Константин Егорович и удивленно, непонимающе Светлана. На какие-то несколько мгновений воцарилось общее молчание. Николай сник. «Сказал не так или архаичная форма предложения прозвучала не серьезно? — отозвалось в нем.— И о разводе умолчал. Но деваться некуда, слова вылетели, остается ждать, как к ним отнесутся».

— А как же с тем... что вы женаты? — спросил Константин Егорович, не сразу набрав голос.

— Уже свободен.

— Давно?

Только теперь к Николаю вернулась уверенность. Деловые вопросы, заданные Константином Егоровичем, говорили о том, что к предложению он отнесся вполне серьезно.

— Очень давно.— Николай взглянул на часы.— Уже почти час прошел.

Шутку не оценили. Поскольку Николай все еще стоял, поднялся и глава семейства.

— Уважаемый Николай Сергеевич! — торжественно заговорил он и не удержался на этой ноте. — Простите за резкость, но вы мне напоминаете человека, который, похитив алмазное ожерелье, просит подарить его.

Николай застыл в оторопелом молчании. Такого выпяда он не ожидал и не знал, что ответить.

— Откровенно говоря, — продолжал Константин Егорович, — если бы хоть что-то зависело от нас с женой, мы бы еще подумали. Какая жизнь ожидает нашу дочь с вами? У вас все... как-то неудачно складывается. Ну вот возьмем заводские дела. Цех идет в гору, а вы... вы катитесь вниз, притом неуклонно. Это же так.

Высказался и сел, ни на кого не взглянув.

— Что верно, то верно, — подхватила эстафету Клементина Павловна. — Каждый день как на пороховой бочке...

Пока говорили родители, Светлана казалась безучастной, и можно было подумать, что она полностью разделяет их мнение. И как ни был уверен Николай в силе ее привязанности и неизменности чувств, все же ему стало не по себе. Волею судьбы он попал в неудачники — у него на самом деле все не ладится. Буквально все. Как началось с предательства Ларисы, так и тянется за ним сплошная цепь неудач. Теперь он ждет очередного предательства с ее стороны и почти с уверенностью может сказать, что гром грянет. А как сложится его жизнь впоследствии — что тут скажешь наверняка? Он даже не знает, где будет в ближайшее время — здесь ли, на другом заводе или в армии. Это решат за него и, вероятно, уже решают. Так какое право имеет он связывать свою незадавшуюся жизнь с жизнью этого милого юного существа? Какое у него основание злоупотреблять ее чувствами, ее преданностью? И не его ли долг, долг мужчины, уже познавшего сложности жизни, прежде всего подумать о том, что принесет он любимой женщине: счастье или несчастье? И не будет ли правильнее, благороднее переместить себя и особенно перед Светланой подняться, извиниться за неосознанный шаг и тихо ретироваться?

Когда он уже почувствовал себя в силах сделать это, заговорила Светлана:

— Дорогие мои родители, вы меня с малых лет учили, и, должна с радостью признаться, научили считать основной чертой человеческого характера честность. Правда, ни вы, ни учителя не говорили, что быть честным невероятно сложно, что честность — это понятие непростое. В быту, на работе и вообще в жизни. Так вот, если бы все неудачи от честности и только от нее. Но я предпочитаю быть женой честного неудачника, чем нечистоплотного счастливица. — Светлана подошла к Николаю, уважительно поцеловала его в щеку, став рядом, будто и впрямь ожидая родительского благословения, продолжила: — Кстати, янисколько не огорчусь, если мы не оформим наш брак. — Перевела взгляд с отца на мать. — Вот вы, например, за четверть века не нашли нужным сделать это. В церковь не венчались, загс игнорировали. И ничего, живете — позавидовать можно. Бумажка, увы, не укрепляет отношения.

— Светлана, тебя занесло, — пожурила дочь Клементина Павловна. — Переход отношений из де-факто в де-юре ничем помешать не может.

— А в нашем случае тем более, — ухватился Николай за неожиданную поддержку. — Уйду в армию — права жены военнослужащего будут нелишними.

Реакция Светланы на этот довод оказалась неожиданной и категоричной.

— Я никогда не буду женой военнослужащего! — На безмолвный вопрос уставившихся на нее трех пар глаз ответила: — Если Колю заберут в армию, я тоже стану военнослужащей.

Клементина Павловна оторопело всплеснула руками. Кому-кому, а ей известен характер дочери. Спокойная и покладистая, она проявляла недюжинное упорство, когда считала нужным настоять на своем. Так получилось и с выбором профессии и с выбором института, в котором решила учиться. Желая поставить Светлану на место, не удержалась от злого выпада:

— Из тебя воин, как... Что ты можешь?

— А что могут те девушки, которые ушли добровольно? — мгновенно нашлась Светлана. — Санитарки, аэростатчицы, снайперы. Знаешь, сколько их? Из одной Пермской области больше шести тысяч. Ты, мамочка, эту газету от меня спрятала, но не так уж далеко. И если признаться откровенно, то... знаете, кто удержал меня от этого шага? Коля. Духу не хватило оставить одного... в осаде.

9

В воскресенье трое эвакуированных, прибывших с военными машинами, безуспешно искали директора. Он еще со вчерашнего вечера засел в подшефном колхозе, где можно было безопасно пображничать, — дорогу к охотничьей избушке в лесу замело, а традиция гульнуть по воскресеньям соблюдалась свято.

Несмотря на сопротивление Ульяны, требовавшей ордер за подписью «самого», эвакуированные нахрапом вселились в Дом приезжих и теперь блаженствовали. Двое пили ничем не заправленный кипяток, третий, сняв кирзовые сапоги, отогревал ступни ног, прижав их к кирпичам печи.

Вот в таком виде застал их Балатьев, узнав от Светланы о прибытии новеньких. Мало ли откуда могут быть люди! Может, из Макеевки, а если и нет, все равно надо повидаться, услышать из первых уст, что делается на белом свете.

— Здравствуйте, хлопцы! — радостно сказал он с порога и смутился, рассматрив «хлопцев» — все куда старше его. — Балатьев, начальник мартена.

Первым откликнулся благодушный, в добром теле мужчина, смуглый, кучерявый, весьма смахивающий на цыгана.

— Шеремет, Запорожье. У вас буду начальником техотдела.

Второй, со светлыми холодными глазами, глубоко сидевшими под выпуклыми надбровьями, представиться не торопился — изучающе рассматривал Балатьева, словно сверяя создавшийся по чьим-то словам в его воображении облик с представшим перед ним оригиналом.

— Славянинов, — наконец снизошел он. — Из Днепропетровска. Назначен главным инженером.

У сидевшего на табурете возле печи рука на перевязи, лицо изможденное, а взор потухший. Его представил Шеремет:

— Подгаенок, Кривой Рог. Прислан начальником транспортного цеха.

— Ну вот и хорошо. — Балатьев снова обвел каждого любопытствующим взглядом. — Нашего полку прибыло...

— О-чень хо-ро-шо! — со стоном вырвалось у Подгаенка. — Пол-России отхватили, а ему — хорошо! — Он так ожесточился, что даже ноги убрал от печи.

Десятки вопросов собирался задать Николай, но ответ Подгаенка обескуражил его. Взяв у Ульяны чашку, налил в нее кипятку и, хотя чувствовал себя лишним, все же подсел к столу.

Бодряще подмигнув, Шеремет подвинул ему два кусочка сахара, спросил по-свойски:

— Когда прибыли, Балатьев?
 — Еще до войны черт сюда занес.
 — И слава богу,— не без зависти обронил Шерemet. Умный черт попался. Спасибо скажите, что спас...
 — ...от бомбежек?

— Бомбежки пережить можно. А вот крушить своими руками, что годами строили...— Шерemet осекся под укоряющим, полным боли взглядом Подгаенка.— Прости, Артем Денисович.

Но Подгаенок не простил. С трудом натянув сапоги, он ушел на половину комендантши.

Шерemet поднялся было, чтобы выйти следом, но Славянинов повелительным жестом остановил его.

— Оставьте в покое. А вообще слова взвешивать надо. — И выразительно взглянул на Балатьева, дав понять, что замечание относится в равной мере и к нему.

«Сразу входит в свою роль главный,— пронеслось в голове Николая.— С характером. Этот Кроханову не поддастся».

— Жену и дочь потерял в дороге,— шепнул ему Шерemet.— Эшелон бомбили. Его осколком задело, а их напавал. Там и похоронили в посадке.

— А ваши семьи где?

— В Чусовой. Устроимся — заберем.

Отсутствие Подгаенка развязало Шеремету язык, он стал рассказывать, что пришлось претерпеть самому и что знал от других.

По-разному складывалась обстановка на разных заводах. На одних люди успели демонтировать и вывезти оборудование без особых жертв, потому что подвергались бомбежкам редко, на других события разворачивались более драматично. Запорожцам, например, пришлось жарче чем кому-либо. Гитлеровцы установилирудия на правом берегу Днепра и обстреливали завод прямой наводкой, не давая передышки ни днем, ни ночью. И в этом аду рабочие умудрились демонтировать все, что можно было вывезти. Семьдесят пять эшелонов. Даже железный каркас цеха, только что законченный — строили ведь до последнего дня,— разобрали и погрузили в вагоны. Где-то на Урале его уже смонтировали и, еще не покрыв крышей, начинили станками и точат снаряды. Очень помогли «Запорожстали» рабочие Донбасса. Только благодаря им удалось вывезти все подчистую. И уж совершенно невероятная обстановка создалась в Мариуполе. «Азовсталь» работала на полную мощность, в кабинете у директора шло совещание, которое вел замнаркома, а в город неожиданно ворвались гитлеровские танки. О демонтаже нечего было и думать. Мартеновские печи залили жидким чугуном, да так тонн по пятьсот в каждую, доменные печи тоже закозлили и только после этого разбрелись кто куда.

Вошел Подгаенок, занял свое прежнее место у печи, за ним появилась присмирившая Ульяна. Чем растрогал Подгаенок ее сердце, было неведомо, но она уже с сочувствием смотрела на приезжих, особенно на рассказчика.

— Геройские у нас все-таки люди,— продолжал Шерemet после длительного сосредоточенного молчания.— Первый раз когда бомбанул, обстрелял — струхнули, по углам попрятались, а потом привыкли. Летает, из пулемета лупит трассирующими, фугаски выдает полтонные — и хоть бы хны. А, собственно, как иначе? Оставишь мартен или домну на полчаса — потом с ней сутки не разберешься. Плавил ведь снарядную да бронетанковую. Такие заказы не сорвешь. И демонтаж и погрузку оборудования вели под бомбежками, и эшелоны с оборудованием под бомбежками сопровождали. Железнодорожников гибнет тьма-тьмущая, а эшелоны как шли, так и идут. Четыреста тысяч тонн бомб сбросили гитлеровцы на станции и узлы.

Подгаенок резко повернулся, сдвинув под собой табулет.

— Могу дать справку: за это время вывезено на Восток тридцать шесть тысяч поездов, или полтора миллиона вагонов.— И миролюбиво обратился к Балатьеву: — Какими транспортными средствами располагает завод?

Балатьев понял, что Подгаенка, да, вероятно, и остальных направили сюда также втемную, как в свое время его: расписали красоты природы, а об особенностях завода — ни слова.

— Для чего вам страсти на ночь рассказывать? — замылся он.— Завтра узнаете.

— А все-таки? — настаивал Подгаенок.

— Один узкоколейный паровоз, три мотовоза для сверхузки колеи, одна грузовая машина и сто шестьдесят пять четырехкопытных двигателей мощностью в одну лошадиную силу, работающих на твердом топливе, без глушителей, на выхлопных трубах.

Все дружно расхохотались, а Подгаенок сник.

— Так что мне тут делать?! — в отчаянии воскликнул он.— Глушители ставить?!

— Не беспокойтесь, забот хватит. Вздохнуть будет некогда.

— Товарищ Балатьев, а что у вас произошло здесь с женой? — неожиданно спросил Славянинов.

И сам вопрос и бесцеремонность, с какой он был задан, насторожили Николая. Какая необходимость заставляет этого человека домогаться объяснений вот так, сразу, при посторонних и какое ему дело до семейных неурядиц? Не с той стороны начинает свою деятельность. Что-то в этом мелкотравчатое, низменное.

— Что произошло, вы, по всей видимости, знаете,— ответил он,— а почему — по-моему, знать вам необязательно.

Славянинов задержал на Балатьеве тяжелый исподлобный взгляд, чем-то смахивавший на взгляд Кроханова.

— По-вашему. Но именно мне, как ни огорчительно будет вам услышать, нарком поручил выяснить обстоятельства этой неприглядной истории.

«Ах вот оно что. Затеваается очередная катавасия, только теперь уже на высшем уровне»,— подумал Николай, но, вместо того чтобы ответить дипломатично, сказал как отрезал:

— Не терплю публичных исповедей, тем более если не грешен. Да и товарищам, думаю, неинтересно присутствовать, когда копаются в грязном белье.

Губы Славянинова тронула ядовитая ухмылка. И слова его прозвучали ядовито:

— Это уж как водится. Праведники обычно считают себя грешниками, а грешники... грешники всегда изображают из себя святых.

Домой Николай ушел с тяжелым сердцем. Славянинов произвел на него неприятное впечатление. Груб и властен. Такими бывают люди, которые долго ожидали выдвижения, считая, что используют их не по возможностям, и, добившись руководящего поста уже в перзрелом возрасте, всеми способами начинают вымещать на других злость, накопившуюся за годы бесплодных мечтаний о карьере.

Светлане об этой встрече он решил ничего не рассказывать.

Славянинов рьяно взялся за дело. В первую же неделю он составил график работы цехов и организовал круглосуточную диспетчерскую службу. Теперь завод ни на минуту не оставался без оперативного руководства. Чуть где замешкались — тотчас следовал звонок диспетчера: почему? кто виноват? чем помочь? И руководители завода теперь имели перед глазами полную картину положения дел в цехах, и начальникам цехов стало неизмеримо легче — они

точно знали, куда обратиться за оперативной помощью. Именно диспетчеры помогли Балатьеву создать запас известняка на шихтовом дворе и оградить работу цеха от капризов природы.

Личную тему Славянинов в разговорах с Балатьевым больше не затрагивал, да и вообще, заходя в цех, общался главным образом с Дранниковым или, на худой конец, с Акимом Ивановичем. Однако это не помешало Балатьеву оценить главного инженера как опытного и дельного человека.

А вот Славянинов не оценил Балатьева. Мешало тому и предвзятое к нему отношение, и крохановское науськивание, и независимый характер начальника цеха. Притом Славянинов, опытный специалист по специальности, в тонкостях сталеварения не разбирается и роли Балатьева в улучшении работы цеха понять не мог. Главный инженер воспринимал мартеновский цех таким, каким он стал, каким застал, а каким он был — знать не знал и узнавать не собирался. И вообще Славянинов игнорировал Балатьева как человека, обреченного на снятие. Это стало ясно ему еще в Свердловске.

Подгаенок постигал круг своих обязанностей с трудом. В транспортном цехе «Криворожстали» было около ста паровозов, специальные службы тяги и движения, десятки километров заводских путей, он привык к напряженной, но хорошо организованной работе, работе, которая требует полной отдачи и дает полное удовлетворение. А здесь он чувствовал себя ненужным, и ему все казалось, что зря ест хлеб.

Иногда он заходил к Балатьеву, в котором почуял родственную душу. Они толковали о фронтовых делах, об успехах и неудачах наших войск — успехах, к сожалению, было больше, — а вот личного, сокровенного не касались. Подгаенок старался не burdenить себя тяжелыми воспоминаниями, а Балатьеву нечем было похвалиться и не на что пожаловаться — жизнь его последнее время протекала относительно спокойно.

Но вот однажды утренний сон его нарушил телефонный звонок.

— Николай Сергеевич, — услышал непривычно вежливый голос Кроханова, — есть небольшая просьба: по главку не хватает к месячному плану каких-то пустяков, нас просят дописать пять сот тонн. Они там скроют план, а мы потом отлегулируем.

Тертый жук Кроханов. Знает, что грубостью, нажимом Балатьева не возьмешь, а потихоньку, полегонечку подкатиться можно. И не ошибся.

— Ладно, — ответил Балатьев, спросонок даже не пошекав.

— Тебе сейчас занесут на подпись технический отчет. Задержись дома.

Такая поспешность заставила Николая задуматься. Что значит дописать? Да попросту приписать. Такими делами он никогда не занимался и заниматься не собирается. Его начальник в Донбассе Стругальцев, когда заваливался план, совершенно спокойно выполнял его на бумаге — приписывал, а в том месяце, когда план перевыполнялся, показывал соответственно меньше и гасил огулом. Но за спиной Стругальцева стоял директор, который не только смотрел на эти грешки сквозь пальцы, но даже прикрывал их. На Кроханова же положиться нельзя. В случае чего он не колеблясь предаст.

И когда пришла рассылная, Николай отправил ее обратно, даже не взглянув в отчет.

Однако на этом дело не кончилось. Как только Балатьев появился у проходной и по привычке показал свой пропуск в хтеру, исправный служака загородил ему дорогу и передал требование главного инженера немедленно, не заходя в цех, явиться в заводоуправление.

Не подняв глаз от каких-то бумаг, Славянинов молча кивнул в

ответ на приветствие и молча, еле приметным движением руки предложил сесть.

Балатьеву не приходилось бывать в этом всегда пустовавшем кабинете, и он сразу обратил внимание, что и размеры его меньше директорского и обставлен он беднее. Даже вместо традиционных кресел перед столом стояли обычные ширпотребские стулья. Невольно возникла мысль, что сделано это преднамеренно, ради того, чтобы все, кто заходил сюда, чувствовали разницу в рангах заводских руководителей.

Только покочив с бумагами и сняв очки, которыми пользовался при чтении, Славянинов сказал, тускло взглянув на Балатьева:

— Если помните, Николай Сергеевич, вы отказались от публичной исповеди. Предоставляю вам возможность сделать это с глаза на глаз. Слушаю вас.

Балатьев ожидал разговора о цеховых делах, об отчете, а тут вдруг такая неожиданность. Обдумывая наиболее приемлемую форму ответа, разыграл недоумение.

— Вы, собственно, о чем?

— Ах вы не помните.— Славянинов язвительно сощурился.— Почему вы так бесчеловечно поступили с женой?

— Улучил в неверности, порвал отношения, уехал,— в телеграфном стиле доложил Балатьев.

— У наркома информация другая. К тому же, увы, в неверности жен зачастую бывают виноваты мужья.

Скользнув взглядом по бесцветному, прорезанному преждевременными складками лицу Славянинова, Балатьев подумал, что если от такого сухаря уйдет жена, то обвинить ее будет трудно. Как ни мимолетен был этот взгляд, Славянинов уловил его и, по-видимому, понял. Иначе не сказал бы:

— Я не о внешних данных... Я о поведении.

Такая пронизательность удивила Балатьева, и он заговорил, уже взвешивая слова:

— О том, Анатолий Яковлевич, как тяжел был для меня этот удар, можно судить хотя бы по тому, что я забился в дыру, куда ни один здравомыслящий человек в мирное время не поехал бы.

— Ваш поступок допускает и другое толкование: улепетнуть подальше во избежание скандала.

— Все можно толковать по-разному в зависимости от желания.

— Вы ничего больше добавить не можете? — Тон Славянинова был таким, будто перед ним находился подследственный.

— Ничего кроме того, что я разведен.

Ледяные глаза Славянинова вдруг изменили выражение — потеплели, отразили какие-то душевные колебания, и Николаю показалось, что в чем-то убедил его. Ан нет. Закончил он словами:

— Ладно, отложим пока.

И все же психологический сдвиг в сознании Славянинова произошел. Он уже совсем в ином, доверительном тоне стал рассказывать Балатьеву, что в Главуралмете сидят очень компетентные люди, что нужно не только требовать помощи от них, но и помогать им, и вот сейчас представляется такой случай. Ему, Балатьеву, надлежит сделать совсем немного: добавить к отчету всего-навсего пятьсот тонн, суцая ерунда. В ближайшие месяцы этот долг покроется, и доброе дело будет сделано — в главке сведут концы с концами. Упирается, осложняет отношения с главком, вступать с ним в конфликт нерезонно — пригодится еще воды напиться.

У каждого человека своя манера сопротивления нажиму. Касался бы разговор крупного правонарушения или ущемления интересов цеха, Балатьев дал бы Славянинову отпор. Но лезть на рожон, ссориться и с главным инженером и с главком по такому не столь уж

существенному поводу, да еще учитывая, что впереди разбирательство семейных дел, никак не хотелось. И он уступил, согласился подписать отчет при условии, что премия мартеповцам будет начислена только за фактическую выплатку.

Славянинов признательно заулыбался, отчего складки на его лице обозначились еще резче.

Так полюбовно они и расстались.

11

Лиля встретила жениха и невесту словно дорогих гостей. Как расцвела в радостной улыбке при их появлении, так и не погасила ее до конца короткой и весьма прозаической церемонии. И всячески старалась угодить. Паспорт заполнила каллиграфическим почерком, на штамп подышала, чтоб получился более четкий, и даже патефон запустила с шумановским «Порывом». Свадебного марша это произведение, конечно, заменить не могло, к тому же стертая пластинка звучала хрипло, однако музыка придала этому знаменательному моменту некую торжественность.

Чтобы еще как-то скрасить сухую официальность обстановки, Лиля соединила руки супругов, сжала их своими руками.

— А теперь поцелуйтесь.

Когда новобрачные с превеликим удовольствием выполнили скромное, но необычное для этого учреждения требование, Лиля от избытка чувств тоже поцеловала их. Светлану — в губы, Николая — в щеку.

На улицу молодожены вышли растроганные серьезностью события и умиленные душевной теплотой Лили.

— Хороший она человек, — сказал Николай, когда, держась за руки, зашагали по скользкому дощатому тротуару.

— Очень! — с жаром подхватила Светлана. — Все хорошие люди радуются чужим радостям.

Николай приостановился, вопрошающе взглянул на Светлану.

— Скажи откровенно: не жалеешь, что кончилась твоя беззаботная девичья жизнь?

— Беззаботной жизни у меня не было, — ответила Светлана после секундной заминки. — А девичья... У нас с тобой есть подпольный стаж, который, к сожалению, даже при наличии знакомства в зале не засчитывается. — И вдруг проникновенно-лирически: — Знаешь, Коля, стыдно признаться, но у меня изменилась точка зрения на эту бумажку. Ты мне еще роднее стал.

Беззазорно поцеловавшись у заводууправления, они расстались. Светлана пошла в приемную, Николай направился в цех.

Скромно отметили супруги этот знаменательный день. Посидели с родителями за неприхотливым ужином, распили бутылку кроваво-красного цимлянского шипучего, дожидавшегося своего времени бог знает с каких времен, послушали безрадостно своей неопределенностью вечернее сообщение Совинформбюро, на этом празднество закончили.

Дома они долго сидели, тесно прижавшись друг к другу, и мечтали о том времени, когда кончится война и они уедут из Чермыза, и куда-то далеко, возможно в те края, откуда приехал Николай. Светлане хотелось, чтоб город, где придется жить, был расположен у воды — очень уж привыкла она к пруду.

— Тогда поедем в Мариуполь. Город хороший, завод большой и море.

— Море... — Светлана, как ребенок, с перехватом вздохнула. — Я еще никогда не видела моря... Только родители рассказывали,

когда вспоминали Одессу. Все собирались съездить туда, пройтись по садику у театра, где встретились. «Пале-рояль» называется. Правда, красиво?

Мало-помалу перешли к воспоминаниям и признаниям. У них уже было прошлое, короткое и бурное, было радостное и тревожное настоящее, и верилось, что впереди ожидает пусть и трудное, беспокойное, но счастливое будущее.

Однако до счастливого будущего было еще очень далеко. Николая не оставляло ощущение, будто он попал в топкое болото. Вытащил одну ногу, увязла другая, а теперь увязли обе ноги и его неудержимо тянет на дно. Висела над ним и вероятная кара за приписку и реально назревающая за семейный разлад. А тут еще новая напасть, и опять с неожиданной стороны.

Николай стоял у печи с Суровым, помогая ему расколдовать заколованную плавку — снизить содержание в ней фосфора. Для этого нужно было скатать как можно больше шлака. Густой и вязкий, он сходил неохотно, плохо отделялся от металла, иногда увлекал его с собой, о чем свидетельствовали вылетающие из струи шлака искры, похожие на бенгальский огонь, только еще более яркие и звездчатые. Потом принялись заводить новый шлак. Плавка затянулась, и Николаю уже надоело подходить к телефону и отвечать на назойливые вопросы диспетчера. То — почему печь вышла из графика? то — кто виноват? и раза три подряд — когда выпустите? В мирное время без особой возни и угрызений совести выпустили бы марку ноль и не мучили б печь столько времени, а сейчас хочешь не хочешь, можешь не можешь, а доведи плавку до ума, свари оборонный металл.

Наконец-таки откованная лепешка изогнулась, не дав трещины — это свидетельствовало о том, что фосфор удалось снизить до нормы, — металл стал пластичным, и плавку выпустили. Как раз под конец смены.

Показался Дранников. Не осмотрев печей, что уже само по себе являлось дурным предзнаменованием, прямехонько направился к начальнику.

— Дело дрянь, — сказал он доверительно, отведя Балатьева в сторону. — Вам известно, что Заворыкина уже восемнадцать дней как не выходит на работу?

— Нет.

— А полагалось бы. Плохо, Николай Сергеевич. Начальник обязан знать, работает человек или болтается где-то. Если вы не проявили заботы о заболевшем — это еще куда ни шло, а если прогульщицу прощали, тут уж, знаете, по головке не погладят.

— Полагаете, прогуливает?

— В отпуск вы ее отпустили? Нет. Бюллетень она привосила? Нет. Что же остается? Ясное дело, прогуливает.

Дранников дал Балатьеву время поразмыслить и, не услышав ничего в ответ, заговорил снова:

— Положение у вас, Николай Сергеевич... Направо пойдешь, налево пойдешь... Если вскрыется, что она прогульщица, а вы на это внимания не обращали столько дней, взъяснение вам обещано, и может статься, что будет оно последним. Покроете — еще хуже: суд. Это по законам военного времени как минимум штрафной батальон, а оттуда, как вы знаете, мало кто возвращается. Но если покроете, может, и проскочит. Охотников доносить на вас, мне кажется, не найдется. Попробуйте...

Взглянув Дранникову прямо в глаза, Николай рубанул сплеча: — А вы, Роман Капитонович?

Лицо Дранникова передернулось от возмущения, но тут же на нем появилась скорбная мина.

— Эх, Николай Сергеевич, — молвил он с укором. — Сколько работаем вместе — и никак вы во мне не разберётесь. Я ведь палец о палец не ударил, чтоб столкнуть вас, хоть и мог. Ни к чему мне уважение к себе терять. Вы и так вроде подрубленного дерева — вот-вот рухнете. Только на один замах и осталось.

Резко повернувшись, он пошел осматривать печи.

Николай постоял в оторопедом молчании и решительно направился к выходу из цеха — прежде чем предпринять какие-то меры, надо было убедиться самолично, что Заворыкина прогуливает.

Путь его шел мимо базарной площади, где привык видеть пустующие прилавки, но сегодня базар развернулся вовсю. Странное это было зрелище. Товар, разложенный на полках, предлагали в основном женщины из эвакуированных. Печальные, пониженные, посиневшие от холода, все они независимо от возраста были как на одно лицо. Только одежда разнила их, порой до того нелепая, что Николаю вспомнилась картина Верещагина «Отступление французов под Москвой». Осенние и зимние пальто, вполне современные и допотопные, две-три меховые дохи и жалкое подобие их — по всей видимости, оплешивевшие от времени подклады и бывших шуб разного вида и достоинства, рабочие стеганки, сапоги, извлеченные из сундуков запасливых хозяек, и платки, платки — на плечах, в руках, на головах, белые, серые, бурые, цветные — а если меховые шапки, то состряпанные неумелыми руками либо по прибытии на место, либо еще в дороге, когда одолели холода. Этот пестрый набор необременительных вещей свидетельствовал о крайней поспешности, с какой люди покидали насиженные гнезда. Всем им, очевидно, никогда не приходилось сбывать свое добро, столкнувшись с такой печальной необходимостью, они чувствовали себя не в своей тарелке, словно занимались чем-то унизительным, постыдным: жались, робели, виновато сбавляли цену, когда покупатель. Вещи они держали в заоченелых руках почти час настолько хорошие, что в здешних краях, за модой не тянувших, а таких и не выдывали.

Покупатели заметно отличались от продающих. Одеты по-уральски основательно, в полушубках и валенках, в меховых шапках, они неторопливо рассматривали товар, прикидывали на глаз размер одежды, щупали отрезы, разворачивали их, проверяли на свет — не трачены ли молюю. Какой-то мальчонка, скинув валенок, пытался засунуть ногу в толстом шерстяном носке новенький, хромовой кожи ботинок, а нога, к великому огорчению матери, не лезла. Продававшая их женщина, в годах, замерзшая, еле стоявшая от слабости, уверяла, что летом, в тонком носке ног обязательно влезет, а мать говорила, что к лету сын вырастет и ботинки будут ни к чему, однако придерживала их, давая ничтожно малую цену. «Удивительное дело, — рассуждал про себя Николай, наблюдая за этой тягостной картиной. — Те самые люди, которые бесплатно кормят и одевают своих «домашних» эвакуированных и их детей, здесь, на рынке, подчиняясь его неумолимым законам, беспощадно выторговывают у таких же эвакуированных каждый грош».

Со смешанным чувством жалости и неловкости пошел вдоль одного из прилавков, стараясь не встречаться глазами с женщинами, и в самом конце его увидел стопу книг в роскошных, тисненых золотом переплетах, перевязанную бечевкой. Продавала их старушка с умным, строгим лицом учительницы и с безнадёжностью во взгляде, и было похоже, что это единственное соровище, которое она прихватила с собой. Но кому сейчас нужно было полное собрание сочинений Гёте, даже уникальное?

И движимый скорее желанием помочь несчастному, нежели преднести подарок Светлане, Николай осведомился о цене.

— Мне масло нужно, хоть немного,— ответила старушка, умоляюще глядя на того, кто наконец заинтересовался ее товаром.

Николай беспомощно развел руки и повернул к следующему прилавку. Он впитывал в себя человеческое горе, и накидавшая ненависть к фашистам, обречшим миллионы людей на скитания и нищету, унижение и голод, страдания и смерть, придавала ему душевные силы, усиливала ощущение собственной значимости. Пусть он не защищает их с оружием в руках, но в эту тяжелую для родины годину он делает очень важное, очень нужное дело — дает металл для оружия и будет давать его, не щадя себя, ни тех, кто мешает ему трудиться спокойно, с полной отдачей. Прошел вдоль прилавка, уже открыто глядя в лица жадных, изможденных женщин, и вдруг его пронзила мысль, что он ищет оправдания самому себе, что, по сути, на заводе он уже не нужен. Он сделал свое дело, освоил плавную сталь, научил других варить ее, задал иной, быстрый и ровный, темп, который теперь поддерживают все без исключения — от газогенераторниц до сталеваров, и уйдя он — ничего уже не изменится. Цех будет работать слаженно, как работает хорошо отрегулированный механизм. И еще подумал, что, пожалуй, раньше, чем он, понял это Кроханов.

Снова стало мутновато на душе, и, когда взгляд упал на бутылку водки, одиноко торчавшую на прилавке перед молодой женщиной, испытал желание выпить, да сразу хорошую порцию, чтобы смыть тяжелый осадок.

В глазах у женщины, на которой было светлое, франтовато сшитое пальто и закутанной в ветхий шерстяной платок, засветилась надежда, когда Николай осведомился о цене.

— Отдам за пятьсот.

Сумма ошарашила. Это почти половина месячного оклада начальника цеха. Но деньги у него водились, потому что тратить их было, по сути, не на что — продукты питания, получаемые в закрытом магазине, по сравнению с рыночными ценами стоили гроши. Достав из кармана бумажник, отсчитал пять сотенок, протянул женщине.

Та замахала руками, как бы отгоняя его.

— Нет, нет, мне в пересчете на молоко.

— Как это в пересчете?

— Очень просто.— Женщина была явно удивлена вопросу.— Я вам водку, а у вас молоком выберу.

Николаю стало стыдно, что в заводской суете он совершенно оторвался от реального быта военного времени и только сейчас узнал, что деньги в этом заброшенном поселке потеряли свое значение. Цены лишь называются, на деле же идет самый настоящий натуральный обмен.

Отойдя в сторону, стал наблюдать за людьми, чтобы проверить свой вывод. Да, мало кто давал деньги и мало кто их брал. Торговались, и, если сговаривались, хозяин вещи шел на дом к приобретателю. Потому термины «продавец» и «покупатель» тут как-то не подходили.

Вот рядом мужчина выторговывает пачку махорки, которая стоит на полке, накрытая перевернутым стаканом, чтобы не попали на нее редкие снежинки. Старичок просит за нее ведро картошки, мужчина дает полведра.

— Махорка налицо,— хвалится старичок,— а картошка еще неизвестно какая.

Сторговались на трех четвертях ведра и пощли. Мужчина мрачный — передал лишку, старик ошарашенный — будет чем подкормиться.

Чуть дальше тоже оживленный торг. Называется крупная сумма — десять тысяч рублей. Женщина из эвакуированных в зимнем,

черного тисненого плюша пальто, в красноармейском шапке и в стоптанных валенках хочет разрешить молочную проблему кардинально — покупает козу. Обменный фонд налицо — припорченный снежком отрез великолепного синего шевииота, а козы нет, она мирно жует сено где-то в хлеву, и пока лишь известно, что дает она молока пол-литра с четвертинкой в сутки, если этому верить.

— Нет, нет, шевииота мы уже набрались, — говорит вслгоубая длинноносая тетка в отменном, до пят тулупе и в расписном полушалке. — Вот коверикота бы...

Коверкот считался у здешних жителей наимоднейшей и самой качественной тканью, но каков он с виду, мало кто знал, а приобрести норвили многие, тем более задешево.

И эвакуированная не растерялась — на что только не пойдешь с голодухи.

— Вам коверкот? Извольте, есть и коверкот. — Оживившись, она достала из кошелки, стоявшей у ног, отрез грубошерстного коричневатого сукна.

Николай не без злорадства наблюдал, как покупательница, расплывшись в блаженной улыбке, ощупывала прочный, плотный материал, как гладила его, точно котенка, рукой.

— Во сколько ценишь?

— Семь тысяч и ни копейки меньше, — решительно заявила хозяйка «коверикота», увидев, что товар приглянулся.

— А остальные три?

— Деньгами.

Что ж, деньги тоже могут пригодиться. Съездить в Пермь — там на толкучке все идет за деньги. Но длинноносая пока их брать не хочет.

— А колечко не отдашь? — спрашивает она, бросив глаз на толстое обручальное кольцо.

Горожанка отрицательно качает головой.

— Что муж скажет, когда вернется?

— Ге-ге, милая, что он тебе скажет, коль ребятенка заморишь? — с садистской беспощадностью жалит длинноносая и добавляет: — Да и сколько их оттудова варнется?

У горожанки выступают слезы, длинноносая видит их, но понимает по-своему: ребятенка жалеет, а посему можно и поднажать.

— Или хоть шубейку, — вымогает она. — У меня дочь на выданье, тощенькая, вроде как ты.

Снова получив отказ, длинноносая соглашается на деньги и протягивает ладонь, чтобы закрепить сделку — ударить по рукам, но горожанка этого жеста не понимает.

— Так — дак так, — наконец снисходит длинноносая. — Сворачивай свою лавочку.

Горожанка аккуратно кладет сукно в кошелку, прикрывает его шевииотом, как бы давая понять, что шевииот ничто по сравнению с «коверикотом».

— А теперь пойдите посмотрю козу, — говорит она, беря в руки кошелку.

— Не пойдём, а поедем, у меня розвальни. — Длинноносая показывает туда, где у церковной ограды стоит несколько упряжек с санными. — Тут, почитай, рядом, верстов десять отсель.

— А оттуда как?

— Хворостинку дам — пригонишь.

Глухая тревога проснулась в сердце Николая раньше, чем понял почему. Длинный, до земли, тулуп, розвальни «десять верстов»... В памяти вдруг ярко встала та ночь, когда, одетые вот в такие же тулупы, в таких же розвальнях гнались за ним мужики. И он последовал за женщинами, еще не зная, что сделает, но убежденный в том, что какие-то меры предпринять надо.

Длинноносая быстро шла впереди, женщина в растоптанных валенках едва поспевала за ней.

— Товарищ! Гражданка! — догоняя, окликнул ее Николай.

Та невольно оглянулась. Ей сейчас ни до чего решительно не было дела, кроме козы, которую так выгодно сторговала.

— За поселок не ездите ни в коем случае! — скороговоркой выпалил Николай. Когда женщина остановилась, объяснил: — Там бан-дитское гнездо, высланные живут. Сам недавно чуть не погиб...

Женщина растерялась. Соблазн был велик, но опасность стать жертвой каких-то негодяев встревожила ее.

— Что же делать, что делать?.. — потерянно пробормотала она. — Сынишке позарез нужно молоко. Именно козье. Легкие у него...

— Потребуйте, чтоб эта куркулиха привезла козу к вам на дом. — Увидев, что женщина все еще колеблется, Николай процедил сквозь зубы: — Я вас не пущу! Там за одно кольцо задавят, а при вас отрезы и деньги.

Горожанка все еще следовала за длинноносой, но уже нерешительно. Шел и Николай, полный готовности спасти человека от опасности, а то и от беды, вплоть до того, что поедет с ней, если не удастся отговорить.

Умостившись в санях, длинноносая приготовила место для горожанки и поманила ее рукой — а ну-ка порасторопнее.

Николай остановился неподалеку. Слов он не слышал, но по выражению лиц и жестуколюяции понял, что разговор происходил жаркий.

— Эй ты, в тулупе! — не удержался гаркнул он. — А ну-ка отстань!

Длинноносая яростно хлестнула кнутом лошадь, и та с места взяла рысью.

Горожанка нагнала Николая уже за пределами базара.

— Как мне вас благодарить? Чем? Этой злодейке действительно нужен не отрез, а вот такая дурочка, как я... Вы бы видели ее глазницы, когда я предложила ваш вариант...

...Заворушка встретила начальника без всякого удивления, словно ждала его, но и радости не выказала. Ежели до женитьбы не клюнул на приманку, то теперь и вовсе не жди, что удастся обворожить.

Повесив полушубок в сенях на вешалку и не сняв валенок — слишком много чести, — Николай прошел в горницу, оставляя следы на чистом крашеном полу, и уселся на стул, приняв нарочито вольную позу.

Все же инстинкт самосохранения у Заворушки сработал. Пока Николай осматривал горницу, две стены которой украшали самодельные, расписанные по ткани «ковры» — на одном из них плавали лебедь с лебедушкой, на другом нежились на солнышке большерогий олень с оленихой, — а третью почти полностью закрывал объемистый буфет, больше заполненный гипсовыми кошками, мопсами и кроликами, чем посудой, Заворушка успела сменить кофточку на белоснежный, тонкой шерсти свитер, плотно облегающий полноватую, но ладную статью, и появилась со снедью. Расставив на столе тарелки с холодным картофелем, солеными огурцами и хлебушком, достала из буфета графин с какой-то настойкой, поставила две стопки.

Все это делалось с безмятежно спокойным видом, и Николай решил, что конечно же его газогенераторщица на бюллетене, только по беспечности своей поленилась сообщить об этом табельщице.

— Ежевичная, — пояснила Заворушка, наполняя до краев стопки. Подняв свою, молвила, блеснув очами: — Со свиданием, Николай Сергеевич.

Николай намеревался прежде всего выяснить у Заворушкиной, почему не ходит на работу, но желание выпить чего-то крепкого, возникшее на базаре, не только не пропало, а усилилось. Он поднял стопку, подчеркнуто произнес «со здравьицем», и только когда проглотил, понял, что ежевика настояна на чистом спирте. Схватил огурец, быстро-быстро по-заячьи захрустел им.

— А зачем человеку желать то, чего у него в достатке? — покосившись на начальника, с игривой интонацией проворковала Заворушка, тем самым, собственно, ответив на вопрос, который тот намеревался задать.

Кусок огурца застрял у Николая в горле, и он едва проглотил его.

— Так какого же черта ты на работу не являешься!

— Ой матка-свет, — воркующе произнесла Заворушка. — И откуда, дорогой гостыюшка, столько злости с собой принесли?

— С базара!

Такой ответ мог обескуражить кого угодно, но только не Заворушкину. Вместо того чтобы удивиться, спросить что, да как, да почему — а это сделал бы любой другой на ее месте, — она воспользовалась возможностью обратить внимание на свои прелести.

— С базара? Я тоже там была, видите, какую обнову купила. — Поднялась во весь рост, натянула на бедра свитер. — Ну как? Правда подходяща?

Нахальство, искусно подделанное под непосредственность, ввело Николая в заблуждение. «Ясное дело — на бюллетене, только разыгрывает», — решил он, но сказал строго:

— Тебе больше пойдет брезентовая спецовка мазут в печи лить.

Работа эта была самой грязной в цехе, и посылали на нее большей частью в наказание за какие-нибудь провинности.

Заворушка приняла намек невозмутимо, даже ухом не повела, будто никакой вины за собой не чувствовала, и снова наполнила стопки. Но Николай к зелью больше не притронулся.

— Ладно, давай по-серьезному, — сказал примирительно, не сводя между тем с Заворушки придирчивого взгляда. — Почему бюллетень не сдаешь?

— Какой бюллетень? Я не болею. Просто замаялась, отдохнуть надобно.

— Ну и стерва ты!

Безмятежное выражение как сдуло с лица Заворушки:

— А нельзя ли полегче на поворотах, Николай Сергееч? Я ведь могу послать вас... на то, чего у меня самой негу...

Николаю стало ясно, что Заворушку ни крепким словом не прошибешь, ни угрозами не испугаешь. Из крутого теста слеплена и жарко запечена. Решил изменить подход, заняться воспитанием.

— Слушай, Клава, ты одета, обута, сидишь в тепле и достатке, здоровьем не обижена и, вместо того чтобы честно трудиться, шатаешься по базару, обновы почти что задарма приобретаешь. Ты хоть подумала, каково тем матерям, которые последнее с себя продают, чтобы чем-то набить животы голодным детям? Дай им твою работу — руками ухватятся. А они ведь лучше тебя.

Заворушка поднялась, вальяжно подошла к зеркалу, висевшему в простенке между окнами, поправила волосы, повернулась одним боком, другим, сказала:

— Я там всех переглядела, а лучше как я что-то не заметила.

— Да не о том я, не о потрохах твоих! — сорвался Николай с проповеднического тона. — Я про совесть твою!

— Ах совесть... — Ирония в устах Заворушки прозвучала поистине артистически. — Была совесть, да всю мужики по кусочкам растаскали.

— А может, сама раздала?

Резко отвернувшись, чтоб спрятать выражение лица, Заворушка спросила:

— Вы зачем пришли?

— Выяснить, что с тобой.

— И выяснили?

— Да.

— Ну и закончим балажку. Больше не трожьте.

Николай поднялся, вытащил из бумажника сотенную, бросил на стол:

— Это за угощение.

— Только? Маловато. Пол-литра спирта тыщу стоит, а вы сто грамм выпили.

Николай бросил вторую сотенную, добавил трешку, сказав, что за пол-огурца, надел полушубок и кепку — шапку он до сих пор так и не приобрел — и уже из сеней пригрозил:

— Завтра в суд передам.

Заворушка самоуверенно хихикнула.

— Не передадите, товарищ начальник. Мы с вами одной веревочкой связаны. Я прогуляла, вы проморгали.

По ступеням с крыльца Николай спускался нетвердыми шагами — спирт, вышитый натошак, основательно пронял его, по двору зашагал увереннее. А Заворушка ему вслед:

Мой начальник спирту выпил
И как черт осатанел,
То сычит навроде выпи...

Последнюю строчку Николай не расслышал. То ли был уже далеко, то ли не сложилась она у Заворушки.

12

Утром следующего дня, обойдя, как обычно, все участки цеха, Балатев не обнаружил никаких сбоев. Взвизгивала круглая пила, на шихтовом дворе мерно попыхивали мотовозы, подававшие к печам шихту, почти без перерыва грохотала завалочная машина, вводя в печь и опрокидывая там мульды, груженные чугуном, ритмично постукивали крышки газогенераторов. Все шло по заведенному порядку, как это было последнее время.

После вчерашних размышлений на базаре к чувству удовлетворения примешалось чувство горечи. Если он еще нужен людям как человек, поддерживающий в цехе атмосферу доверия, взаимовыручки и доброжелательности, то как инженеру ему здесь делать уже нечего. Но уйти с завода самому не дадут, а быть выгнанным — этого он допустить не мог. Вот почему, предвидя, что на сегодняшней очной оперативке, которую неизвестно почему решил собрать Кроханов, встанет вопрос о прогульщице и ее укрывателе, решил принять контрмеры — записал в цеховой журнал распоряжение о передаче дела на Заворыкину в суд. Наученный горьким опытом, тут же снял с распоряжения копию, заставил табельщицу распечатать на ней — получила такая-то, число и даже час — и, положив этот документ в карман, успокоенный отправился в заводоуправление. Какие бы сети ни расставил Кроханов, пришить уголовное дело ему не удастся.

На оперативку пришли все, кто приходил обычно, в том числе и Баских. Не было только Славянинова. Отсутствие главного инженера на совещании, которое первый раз после вступления его в должность собрал директор, выглядело более чем странным, и, предупреждая возможные вопросы, Кроханов сообщил, что Славянинов болен.

— Сердечный приступ,— прикрыв ладонью рот, шепнул Балатьеву Шеремет, оказавшийся рядом.— Телеграмму получил от жены, сын умер от дифтерита. В эшелоне подхватил.

Сегодня Кроханов вел оперативку как никогда вежливо. В самом дружелюбном тоне пожурил Подгаенка за то, что тот медленно входит в курс дел, стерпел, когда новый начальник технического отдела Шеремет на вопрос, какие «проблемы» тот решает, промямлил что-то невнятное, слегка пробрал начальника охраны завода, который никак не мог сладить со стадом овец и коз, что ни утро прорывавшихся на дроворазделку, и не сделал решительно никаких замечаний Балатьеву, когда тот коротко отрапортовал: «Печи в графике, металл строго по заказу, претензий нет».

Потом, то и дело поглядывая на Баских, словно говорил для него, Кроханов порассуждал о том, что положение на фронтах требует от всех не успокаиваться «на результатах», работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, и, когда уже все сочли было, что оперативка благополучно подошла к концу, уставил полные неподдельной грусти глаза на Балатьева.

— А теперь, товарищи, я должен сообщить вам препопальную новость, касаемую начальника мартена.

«Вот и началась заварушка вокруг Заворушки»,— подумал Николай, приложив руку к карману, чтобы удостовериться, на месте ли бумажка с распиской табельщицы.

В этот момент открылась дверь, в кабинет вошел запыхавшийся Дранников.

— Что в цехе?— спросил его встревоженный Кроханов, прежде чем Балатьев успел раскрыть рот.

— Все в норме. У меня дельце маленькое.— Дранников протянул Балатьеву записку.

Узнав из нее, что Заворушка принесла бюллетень, Николай благодарно кивнул своему заму и сунул бумажку в боковой карман спецовки, где хранилась ставшая ненужной копия его распоряжения.

И непрошеное вторжение Дранникова, и загадочное послание, явно обрадовавшее Балатьева, вызвали у Кроханова взрыв негодования.

— Безобразие!— заорал он.— Вскакиваете без спросу, шпательчики какие-то подсовываете, людей на себя переключаете!

Неплохие оба они актеры, директор и его дружок. Если Кроханов утрировал сверх меры свое раздражение, чтобы подчеркнуть, что и к своим клеветам относится без снисхождения, то Дранников подыграл ему, изобразив и на лице и позой полную покорность.

Цепляясь за стулья и наступая на ноги сидящих, он попытался к двери, но Кроханов внезапно сменил гнев на милость и разрешил Дранникову остаться.

— Так вот, должен вам сообщить неказистую новость,— снова заговорил Кроханов с интонацией отца, скорбящего о недостойном поступке сына.— Балатьев льет сталь не из печи, а из... рта... из рта.— Шпильки, которые нет-нет и бросал Балатьев Кроханову по поводу его безграмотности и словесных вычуров, вынуждали того следить за своей речью, что, впрочем, еще больше портило ее.

Обеда взглядом присутствующих и удовлетворившись произведенным эффектом, Кроханов громогласно разъяснил:

— Сей гражданин в прошлом месяце выплавил пять тысяч тонн, а пятьсот приписал! Да, да, приписал!

Такой подлости, такой чудовищной провокации Балатьев не ожидал даже от Кроханова. Он мог бы еще понять Кроханова, если б тот продавал его, спасая собственную шкуру. Но продавать из мстительности, в силу злокозненности своего характера, да еще

разыгрывать благородного разоблачителя,— этого постичь было невозможно.

— Как такое могло получиться? — спросил Баских, переведя взгляд с налившегося кровью лица Кроханова на побледневшего Балатьева.

«Что ответить? Как ответить? — терялся в мыслях Николай.— Сказать как было? Бесполезно. Кто теперь поверит, что меня уговорили? Да и смешно этим оправдываться. Не малолетка, сам должен понимать, что можно делать, а чего нельзя. Остается одно: ответить так, чтобы не выглядеть уничтоженным».

И он проговорил со спокойной решимостью:

— Очень просто. Четыре тысячи девятьсот тонн в слитках, в твердом состоянии, сто тонн литейному в жидком состоянии и пятьсот тонн... газообразных.

Понимая, что ни здесь, ни на заводе делать ему больше нечего и что теперь Кроханов властен расправиться с ним как вздумает, Балатьев с чувством постыдного поражения покинул поле боя.

В приемной он даже не посмотрел в сторону Светланы, которая сидела одеревенев — она все слышала через неплотно прикрытую дверь.

«Вот и отвоевался, Николай Сергеевич,— мысленно сказал сам себе Балатьев, остановившись в коридоре и не зная, куда идти.— Впрочем, теперь только и повоюю. В штрафном батальоне». Отошел подальше от двери приемной, из которой с минуты на минуту могла выскочить Светлана. Больше всего боялся он попасться на глаза именно ей. Чем сможет он оправдать свой поступок? Даже Светлана, тонкая, любящая, не простит ему этой глупости с припиской, этого несусветного просчета.

Завернул за угол коридора, добрал по нему до упора и остановился, уставив взгляд в пол. Куда деваться? Направить стопы в цех? Так он уже не начальник. Домой? А там что? Забиться в угол и выть от беспомощности, как загнанный зверь?

Услышав голоса за дверью, возле которой стоял, поднял глаза и увидел дощечку с надписью «Плановый отдел».

— Плановый отдел,— произнес машинально и вдруг вспомнил, что, подписывая роковой отчет, сделал уточняющую надпись. Вряд ли отчет сохранился, как не сохранилась и та злополучная сводка о суточной работе цеха, где он вписал: «Лошадь обедала», а если даже и сохранился, то хитрюга начотдела разве отдаст ее? Этот спектакль наверняка разыгран не без его ведома. Но стоп. Сейчас начальник отдела сидит на оперативке, и если обратиться к его сотрудникам...

С бьющимся от проснувшейся надежды сердцем вошел в комнату, где мог найти спасение. Здесь были одни женщины. Подойдя к той, которая показала приветливой и доброй, попросил дать на полчаса папку с месячными отчетами мартеновского цеха за текущий год.

Перелистав в коридоре дрожащими пальцами отчет и убедившись, что он в целостности и сохранности, сразу воспрял духом и совершенно другим человеком, другой походкой и даже с другой выправкой отправился отбивать оставленные позиции.

Уже по тому, как вошел он в приемную, как решительно рванул дверь в кабинет, Светлана поняла, что события сейчас развернутся жаркие.

Кроханов, видимо, философствовал о честности, потому что Николай успел услышать: «Вранье — конь ненадежный, на нем далеко...» Это незаконченное изречение оказалось последним — возвращение Балатьева ввергло директора в состояние столбняка.

Громко, чтобы слышали не только сидевшие в кабинете, но и

Светлана в приемной, Балатьев сказал, положив отчет перед секретарем райкома:

— Видите эту цифру? Пять тысяч пятьсот одиннадцать тонн. Она проставлена плановым отделом. А вот это написано моей рукой. Читаю: «Фактически выплавлено пять тысяч одиннадцать тонн. Пятьсот добавлено по распоряжению директора завода. Нач. цеха Балатьев».

Баских вскочил со своего места с такой стремительностью, словно у его уха прозвучал выстрел.

— Так кто льет сталь из рота?! Он или ты?! — с перекошенным от негодования лицом накинулся он на Кроханова.

В кабинете все замерло. Даже стулья потрескивать перестали, даже дыхания не было слышно. В этой тиши особенно гулко прозвучали шаги Баских и его слова:

— Завтра в семнадцать ноль-ноль на внеочередное бюро, товарищ директор!

Первым из кабинета устремился Балатьев — хотелось как можно скорее попасть на воздух, под холодный ветер, чтобы немного осветить разгоряченное лицо. Очень уж подействовала на него эта смежная высота — из пропасти поражения до вершины победы. Следом заторопились Шеремет и Подгаенок, жаждавшие обменяться с Балатьевым впечатлениями о невероятном развороте событий. Но этому помешал Дранников. Догнав Балатьева, он заботливо взял его под руку и увел.

А вот уральцы из кабинета не вышли — их придержал Иустин Ксенофонтович Чечулин. Прикрыв поплотнее дверь, чтоб ни одно слово не проникло в приемную, он подсел к столу Кроханова, положив на него скрепленные руки и заговорил приглушенным от сдерживаемого гнева голосом, впервые позволив себе в обращении с директором пренебрежительное «ты»:

— Расскажу я тебе, какой у нас на Урале в артелях неписанный закон был. Вожаку, покудова толково дело вел, все прощалось — и пьянство, и бабство, и разгул. Но ежели он карты передернул, шулерничал — его власти конец. Кто посовестливее был — сами уходили, у кого духу не хватало — грязной метлой гнали. Так вот постарайся умотать отсюдава подобра-поздорову. Иначе на бюро все придем... — Иустин Ксенофонтович обернулся, чтобы удостовериться, согласны ли с ним остальные.

— Придем! — ответили сразу несколько человек.

— Званные и незванные! — подхватил начальник листобойки.

И уж совсем удивительно было услышать от заведующего конным двором Аникеева:

— И все на белый свет выволочим!

— Тогда не обессудь, потому как прощать тебе не за что, — закончил свою отповедь Иустин Ксенофонтович.

...Значительный участок пути Балатьев и Дранников прошли молча — каждый по-своему переживал перипетии разразившегося скандала. Но вот Балатьев услышал рядом странные гортанные звуки и, посмотрев на спутника, увидел, что тот давится от смеха.

— Что это вы так развеселились?

— Ну и спектакль! Высокого класса, ей-богу! — Дранников с трудом произносил слова: сдерживаемый смех сводил скулы. — Всякое в жизни видывал, но такого... Такого не приходилось. Ну, кажется, убит человек наповал, стерт в порошок и по ветру развеян, панихиду уже отслужили, а он... Мало того что воскрес из мертвых, так еще и лягается! — На всякий случай оглянувшись, Дранников разразился неудержимым хохотом.

— Все равно не поверю, что вы рады, — холодно бросил Балатьев. — Я ведь знаю, чем вы дышите.

— А я и вправду не рад,— откровенно признался Дранников.— Мне лучше с Крохановым оставаться, чем с вами. Но посмеяться... Посмеяться, когда смеется, вовсе не грешно.

Балатьев ценил прямоту в людях, пусть даже она была вот такая циничная, как у Дранникова. По крайней мере точно знаешь, с кем имеешь дело, знаешь, что можно ожидать от человека. Элементарных принципов порядочности Дранников все же придерживается. Во всяком случае, удара в спину он не нанесет. Последнее время даже протягивает руку помощи. Вот хотя бы в истории с Заворыкиной, так и не выплывшей наружу.

— Спасибо вам за записку.— Балатьев наградил своего зама теплым взглядом.— Она сразу уверенности мне прибавила.

— Не мог я иначе, Николай Сергеевич. Слышу, Кроханов собирает очную оперативку, стало быть, кому-то выволочку устраивать приготовился. Еще подумал: а не дознался ли он о Заворушке? А тут как раз она идет, во всю свою сковородку сияет и этак занозисто бюллетенчиком помахивает. Ну и помчал, чтоб упредить события. Оказывается, Кроха с другой стороны на вас нацелился, да из пушки калибром покрупнее. Только пушка не туда сработала. Обратный выстрел получился, в него.

— Интересно, как эта пройдоха бюллетень раздобыла.

— О, она все может!— В голосе Дранникова прозвучало нескрываемое восхищение.— Все, если захочет. А захотела она после того, как я к ней зашел да растолковал, что подличать можно с подлыми, а подводить под монастырь хороших людей — это последней мразью надо быть.

...Вдоволь посмеялись в этот вечер и у Давыдычевых. Светлана так образно, с такой точностью пересказала перипетии оперативки, смешав трагическое с комическим, что хохотали до колик.

— Нет, вы представьте себе эту картину! — Голос Светланы звенел, как у ребенка.— Бесстыдно расправившись с Колей, Кроханов впадает в тон проповедника и начинает витийствовать о морали. И в каком диапазоне! От точности в отчетах до верности в любви. Ежели, говорит, человек в семейной жизни беспардонный, то и на производстве пардонов не придерживается, и наоборот. И вот в самый разгар этой вдохновенной речи влетает Николай. Стремительно, как тигр, нацелившийся на добычу, и глаза раскаленные. Обо мне он, конечно, забыл. И когда туда мчал и когда обратно вымчал.— Светлана бросила лукаво-укоризненный взгляд на мужа.— Слышу...

— У Коли не может быть таких глаз,— сотрясаясь от смеха, вступилась за зятя Клементина Павловна.

— Слышу — смолк Кроханов на полупhrазе,— продолжала Светлана,— почуял опасность. И вся проповедь — вверх тормашками, а точнее, ему в рожу!

Константин Егорович погрозил дочери пальцем.

— Пригормози себя.

Но Светлану уже было не остановить.

— А потом... Все разбрелись, я одна осталась, ну и Кроханов в кабинете. Оттуда ни звука, и я притаилась, как мышь. Даже заглянуть побоялась. Но потом все-таки зашла — секретарь ведь. Вижу — Андрианчик в столбняке. Сидит обмякший, и, верьте не верьте, — в глазах вот такие, — Светлана приложила большой палец к указательному, выставив его кончик, — да, да, вот такие крокодиловы слезы. Я ему воды — не пьет, я ему «авырьяновки» — головой вертит, отказывается, насилу в рот влила, «хворточку» открыла — даже носом не потянул. Ну, думаю, хана пришла. Что делать? Схватила за плечи да как затрясу! Еле-еле в чувство привела.

Эта сцена вызвала новый взрыв смеха. Не засмеялась только Клементина Павловна.

— Ох, несдобровать теперь тебе, дочка,— сказала она.

— Почему?

— Что таким его видела. Люди не терпят свидетелей своего позора.

Светлана посмотрела откровенно восхищенным взглядом на мужа.

— Меня Коля защитит. Теперь я верю, что он все может.

И подумал Николай, что самой большой наградой за выигранное сражение является не торжество победы, а вот такой взгляд любимой женщины.

13

Внеочередное бюро райкома партии Баских пришлось отменить. Кроханов заболел, из дому не выходил, а разбирать проступок заочно не полагалось по уставу. Хотя Баских был уверен, что болезнь у директора дипломатическая, ничего поделать не мог. С врачом не поспоришь, не переубедишь, если он даже и не прав. По телефону Кроханов разговаривал пригложшим голосом, будто находился при смерти, хотя таким же тихим голосом он отдал распоряжение, которое вскоре наделало много шума.

Что побудило директора провести это мероприятие — избыток ли досуга, когда рождаются «идеи», излишек ли спиртного, придававшего смелость для их осуществления, или надежда заработать авторитет у областных организаций, — осталось неизвестно, но в один далеко не прекрасный день на заводе была проведена операция «шерсть». Кроханов продумал ее во всех деталях.

— Голодное животное всеми силами прет к корму, и тогда с ним не сладить, а сытое становится ленивым и послушным, — наставлял он начальни а охраны. — Пусть они нажрутс я последний раз коры до отвала — и приступайте.

Начальник охраны так и сделал. Когда бараны и овцы честно проторчали от гудка до гудка на дроворазделке, обгладывая кору, их без особого труда согнали в специально сделанную ограду у заводских ворот и начали стричь. Вот такие голыши, выпускаемые по одному, ощутив всю силу уральского мороза, мчались на рысях по улицам поселка с прижатыми ушами и выпученными глазами, поражая прохожих стремительностью бега и легкомысленным летним видом.

Собрав изрядное количество мешков с шерстью, стригали сдали ее на пункт, где принимались теплые вещи для армии.

Кроханов торжествовал. До наступления весны нашествия баранов и овец можно было не ждать, но самое главное — стала реальной вожденная мечта занять в области почетное место хотя бы по сдаче шерсти.

На следующий день многие хозяева оголенных животных потребовали компенсацию за нанесенный ущерб — нет, не за шерсть (ее все соглашались отдать безвозмездно, даже самые прижимистые), а за прокорм: голых животных на улицу не выпустишь, приходилось кормить их дома.

Требование это было так же мало юридически обосновано, как и произвол, допущенный со стрижкой, но Кроханов пошел на мировую и погасил назревающий скандал, отдав распоряжение «выдать потерпевшим хозяевам для прокорма сено с конного двора». Благо сена было в избытке, так как лошадей с введением мотовозов в мартеновском цехе значительно поубавилось.

Но разъяренного директорским самоуправством Баских утихомирить не удалось. Он устроил Кроханову такой нагоняй по телефону, что будь тот действительно болен, не исключено — отдал бы богу душу. Из этого нагоняя можно было сделать непреложный вывод: на очередном бюро райкома встанет вопрос о снятии его с занимаемого поста.

Однако ни внеочередного бюро райкома, ни даже очередного Баских провести не удалось. Его призвали в армию. Единственное, что он успел сделать, это написать письмо наркомку с объективным изложением сложившейся на заводе обстановки. Вопрос он ставил ребром: Балатьев и Кроханов на одном предприятии работать не могут и если нет возможности снять сейчас недостойного директора, то нужно перевести в другое место Балатьева и тем самым оградить его от интриг и козней.

Дважды прочитав письмо, короткое, но убедительное — так, во всяком случае, показалось Баских, — он запечатал конверт сургучной печатью и отправил секретной почтой.

Попрощавшись с сотрудниками аппарата райкома — на все прочее времени не хватило, — Баских сел в одну из грузовых машин колонны, вывозившей металл, и отбыл в Пермь.

В этот же день Кроханов выздоровел. Так же срочно, как заболел. Всю неделю, покуда его не было, заочные оперативки проводил Славянинов. Толково проводил, без лишних разглагольствований, не отвлекаясь на ненужное, конкретно и коротко: вопрос — ответ, замечание, если оно вызывалось необходимостью. Не забывал отметить хорошую работу, упрекнуть за посредственную, именно упрекнуть, а не разнести.

Приступив к своим обязанностям, Кроханов, дабы не выглядеть в глазах людей хуже главного инженера, тоже стал проводить оперативки в деловом стиле. Но, стремясь отличиться от него, поразить чем-то своим, новым, объявил соревнование между цехами на сдачу теплых вещей для Красной Армии и ежедневно проверял результаты.

О Балатьеве он словно забыл, да и повода для придирок к нему не было. Печи шли как нельзя лучше, люди работали отменно, график соблюдался.

А вот Дранников стал проявлять к Балатьеву прямо-таки дружеское расположение. Балатьева и радовало это и настораживало. С чего бы, да еще так открыто? Неужели потому, что предугадал исход борьбы между директором и начальником цеха и счел нужным наладить отношения с потенциальным победителем? Но думать так почему-то не хотелось, решил, что скорее всего Дранников бескорыстно пошел на сближение с ним — потянулся, как тянулись многие другие подчиненные, из уважения, из симпатии.

Впрочем, тянулись к Балатьеву не только подчиненные. Стоило ему усесться за столик в столовой, как тотчас вокруг него собирались люди. Тут и Иустин Ксенофонович Чечулин, и эвакуированные инженеры. Наиболее теплые отношения установились у Балатьева с Подгаенком и Шереметом. Были они примерно одинакового делового темперамента, одинакового размаха и одинаково страдали оттого, что работали не в полную силу. Сближала их и принадлежность к одним местам. До войны они вряд ли посчитали бы себя земляками — все из разных городов, — а сейчас именно отторженность этих мест роднила их. И какую острую радость испытали они, когда после тусклых сводок Информбюро обрадовало вестью о двух победах подряда: гитлеровцы выбиты из Тихвина и Ельца.

До сих пор Балатьеву никак не удавалось вытащить Шеремета на шихтовый двор, где нужен был квалифицированный технический совет. Полуголодные обеды и свирепые морозы удерживали того от прогулок под открытым небом. Но когда на душе посветлело, тут уж и голод не в голод и холод не в холод.

Загодя, еще в помещении растерев уши и руки, чтобы не обморозить, Шеремет смело зашагал рядом с Балатьевым, на ходу выслушивая его.

Проблема, которую предстояло решить, была не из простых. Последнее время смежный завод все чаще вместо тяжеловесного лома стал направлять на завод тонкую путаную стружку. Весила она мало,

а места занимала пропасть. Взвезят машину с таким стогом, а в ней от силы полтонны. Разгружать стружку труда не составляло — откидывали борта машины, набрасывали трос и тянули его другой машиной. А вот растаскивать эту путаницу и грузить в мульды было сплошное мучение.

Понаблюдав, с каким трудом, и послушав, с какими ругательствами растаскивали грузчики спутавшиеся тонкие длинные спиральки, Шеремет сказал растерянно:

— Мы ведь с вами в девятнадцатый век перекочевали. Когда в двадцатом жили — пакетировали, брикетировали. Не знаю, право, что подсказать.

К ним присоединился Суров, обходивший перед сменой цех. Вообще контактов с начальником, кроме деловых, Суров не поддерживал и вел себя с ним замкнуто. Может, оттого, что стеснялся своего неудачного сватовства, а скорее из неприязни к удачливому сопернику. Но когда Шеремет ушел, оставив Балатьева у вороха стружки, Суров разговорился с ним и, узнав, какую тот решает задачу, с спокойной уверенностью посоветовал:

— Жечь ее надо, Николай Сергеевич, и нечего каникель разводить.

— Жечь-то жечь. Но как эту повитель в печь подавать?

— На месте жечь.

— Лаконизм приемлем в сочетании с ясностью, — с легким раздражением сказал Балатьев, не поняв, что имеет в виду мастер.

— Видел я, как это делали в синячихинском доменном, без лишних слов принялся объяснять Суров. — Стружка масляная, есть чему гореть. Мазута подольют, разожгут — она раскаляется, размягкается, под своим весом садится. В результате — плотный ком.

— Сильно окисленный, — добавил Балатьев.

— Да. Но лучше окисленный ком, чем неокисленная солома.

Привыкший к разного рода подвохам со стороны Кропанова, Балатьев прежде всего подумал, не решил ли Суров высмеять его. Интересно будет выглядеть попытка инженера зажечь металл и сплавить его на открытом воздухе. Однако до сих пор никто из коренных уральцев не позволил себе что-либо дурное посоветовать ему или подшутить, да и вообще изымательство над человеком здесьним людям чуждо. Кроме того, не сам же придумал такое Суров, а собственными глазами видел, как это делается. Так почему бы не испытать, тем более что риска тут нет никакого, а эффект может быть большой.

Не сходя с места Балатьев подозвал двух грузчиков, объяснил задачу. Носить мазут в обязанность грузчиков не входило, но на что не пойдешь ради того, чтобы избавиться от муки мученической. Быстро притащив несколько ведер мазута, грузчики вылили его под стружку. Загорался мазут на холоде долго и неохотно, но все же запылал, ввинчивая в воздух столб густого черного дыма.

Лица грузчиков засветились надеждой в удачном исходе опыта. Начальник еще ни разу не подвел их, ни разу ни в чем не ошибся. Даже диск из мягкого железа пилит у него твердую рельсовую сталь.

Ждать конца необычного эксперимента было долго, а мороз стоял трескучий, за сорок. Николай пошел домой.

Поздно вечером, прослушав сообщение Информбюро о продвижении наших войск на ряде участков Западного и Юго-Западного фронтов без указания конкретных населенных пунктов, Николай поцеловал Светлану, укладывавшуюся спать, и решил отправиться на завод главным образом для того, чтобы посмотреть, как ведет себя подожженная стружка, и заодно принять вечерний рапорт, что делал теперь редко. Уже с пригорка, откуда территория завода просматривалась целиком, увидел он вместо одной огненной точки целых шесть и обрадовался несказанно. Грузчики подожгли и остальные кучи, решив полностью разделаться с опостылевшей стружкой.

Однако лицезреть плоды их деятельности Николаю так и не пришлось. Едва он появился в проходной, как дежурный вахтер передал наказ директора немедленно связаться с ним. Николай зашел в прокуренную до черноты и натопленную до одури дежурку, вызвал Кроханова.

— Дуй ко мне, да побыстрее!—скомандовал он.—Одна нога там, другая здесь!

Николай пошел в заводоуправление, пытаюсь понять, чем прогневил директора. Стружку сжег? Вряд ли это могло так обеспокоить его. Стукнул кто-то, что часть железа при этом окисляется? Не исключено. А в общем, размышлять на эту тему было бесполезно. Фантазия директора насчет козней неистощима, предугадать, под каким предлогом и с какой стороны нанесет он удар, почти невозможно. Подумал только, что, вероятно, Кроханов звонил ему домой и теперь Светлана волнуется, соображая, чем вызвана такая поспешность.

Не дождавшись приглашения, Балатьев как был в полушубке — только кепку снял — уместился на стуле перед столом.

— О чем наркому писал?—подержав его под своим увесистым взглядом, спросил Кроханов. Не дав опомниться, поторопил:—Давай-давай, не жмись, чеши напрямки.

Однако Балатьев с ответом не спешил. Он уже набрался ума-разума и теперь прикидывал, как бы хоть немного прощупать противника.

— Выложу,—согласился с обманчивой легкостью.—Только откровенность за откровенность. Расскажите, о чем вы писали наркому.

Кроханов заерзал на своем кресле-троне. Такого он не ожидал и как вывернуться не сообразил. Сказал бездумно:

— Что было, то и написал.

— Во-обра-жаю!—протянул Балатьев.—О том, что мазут на печах ввел я, вы наверняка не написали, а о том, что я задержал его подачу на несколько дней, обморозил, как вы изволили выразиться в приказе,—это ему стало известно. Так или не так?

Кроханов неохотно угукнул.

— А еще?—Балатьев понял, что из Кроханова можно кое-что выжать, поддерживая надежду на взаимную откровенность.

— Про твои семейные дела пришлось написать.

— Что ушел от неверной жены и здесь сочетался законным браком?

Неприятно было Кроханову чувствовать себя допрашиваемым, но ничего поделаться он не мог — цель оправдывала средства. Отвечая, все же замялся:

— Н-не сов-сем. Не мое это дело — разбираться, кто от кого и зачем ушел. И до развода твоего это было, приятель.—На этом терпение его истощилось.—Ну а ты о чем писал?

Николай пристально посмотрел на Кроханова и невольно посетовал на природу. Как несправедливо поступила она, дав такие синие, на удивление красивые глаза и благовидную внешность прожженному интригану и законченному подлецу. Скольких людей ввела в заблуждение эта внешность! Вызовут, познакомятся — вид представительный, пока молчит — не дурак, анкета чистая, у отца заслуги в гражданскую войну, чем не кадр пусть для небольшой, но руководящей работы. Прощтрафился — снизят на ступеньку, но опять-таки обеспечат руководящий пост. Задержавшись на этих мыслях, Николай задержался и с ответом.

— А я вообще никому ничего не писал.

— Х-хитер ты, братец!—обалдело выдавил из себя Кроханов, сраженный такой неожиданностью.

— Вам ли мне завидовать, Андриан Прокофьевич. Вы по этой части академик, а я только в подготовительном классе.

Кроханов провел рукой по лицу, да с такой силой, что странно было, как он не свернул себе нос.

— Ну вот что, Балатьев, — сказал официально, — учти, мы с тобой видимся последний раз.

Это заявление несколько не обескуражило Николая — он давно был готов к такому исходу.

— Хорошо, если так. Ко взаимному удовольствию.

— Хорошо или нет — увидишь позднее. Вернешься без рук, без ног, а то и еще без чего-нибудь, ты об этом заводе не раз вспомнишь. Так вот мой тебе совет на прощанье: наркому на меня капать не поспей. Он сам директоров назначает, и жаловаться на них — все одно что на него. Понял? Командировку и деньги получишь завтра и нечего тебе тут небо коптить.

Николай встал, вышрямился во весь рост и, глядя ненавидящими глазами в ненавидящие глаза, отчеканил:

— А теперь вам на прощанье: Светлану не трогайте, а снимете или на другую работу переведете, я до вас и оттуда дотянусь.

— Брось баланду травить. Тоже мне длиннорукий нашелся.

Тупое самодовольство, с каким были сказаны эти слова, и опасение за любимого человека вынудили Николая пойти на крайнюю меру.

— Ваш лицевой отчет, Андриан Прокофьевич, с припиской пяти-сот тонн — он ведь у меня. Тронете ее — вашим методом действовать буду. Во все инстанции запущу.

Пригрозил — и вышел удовлетворенный: что-то вроде испуга отразило лицо Кроханова.

Целиком ушедший в свои думы, Николай не сразу ощутил ледяное дыхание зимней ночи, не сразу обратил внимание, что все идущие с завода после смены не растекались, как обычно, кто куда, а торопливо сворачивали на базарную площадь, к тому единственному в поселке уличному репродуктору, у которого впервые собралась толпой в лихое июньское воскресенье.

— Сейчас повторять будут! — донеслось до его слуха.

Николай схватил руку паренька в распахнутом полушубке, мчавшегося как на пожар:

— Что повторять?

— Фрицев под Москвой долбанули! — вырываясь, ответил паренек и помчал дальше.

Людей на площади, несмотря на трескучий мороз, быстро прибавлялось. Вокруг счастливцев, оказавшихся здесь во время передачи сводки Совинформбюро, группами стояли припоздавшие и с жадностью слушали вольный пересказ о разгроме немецких войск под Москвой. Цифры перевирались почем зря, и в этом не было ничего удивительного: слишком много их называлось. Одни говорили о семистах подбитых танках, другие утверждали, что их полторы тысячи, а число убитых гитлеровцев колебалось от пятисот до пятидесяти тысяч. Но основной факт оставался непреложным: немцы под Москвой разбиты и отброшены.

Пытаясь отыскать наиболее толкового пересказчика, Николай протискивался от группы к группе, жадно ловя осколки разговоров.

— Главное сделано: хребет у немцев хрястнул.

— К весне, пожалуй, прикончим.

— Ишь разохотился — к весне. Хоть бы к осени.

— Иван — он как зоует? Поначалу вразвалочку, вприкидочку, а разозлят — тут ему удержу нет.

— Что-то долгонько Иван прикидывал...

— Лиха беда начало. А понесло — теперь не останоишь.

Давно не испытываемое чувство несказанного торжества охватило все существо Николая. Наконец-таки! Дождались! И это не просто выигранное сражение, это переломный этап. И в военных действиях

и в психологии людей. Ишь как звонки голоса, каким светом озарены лица. Разве личная радость, радость за себя, бывает такой сильной, восторженной, бьющей через край, как эта общечеловеческая радость первой крупной победы? А когда она еще подогрета чувством сопричастности, сознанием того, что и тобой в это событие внесена лепта, пусть небольшая, но собственная, личная, ей и вовсе нет меры.

И вдруг чей-то густой, сильный голос затянул:

Пусть ярость благородная...

Песню подхватили другие голоса, и над ликующим поселком понеслось:

Идет война народная, священная война!

14

После утомительной дороги сначала до Перми в кузове грузовика, который безбожно подбрасывало на ухабах, а затем в переполненном эвакуированными вагоном, где пришлось простоять в проходе весь путь от Перми, маленький номер в свердловской гостинице «Южный Урал» показался Николаю раем. Он зажег люстру, настольную лампу и сразу повеселел. По сравнению с тусклым, вполнакала поселковым освещением этот свет был непривычно ярким и действовал бодряще. Впрочем, кроме как свету и уюту радоваться пока было нечему. В Главуралмете, где он побывал час назад, только и удалось узнать, что ему заказан номер.

Тщательно осмотрев свою одежду — не набрался ли насекомых — и не найдя ничего подозрительного, стал под душ и стоял, ощущая приятную упругость водяных струй, до тех пор, пока не занемела кожа на плечах. Потом пожевал хлеба с вяленой рыбой, которую Светлана сунула в чемодан, запил еду водой из крана и с наслаждением вытянулся на кровати. Но даже крайняя усталость не сморила его — верх взяла привычка военного времени не засыпать, прежде чем не прослушает вечернюю сводку с фронтов. И вот наконец: «...наши войска, ведя ожесточенные бои с противником, продолжали продвигаться вперед и заняли Клин, Ясную Поляну южнее Тулы, Дедилово и Богородицк юго-восточнее Тулы». Это значило, что славному городу оружейников Туле уже не угрожает опасность. Тула, Ясная Поляна... Эти места он знал. В пригороде Тулы на Косогорском металлургическом заводе работал его друг детства Алексей Житков. Навещая его, непременно заглядывал в Ясную Поляну — там рукой подать. За полтора часа прогулочным шагом доходили. Так вот, оказывается, как близко подобрался враг к Туле. А что осталось от Ясной Поляны, этой святыни человечества? Наверно, одни кирпичи да пепел. Мир до сих пор не знал вандализма, подобного гитлеровскому. Выкалывать глаза военнопленным, сжигать дома вместе с людьми, на глазах у матери скопом насиловать девочку-подростка — не массовое ли это безумие?

Проснувшись по привычке ровно в шесть, стремительно вскочил с постели, чтобы идти на завод, но, сообразив, где он, снова с удовольствием забрался под одеяло и заснул без обычной в предсонье путаницы мыслей.

Стрелки часов показывали уже половину десятого, когда он поднялся. Наспех побрившись и не успев даже перекусить, заторопился в главк, который размещался рядом с гостиницей в четырехэтажном, красного кирпича здании.

Коридор первого этажа, где находился отдел кадров наркомата, был запружен эвакуированными, получавшими назначения на заводы. Когда Николай попал в эту гущу и услышал, как, обсуждая возможности назначения, люди называли одни и те же заводы — Магнитка, Кузнецкий, Нижнетагильский, Челябинский, «Амурсталь», Петровск-Забайкальский, — он как никогда раньше ощутил масштабы потерь,

понесенных отечественной металлургией, тем более что основную тяжесть снабжения оборонной промышленности металлом несли на себе Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты. Остальные были небольшие и маломощные.

Никто здесь не говорил громко, не было видно улыбок, не было слышно смеха. Люди вели себя, как после похорон. Прислушался к разговору, который затеяли вполголоса двое.

— Тебя что в Комсомольск тянет?

— Жизнь там пока не тронута войной. В продуктах недостатка нет, можно и запасы сделать.

— Чудак ты, право. Япошки-то зашевелились. Попадешь из кулика в рогожку, с одного фронта на другой.

— А ты куда надумал?

— В Магнитку.

— Вот ты настоящий чудак. Там нашего брата столько напихано, что начальники цехов оказались на побегушках. Сменными диспетчерами работают.

Николай протиснулся дальше и вдруг заметил одиноко привалившегося к стене Стругальцева, у которого был помощником в Макеевке. Этот уже далеко не молодой человек с крупным лбом и упрямыми подбородком, сочетавший в себе зазор юности и выдержку зрелости, в любых ситуациях умевший сохранять бодрость духа, сегодня выглядел больным. Даже стекла очков не придавали блеска тусклым глазам.

— Корней Петрович!

Медленно, словно каждое движение давалось с трудом, Стругальцев повернулся на оклик. Увидев своего бывшего подчиненного, особой радости не выказал.

— А-а, беглец, здравствуй.— И вяло пожал руку.

— Ну вот, Корней Петрович, и сбудется ваша мечта. Попроситесь на небольшой заводик, будете рыбку ловить...

— Издеваться вздумал.— Голос Стругальцева дрогнул.

— Ничуть. Предупредить хочу,— поторопился загладить свою оплошность Николай, поняв, какую причинил боль этому человеку, и принялся рассказывать, как, наслышавшись о спокойной жизни на уральских заводах, забился в глухомань и до сих пор пожинает плоды своей доверчивости. На старом маленьком заводе работать, как оказалось, неизмеримо тяжелее, чем на большом. Трудно с запросами века нынешнего хлестать прелести века минувшего.

Стругальцев воспринял эти слова как упрек в свой адрес, но принять его не захотел.

— Выходит, я виноват, что ты в такую дыру сбежал,— агрессивно проворчал он.

Не научился еще Николай сглаживать острые углы даже в тех случаях, когда следовало бы. Сказал что думал:

— В том, что сбежал, Лариса виновата, а в том, что туда сбежал,— вы. Тишь, да гладь, да божья благодать, рыбка, грибы-ягоды...

Можно было обидеться на такой ответ, но у Стругальцева не нашлось сил и на это. Решив, что его состояние вызвано не столько усталостью, сколько личными обстоятельствами, Николай осторожно осведомился о семье.

— Семья со мной, доехали благополучно, если можно назвать ездой истязание в сорок суток.— Стругальцев достал из кармана кожаный портсигар, раскрыл его и едва успел сунуть в рот папиросу, как протянувшиеся со всех сторон руки расхватили весь запас.

Николай не стал больше ни о чем спрашивать Стругальцева, но тот, сделав подряд несколько жадных затяжек, заговорил сам:

— Признаться тебе, Николай, что меня доконало? Всегда был уверен, что знаю людей, знаю, кто чего стоит, а оказалось — ни черта

подобного. Вот в тебе не ошибся. А в других... Как, например, ты расценивал Феофанова?

— Парень — первый сорт. Только пробивной, пожалуй, сверх меры.

— А Родичева?

— Тот всегда был себе на уме, а как отца посадили, чужеватым стал.

— Вот-вот, я тоже так считал и потому на демонтаж четырехсоттонных кранов первосортного поставил, а на завалочные машины чужеватого. И просчитался. Родичев из цеха сутками не выходил, машины догола раздел, черта с два ими фрицы воспользуются, а Феофанов лынял, лынял, главные моторы не снял и сам остался. Да еще других подговаривал.

— Сказал бы кто другой — не поверил бы, — признался Николай. Замолчали, потому что заинтересовались вспыхнувшим рядом спором.

— Мы рванули так, что немцам его не восстановит!

— А нам, когда вернемся? Ты что, на веки вечные сюда собрался?

— Новый построим.

— Ну и идиоты. Вы против кого сработали? Против немцев или против себя? Вернемся — и что? Все сначала? С нулевой отметки?

Стругальцев притянул к себе Николая за лацкан пиджака.

— Слышал? Вот уж действительно: нет в душе у русского человека того уголка, где бы умещалось чувство меры. — Не найдя глазами урны, смял окуроч, бросил в угол и по-свойски обнял Николая одной рукой. — Слушай, попросись в Чусовую. Цех небольшой, но на сей день очень важный. План имеет. Не по стали — по шлаку. Да-да, у них мартеновский шлак основной продукт, гораздо дороже стали стоит. Ванадия много содержит. Воткнись кем-нибудь, а там я тебя вытащу.

Николай был не прочь работать с человеком, который пестовал его, выдвинул своим помощником, но как ему, провинившемуся, просить об этом наркома? Пришлось рассказать Стругальцеву, в какую историю влип, и тот согласился, что в таком положении высказывать свои желания бесполезно.

Из приемной наркома Николай вышел совсем расстроенный. Оказалось, что ночью нарком срочно выехал в Магнитогорск и не предупредил, когда вернется.

— Ваше личное дело у него в сейфе, и никто другой вами заниматься не будет, — сказал референт. — Сидите и ждите. Переведите дыхание. Остыньте немного.

По официальному тону, по холодному взгляду Николай понял, что референт в курсе его дел и открыто выражает свою неприязнь оттого, что знает, как настроен нарком.

Сидеть и ждать.

Человеку организованному, активному, знающему цену времени, находиться без дела даже день трудно, а ожидать неизвестно сколько — и подавно. Свое состояние Николай срачивал с состоянием узника, ждущего суда и не ведающего, когда он состоится и какой приговор будет вынесен. Даже если нарком не снимет с него бронь, то вряд ли предоставит равнозначную работу. Сколько специалистов с куда большим стажем и опытом толпится в коридорах в ожидании назначения, и любой из них скорее поедет начальником цеха в Чермыз, чем сменным диспетчером на крупный завод. Он нисколько не считал бы зазорным работать сталеваром на большой печи, но отбывать наказание, сталевара на дровяных печах, подобных чермызским, — одна мысль об этом приводила его в содрогание.

Постепенно горячее желание уйти с завода сменилось не менее горячим желанием остаться на нем.

Не так уж плох Чермыз для военного времени. В цехе отношение к нему — грешно желать лучшего. И Светлану тащить неизвестно куда и в какие условия не придется. А Кроханов? Кроханов теперь подожмет хвост. Если даже заиграет в нем ретивое, какие еще палки в колеса может он вставить? Все способы выжить его, Николая Балатьева, использовал, wolens-polens смирится с возвращением и притихнет.

Первые дни Николай от нечего делать часами бродил по улицам, останавливался у витрин магазинов, заходил в них. Но не в продовольственные. Заглянул разок — и закаялся. На полках в изобилии одни пряности — корица, гвоздика да имбирь. За себя он не беспокоился — все, кто проживал в гостинице, кормились в ресторане, — но сердце его ныло от жалости к жителям города, особенно к эвакуированным. Как те устраиваются с питанием?

Чтобы занять себя, стал ходить в городскую библиотеку и просиживал там часами, заполняя пробелы в своих литературных познаниях, образовавшихся во время учебы в вузе.

На четвертый день пребывания в Свердловске наведалься в производственный отдел Главуралмета, чтобы узнать, как работает его цех, и обнаружил, что он неуклонно наращивает производство. Это не столько удивило, сколько озаботило: не пошло бы количество в ущерб качеству — с пульной шутки плохи.

Теперь Николай стал появляться в главке ежедневно и каждый раз с удивлением отмечал, что кривая выплавки стали в цехе неуклонно движется вверх. На десятый день процент выполнения плана поднялся до ста двенадцати, и это совсем сбило его с толку. Как, каким способом могли обеспечить там такой крутой подъем, достичь таких высоких показателей?

Поначалу Николай решил, что Кроханов занялся приписками, но, поразмыслив, отверг это предположение. Не мог Кроханов пойти на явное очковтирательство, зная, что документ о приписке пятисот тонн находится у его противника. Стало быть, цифры соответствуют фактическому производству, а если так, то он, Балатьев, недооценил Кроханова, посчитав, что изобретательность его по части подвохов истощилась. Теперь директор из кожи лезет вон, дабы доказать, что без Балатьева цех работает лучше и, следовательно, заводу он не только не нужен, но даже вреден.

Связаться по телефону со Светланой, выяснить, что происходит, ему, сколько ни пытался, не удавалось. Каждый вечер битый час дозванивался до междугородной, телефонистка принимала заказ, и на этом все заканчивалось. Николаю не оставалось ничего другого, как зайти ночью к дежурному диспетчеру главка и упрямить, чтобы заказал разговор как служебный.

Заводов в ведении Главуралмета множество, разговоров с ними — еще больше. Сюда передают подробнейшие сведения о работе за сутки, объяснения всяких чепе — простоев и аварий, сообщают о нехватке материалов и предъявляют свои требования. Попади Балатьев в этот диспетчерский пункт прямо из Макеевки, производство чугуна и стали, литья и проката по отдельным заводам вызвало б у него снисходительную усмешку — до такой степени было оно ничтожно по сравнению с заводом имени Кирова. Но теперь, когда у него появился опыт работы на маленьком заводе, когда он познал, во сколько бочек пота обходится каждая тонна стали, эти цифры вызвали невольное уважение. Metallурги Урала вносили значительную лепту в снабжение военных заводов оборонным металлом отличного качества. Из крох получался большой каравай.

Ночь уже была на исходе, и диспетчер начал нервничать. Скоро появится начальник отдела, а в святая святых, куда могли входить только самые ответственные сотрудники главка, находится посторонний.

И когда уже надежды связаться с Чермызом не осталось, телефонистке удалось соединить диспетчера с квартирой Давыдычевых.

— Коля, сюда не возвращайся ни в коем случае! — кричала в трубку Светлана. — За вчерашний день дали уже сто пятнадцать процентов! Кроханов доказывает всем, что ты мешал цеху работать, что ты саботажник! Где живешь? Голодный...

Светлана торопилась не зря. Разговор прервали — звонила Москва.

Утром в главк Балатьев не пошел. Суточное производство он знал, а толкаться в коридоре среди незнакомых людей, выслушивать их грустные разговоры и прогнозы не было сил.

Весь день он провалялся в гостинице, надеясь отоспаться после бессонной ночи, но глаза не смыкались. Он не мог смириться с таким позорным поражением. Очень уж крупная была ставка в этой игре — репутация. Теперь ничего никому не докажешь. Прими его нарком в первые дни приезда в Свердловск, разговор шел бы только о разрыве с женой. Но при нынешних показателях работы цеха дополнительно встанет вопрос о его, Балатьева, профессиональной непригодности. Значит, о переводе на большой завод и речи быть не может. Погонит его нарком в какой-нибудь Уфалей. Было же такое, что, рассердившись на нерадивого руководителя высокого ранга, нарком скомандовал: «Сослать в Салду-балду!» И балдеет тот в Салде до сих пор.

Поняв, что ни заснуть, ни порвать эту бесконечную цепочку вязких, назойливых мыслей не удастся, оделся и вышел из гостиницы. Мороз был сильнющий, да еще ветер кидался колючей снежной крупой. Подняв воротник полушубка, чтобы защитить быстро замерзшие уши, свернул на проспект Ленина, и тут ему пришла в голову трезвая мысль: поехать на толкучку. Авось удастся купить шапку.

Трамвай он взял приступом, ехал сдавленный со всех сторон с такой силой, что можно было поджать ноги и зависнуть, не опустившись на пол. На каждой остановке поднимался невероятный галдеж, потому что выбраться из вагона удавалось лишь тем, кто находился близко от выхода.

На остановке у толкучки — еще больший галдеж — людей вывалилось так много, что они увлекли с собой и тех, кому надо было ехать дальше.

На довольно просторном торжище тоже теснота и гам, только теснота подвижная, а гам мирный — без воплей и перебранки. То здесь, то там его прорезали призывные возгласы: «Продаю часы золотые Павла Буре!», «Продаю несессер из восьми предметов, не бывший в употреблении!», «Какой это кролик! Это палантин из настоящего котика, мадам!», «Продаю бритву крупновскую — близнецы!», «Кому махорку за две буханки хлеба? Кому?». Большинство людей сбывали вещи от нужды, но находились и такие, кто решил погреть на чужом несчастье руки. Продавали наспех сделанные соломенные матрацы, ватные одеяла из обрезков цветного ситца на манер цыганских, варежки и носки из подозрительной шерсти, кое-как простеганные фуфайки, причем все втридорога, поскольку без этих вещей никак не обойтись, а спрос намного превышал предложение.

Николай протиснулся из конца в конец через всю толкучку, но шапки пятьдесят девятого размера так и не нашел. Нужда в них была огромная. Стоило появиться над головами даже старой, облезлой шапчонке, как на нее находилась десятка покупателей.

Когда он стал пробиваться обратно, взгляд его упал на добротное кожаное пальто, которое носил мужчина, накинув на плечи. Прицелился — три тысячи, цена подходящая. Решил примерить. Но пока он расстегивал ледяные пуговицы своего полушубка, пока застегивал такие же ледяные пуговицы пальто, кончики пальцев у него побелели.

Сбросив пальто, хотя соблазн приобрести его был велик, помчался в аптеку, которая оказалась поблизости. Здесь он был не единственным обмороженным. Пожилой аптекарь, рассыпая указания, как растирать нос, щеки и руки, протянул ему спиртовую настойку красного перца.

Препарат оказался чудодейственным, в пальцы вступило тепло, а с ним вернулось и желание осуществить покупку. Снова воткнулся в толпу, стал искать место, где примерял пальто. Место нашел, но продавца уже не было.

Все же уйти с базара с пустыми руками не хотелось, и, когда взгляд натолкнулся на шерстяной лыжный костюм василькового цвета, с белой гагачьей оторочкой, взял его не торгуясь. Вот будет довольна Светлана, тем более что это первый его подарок. Правда, в нынешнем году костюм не пригодится, надо еще побережь ногу, но можно ли упустить вещь, которая будет впору и к лицу Светлане.

С мороза хорошо спится, и Николай вторично выпшел из гостиницы в шесть вечера в надежде попасть в оперный. Но у театра надежда погасла: касса была закрыта, а желающих приобрести билеты оказалось сверхдостаточно — а охота за ними начиналась уже за квартал до театра.

Однако постигшая неудача лишь разожгла желание вкусить давно забытую радость красивого зрелища и красивых звуков. Николай чуть спустился по проспекту, перешел его против театра оперетты. Здесь жаждущих развлечься оказалось целое полчище, и все же один парень с билетом отыскался. Трехрублевый билет шел с аукциона, цена на него быстро росла. Набавляли сразу по пятерке, стоимость билета поднялась до тридцати пяти рублей, а парень все спрашивал: «Кто больше?»

— Шестьдесят,— предложил Николай, чтобы сразу отбиться от конкурентов.

Завладев билетом, стал доставать деньги, и откуда ни возьмись к парню подскочил милиционер.

— Спекулируешь?!

Парень поднял на представителя власти младенчески невинные глаза.

— Что вы! Отдаю по своей цене. Три рубля.

— Верно?— спросил милиционер у Николая.

— Верно.

Вручив пятерку и получив под внимательным взглядом милиционера два рубля сдачи, Николай отошел.

До начала спектакля оставалось еще полчаса, и он упорно высматривал в толпе парня, чтобы добавить остальные деньги, но того и след простыл.

В зрительном зале среди нарядно одетых людей Николай почувствовал себя не в своей тарелке. Где-то идет война, гибнут люди, а здесь — музыка, пение, полуобнаженные тела балерин, каламбуры, смех. Что-то кошунственное почудилось в этом желании повеселиться, но вскоре он сам стал улыбаться и даже смеяться над выходками Бонифаса, над ужимками одряхлевшей, но все еще хорохорящейся графини и понял, что людям, уставшим от бесконечных забот и измученным постоянными тревогами, отключение и особенно смех нужны куда больше, чем в мирные дни.

Нарком был усталым и злым. Измотали его полные напряжения дни и бессонные ночи. Шел шестой месяц войны, а ему порой казалось, что продолжается она вечность. Всю металлургию Юга, центра и Востока пришлось перевести на выпуск сталей военного назначения,

которые до сих пор производили специальные заводы и в весьма малых количествах. Технология этих сталей, сложная и тонкая, кроме знаний, требовала высокого мастерства, и люди осваивали ее годами. А теперь все премудрости необходимо было постичь в считанные дни и в считанные дни наладить производство оборонного металла в обычных печах, в крупных масштабах, причем выпало это на долю тех, кто до сих пор выплавлял рядовую сталь мирного назначения. Едва металлурги Юга свершили этот технический подвиг, как вдруг стоп — началась трагедия остановки заводов, демонтаж оборудования, эвакуация на Восток. Сколько сил пришлось затратить, чтобы вывезти, доставить, правильно разгрузить и использовать оборудование в намеченных пунктах, устроить людей.

Всем этим грандиозным перемещением материальных ценностей и людских резервов нарком руководил лично. Поездка по заводам тоже требовала огромной затраты физических и душевных сил. Магнитка его порадовала. Там сделали чудо. В мощных мартеновских печах освоили выплавку танковой брони отменной прочности. Такой технологии еще не знал мир — всюду ее варили в малых печах тихоходным процессом. И второе чудо: на обыкновенном блюминге стали катать броневую лист. До этого тоже никто еще в мире не додумался. Но додуматься еще не означало решить всю проблему. Надо было рискнуть на невероятную перегрузку и самой прокатной клетки стана и механизмов. Не побоялись, рискнули. Так количество и качество броневых листов было обеспечено.

И положение эвакуированных в Магнитогорске уже не требовало особых забот. Всех расселили и определили на работу. А ведь туда прибыли эшелоны с людьми и оборудованием нескольких крупных заводов. Только с «Запорожстали» семьдесят семь.

Прекрасно работали и кузнечане. Они быстро освоили все марки оборонных сталей и давали отличный металл.

Вот на два этих гиганта советской индустрии пала сейчас основная тяжесть снабжения металлом оборонной промышленности.

Нарком не раз вспоминал, какие горячие дискуссии развернулись, когда было задумано строить в суровом климате, в безлюдных местах эти заводы, как высмеивали зарубежные специалисты советских «фантазеров», какие беды предрекали. А сейчас? Что делала бы сейчас страна без этих форпостов обороны, возведенных в недостижимой для вражеских самолетов дали?

Множество проблем и самых необычных задач решалось нынче, но все новые проблемы, новые задачи выдвигали суровые условия войны. Как ни быстро строились новые заводы — Нижнетагильский и Челябинский на Урале, «Амурсталь» на Дальнем Востоке, — сложившаяся обстановка требовала еще большего увеличения темпов строительства. Вот почему в Челябинске, например, наркому пришлось пойти на крайнюю меру: он разрешил смонтировать перекрытие над самым горячим цехом — сталеплавильным — из деревянных конструкций. Такого тоже до сих пор нигде не знали. Огонь и дерево рядом. Несовместимо, рискованно, но пришлось пойти на этот риск, и он тоже лег тяжким бременем на перегруженную тревогами душу. Не давала покоя и возможность выхода из строя магнитогорского блюминга, работавшего на пределе мощности. В любой момент он мог выйти из строя на неизвестно какой срок, тогда пришлось бы остановить половину цехов комбината. Тревожило день ото дня все сильнее и положение с марганцевой рудой, без которой не выплавить ни чугуна, ни стали хоть сколько-нибудь удовлетворительного качества. А ведь требовалось только высокое. Основные марганцевые рудники Никополя находились в руках врага, над чиатурскими, маломощными, тоже нависла угроза. Предстояло еще решить проблему максимального использования старых уральских заводов, многие из которых до войны

наместили снести, другие реконструировать, но в сложившейся обстановке нельзя было делать ни того, ни другого. А откуда брать кадры, когда придется восстанавливать металлургию Юга? Многие металлурги мобилизованы, сколько их вернется и когда — не предугадаешь. Постоянно жгла мысль, что в дальнейшем положение на фронтах во многом будет зависеть от того, насколько ему, нарком, удастся восполнить страшный урон, нанесенный потерей всей металлургии Юга. Производство чугуна сократилось в четыре раза, стали и проката — в три. То и дело возникала необходимость переключать внимание с глобальных проблем, от решения которых зависела судьба страны, на мелкие, житейские, обыденные. Это изрядно выматывало. Люди оставались людьми с их характерами, заботами, бедами, и, когда они обращались за чем-либо, приходилось выслушивать, помогать, принимать меры. Вот и сегодня после тяжелого и крайне острого разговора с Государственным Комитетом Оборона надо было во что бы то ни стало принять Балатьева, этого резвого жеребчика, прогнавшего жену и спутавшегося за какой-то бабенкой, принять и встряхнуть так, чтоб ни ему, ни другим шkodить было неповадно. Взглянул на часы. До намеченного разговора с отделом тяжелой промышленности ЦК партии оставалось пятнадцать минут. Достаточно. С Балатьевым он справится быстро. Позвонил референту.

— Личное дело Балатьева и его самого ко мне.

Референт положил папку на стол и удалился, Балатьев остался.

Нарком неторопливо рассмотрел его жестким взглядом угольно-черных глаз и был удивлен, что проштрафившийся не выказал ни малейшего признака смущения. Внешность Балатьева понравилась наркому. Высокий, широкоплечий, с почти военной выправкой и лицом, на котором мужественность и скромность сплелись воедино. Великолепный представитель породы металлургов, можно сказать, даже красивый. Плохо только, что эти красивые крутят бабам головы.

— Сколько времени ждете? — спросил нарком вместо ответного приветствия.

— Шестнадцатый день.

— Небось и здесь успели крадю завести?

Начало было малообещающее, однако Балатьев не утратил спокойствия. В минуты опасности, в решающие моменты жизни оно как раз усиливалось в нем, крепчало.

— Я нигде никого не заводил. В Макеевке от меня ушла жена, здесь я женился.

— У меня другие сведения.

Нарком открыл папку, и лицо его тотчас выразило неподдельное удивление. Отчего — Балатьев, естественно, понять не мог, а причина была. До отъезда в папке лежали две бумажки — письмо жены Балатьева и письмо директора, а сейчас бумажек прибавилось, появился еще и конверт с сургучной печатью со штампом Чермызского райкома партии, личное.

Бросил взгляд на часы. Оставалось свободных двенадцать минут, если не вклинится какой-либо срочный телефонный разговор. Перебрав бумажки, принялся бегло, с неохотой читать их.

В письме, написанном корявым почерком, длинном, немного бестолковом, сплошные дифирамбы в адрес Балатьева. Хороший начальник («Что, добренький?»), знающий («Ну, это не им судить»), голоса не повысит напрасно («Иногда это крайне нужно»), такого у нас еще не было («Явное преувеличение»), научил варить пульную («Ага, вот это интересно, в Синячихе она никак не получается»), применил мазут в добавку к дровяному газу («Не открытие, карбюрация всегда полезна»), просим вернуть обратно («С такими просьбами обращаются не часто»). Чечулин Илья, Чечулин Вячеслав, Чечулин Иу-

стин, Суров Эдуард, Чечулина Антонина («Все понятно. Семейное. Ничего себе поддержку организовал»).

На остальные подписи нарком не взглянул, заинтересовался конвертом. На нем не стоял штамп отправляющей почты, был только свердловский. «Ясно. Сам привез письмо и здесь опустил. Не с нарочным же оно отправлено».

Положил конверт на стол отдельно.

— Что это за семейка Чечулиных? И не прикидывайтесь, пожалуйста, будто для вас это письмо неожиданность.

Балатьев посмотрел на наркома с сочувствием. Лицо землисто-желтое от усталости, под глазами черные обводья, сидит ссутулившись, словно давит на него непосильная тяжесть. Такому резко не ответишь, даже если нагрубит.

— У меня полцеха однофамильцы. И о письме этом...

— У меня! — передразнил нарком. — Как Людовик Четырнадцатый: «Королевство — это я!»

Ни один мускул не дрогнул на лице Балатьева, будто заряд иронии был направлен не в него.

— ...о письме я узнал только сейчас, — невозмутимо продолжал он. — Даже любопытно, что в нем. Взглянуть бы.

Нарком сделал вид, что не понял намека. Он просматривал письмо Славянинова, про себя рассуждая: «Вихлястое, дипломатичное. А вот последняя строка — «Все обвинения Кроханова несостоятельны и основаны на личной неприязни» — вполне определенная. Но Кроханов обвинял Балатьева только в аморальном поведении. При чем же тут «все обвинения»? Что это за манера давать индульгенцию не только за грехи настоящие, но и неизвестно какие будущие?» Повертел в руке пакет с печатями и отложил в сторону, увидев в скоросшивателе еще одну корреспонденцию Кроханова с приколотой к ней сводкой Главуралмета. Письмо было короткое, в нем директор просил не присылать Балатьева обратно, так как без него цех работает лучше, с каждым днем увеличивает выплавку стали. Сводка подтверждала это ежедневными цифровыми показателями.

Резкая разница в выплавке стали при Балатьеве и после него вызвала у наркома сомнение в достоверности цифр — такого бурного роста производительности — каждые сутки на один процент — ему до сих пор наблюдать не приходилось даже в первоклассных цехах, не говоря уж о старых уральских. Взглянул на Балатьева испытующе.

— Знаете, как сейчас работает цех?

— Знаю. Резкий подъем.

— А у вас нет ощущения, что тут что-то не так? Двадцать процентов на старых печах — приrost небывалый.

— Вообще Кроханов приписками... не пренебрегает, но...

— Что вам об этом известно? — прокурорским тоном спросил нарком. Заметив на лице Балатьева замешательство, потребовал: — Мне нужны факты. Вы можете привести их?

Злополучный месячный отчет лежал у Балатьева в кармане, он мог положить его перед наркомом, но удержался, решил не уподобляться Кроханову. Ответил:

— Юридических доказательств у меня нет.

— А обвинение без доказательств знаете как называется? Клевета! — припечатал нарком. Показал сводку. — Это приписки?

— Не думаю, по всей видимости, действительное производство. «Станный малый. Ему подбрасываешь удобное объяснение, а он сам отвергает его», — с внутренней усмешкой подумал нарком.

— Если так, то и вы смогли бы сработать на этом уровне.

Ответ Балатьева вновь обескуражил наркома мужественной прямоотой.

— Нет, не смог бы.

— Почему?

Балатьев замялся, и нарком стал нервно постукивать карандашом по столу. Время идет, скоро раздастся звонок из ЦК, а он все разбирается с этим инженером.

— Вел печи на пределе технической мощности, обеспечивающей длительную эксплуатацию,— наконец произнес Балатьев, заметив нетерпение наркома.— А они безусловно работают на износ.

Нарком благосклонно кивнул. Он всегда был сторонником нормальной эксплуатации печей и осуждал искусственные рекорды, поскольку они наносили ущерб оборудованию.

— А может, без вас они нашли оптимальный режим? — допытывался нарком.

— Очень сомневаюсь. Я вел печи на пределе возможного.

На улице густо повалил снег, отчего в кабинет сразу заползли сумерки. Нарком включил настольную лампу и, взяв в руки пакет с сургучными печатями, вскрыл его. Письмо секретаря горкома подтвердило правильность сложившегося мнения о молодом инженере. Тот писал, что Балатьев в отличие от директора работник инициативный, прогрессивный, технически грамотный, но, поскольку друг с другом они на ножах, кого-то нужно убрать, лучше бы директора. В совете, очевидно, был резон, но нарком не принял его. Освободить директора значило признать ошибочным это назначение, а его и так недавно журили за двух директоров, которые плохо проявили себя в эвакуации. Убрать же стоящего работника только потому, что не нравится директору, нелепо. Мало ли кто кому не нравится. Не такой уж веский это аргумент, особенно в военное время.

Нарком бросил письмо в папку, захлопнул ее и заявил тоном, не допускавшим несогласия:

— Поезжайте-ка вы обратно.

— О нет, туда я больше не ездук.— Возражение прозвучало у Балатьева с такой спокойной категоричностью, как будто он был вправе распоряжаться собой.

Сквозь желтизну щек у наркома проступила розовинка — грозный предвестник возможной вспышки. Но спросил сдержанно:

— Почему?

— Кроханов и так приписывает мне саботаж, а когда, вернувшись, я поведу печи на нормальном режиме и производство снизится, это лишь подтвердит его обвинения. Кроме того, мы друг другу противопоказаны.

— Мало ли что кому противопоказано! — вскипел нарком.— При моем балансе времени мне противопоказано тратить время на эту!..— Не подобрав слова, он ожесточенно ткнул пальцем в папку.

Балатьев знал, каким крутым бывает нарком в гневе, и все же повторил упрямо:

— Не вернусь.

— Тогда — на фронт!

Нарком, случалось, угрожал фронтом, чтобы обуздать строптивых, и это действовало безотказно. Во всяком случае, такая угроза ни у кого не вызывала улыбки. А Балатьев улыбнулся. И не только улыбнулся, но и огоршил:

— Для меня это лучший вариант.

И тут нарком дал волю охватившему его раздражению.

— Скажите пожалуйста — лучший вариант! А для меня?! Я ставлю вопрос перед Главным командованием отозвать из армии, даже с передовой, всех металлургов, а он тут... а он тут сияет!.. Сколько лет делали из вас...

Раздался телефонный звонок. По его резкости и продолжительности нарком понял, что это тот самый звонок, которого ждал. Снял трубку и прикрыв микрофон рукой, сказал Балатьеву:

- Придете завтра.
- К вам?
- В отдел кадров.

Балатьев вышел из кабинета, не зная, какое решение вынесет нарком, но довольный тем, что период мучительного бездельничанья завтра так или иначе кончится.

16

Скорый поезд Свердловск — Москва отошел с опозданием на четыре часа сорок минут и на ближайшей же станции застрял. Людей было немного, и все без исключения военные, в основном солдаты, подлечившиеся в госпиталях и возвращавшиеся в свои воинские части. Это он установил по обрывкам фраз, которые слышал проходя: «А у нас в госпитале...», «А наш хирург был — золотые руки», «Сестрички — как на подбор», «С голодухи и старуха — молодуха...».

Топили слабо — угля не хватало. Более сносно было в тех вагонах, где пассажиров набралось много и где много курили. Махорочный дым, густой пеленой висевший в воздухе, создавал иллюзию обжитости и теплоты.

В одном из вагонов шел жаркий спор с проводницей — солдаты требовали открыть туалет, проводница упорствовала, показывала на эмалированную дощечку, оповещавшую о том, что на стоянках пользоваться сим заведением воспрещается. Солдаты доказывали, что это правило не для военного времени и не для того случая, когда поезд стоит и черт-те сколько еще простоит, что выходить из вагона им не положено, можно отстать. И действительно, в самый разгар перепалки за окном на перроне поплыли люди и вагон стал подрагивать на стыках рельсов.

Николай ехал в одном купе с красавцем грузином средних лет, в форме военного летчика. Убедившись, что имеет дело с мужиком компанейским, летчик достал из чемодана флягу со спиртом, твердую копченую колбасу и даже кетовый балык.

Чокнулись за победу, выпили, закусили.

После третьей рюмки — ею служил колпачок фляжки — Гиви (так звали военного) потянуло на откровенный разговор. Возвращался он из Владивостока и был насыщен впечатлениями об этом городе. Все ему казалось там прекрасным. И вид с сопки на врезавшуюся в город бухту Золотой Рог с бесчисленными судами, выстраивающимися строго по ветру, и вид с бухты на поднимающиеся амфитеатром здания, и пестрая по архитектуре главная улица с одним рядом домов в центре, открытым всем ветрам и солнцу, и любопытная смесь европейского и азиатского быта, который можно наблюдать в китайских кварталах с их бесчисленными красочными лавочками и ресторанчиками, где подается горячее пиво по одному фунту в кружке.

Когда фляга наполовину опустела, летчик совсем разоткровенничался и сообщил весьма тревожную весть. Японский военный флот покинул свои стоянки и «запер на замок» Японское море. Выжидает, как развернутся события под Москвой, чтоб ударить, когда наше положение ухудшится. Вот он, летчик, сейчас перегоняет военные самолеты на Восток, хотя их на Западе не хватает. Обратного приходится поездом. До Новосибирска езда более или менее нормальная, а дальше — одна мука. По двум путям мчат сибирские дивизии гнать фрицев подальше от Москвы.

Снова вокзал Пермь-II, запруженный людьми, измученными долгой дорогой и ожидающими возможности продолжить путь. Сидят, лежат, спят не только на скамьях, но и прямо на полу, так что ногу поставить негде. Кое-кто обжился основательно. Готовят на примусах еду, устраивают постирушки, сушат на батареях белье.

Вольготно чувствует себя здесь только малышня. Им все нипочем. Снуют во всех направлениях, бесцеремонно расталкивая взрослых, шумят, затевают игры.

Трамваем Николай добрался до ворот знакомого завода и долго стоял на лютom морозе в ожидании колонны автомашин, которая должна была отправиться в Чермыз.

Его изрядно протрясло, когда ехал сюда, но еще больше досталось на обратном пути. Везли легковесную стружку, и на ухабах машину так подбрасывало, что и шофер и пассажир то и дело стукались головами о крышу кабины. Но шофер — тому ничего, он в шлеме танкиста, а вот кепочка ударов не смягчала. К концу пути у Николая разболелась не только голова, но и ноги — в ожидании толчка он все время напрягал их. Даже зубы пришлось стиснуть, чтобы не прикусить язык. Только и перемолвились: Николай — «трудно две ходки в день делать», шофер — «на фронте тяжелее».

У ворот завода распрощались. Машина пошла на шихтовый двор, Николай направился к Давыдычевым. Шел пошатываясь, как после качки на корабле, и думал о том, как бы встречные не сочли его за пьяного.

Вот наконец милый его сердцу дом, калитка, крылечко, прихожая. Семейство в сборе. Его обнимают, целуют, рассматривают. Похудел, осунулся на бедных командировочных харчах, но оживлен и с какими вестями явился — не понять.

— Ну как, со щитом или на щите? — нетерпеливо спросил Константин Егорович.

— Смотри как расценивать.

— Неужели снова в это осиное гнездо?

— Нет уж, хватит.— Николай подошел к Светлане, прижал ее к себе.— Приехал за женой.

Константин Егорович прошелся от двери к окну, отдернул занавеску, сорвал несколько засохших листочков на розе, смял их. Как ни рад был он, что Николай благополучно выпутался из опасного положения, все же перспектива расстаться в эту трудную пору с дочерью была не из приятных. Взглянул на жену, пытаясь определить, как восприняла она это сообщение. Та ответила беспомощно-грустным взглядом.

Чтобы поднять им настроение, Николай сказал, что направлен не куда-нибудь на край света, а в Свердловскую область на синячихинский завод и видеться время от времени будет несложно.

— Умывайся — и за стол, — скомандовала Клементина Павловна, но не сдержалась, чтобы не поинтересоваться, на какую должность назначен зять. Узнав, что начальником цеха, спросила: — Это что, повышение или понижение?

— Ни то, ни другое, — ответил Николай. — Это доверие. Худший цех в главке и даже в наркомате. Пятьдесят семь процентов плана и ни одной пультной плавки, как ни бьются.

Клементина Павловна шумно вздохнула.

— О господи, из огня да в полымя...

Вздохнула и Светлана. Опять у мужа не будет ни дня, ни ночи, ни выходных, опять начнется беспокойнейший период налаживания производства, да еще в цехе, находящемся в глубоком прорыве, неорганизованном и аварийном.

Проголодавшийся за дорогу Николай уписывал за обе щеки, но это не мешало ему слушать рассказ Светланы о заводских делах. Сразу после его отъезда печи повели на самом форсированном режиме, жгут только сухие дрова, которые при нем расходовали умеренно, чтобы хватило на всю зиму. Шихту тоже подают самую лучшую, тяжеловесную, стружку, как обычную, так и сплавленную, совсем исклю-

чили, а мазута жгут столько, что пламя даже из трубы выбивается. Сегодня сам Кроханов ставит в цехе рекорд, чтобы преподнести Балатьеву самую горькую пилюлю.

— Знаете, какую фразу он бросил в райкоме? — подключился к разговору Константин Егорович. — Немцев разгромили под Москвой, а Балатьева в Чермызе.

— Ну-ну, пусть старается, — снисходительно молвил Николай. — Как бы не получилось, что сети расставил мне, а попадет в них сам. — Услышав позывные Москвы, подбежал к репродуктору, усилил громкость.

Совинформбюро сообщало, что группа войск Кавказского фронта заняла город и крепость Керчь и город Феодосию.

Угомонились поздно, и все равно ровно в шесть как по команде Николай проснулся, проснулся в приподнятом настроении, которое создалось еще вчера после неожиданного сообщения об успешных военных действиях в Крыму. Вставать было незачем и, затаившись, чтобы не разбудить Светлану даже дыханием, принялся раздумывать над теми вопросами, которых не успели коснуться. Когда им уезжать? На дорогу из Свердловска у него ушло двое суток. Синячиха отсюда ближе, и все равно, надо думать, уйдет столько же. Ну еще пару дней на всякие устройства. Вручая приказ, начальник отдела кадров наркомата дал ему на переезд десять дней. Значит, три дня можно побыть дома. Обязательно надо попрощаться с рабочими всех смен. Придется, конечно, ловить на себе взгляды как сочувствующие, так и довольные. А кто, собственно, будет доволен, кроме Дранникова? Заворушка? Возможно. Эдуард Суров? Навряд ли. Ведет он себя весьма благородно. Светлану предупредил о готовящихся кознях, идею комкования стружки подбросил в минуту жизни трудную. Через БРИЗ бы ее провести, чтоб получил какую-то премию. Это не поздно сделать и сейчас. Суров напишет задним числом, он подпишет и отдаст в БРИЗ — не успел раньше. И с Крохановым придется попрощаться, как ни противно. А почему, собственно, придется? Вежливость требует? Но вежливостью платят за вежливость. У Кроханова же подлость следовала за подлостью. Даже форсирование хода печей — подлость, причем тонкая, рассчитанная на любой финал: вернется в цех Балатьев или не вернется.

Оставалось решить самый несущественный вопрос: когда наведаться в цех — сегодня, завтра или в день отъезда? Прикинув так и эдак, решил, что лучше сегодня.

Дождавшись пробуждения Светланы, сказал, что исчезнет на часок, и отправился.

Дорогой с пригорка по уже образовавшейся привычке посмотрел на трубы марановского цеха, теперь не его цеха, и подивился тому, что из трубы второй печи не шел дым. Только чуть-чуть миражил над ней воздух, как над нагретой степью в знойный день. «Видимо, остановили на профилактический ремонт. Вели печь сверх меры горячо, могли прогореть простенки».

В действительности все оказалось куда серьезнее: ночью свод рухнул в плавку, пятьдесят тонн металла застыло в печи сплошной глыбой. Даже в печах большой тепловой мощности ликвидация подобной аварии представляла изрядные трудности. А тут? Как расплавить такой монолит слабым дровяным газом?

Кроме печной бригады утренней смены, на рабочей площадке находились Дранников, Суров, Аким Иванович, чуть поодаль от них что-то обсуждали Славянинов и Пятипалов. Не было только Кроханова.

Не подняв глаз, Дранников последним протянул Балатьеву руку. Вид у него был, как у побитой собаки.

— Вот в какую лужу сели...

Николай не испытал ни малейшего злорадства. Побывав в главке, он больше чем когда-либо ощутил значимость каждой тонны металла и сейчас разделял общую озабоченность.

— Что решили делать?

— Если б я знал, что делать, то делал бы...— без всякой амбиции ответил Дранников словами Балатьева, сказанными, когда обнаружили, что в барже застыл мазут.

— Но и теряться нечего,— подбодрил его Балатьев. Посмотрел на печь. Разогретая огнеупорная кладка кое-где еще розовела.— Мне кажется, надо сделать новый свод и попытаться выплавить козла.

Дранников отнесся к этому совету как к невыполнимому и, махнув рукой, завернул за печь.

— Не выплавить нам этого козла, Николай Сергеевич,— грустно сказал Аким Иванович.— Замяк металл, переокислился. Тепла нашего не хватит. Без вас тут Эдуардов приятель из Синячихи приезжал отца хоронить.— Подтолкнул Сурова.— Доложи, что там получилось, чтоб я не со вторых слов.

— Тоже недавно сильно плавка замякла,— взялся рассказывать Суров.— А стали доливать чугуна, чтоб металл науглеродить, да так печь перегрузили, что сталь в ковшах не поместилась, хлынула через верх, спаяла все. Изложницы, поддоны, бортовые плиты. Получился монолит тонн на сто, если не больше. А краны у них хоть и мостовые, но только чуть помощнее наших — пятитонные. Сейчас работают одним ковшом на половинной садке.

У Николая пробежал по коже озноб. Так вот на какое испытание посылает его нарком. А решил — доверие. Не доверие это, а наказание, причем жестокое. Но мысли о себе были вытеснены мыслями о печи, у которой сейчас стоял.

— Так к чему же вы все-таки пришли?— обратился он к Акиму Ивановичу как к старшему и по должности и по возрасту.

— Сейчас Кроханов звонит в Пермь, выклянчивает у номерного завода кислород и трубки козла резать.

— Это что ж, и верх печи ломать и подину?

— Все ломать, все делать заново и подину заново наваривать.

— А огнеупоры где взять?

— Должны подвезти. Иначе прикипим намертво.

Распознавшись с секретарем горкома, к ним неохотно, со сконфуженным видом подошел Славянинов.

— Вот, Николай Сергеевич, какую закусочку приготовили вам к приезду, да еще под Новый год. Я, признаться, не дока в мартеновских делах, и то пробовал убагоразумить, когда печь стали насиловать. Да куда там! Этих господ как понесло...

— Эту закусочку, Анатолий Яковлевич, они не мне приготовили, а себе. Я уже четвертый день числюсь на другом заводе,— огорошил всех Балатьев и, ничего больше не добавив, отправился к выходу.

За новогодний стол у Давыдычевых сели, решив не ожидать двенадцати. Клементина Павловна прихворнула и еле держалась на ногах. Еды было вдоволь, но она резко отличалась от той, которой потчевала хозяйка прежде. Парила в супнице картошка, сваренная к соленой рыбе, шкворчали на сковородке поданные прямо с раскаленной плиты грибы с луком, сдобренные раздобытым с немалым трудом сливочным маслом. А вместо традиционного пирога дразнили пахучим духом ржаные коржики.

Светлана открыто торжествовала, когда Николай поведал, в какой безвыходный тупик загнала Кроханова авария.

— Ох и правильно говорят: не рой яму другому...

— Не смейся чужой беде, своя нагряде,— подбросил Николай пословицу, как нельзя лучше подходившую к его ситуации. Он знал, понял уже, какую кашу придется расхлебывать в Синячихе. Впрочем, кашу, заваренную другими, легче расхлебывать, чем свою. Во всяком случае, морально.

— Один-ноль в пользу Коли,— поддержал зятя Константин Егорович. Проверив, у всех ли наполнены бокалы, поднялся, чтобы произвести праздничный тост.— Вот, дорогие мои, как устроена жизнь. Горе зачастую встречается в чистом виде, без вкраплений радости, а то и надежды, а к радости непременно примешивается что-либо ее омрачающее. Все мы безмерно радуемся разгрому гитлеровцев под Москвой и в Крыму, а сегодня порадовались еще взятию Калуги, разгрому немецкой армии фельдмаршала Клюге и Второй танковой армии Гудериана. Однако невольно думаешь: какой же дорогой ценой дались эти победы, сколько жизней они унесли! Радуемся мы и тому, что Николай Сергеевич,— по имени и отчеству Константин Егорович назвал зятя ради торжественности момента,— с честью вышел из отчаянного положения. Но каких нервов и ему и даже нам это стоило! Мы с Тиночкой очень радуемся, что вы, Коля и Светочка, нашли друг друга. То, что вы немного разные, не помешает вашему счастью, ибо оно скреплено обоюдной любовью. Радуемся, но и грустим, оттого что предстоит расстаться с вами. Так выпьем же за радости без всяких примесей.

Близко к одиннадцати сводку повторили. Голос Левитана был преисполнен ликования. Неторопливо отчеканивая каждое слово, он назвал номера шести немецких разбитых армейских корпусов, пятнадцати пехотных дивизий и одной танковой, перечислил освобожденные от противника города. Их оказалось четырнадцать.

Сообщение прослушали затаив дыхание, как музыкальное произведение, и, как музыкальное произведение, оно взбудоражило мысли и чувства.

Константин Егорович снова поднял бокал.

— Мне хотелось бы выпить не только за победу,— приподнято сказал он.— Победа придет, в этом никто не сомневается. Выпьем за то, чтобы в будущем злое слово «война» осталось в памяти людей только как укор тем, кто в ней повинен, как архаизм, как поучительное напоминание о безумии человечества, как явление, навсегда изжитое и забытое.

Весь вечер Николай был неразговорчив, часто уходил в себя, отвечал невпопад, и это не укрылось от тещи и тестя. Они нет-нет и переглядывались между собой, но спросить, что омрачило ему настроение, не решались. Светлана тоже почувствовала, что муж чем-то озабочен. Грешным делом, она решила, что он раздумал брать ее с собой, чтоб не подвергать тяготам неустроенного быта, и мучается оттого, что не знает, как сообщить ей об этом. Вчера он был совершенно другим.

Когда шли к себе, Светлана не выдержала, сказала:

— Коля, объясни, что с тобой? Я же вижу... Если ты считаешь, что мне надо на какое-то время остаться...

— Дурочка ты моя... Просто я не могу отделаться от мысли, как помочь цеху.

— Тому или этому?

— Этому.

— Тогда ты дурачок. После всего того, что здешняя братия тебе устраивала...

— А совесть? — попрекнул Николай.— Это же не абстрактное понятие.

— А если конкретное, то какого оно цвета, какого объема, как выглядит?

— Не дури.

— Почему? Чем же дурочке заниматься? «Я советую совесть гнать прочь, будет время еще сосчитаться...» — смеясь, продекламировала Светлана.

— Никогда не советуй другим того, чего не делаешь сама. Ты над совестью не подшучивай. Это лучшее, что есть в человеке. Не зря веками искали ей точное определение. Называли и зеркалом души, и сердечным караульщиком, и обвинителем, и свидетелем, и судьей. Недаром у Лермонтова — «совесть вернее памяти».

— Это мне непонятно.

— Что ж тут непонятного? Память всегда пытается остеречь печальными аналогиями из собственного или чужого опыта, не позволяет сделать решительного шага, пугает последствиями. А совесть пересиливает страхи памяти, делает робкого храбрцом, а того, кто пытается прикрыться завесой рассуждений, голеньким ставит перед самим собой.

— Твоя совесть чиста. И почему, собственно, ты должен помогать Кроханову? Что хорошего будет, если он выскочит сухим из воды и укрепитя на своем посту? Один вред.

Николай искоса посмотрел на Светлану.

— А станки на номерном заводе пусть простаивают, а бойцы где-то недополучат патронов...

— Ты, Коленька, сгущаешь краски.

— Что тут сгущать. Они и так сгущены до предела. Иначе не возили бы отсюда металл чуть ли не горячим. Помнишь, что выдал мне Дранников, когда я попал в беду с обмороженным мазутом?

— Н-не очень.

— Примерно следующее: «Не в моих интересах вам помогать, но только последняя стерва может сейчас, когда на войне гибнут люди, давать металла меньше, чем его можно дать». И посоветовал, где взять котел.

— Такие советы нетрудно давать, — буркнула Светлана, упорно защищая свою позицию.

Вернулись в свою обитель недовольные друг другом, а Светлана к тому же была недовольна и собой. Она чувствовала себя неправой и теперь соображала, чем задобрить Николая, чтобы скверное настроение не перешло на завтра, так как верила в примету, что каков первый день Нового года, таким будет весь год.

В избушке было прохладно, и Николай сразу же занялся растопкой печи. Положил на колосники бересту, на нее щепу, потом дрова потоньше, прикрыл их крупными поленьями, поджег и уселся на скамеечке, глядя на язычки бойко разгоравшегося пламени.

— Ой, как теплом повеяло, — больше предвкушая, чем испытывая блаженство, произнесла Светлана, рассматривая себя в зеркале. — Правда, Коля?

Николай не отозвался. Мысли его были далеко. В цехе. У печи. У проклятого монолита, который не давал покоя. «Не услышал или сделал вид, что не услышал?» — встревожилась Светлана. Подошла к Николаю, но в этот момент прозвучали позывные Москвы, и оба застыли, вслушиваясь в знакомый голос. Заражая своим волнением, Левитан подробно перечислил, какие виды вооружения и в каком количестве захвачены или уничтожены войсками Юго-Западного фронта за последнее время, и заключил сообщением, что оккупанты выбиты из сотен населенных пунктов.

— Вот это подарок! — возликовала Светлана.

Подожив в печь еще несколько поленьев, Николай закрыл чугунную дверцу и поднялся.

— А ты не обратила внимание, что в числе трофеев всякий раз называется количество патронов?

— Я все понимаю, Коля, но мне боязно за тебя.. Добровольно лезть в расставленную западню...

Этой фразой Светлана вольно или невольно выдала мотив своего упрямства и совершенно обезоружила Николая. Он поцеловал ее в щеку, сказал примирительно:

— Дипломатик ты мой дорогой. Прозраченький..

17

Пока у Кроханова теплилась надежда раздобыть кислород для резки монолита в печи, он еще хорохорился, но когда отовсюду получил категорические отказы, пал духом. Его воображению рисовались картины ужасающие. Суд, тюрьма, штрафной батальон. Шутка ли, остановить печь в военное время! В мирные дни за это погнали б — и только. А сейчас? Если он Балатьеву приклеивал ярлык саботажника, то какой же ярлык могут приклеить ему? Вредитель, не иначе.

Порядка ради собрал узкое совещание, вызвав только Славянинова, Дранникова, Шеремета и Акима Ивановича Чечулина. Судили-рядили, но так ни к какому решению и не пришли. Разберут, допустим, верх печи, а что с монолитом делать? Без кислорода с ним не справиться. Кроханов заикнулся было о том, чтоб расплавить его, но Дранников и Аким Иванович наотрез отказались, подобрав убедительную мотивировку: сейчас козел в печи, а расплавят — будет в канаве, откуда его ничем не выдерешь. Истинное же их соображение было таково: за этого козла отвечает персонально директор — он гарцевал вокруг печи, подгоняя всех: «Давай-давай!» — а за того, что образуется в канаве, ответит смельчак, который рискнет выпустить перегруженную плавку.

Посидели в полном унынии, помолчали. От табачного дыма было не продохнуть, и даже заядлый курильщик Шеремет зашелся кашлем. При каждом телефонном звонке Кроханов пугливо вздрагивал, как от неожиданного выстрела, но трубку не поднимал — отвечать было нечего. Аким Иванович уже стал сонно ронять голову, как вошла Светлана и доложила, что Балатьев просит принять его.

— А ты не знаешь, что у нас совещание? — напустился на нее Кроханов. — Никого сюда. Поняла?

— Но он как раз по этому вопросу.

Кроханов растерянно поводил туда-сюда глазами, как бы испрашивая совета. Ему никак не хотелось встречаться с Балатьевым в этом дурацком положении, но и злить его, отказав в приеме, было бы неразумно. Балатьев безусловно доложит обо всем, что случилось, либо наркому, либо начальнику главка, так лучше, если он сделает это не обозленный.

— Пусти,— сказал он.

Светлана открыла дверь в приемную и объявила с усмешкой в голосе:

— Вас просят, Николай Сергеевич.

Отвесив общий поклон, Балатьев непринужденно сел и без лишних слов заявил:

— Я берусь выплавить вашего козла.

— Побойтесь бога! — вырвалось у самого доброжелательного из всех, кто здесь находился, — у Акима Ивановича.

— Эка невидаль — выплавить! — не теряя достоинства, произнес Кроханов. — Мы сами с усами. Выплавить сможем. Вот как разлить плавку с таким перегрузом, что будет...

Балатьев поднял руку, словно давал клятвенное обещание.

-- Перегруза не будет.

— Это как же так — не будет? — Кроханов усиленно заморгал. Он все еще пыжился и перед Балатьевым и перед остальными, дока-

зывая, что диплом ему дали не зря.— Ты откуда углерода наберешь? Из воздуха?

— Учите, Николай Сергеевич, плавку мы зарудили, так что там углерода — ноль целых хрен десятых,— честно предупредил Дранников.

— Ничего, я методом диффузионного раскисления ее возьму.

— Ах, диффузионного! — Кроханов сделал вид, будто знает, что это такое, остальные тоже подхватили игру в понятливость, и только Чечулин попросил разъяснить, в чем состоит сущность метода.

Балатьев отказался от разъяснения под предлогом, что показать проще, чем растолковать.

Пока Кроханов глубокомысленно думал, Славянинов, человек с практической хваткой, решил, что терять им нечего, и по-деловому осведомился:

— Что вам для этого нужно, Николай Сергеевич?

— Побыстрее сделайте свод и завезите тонн десять кокса. На заводском складе его в избытке.

— И только?

— Только.

Все взгляды сосредоточились на Балатьеве, но ни один не осветился догадкой.

Предложение Балатьева показалось Кроханову подозрительным. Он усмотрел в нем желание утереть всем нос и ничего больше. Вот охмурить бы его, дознаться, что это за штуковина — диффузионное окисление. Но куда там! Голыми руками Балатьева не взять, теперь он вольный казак. Ишь как изловчился, когда Чечулин закинул удочку насчет разъяснения!

Мало-помалу уверенность Балатьева все же передалась Кроханову, и он решил сдаться. Лучше ходить посрамленным, чем сидеть в тюрьме. Но как подступить к нему и с чего начать, чтобы не очень унижить себя?

Его опередил Славянинов.

— Надо как-то узаконить на это время, Николай Сергеевич, ваше положение на заводе. Не даром же вы будете работать.

— Выпишите разовую премию, потом за экономию по БРИЗу — и достаточно,— подсказал Балатьев.

Такой выход из положения не пришелся по вкусу начальству. Никаких обязательств Балатьев не брал, никакой ответственности не нес. Наступила тягостная пауза. Только слышно было, как натужно посапывал Аким Иванович, недовольный тем, что чудом выбравшийся из петли Балатьев опять сует в нее свою башку, да еще доброхотно.

— Я вас понял,— как будто со стороны врезался в молчание глухой голос Балатьева.— Вы хотите, чтобы я нес юридическую ответственность за ликвидацию вами содеянной аварии. Не так ли?

Ни слова в ответ. Только откровенно хмыкнул Аким Иванович, вознадевавшийся, что Балатьев должным образом оценил происходящее и дает задний ход. А тот:

— Ладно, я согласен. Только пошлите телеграмму наркому: «Прошу... просим задержать товарища Балатьева для ликвидации аварии, происшедшей в его отсутствие». И две подписи: директора и главного инженера.

— Достаточно одной моей,— пробасил Кроханов.

— Недостаточно, Андриан Прокофьевич. Она мало чего стоит.

...Вечером за совместным ужином разразилась первая семейная ссора. Единным фронтом на Николая напали тесть и теща. Каждый в отдельности и вместе они убеждали его, что нелепо, глупо, выбравшись из трясины, лезть в нее снова, что его желание спасти людей, которые столько пакостили ему, свидетельствует об отсутствии самолюбия и гордости, тех самых качеств, за которые его особенно цени-

ли, что недостаточно думать только об удовлетворении собственного тщеславия, что теперь он женат и обязан думать еще о Светлане.

Светлана ожидала, что Николай станет возражать, защищаться, возможно даже наговорит резкостей. но, когда нападавшая сторона выдохлась, он не проронил ни звука и только грустно смотрел куда-то в сторону, как человек непонятый, оскорбленный в лучших своих чувствах.

Ей стало жаль мужа и досадно за родителей. Как могло случиться, что эти беззаветно служившие своему делу люди проявили чисто обывательский практицизм, когда гражданский поступок зятя стал угрожать благополучию дочери? Что может подумать Николай о них да и о ней тоже? Рубанет сплеча что-нибудь о мещанском мировоззрении — и умоешься.

Нечасто приходилось ей спорить с родителями по той простой причине, что до сих пор почти не расходилась с ними во взглядах, а сейчас все ее существо восстало против них. Человек идет на риск, чтобы выручить коллектив и этого завода и оборонного, и никто не имеет права удерживать его, а тем более укорять и высмеивать. Она подошла к Николаю, стала за его спиной, оперлась о плечо, давая понять, что солидарна с ним, и по-домашнему тихо сказала:

— Вы, дорогие мои, почему-то забыли о самом существенном: о фронте, о его нужде в боеприпасах. Если Коле не удастся пустить печь, она, быть может, простоит полгода. Вот этого надо опасаться прежде всего.

18

Хотя формальных прав распоряжаться у Балатьева не было никаких — были только обязанности да ответственность, без всякого по-нуждения взятые на себя, — в цехе все охотно подчинялись ему: безотказно действовал его авторитет, особенно после того как рискнул приняться за дело, к которому никто не знал, с какой стороны подступиться. Даже Дранников без возражений принял прежний распорядок — дежурить по сменам наряду с Акимом Ивановичем и Суровым. Пока делали новый свод и разогревали печь, Балатьев работой себя не обременял, в цехе безвыходно не торчал, только наведывался туда несколько раз в день. Это давало возможность нормально спать ночью и лишний часок поваляться в постели утром.

Используя свое влияние среди аппарата заводоуправления, Балатьев заставил БРИЗ выплатить Сурову пятнадцать тысяч рублей за предложение обжигать стружку. Это подняло цену мастеру в глазах окружающих и окрылило его самого. Он стал держаться свободно, независимо. Принимая смену у Дранникова, не стеснялся предъявлять ему справедливые претензии и даже заносил их в цеховой журнал, на что раньше смелости не хватало.

Подав в БРИЗ Балатьев и свое предложение расплавить козел под слоем кокса. Это нужно было ему, чтобы лишить Кроханова возможности выдать впоследствии идею за свою или дранниковскую, как тот беззастенчиво поступил, приписав своему собутыльнику инициативу разогрева мазута паром. Кроме того, им со Светланой потребуются деньги на устройство дома в Синячихе. Чтобы предложение не повисло в воздухе, взял у Шеремета, по совместительству ведавшего БРИЗом, справку о том, что предложение принято и уже реализуется.

11 января мартеновцы радовались двум событиям: после недельного застоя на фронтах Красная Армия освободила Можайск и Торопец, а в печи расплавился шлак. Пока только шлак, но это означало, что преодолен рубеж, за которым начинался ответственный период плавления многотонного монолита. Ровная, спокойная, почти зеркальная поверхность шлака активно отражала тепловые лучи и созда-

вала угрозу для свода. Кирпичи его, еще не обработанные пламенем, были недостаточно стойкими для тех высоких температур, которые пришлось развить в печи.

Теперь сталевар как часовой вышагивал вдоль печи, непрестанно поглядывал в гляделки на свод, чтобы не перегреть его, не поджечь. Балатьев тоже почти не отходил от печи и только изредка позволял себе подремать в конторке, положив руки на стол, а голову на руки.

Опыта выплавки таких тугоплавких обезуглероженных монолитов у него не было, и в технической литературе описания подобных случаев не попадались. Приходилось руководствоваться только интуицией. И хотя интуиция не могла гарантировать несомненного успеха, людям он внушал уверенность в благополучном исходе эксперимента. Привыкшие ему верить, они поверили и на сей раз.

Но, понимая всю серьезность взятой на себя задачи, всю ответственность, Балатьев на всякий случай решил подстраховаться и, позвонив в Пермь, попросил Селиванова прислать ему хотя бы остатки угольных электродов от электросталеплавильных печей. Погруженные в металл, они должны лучше насытить его углеродом, чем лежавший сверху кокс.

На третий день с утренней колонной машин тяжелые цилиндры в четверть метра толщиной прибыли.

Только теперь Николай почувствовал себя вправе проводить Светлану, которая все эти дни находилась у родителей, и, вернувшись в цех, удивился оживлению, которое царило у печи.

— Тронулся лед, Николай Сергеевич! — закричал устремившийся к нему Суров.

Слили пробу. Все еще холодный, густой металл не весь слился с ложки, но звездчато искрил.

— Вот что делает кокс, — как чуду подивился Суров. — Науглероживает и плавить помогает. Глядишь — и без добавок чугуна обойдемся.

— Даже наверняка обойдемся, — заверил его Балатьев. — Но за сводом смотрите, и не в оба, а в четыре глаза.

Вечером, когда слой расплавленного металла значительно увеличился, в печь, чтобы ускорить науглероживание плавки, забросили электроды.

В ночную смену вышел Аким Иванович, но Суров, не имевший со дня возвращения в Чермыз ни одного выходного дня, наотрез отказался уйти домой. Его удерживала не только атмосфера охватившего всех возбуждения, но и желание не упустить момента полного расплавления монолита.

— Идите, Эдуард, идите, — чуть ли не силком выталкивал его Балатьев. — До выпуска времени еще много, а до конца войны — и давно. Силы потребуются немалые.

— Не пойду, Николай Сергеевич, — уперся Суров. — Вы сутками торчите, а я что? Перебьюсь, не маленький. Я, можно сказать, академию тут прохожу.

Когда втроем они уселись на скамье чуточку потеоретизировать насчет процессов, происходивших в металле, Аким Иванович неожиданно спросил:

— Николай Сергеевич, требования рабочих что-то значат для наркома или нет?

Балатьев знал, что для наркома даже требования инженеров подчас ничего не значили, но решил ответить дипломатично:

— Значит, когда совпадает с его точкой зрения.

— А ваше желание, — где быть, где робить, имеет вес? — допытывался Аким Иванович.

— В военное время — никакого. Нынче действует закон необходимости. А к чему это вы клоните?

— Да остались бы вы у нас, Николай Сергеевич. Дело в цехе налажено, народ вами не нахвалится. И что касаемо семейного устройства — тоже все благополучно. А в Синячихе придется все сызнова. И вкалывать на всю катушку — в цехе-то полный кавардак, похуже того, что в нашем сейчас. Опять ставь все с головы на ноги. Оставались бы, — повторил Аким Иванович, — тем более... Слышал, Дран уходит собирается.

— Дран-ни-ков? Ухо-дять? — не поверил своим ушам Балатьев.

— А чему вы удивляетесь? Ему и впрямь нельзя оставаться. В глаза за все смеются. Люди все видят, Николай Сергеевич, все понимают. Вот когда Кроханова еще попрут отсюда, совсем легко дышать станет — люди уверуют, что справедливость и сюда достает. А попрут, ей-ей попрут. — Дальше Аким Иванович почему-то перешел на шепот. — Я знаете что еще слыхивал? Парторг ЦК будто на завод назначен. Вот бы здорово! Этот от директора зависеть не будет. Сказывают, даже райкому не подчиняется. Будет вроде как комиссар в гражданскую. Так что остались бы, Николай Сергеевич.

Последняя неделя так вымотала Николая, что ему страшно было даже подумать, что скоро придется ломать привычный образ жизни, пусть и не совсем благополучный, брать штурмом поезд, осваивать новый цех, да еще такой тяжелый, как синячихинский, привыкать к новым людям. Дружеский совет Акима Ивановича настолько соответствовал его настроению и состоянию, что едва было не пообещал последовать ему.

Все эти дни Кроханов в цех не являлся, не явился и на такое знаменательное событие, как освобождение печи от металла, пролежавшего в ней двадцать суток, хотя знал, что все идет ладно и никаких казусов не предвидится. Вряд ли им руководил принцип — моя хата с краю, ничего не знаю. Скорее просто стыдно было показываться на люди, тем более что народу собралось множество. Даже рабочие других цехов, прямого отношения к мартену не имеющие, и те пришли посмотреть, как вырвавшаяся на свободу после длительного заключения сталь залила феерическим светом разливочный пролет.

Кто из двоих был инициатором разговора, состоявшегося в кабинете директора, — сам ли Кроханов или Славянинов, Балатьева не интересовало. Для него важен был сам факт: Кроханов сдался.

Усадив Балатьева перед собой, он заговорил без обычного витийствования, нервно попыхивая папиросой.

— Николай Сергеевич, предоставьте мне возможность оставить вас на заводе. Забудем, что было, поработаем на благо Родины. Развели мы с вами мышиную возню, когда нужно...

— Извините, должен внести поправку, — перебил его Балатьев. — Не мы развели, а вы развели.

— Не будем торговаться, Николай Сергеевич. Не время, — урезонивающе заметил Кроханов. — Будь по-вашему.

— Так-то. А насчет работать...

Предложение остаться настолько ошарашило Балатьева, что он не сразу сообразил, чем ответить. Сказал, только подумав:

— Прежде всего я хотел бы видеть приказ по заводу, подобный тому, который вы издали по Дранникову, — благодарность, премия и подсчет экономии по БРИЗу.

Кроханов тоже ответил не сразу — не лыком ведь шит.

— Будет такой приказ. А еще что?

— Отправьте нарккому телеграмму с просьбой оставить меня на заводе как... ну, вы сами предложите формулировку.

— За двумя подпоясанными — покорно спросил Кроханов, прикурив папиросу от папиросы.

- Лучше за двумя.
- Когда приступите к работе?
- После телеграммы наркома.

На сей раз директор проявил небывалую оперативность. В середине дня приказ был вывешен во всех цехах завода, а уже в семь вечера он собственноручно вручил Балатьеву копию его и правительственную телеграмму за подписью наркома. Тактичность ее удивила и согрела Балатьева. Нарком разрешил оставить его на заводе, но лишь в том случае, если даст согласие.

Вполне удовлетворенный Балатьев положил приказ в карман.

— Теперь я с чистой совестью и очищенный от всякой скверны могу...

— Вот и прекрасно,— не дал ему договорить Кроханов.— Сейчас мы это отметим. Бутылочкой. Довоенной.

Достав из ящика стола ключи, он двинулся было к сейфу, но Балатьев остановил его:

— Это вы уж без меня.

— Ну почему? — искренно огорчился Кроханов.— По такому случаю...

— По такому случаю мне бы посошок.— Отвечая на полный недоумения взгляд Кроханова, выдал напрямик: — Неужели вы решили, Андриан Прокофьевич, что после всех ваших вывертов я могу... Мне даже физиономию вашу лицезреть непереносимо.

Кроханова передернуло от такой дерзости.

— Это нечестно, Балатьев! — взревел он.

— Вам ли говорить о честности! — все с той же брезгливой интонацией промолвил Балатьев.— Вы мне подкладывали свинью за свиньей, а я... я с вами... ну, чуть поиграл. И скажите спасибо, что чуть.

Лишь теперь, соблюдая полнейшее спокойствие, в разговор вступил Славянинов:

— Позвольте, уважаемый Николай Сергеевич, кто в таком случае будет начальником цеха? Дранникову подписан расчет, он, как вы понимаете, начальником оставаться не может.

— Я тоже не могу, как вы понимаете,— ответил Балатьев.

Не усидев на своем месте, Славянинов встал, нервно прошелся по кабинету, остановился перед Балатьевым.

— Вы нас ставите в дурацкое положение, Николай Сергеевич. Цех остается и без начальника и без помощника одновременно. И это сейчас, в военное время. Кто как не вы воспитывали у сталеваров чувство долга перед Родиной, и вы же...

Балатьев с сочувствием посмотрел на Славянинова.

— Давайте произведем расстановку кадров,— дружески заговорил он.— Начальником цеха поставите Сурова. Дело знает, техник. И честен, как ни прививали ему здесь бациллы подлости. Заместителем — Чечулина Акима Ивановича, достойнейший человек. А на его место — сталевара Чечулина. Очень башковитый. Они потянут.

На этом Балатьев счел свою тяжелую миссию на заводе законченной и, отделавшись поклоном, вышел, ощущая острую радость от сознания, что в этом кабинете никогда больше ноги его не будет.

После прокуренного помещения морозный воздух, даже сдобренный запахами заводских дымов, показался Николаю целительным бальзамом. Преодолев искушение сесть на крылечке и застыть, ни о чем не думая, сошел на тротуар и медленно побрел по улице.

— Что так неохотно идете? Может, решили вернуться? — услышал за спиной голос Славянинова.

— Все еще не могу прийти в себя. Как на свет народился. Не верится, что вырвался благополучно.

Славянинов вздохнул с откровенной грустью.

— Завидую. А я вот сомневаюсь, что мне удастся.

— Почему?

— Теперь Кроханов меня возненавидит. Я заставил его пойти на примирение с вами, подписать приказ по заводу, я же настоял на телеграмме наркому. Утверждая в ней вашу незаменимость, он расписался в своей несостоятельности. И вдруг все зря. А он мстителен.

— Значит, вы его раскусили.

— После спектакля с припиской. Поверьте, я в тот день действительно заболел. Услышал уже от людей. Очень сожалею, что уступил настоянию Кроханова и втянул вас в такую авантюру. Но кто знал, чем это кончится...

— Все хорошо, что хорошо кончается,— благодушно обронил Балатьев.

На углу, где Славянинову нужно было свернуть, остановились.

— Жену с собой забираете?

— А как же. Завтра работает последний день.— Балатьев протянул руку.— На счастье. Говорят, она у меня удачливая — чужую беду руками разведу...

Наклоном головы Славянинов выразил признательность, взглядом — сочувствие.

— Сердечно желаю раскусить крепкий орешек в Синячихе. Там давно ждут смелого витязя.

— Ладно, не пугайте и не сглазьте. Загад не бывает богат.

19

Всей душой рвался Николай из Чермыза, а когда пришло время расстаться с ним, взгрустнул. Проработал он здесь недолго, но уже привык к людям, с которыми перенес труднейшие испытания, подружился с ними и даже полюбил. Обходя на прощание цех, пожимая шершавые натруженные руки, он выслушал от обычно сдержанных на проявление чувств уральцев немало теплых, искренних слов, и предательский спазм нет-нет да и сжимал ему горло. А из материнских объятий Игнатьевны, пустившейся в рев, как при разлуке с родным сыном, он еле вырвался. Только Заворушка постаралась не увидаться с начальником, но все женщины, точно сговорившись, утверждали, что это «со стыда».

Особенно тяжело было расставаться Николаю с Акимом Ивановичем Чечулиным, человеком, который был для него не только надежным помощником, но и верным другом. Несколько раз они обнялись до хруста в костях, расцеловались, и если у Николая хватило выдержки, чтобы не проронить слезу, то у Акима Ивановича, как он ни крепился, глаза застлала влага. Отпустить начальника, не сказав ничего напоследок, Акимовичу не хотелось, пошел проводить до ворот.

— Заметил ты или нет,— заговорил он по-свойски, когда зашагали по заводскому двору,— что принял ты один народ, а оставляешь другой? Были примятые, а сейчас головы подняли.— Аким Иванович бросил в снег обжигающий губы недокурок, по привычке для порядка притоптал его валенком и продолжил:— Сколько рабочих нашлось письмо наркому подписать, чтоб тебя оставили у нас. А сколько еще хотело. Даже такой боягуз, как твой напарник по охоте Иустин Чечулин, и тот от него отлынуть не смог. Или вот хоть бы сегодня. Окружил тебя народ у печи, и откудова ни возьмись — Кроха. Раньше все распозлались по углам, а тут стоят как стояли. И с улыбочкой такой насмешнической: а ну попробуй, мол, сказать что напротив! Видал, как он бочком, бочком — и на выход? Так что вот тебе моя лапа, давай и дальше так.

В ремонтно-строительном цехе Николая с распростертыми объятиями встретил Иустин Ксенофонович.

— А я уж, грешным делом... Неужто, думаю, уедете не попрощавшись?

— Ну как можно.— Николай крепко пожал грубую короткопалую руку.— Первый мой знакомый здесь. Сразу ввели меня, неискушенного, в курс дел и вообще...

— ...чуть не погубил урожденного степняка, когда оставил одного в глухом лесу,— тоном кающегося грешника добавил Иустин Ксенофонович.

— Пора бы и забыть.

— Э нет, такие промашки не забываются. А за великодушие в ноги вам кланяюсь. Нынче оно не в моде.

Усадив Николая на самолично сделанную скамью, Иустин Ксенофонович спросил:

— Зачем уезжаете? Теперь бы только и поработать спокойно, когда столько сделали. От добра добра не ищут. Потом сразу на большой завод, когда война кончится. Поднимать что разбито.

— Нет уж, обратный ход мне заказан.

Возвращался Николай с завода в том подавленном состоянии, какое возникает, когда прощаешься с людьми, близкими твоему сердцу, и знаешь, что навсегда.

Не заглянув в свой чертог, направился прямо к Давыдычевым, где Светлана занималась сборами в дорогу.

Она сразу уловила, что муж пришел расстроенный, и объяснила это тем, что исполнение желания не всегда радует. Вот и она, еще недавно рвавшаяся отсюда, теперь терзается навязчивой мыслью, что лучше всего, спокойнее всего после передрыг, из которых Николай вышел победителем, жилось бы им именно в Чермызе. Но думать и говорить об этом было уже поздно.

Обедать не стали — решили подождать родителей — и принялись укладывать вещи, ломая голову над тем, как уместить в четыре чемодана и охотничью сумку все добро, включая громоздкую посуду, которую Клементина Павловна выделила на обзаведение.

И вот наступили тягостные минуты расставания. Уже все слезы выплаканы, напутствия высказаны, оставалось ждать, когда подъедут розвальни, чтобы перевезти багаж к воротам завода, откуда должна была двинуться на Пермь колонна автомашин. Услышав, что на улице проскрипели полозья и остановилась лошадь, по старинному русскому обычаю присели помолчать.

В дверь постучались, и вместо ожидаемого возницы в комнате появился незнакомый человек в военной форме.

— Здравия желаю! — Бросив острый взгляд на поставленные в ряд чемоданы, он подозрительно уставился на мужчин.— Кто тут собирается уезжать?

— Я,— ответил Николай.

— Вам повестка.

— Вот это да...— протянул Константин Егорович, испугавшись за Светлану, которая от неожиданности попятилась к матери.

Николай взял в руки бланк, заполненный корявым почерком, и обомлел: на нем были проставлены фамилия и инициалы тестя. Растерявшись, расписался в разносной книге и, только когда военный ушел, набрался мужества передать повестку Константину Егоровичу.

Тот не без удивления прочитал текст.

— На переосвидетельствование? — с робкой надеждой в голосе спросила его Клементина Павловна.

— На отправку. Завтра в семь ноль-ноль в военкомат. С вещичками.

Клементина Павловна бросилась к мужу и зарыдала.

— Как же так! Ты ведь...

Не сдержалась, всплакнула и Светлана — ее, и без того взвинченную, сразил удар, который рушил все планы. По ее обреченному виду

Николай понял, что мать в одиночестве она не оставит, с ним не поедет.

Николай вышел из дома со своим неизменным чемоданом и рюкзаком за плечами, из которого торчало ружье в чехле. Бросив груз в сани, вернулся к калитке, где стояла Светлана.

Долго и мучительно прощались они, будучи не в силах оторваться друг от друга, пока Светлана не вскрикнула истерически:

— Езжай, я не могу больше!..

Когда розвальни тронулись, Николай обернулся. Светлана провожала его таким взглядом, точно прощалась навсегда.

ЭПИЛОГ

В солнечный июньский день по высокой набережной Камы, откуда хорошо просматривалась излучина могучей реки в песчаном окаймлении, два гигантских моста и пестрые лесные дали, медленно прогуливалась пара. Немного грузноватый, но не потерявший спортивной выправки мужчина с седеющими висками и светловолосая, ясноглазая женщина, сохранившая стройность молодости.

— Деловой город,— заметил мужчина.— Даже здесь празднотающихся мало.

— Как он похорошел! — восторженно откликнулась женщина.— Как разросся!

— К сожалению, я не могу сравнивать. В ту пору, кроме вокзала, ничего не видел. Приезжал и тут же уезжал.— Склонился к своей спутнице.— А на нас смотрят и даже оборачиваются.

— Пытаются понять, кто мы. Муж и жена или запоздалые влюбленные? Рука в руке..

— Понять и впрямь трудно,— с некоторой грустью в голосе заметил мужчина.— Я выгляжу старше своих лет, а ты..

— Ох, ох...— сокрушенно произнесла женщина.— Это мое счастье, что ты не пользуешься очками.

Подожли к монументальному собору, первому каменному сооружению города, поднялись по ступенькам к массивной двери. Здесь разместилась художественная галерея.

Не спеша стали обходить залы, останавливаясь почти у каждой картины.

— Тут не только прославленные имена, тут и прекрасные полотна.— В голосе мужчины проскользнуло восхищение.— У них, очевидно, богатый запасник, есть из чего выбирать.

Спросили об этом дежурную.

— Очень богатый,— ответила та не без гордости.— После революции много картин было свезено из частных коллекций, в том числе из вотчин Строгановых, много поступило из Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея.

Когда, закончив осмотр, повернули назад, к выходу, та же дежурная остановила их.

— Поднимитесь вон по той лестнице в последний зал. Там наша культовая деревянная скульптура.

— Деревянная? — без особого интереса переспросил мужчина.— Мы столько видели ее.

— Где? — прищурилась дежурная.

— В ФРГ, Бельгии. За рубежом, в общем.

— Так вот и немцы и бельгийцы к нам специально приезжают. У нас уникальные произведения. Они как бы смыкают две религиозные культуры — языческую и христианскую.

Мужчина взглянул на часы. Времени до назначенной им встречи оставалось в обрез, но глаза дежурной смотрели так просительно, что он не смог отказать ей.

В большом двухсветном зале внимание сразу приковала белая

фигура распятого Христа, помещенная на черном бархате. Тонкое и хрупкое тело, безвольно повисшая голова поражали глубочайшим трагизмом.

Женщина подошла ближе, прочитала надпись на дощечке, вскинула на спутника удивленные глаза.

— Семнадцатый век,— сказала еле слышно, чтобы не нарушить благоговейную тишину зала, в котором немногочисленные посетители невольно двигались бесшумно, как тени, и разговаривали шепотом, как в церкви во время богослужения.— Удивительное дело. Манера изображения явно условная, а как впечатляюще выглядит.

Бог Саваоф был сделан совершенно в иной манере. Он восседал в ореоле расходящихся лучей, грозный и неприступный, как языческий Зевс, и олицетворял не благочестие и мудрость, являя собой неколебимую деспотическую власть.

И вдруг мужчина схватил свою спутницу за руку, да так сильно, что та испугалась.

— Он! — Указав глазами на сидячую раскрашенную фигуру в синем армяке, подпоясанном красным узорчатым кушаком, повторил: — Он!

Женщина снисходительно улыбнулась и все же пошла в другой конец зала.

— Ну почему ты решил? Смотри, сколько здесь сидящих Христов.

— Нет, нет, это безусловно он,— настаивал на своем мужчина.— Я очень хорошо запомнил его. Та же поза, то же одеяние, поднятая рука, как бы прикрывающая от света лицо, и само лицо, его выражение... Значит, умерла бабка...

И снова женщина сказала с той милой снисходительностью, с какой говорят детям:

— Ты забываешь, что прошло уже двадцать восемь лет.

— Забываю,— согласился мужчина.— С тобой у меня время летит невозможно стремительно.

— Оно вообще летит стремительно,— приземляюще ответила женщина.— И война, кажется, совсем недавно была... Бабка... Жив ли сам Вячеслав?..

Мужчина снова взглянул на часы.

— А мы опаздываем.

Заторопились. Выйдя из музея, пошли аллеей Комсомольского проспекта, затененной разросшимися деревьями, свернули к гостинице «Прикамье».

У входа их ждал с машиной инструктор обкома партии Горячев.

Не часто случается, чтобы фамилия столь точно выражала суть человека, который ее носит. Горячеву она очень подходила, и можно было даже заподозрить, что выбрал он ее сам. Что бы он ни показывал, о чем бы ни рассказывал, все делал с такой горячностью, что невольно заражал других. Его темпераменту можно было подивиться. Коренной, потомственный пермяк, он истово любил свой город, великолепно знал его историю и с удовольствием знакомил с ним.

Прежде всего отправились на выставку достижений народного хозяйства. Учитывая, что времени у гостей на осмотр города в обрез, Горячев показывал лишь самое главное, самое примечательное. На стендах кабельного завода обратил внимание гостей на изолированную проволоку, что в четыре раза тоньше человеческого волоса, и маслонаполненные кабели напряжением в полтора миллиона вольт и толщиной в орудийный ствол; среди экспонатов телефонного завода, монополиста в этой сфере производства, выделил новейшие модели, где вместо диска вмонтированы кнопки, связанные с миниатюрной ЭВМ. Набери номер — и, если абонент занят, аппарат будет ждать, пока он освободится, и в то же мгновение вызовет его. Потом показывал авиационные двигатели для турбовинтовых лайнеров, двигатели

для вертолетов, электрические двигатели большой мощности, турбо-буры, краны-трубоукладчики, бензомоторные пилы для лесорубов, макеты нефтерудозовов типа «река—море», впервые в мире выпущенные судозаводом «Кама», фарфоровые изоляторы на три тысячи вольт, богатую продукцию химической промышленности.

Когда гости прониклись уважением к индустриальной мощи Перми, Горячев решил показать им памятные места города. Осмотрели оперный театр, где в декабре семнадцатого года проходил Первый съезд рабочих и солдатских депутатов, провозгласивший советскую власть в Пермской губернии, постояли у памятника Владимиру Ильичу Ленину, окруженного живыми цветами, побывали у мемориального комплекса бойцам, павшим в Великую Отечественную, у памятника балтийскому матросу Павлу Хохрякову, погибшему за идеалы революции на уральской земле.

Свозил Горячев гостей и к зенитной пушке, вознесенной на пьедестал при въезде в Мотовилихинский район, и к знаменитому танку «Т-34» у стелы, на которой схематически изображен путь Уральского танкового добровольческого корпуса от Орла до Берлина и Праги, к мемориалу у клуба завода имени Свердлова, где высечены имена всех погибших в Великую Отечественную войну рабочих завода. Никого и ничего не забыл город из своей революционной, военной и трудовой истории.

— А теперь моя задача показать вам наши святые места,— провозгласил Горячев.

У перекрестка ничем не примечательных улиц старой Мотовилихи вышли из машины, и в глаза тотчас бросился двухэтажный кирпичный дом, резко выделявшийся среди приземистых бревенчатых срубов.

— Здесь тринадцатого декабря девятьсот пятого года шли баррикадные бои восставших рабочих с казаками.

Горячев показал, как и где были расположены баррикады, откуда примчались каратели, назвал тех, кто был убит, и, чтобы не утратилось ощущение связи времен, перечислил фамилии потомков восставших, до сих пор работающих на том же Мотовилихинском заводе. У некоторых рабочих династий общий трудовой стаж превысил тысячу лет.

— Обязательно приезжайте, когда откроем мемориал,— вроде бы посоветовал, а на самом деле выразил свое затаенное желание Горячев.— На диораме длиной в двадцать пять метров со скрупулезнейшей точностью будут отображены события, которые здесь происходили. А все эти улицы мы сохраним нетронутыми, как реликвию, навсегда.

Натужно урча мотором, «Волга» поднялась на высокий увал, который с давних давен называли Вышкой. Здесь 10 июля 1905 года собрались бастующие рабочие на сходку, здесь их настигла казачья сотня, здесь пролилась кровь. На это кровавое воскресенье рабочие почти всех цехов Мотовилихи ответили новой забастовкой.

Вышли из машины. Перед глазами предстал памятник, подобного которому не встретишь. На высоком постаменте сложной конфигурации—серп, золотые колосья и алое знамя. Женщина подняла на Горячева непонимающие глаза.

— Серп и молот,— объяснил он.— Только молот паровой и потому такой огромный.

Довольный произведенным эффектом, Горячев горделиво улыбнулся. Этот уникальный памятник удивлял всех, кто видел его впервые, но далеко не все могли разгадать замысел создателя проекта.

— Посвящен павшим борцам революции,— продолжал Горячев.— Воздвигнут еще в двадцатом году. Представляете? В голодном двадцатом на средства рабочих! Автор проекта...

— ...известный архитектор?— высказала догадку женщина.

— ...безвестный чертежник Мотовилихинского завода Гомзигов.

Вечером, когда изрядно уставший Горячев прощался со своими неутомимыми гостями, он не удержался от вопроса, который неизбежно задают патриоты родных мест:

— Позвольте узнать, Светлана Константиновна и Николай Сергеевич, что вам особенно понравилось в нашем городе?

Привыкший выражать свои мысли ясно и точно, Балатьев сказал, чуть подумав:

— У него собственное лицо. Неповторимое. Ну а главное — хорошая память на прошлое. «Это нужно не мертвым, это нужно живым...»

В Чермыз вылетели с местного аэродрома маленьким самолетом, способным взлетать с любой площадки и на любую садиться. Балатьевы не отрываясь смотрели в окно на редкие пашни, бескрайние леса, прорезанные кое-где узкими просеками, связывавшими между собой небольшие деревеньки, выглядевшие с высоты как макеты, на путаные рукава Камы и многочисленные заливы Камского моря. От морских они отличались разве что цветом воды, слегка желтоватой. А вот большая деревня на мысу, омываемом с одной стороны морем, с другой — огромным прудом. Почти на самом конце мыса белела высокая квадратная церковь, и только по ней Балатьевы догадались, что это Чермыз. Светлана Константиновна вцепилась рукой в плечо мужа. Ее пальцы вздрагивали в такт учатившимся ударам сердца.

Самолет мягко коснулся сырой после недавних дождей земли, попрыгал на неровностях и замер.

Вышли, зашагали по липкой грязи. Николай Сергеевич взглянул на жену и не смог погасить улыбки. Трогательно и комично выглядела она в белых босоножках, в белом брючном костюме и с букетом алых роз, которые не захотела оставить в гостинице.

— Да-а,— самокритично проговорила Светлана Константиновна, смущенная своей непредусмотрительностью.— Оделась так, будто никогда здесь не жила и не знаю этих мест.

С собой они захватили только портфель с самыми необходимыми мелочами, а сейчас оказалось, что нужны и дорожные туфли и обычное платье.

Не без ущерба для одежды добрались до небольшого непрезентабельного домика с яркой вывеской «Чермыз». Никакого транспорта и в помине не было, предстояло идти пешком. Но от «аэровокзала» до поселка рукой подать, и, главное, дорога от него была усыпана мартеновским шлаком. Внезапно Николай Сергеевич поднял из-под ног ржавую железную плюшку, согнутую четверо.

— Плюшка еще тех времен, когда варили пульную. Так сгибали для гарантии. Полюбуйся. Ни рванинки, ни трещинки.

Завернув пробу в газету, положил ее в портфель.

Первые дома поселка не походили на типично уральские. Они были не бревенчатые, а стандартные дощатые, и окрасили их строители в самые разные веселые цвета.

— Это что-то новое в местной классической архитектуре,— заметила Светлана Константиновна.

Уже позже они узнали, что живут в этих домах работники сплавно-го рейда, ныне главного предприятия Чермыза.

Когда потянулись улицы с обычными бревенчатыми срубами, Светлана Константиновна не только не смогла обнаружить что-либо знакомое, но даже сориентироваться. Верхний поселок сильно расширился — сюда с нижнего перевезли по бревнышку целые подворья и бережно собрали заново. С обеих сторон улицы разрослась сирень, прикрывавшая убожество стародавних бревен, и пышно цвела сейчас, наполняя разогретый солнцем воздух пряным ароматом.

Только выйдя на главную улицу, поняли, куда нужно идти, чтобы попасть в «центр».

И вот уже здание почты, откуда Балатьев намеревался разослать

телеграммы с требованием воздействовать на Кроханова, загс, где оформили брак.

— Пошлем депешу мамам,— предложила Светлана Константиновна.— Живы-здоровы, решили перезимовать в Чермызе.

— Что ты, не поймут юмора, испугаются,— ответил Николай Сергеевич.— Сообщим, где находимся. Клементине Павловне будет очень приятно, хотя и всплакнет, конечно.

Однако послать телеграмму не удалось. У стойки, за которой сидела приемщица в прозрачной кофточке на манер украинских национальных, только с куда большим присборенным вырезом, толпилась довольно-таки солидная очередь, в основном из людей, съехавшихся сюда на летнее время. Пестрые платья, беззастенчиво открытые сарафаны и даже шорты красноречиво говорили о том, что целомудренный Чермыз смирился с веянием моды и даже усвоил ее. И вот тут Светлана Константиновна убедилась, что одета она не так уж экзотично. Разве что розы. Это был самый красивый букет, преподнесенный накануне мужу после выступления.

Постояли возле здания бывшего райкома, в котором райкома уже не было. Хотя Чермыз переименовали в город, районным центром стал другой поселок, более удобный по географическому расположению.

— Пойдем к нашему дому,— предложила Светлана Константиновна.

— Сначала к заводу. Лирико-драматика потом.

В двухэтажном здании заводоуправления теперь размещалась школа. Сколько претерпел в свое время в этих стенах Балатьев, начиная с того злосчастливого момента, когда начальник отдела кадров неожиданно поставил штамп «принят», и до того дня, когда он же, выдавая трудовую книжку, никак не хотел вписать в нее приказ о вынесении благодарности, объяснив это тем, что Балатьев уже не в штате. Только благодаря Славянинову приказ был вписан.

Вспомнила и Светлана Константиновна, каких трудов стоило ей устроиться на прежнюю работу секретарем-машинисткой. Кроханов упорно вымещал на ней свою ненависть к Балатьеву и посылал то на дроворазделку, то на генераторы, да еще в бригаду Заворыкиной. И опять же благодаря вмешательству Славянинова, грозной телеграмме мужа из Синячихи и настоянию парторга ЦК ее восстановили на работе, освободив новую машинистку, печатавшую одним пальцем и безграмотно.

Внезапно воспоминания оборвал мелодичный звон. Обернулись. Это церковные часы отбивали три четверти. Раньше они стояли, и Николаю Сергеевичу стало стыдно, что не обращал на них внимания и не оценил их уникальности и редкой красоты. Сделанные крепостными умельцами в начале XIX века, часы эти были единственными в своем роде, так как состояли из двух циферблатов, расположенных по разным сторонам фасада, один из которых показывал время, другой — фазы Луны и числа месяца.

Медленно двинулись дальше мимо крохотного кирпичного домика с вывеской «Госбанк», мимо бывшего дома управляющего с деревянными полуколоннами по фасаду и вышли на пригорок, откуда когда-то хорошо просматривались завод, нижний поселок и плотина.

Ни завода, ни поселка не было и в помине, а от плотины остался только короткий узкий островок. Зато воды оказалось много. Слева от плотины расстилалось необъятное Камское море, справа — разлившийся пруд. Только где-то далеко-далеко за ним смутно высматривалась в дымке кромка леса.

Николаю Сергеевичу стало грустно, как на могиле близкого человека. Как ни утешай себя, что был он стар, дряхл и умер, потому что подошло время, все равно горло сжимается от жалости.

Хотя Светлана Константиновна и разделяла грусть мужа, род-

ные места будили у нее в основном радостные воспоминания. В школе — первая ученица и первая красавица. И первая настоящая зрелая любовь пришла здесь и не погасла до сих пор. Ее избранник и друг рядом с нею и будет рядом до конца дней. В порыве нежности потянулась к мужу и, не дотянувшись до сосредоточенного лица, потерлась щекой о плечо.

Николай Сергеевич взял ее за руку и пошел обратно.

У Дома приезжих, который теперь тоже не был Домом приезжих, завернули налево, миновали длинный квартал и вышли на их улицу. Вот он, подслеповатый домишко Афанасии Кузьминичны, а вот и дом № 12. Он почернел еще больше, облупилась краска с наличников, перекосилась калитка, только по-прежнему оставался неизменным овал с выпуклым обозначением страхового общества «Саламандра».

— Семнадцатого августа сорок второго года...— тихо проговорила Светлана Константиновна.

В этот день согласно похоронной пал смертью храбрых политрук пехотного батальона Константин Егорович Давыдычев. С трудом оправившись от потрясения, Клементина Павловна сдала книги в городскую библиотеку, пианино — в клуб, раздала обстановку соседям и знакомым и уехала со Светланой в Синячиху, расставшись с Чермызом навсегда.

— Зайдем,— предложил Николай Сергеевич.

Жена согласилась было и даже сделала несколько шагов к калитке, но, когда представила себе, что увидит в родном доме чужих людей, чужую мебель, услышит чужие запахи, резко повернулась и пошла прочь.

Но бывший их «особняк» минут не смогли. Во дворе какая-то женщина развешивала белье. Сразу узнав пару, радостно бросилась навстречу. Это была Надька, Наденька, в ту пору десятилетняя девочка. Кратко обменялись новостями. У Нади, теперь Надежды Тихоновны, они были пестрые. Три дяди с войны не вернулись, кучу детей оставили, в прошлом году мать похоронила, братья на Дальнем Востоке «промышляют рыбой», замужем, но бездетная — «нету на это таланту». Балатьевы тоже рассказали о себе. Живут в Москве, есть дети, сын и дочь, оба уже институты окончили. Клементина Павловна здорова, давно на пенсии. Светлана Константиновна работает в научном журнале, Николай Сергеевич...

— Я надомник,— отшутился Балатьев.— Сам себе хозяин. Хочу — работаю, хочу...

— Вы все шуткуете, Николай Сергеевич. Знаем ведь...

Надя охотно разрешила зайти в избушку и проявила такт, не увязавшись следом.

В домике оставалось все как было. Тот же некрашенный стол, та же скамья-диван, та же высокая семейная кровать. Даже умывальник был тот же медный и еще более звонкий, потому что висел пустой. Николай Сергеевич не удержался, поиграл стерженьком рукоюника. Кроме счастливых воспоминаний, эта обитель ничего не будила, но когда Светлана Константиновна подошла к окну и увидела свой дом, слезы неудержимо потекли из ее глаз. Это была запоздалая реакция на опустевшее и ставшее чужим родное гнездо, куда и зайти побоялась, чтобы не расчувствоваться и не расплакаться при посторонних.

Николай Сергеевич усадил жену рядом на диванчике, пристроил ее голову на своем плече и, вытирая носовым платком слезы, стал нашептывать какие-то отвлекающие слова.

Успокоилась. Принялась вспоминать: «А помнишь?..», «А ты помнишь?..» Многие давно позабытые эпизоды их житья-бытья, смешные и трогательные, вдруг предстали с такой осязаемой реальностью,

будто прошлое вошло в настоящее, будто между настоящим и прошлым исчезла грань.

Потом долго бродили по старой, столетней давности роще неподалеку от церкви, где Светлане Константиновне было знакомо каждое дерево и где, к ее удивлению, скамьи стояли на прежних местах. Общих воспоминаний у них с этой рощей связано не было, зато Светлана Константиновна вспомнила свидание с одноклассником, закончившееся сорванным поцелуем и пощечиной.

Захотелось есть, и они зашли в столовую, небольшую, но чистенькую, заказали обед. Людей было мало — обеденное время прошло.

— Рюмку подкрепляющего хочешь? — спросил Николай Сергеевич, показывая глазами на буфетную стойку, где красовались бутылки марочного коньяка.

Светлана Константиновна не отказалась. Надо было как-то встряхнуться — слишком уж много эмоций, грустных и радостных, прошло через сердце.

Не чокнувшись, как на поминках, а только обменявшись взглядами, выпили и на удивление вкусно пообедали — здесь, в глубинке, повара оказались совестливыми — и отправились искать знакомых.

Дом, где теперь жил Аким Иванович Чечулин, им показал первый же встречный. Находился он на главной улице, когда-то его занимал Кроханов. Приостановились, пытаясь определить, в какое же из семи окон постучать, чтобы не потревожить чужих людей, и почти тотчас в среднем окне к стеклу прильнуло маленькое, с тыковку, личико старой женщины, а следом появилось тяжелое, сохранившее резкость черт лицо мужчины. Несколько мгновений он стоял недвижимо, потом схватился за голову и растаял за окном.

Из калитки Аким Иванович вылетел пулей и с воплем радости кинулся к Балатьеву. Обнялись, расцеловались, веря и не веря тому, что довелось повидаться через столько лет, и, с трудом разъяв объятия, стали рассматривать друг друга.

— Ничего, ничего... — одобрительно говорил Аким Иванович. — Еще можно на вас воду возить.

Балатьев поводил плечами, разминая грудную клетку после ухватистых рук Акима Ивановича.

— Да и у вас силенка осталась. Пробую вот, целы ли ребра.

Аким Иванович знакомо цокнул языком.

— Только в руках. Ноги ни к черту. В мартене стоптал. — Поздоровался со Светланой Константиновной. — А вот кого время поберегло. Ну, айда в дом.

Жена Чечулина встретила гостей как самых близких родственников. Потянулася целоваться и была счастлива, когда Балатьев, согнувшись в три погибели, коснулся губами ее щеки.

Две комнаты, которые занимали Чечулины, казались очень просторными, так как были обставлены самой необходимой мебелью, а нарядный вид им придавали полы, сплошь устланные цветастой клеенкой. Поймав одобряющий взгляд Светланы Константиновны, хозяйка похвалилась:

— Это мы сами. Голь на выдумки хитра...

— Что мелешь-то — голь, — не то шутя, не то серьезно приструнил жену Аким Иванович. — Оба пенсию получам, внукам иногда даже подбрасывам. И телевизор вот какой заимели. — Он любовно погладил полированный бок.

На столе быстро появился объемистый кувшин с бражкой, бутылка водки и запеченная в сметане рыба. Водку отвергли, бражку попробовали, а от рыбы не отказались — озерная ныне редкость.

Хлебнул Балатьев бражки и мгновенно вспомнил, где попробовал ее впервые. У сталева Вячеслава Чечулина.

— Жив, жив еще, — обрадовался Аким Иванович тому, что Балатьев помнит соратников. — Обером после вас был. Работал здорово,

да взрыв у него получился. Перед самым закрытием завода. Ногу ему сильно повредило. До сих пор мается, бедный. Живет все там же, в своем тереме расписном. Только вот на лето к сыну подался в Асканию-Нову. Антон у него в ученых ходит. Охотовед.

С Вячеслава и начались воспоминания. Кто куда уехал, когда завод остановили, кто жив, кто помер. Добрались и до Кроханова.

Балатьев сообщил, что увидел его как-то в Макеевке. Нарком наказал его по совокупности за все грехи: назначил на самую низшую техническую должность — сменным диспетчером мартеновского цеха, да еще мальчишке в подчинение. Таким горемыкой выглядел. Подошел сам, поздоровался, молвил: «Хорошо сделал, что из Чермыза уехал. А я вот видишь до чего доработался...» А потом... Эх, даже говорить неохота. Наркома не стало — снова выплыл. Да на высокую должность. Начальник какого-то крупного объединения, персональная машина. Так что жив курилка. А вот Баских... Перед самым концом... Под Берлином...

Вспомнили и Славянинова. Когда Кроханова через полгода убрали, Славянинов стал директором и вел завод до самой его остановки.

Аким Иванович принялся рассказывать, как останавливали кормильца. Камское море не сразу подошло, наполнялось медленно, несколько лет. По весне в половодье заливало завод до самой плотины. По мартену да и по другим цехам можно было на лодках ездить, в прокатном станы в воде стояли. Их загодя тавотом обмазывали. Сойдет вода, а на валках ни ржавинки, будто только что из-под токарного станка, ну а в мартене из дымовых боровов да из разливочной канавы насосами воду выкачивали. Прослышат рабочие, что не сегодня-завтра в главке окончательно решат завод остановить, — сразу же делегации снаряжают. В обком, в главк в Свердловск и в Москву. Там отложат на год, потом еще на год...

— И до какого года так? — спросила Светлана Константиновна, что-то записывая в блокнот.

— В пятьдесят шестом погребли. Подмели цеха чистенько, печи побелили, цветами украсили, как покойников...

Балатьев невольно вспомнил пароход, на котором прибыл в Чермыз, и старика капитана, заставившего Управление флота заново выкрасить пароход перед последним рейсом.

— А потом открыли настежь все ворота, нижние и верхние... — Налив себе и гостям еще бражки, Аким Иванович не отрываясь выпил для подкрепления. — Помните, те, что на склады везли, ну, через которые машины нашу пульную вывозили? Объявили по радио, чтоб все, кто хочет, шел посмотреть завод, где еще прапрадеды работали, и попрощаться. Цельных три дня прощались с утра до ночи.

— Три? — переспросил Балатьев, решив, что ослышался.

— А что вы хотите? Четыре тысячи на нем работало, а почти шестнадцать кормилось. Это сейчас девять с половиной осталось в городе. Шли все от мала до велика. Стариков под руки тащили, инвалидов на колясках везли. Ну а потом... Эх!..

Бражка для этих воспоминаний оказалась для Акима Ивановича слабо бодрящим напитком. Разлил по рюмкам водку и, хотя гостей не уговорил, выпил.

— А потом дали прощальный гудок, да такой длинный, что всю душу вымотал. Гудели, пока весь пар с котла не вышел. Гудок гудит, сердце болит... Сроду оно у меня не болело, не знал, с какой стороны находится, а тут будто гвоздь воткнули. Люди режут в голос, и не только бабы. И у мужиков рожки мокрые. Вот так отгудели как отпели и начали разбирать. Я не пошел. Моченьки моей не хватило...

Аким Иванович надолго замолк, и, чтобы отвлечь его от горьких воспоминаний, Балатьев сказал:

— А мы со Светланой Константиновной только что из Магнит-

ки. У Сурова дома побывали. Приятный, культурный человек. И жена у него славная, нам почти родственница: зарегистрировала в загсе.

Ожидаемых вопросов не последовало, Аким Иванович грустно заключил:

— Было ему сто девяносто четыре года...

— Вот и сравни масштабы,— обратился Балатьев к жене.— Весь завод — сто пятьдесят тонн железа в сутки.

— Сто шестьдесят одна,— уточнил Аким Иванович.

— ...а в Магнитке одна двухванная печь дает в сутки более четырех тысяч тонн, полтора миллиона в год.

— Магнитка, Магнитка...— досадливо проворчал Аким Иванович.— Знаете, Николай Сергеевич, какую обиду я на вас держу?

Балатьев принялся копаться в памяти. Когда, где и чем обидел он обер-мастера? Жили как будто душа в душу. Может, не так что сказал, не так повернулся, а может...

— Уехал, оставив вас на расправу неприкрытыми? — высказал предположение.

— Нет, мы к тому времени сами прочно на ногах стояли, а что ушли — в вину не возвели. И раньше понимали, что птица вы залетная, а когда за этой птицей еще непрерывно охотятся... Вы вот о Донбассе написали, о Магнитке написали... О ней ведь, правильно я понял?

— Ну, заводы у меня собирательные...— уклончиво ответил Балатьев.

— Какие ни есть, но о больших написали. А вот бы о нашем... Разве не работали мы до седьмого пота? До кровавых мозолей работали.— Аким Иванович положил на стол ладонями кверху большие тяжелые руки.— Вот посмотрите. Сколько лет прошло, а до сих пор кожа задубелая, как подошва. А дела какие делали? Что с вами, что без вас потом. А пульная сколько сил вымотала. Шутка ли — на сырье нашем, с бору да с сосенки собранном, такую чистую сталь выплавлять. Каждую плавку помню, потому как каждая своего подхода требовала. Хоть бы тоненькую книжечку о нас...

Балатьев поймал на себе требовательный взгляд жены — успокой, расскажи. Но он и без этого взгляда успокоил бы — больно уж разволновался Аким Иванович. Даже в минуты тяжелых испытаний не видел его таким.

— Книжечку я уже пишу, дорогой мой соратник,— сказал он.— И не очень тоненькую.

— Ей-богу? — не поверил своим ушам Аким Иванович.

— И заехал я сюда, чтоб восстановить в памяти и события, и людей, и обстановку. В первую очередь с вами хотел повидаться и вот, как говорится, у ваших ног.

— Ну спасибо, обрадовали старика,— растрогался Аким Иванович, настолько растрогался, что все рюмки перелил. Кстати, и бодростью духа, и крепостью тела, и голосом, который все еще был зычным, не походил он на старика. Даже седина пощадила его. Пробивалась неровно, местами.

Снова пустились в воспоминания. Многих перипетий борьбы с Крохановым Аким Иванович не знал, о многих кознях Балатьев услышал от него впервые. Иногда Чечулин забегал вперед, в область не столь интересную, и всякий раз Николай Сергеевич направлял беседу в нужное русло — к заводским событиям сорок первого года. Он по опыту знал, что, если завязалась беседа, самое важное надо извлечь сразу же, пока рассказчик разогрет воспоминаниями и жаждет поделиться ими. Потом, когда он выложится и остывает, трудно бывает вернуть его в прошлое.

В конце концов Аким Иванович прорвался с вопросом, более всего прочего интересовавшим его: как удалось Балатьеву справиться со стотонным козлом, который поджидал его в Синячихе?

— Довольно просто и довольно быстро,— ответил Николай Сергеевич.— Два пятитонных крана, конечно, поднять его не могли, а перевернуть смогли.

— Оскудел, наверно, умом на старости лет,— смущенно признался Аким Иванович.— Не усек.

Балатьев не заставил его разгадывать задачу, которую в свое время решал сложнее и дольше, чем представлялось теперь. Объяснил:

— Выкопали яму рядом на всю его длину и высоту, зацепили канатами за края, и сыграл он туда как миленький вверх тормашками.

Такой выход из безвыходного положения привел Акима Ивановича в неопикуемый восторг. Он и смеялся, и хлопал себя по коленям, и головой крутил неистово. На сей раз уж пришлось гостям по его настоянию выпить по рюмочке.

— А теперь — главный вопрос, давно он у меня на языке торчит,— вкрадчиво заговорил Аким Иванович и примолк на мгновение, собиравшись с духом.— Что это вы специальность вдруг переменили, в писатели подались? Спервоначала даже не поверил. Читаю в газете — Николай Балатьев. Ну, думаю, однофамилец, да и тезка к тому же. Гляжу дальше — ба, в Чермызе работал! Стало быть, наш Николай Сергеевич. Так чего это вы стекло синее на синие чернила поменяли?

— Я как раз черными пишу,— пошутил Балатьев, соображая при этом, как ответить — чтоб и вразумительно и в дебри не углубляться.— Наблюдений изрядно накопилось, Аким Иванович, мыслей разных. Счел полезным поделиться... А еще — советского человека показать в полный рост, жизнь нашу заводскую. И если вашему покорному слуге удастся заставить читателя призадуматься о себе, о своем месте в жизни, значит, такая переквалификация себя оправдала.

— А как насчет денег? Говорят...

— Говорят, говорят... Мало ли что говорят. Окладов у нас нет. Сдельщина. От выработки, без оплаты простоев и брака. Так что по-всякому бывает — разом густо, разом пусто.

— Да-а, вот оно как,— сочувственно протянул Аким Иванович.— Рисковое, значит, дело. Выходит, спокойнее два раза в месяц зарплату получать. Хоть меньше, да вернее...

Беседа затянута. Когда церковные часы напомнили о себе, сначала деликатно пробив четыре четверти, а потом настойчиво и сильно одиннадцать, Балатьевы распрощались с гостеприимными хозяевами и отправились в гостиницу, которая находилась на круто-ряне в бывшей бане.

Приуныли, увидев, что ни в одном окне нет света, обрадовались, когда на их стук кто-то откликнулся, и оторопели от неожиданности, когда открылась дверь. Дежурной по гостинице оказалась — тесен мир! — Заворыкина. Время обошлось с ней милостиво, она по-прежнему была в теле и цветуща, только чертики в глазах не бегали, может тоже от неожиданности.

Пригласив гостей в крохотную комнатенку дежурной, забрала у них паспорта и растерянно забормотала:

— Что же мне делать с вами, что делать?.. Отдельной комнаты у меня нету. Это, значаца, про вас из Перми звонили, но я не уразумела, слышно плохо было.— И вдруг надумала: — Погуляйте немного, а я тут кой-кого переселю, кой-кого уплотню.

Оставив у Заворыкиной портфель, Балатьевы вышли.

Неподалеку от гостиницы, у самого обрыва прилепилась однооконная избушка — не то склад, не то лавчонка, у входа в нее лежало толстое бревно с тесаным верхом — сделанная на столетия скамья. Сели и залюбовались бесхитростным ночным пейзажем. Огромная огненно-красная луна, то ли вышедшая из-за моря, то ли опускавшаяся к нему, разостлала перед собой дрожащую дорожку, и только острие ее обнаруживало ту грань, где водная стихия сливалась с воздушной.

Было тихо, и лишь внизу, у самого берега, еле слышно шелестели волны да издали доносился рокот бодрствующего буксира.

На черневшем справа огрызке плотины загорелся огонек, и Николай Сергеевич вдруг мысленно представил себе погруженный в воду завод, но представил не таким, каким отдали его морю, разрушенным до фундамента, а каким оставил — живым, гремящим, дымящим.

От плотины, тихо урча мотором, отчалила лодка какого-то запоздалого рыбака и, пересекая вызолоченную луной полосу, заскользила к берегу. Николай Сергеевич следил за ней, про себя отмечая: «...над дроворазделкой... над прокатным цехом... над мартемом... а вот теперь к листобойке приближается...»

Ушла в воспоминания и Светлана Константиновна. Вот она, девочка, залихватски катается на коньках по замерзшему пруду, падает, ушибается и опять летит дальше; вот рыбаки, замершие над прорубями, и она, склонившаяся над серебристой добычей; вот сам пруд, казавшийся таким необъятным, каким сейчас кажется Камское море.

Бой часов прозвучал в этой патриархальной тиши неожиданно громко. Били они медленно, словно ожидали, когда окончательно растает в заснувшем воздухе мелодичный звон предыдущего удара. Насчитав двенадцать, Балатевы поднялись.

— Видишь, как бывает в жизни,—сказал Николай Сергеевич.— Уезжала отсюда с мечтой поселиться у моря, а море пришло сюда.

— Главная моя мечта сбылась,—отозвалась Светлана Константиновна с мягкой улыбкой.— Я уезжала, чтобы всегда быть с тобой.

За окнами «ракеты» скользит берег Камского моря. Скользит стремительно, не позволяя налюбоваться пышным его убранством — расцветченными в самые разные зеленые тона лесами. Берега эти и знакомы Балатевым и незнакомы. Там, где они были высоки и круты, мало что изменилось — уцелели здесь и деревеньки и отдельные избушки, — а вот низинки и распадки залиты водой.

Направо куда ни глянь совсем незнакомая для тех, кто ездил по реке, картина: море, самое настоящее море, которому не видно ни конца, ни края. Сонно ползут по нему караваны плотов, тихо движутся баржи груженные и порожние, самоходные и буксирные, то тут, то там торчат ажурные нефтяные вышки. Величественная, но довольно однообразная картина, и потому Балатевы не сводят глаз с берега, где пейзажи меняются как в калейдоскопе. То мрачные ельники и хмурые осинники, то веселые березовые рощи и сосновые боры.

Вдруг Николай Сергеевич сжал руку жены.

— Смотри! Видишь одинокую избушку? Состарилась. А была...

— Избушка как избушка,—нехотя ответила Светлана Константиновна, едва успевшая рассмотреть ничем не приметное строение.

— Тогда, в сорок первом, так захотелось забиться в нее, никого не видеть, никого не слышать...

— Да и сейчас неплохо бы уйти от суеты сует в первозданную природу.

— О нет. Даже с тобой нет,—порывисто ответил Николай Сергеевич.— Высшее счастье — жить среди людей и быть им нужным.

Москва — Переделкино. 1976—1979 гг.



УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

★

АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ!

Роман

I

С третьего часа пополудни и почти до заката долгого, тихого, томительно жаркого мертвого сентябрьского дня они сидели в комнате, которую мисс Колдфилд до сих пор называла кабинетом, потому что так называл ее отец, — в полутемной, жаркой и душной комнате, где уже сорок три лета подряд все ставни были наглухо закрыты: когда мисс Колдфилд была девочкой, кто-то решил, что от света и движения воздуха веет жаром, а в темноте всегда прохладнее, — и которую (по мере того как солнце все ярче и ярче освещало эту сторону дома) рассекали на части желтые полосы, трепещущие мириадами пылинки, — Квентину казалось, что это ветер вдувает внутрь с облупившихся ставен чешуйки старой, пожухлой и мертвой краски. За окном вилась по деревянной решетке расцветшая второй раз этим летом глициния; на нее время от времени невесть откуда обрушивалась стайка воробьев, с сухим шелестящим звуком поднимала клубы пыли и снова уносилась прочь, а напротив Квентина сидела мисс Колдфилд в своем вечном трауре — она носила его уже сорок три года — по сестре ли, по отцу или по нему же — этого не знал никто; прямая, как жердь, она сидела на простом жестком стуле, который был ей настолько высок, что ноги ее свисали с него прямо и не сгибаясь, словно берцовые кости и лодыжки были сделаны из железа, — не доставая до полу, как у маленькой девочки, они как бы выражали застывшую и бессильную ярость, а сама она мрачным, измученным, полным изумления голосом все говорила и говорила — до тех пор, пока слух отказывался служить, а слушатель терял нить и окончательно переставал что-либо понимать, между тем как давно умерший предмет ее бессильного, но неукротимого гнева, спокойный, безобидный и небрежный, возникал из терпеливо сонного торжествующего тлена, словно пробужденный к жизни этим негодующим повтором.

Голос ее не умолкал, он лишь исчезал. В стужавшейся вокруг туманной мгле стоял едва уловимый запах гробов, подслащенный и переслащенный ароматом вторично расцветшей глицинии, что вилась по наружной стене под свирепым и тусклым сентябрьским солнцем — лучи его, казалось, сначала уплотняли этот аромат, а потом снова превращали в легкое, почти неуловимое дуновение; словно свист гибкого хлыста, которым от нечего делать размахивает ленивый мальчишка, в наступавшую тишину временами врывалось громкое хлопанье воробьиных крыльев и острый запах старого женского тела, давным-давно стоящего на страже своей девственности, а со слишком высокого стула, на котором она казалась распятым ребенком, поверх смутно белеющего треугольника кружев вокруг шеи и на запястьях на Квентина смотрело бледное, изможденное лицо и звучал голос — он не умолкал, а лишь на время исчезал, но после долгих пауз приходил обратно, подобно ручейку или струйке воды, что течет от одной кучки сухого песка к другой, меж тем как призрак с сумрачной покорностью размыплял о том, что он вселился только в голос, а любой другой, более удачливый его собрат наверняка бы захватил весь дом. Из беззвучного удара грома он (человек-лошадь-демон) внезапно врывается в пейзаж, мирный и благопристойный, словно представленная на школьный конкурс акварель; от его одежды, волос и бо-

роды все еще исходил слабый запах серы, за ним виднелась свора черномазых — дикие звери, которых только-только обучили ходить вертикально, подобно людям, — в позах диких и непринужденных, и среди них, словно закованный в цепи, мрачный, измученный, оборванный француз-архитектор. Недвижимый, бородатый, всадник сидел, вытянув вперед руку ладонью вверх, а за ним молча топтались черномазые и пленный архитектор, держа в руках топоры, кирки и лопаты — парадоксально бескровное оружие мирного завоевания. Потом в долгом неудивленье Квентин, казалось, увидел, как они внезапно заполнили сто квадратных миль безмятежной и погрязенной земли, яростно вырвали из беззвучного Ничто дом и регулярный сад, словно карты на стол, швырнули их под вытянутую вперед недвижимую державную руку — и тогда возникла Сатпенова Сотня, Да Будет Сатпенова Сотня, как в незапамятные времена Да Будет Свет. Вслед затем слух его как будто смирился, и теперь он, казалось, стал слушать двоих разных Квентинов: того Квентина Компсона, который готовился поступить в Гарвард на Юге, глубоко на Юге, мертвом с 1865 года и населенном болтливыми негодующими растерянными призраками; он слушал, вынужден был слушать, одного из этих призраков, который даже еще дольше, чем все остальные, отказывался утихомириться и толковал ему о старых призрачных временах, — и другого Квентина Компсона, который был еще слишком молод, чтобы заслужить честь стать призраком, но все равно обреченного им стать, ибо он, как и она, родился и вырос на Юге, — двоих разных Квентинов, которые теперь разговаривали друг с другом в долгом молчании нечеловеков, на неязыке, приблизительно так: *Сгается, что этот демон — его звали Сатпен (Полковник Сатпен) — полковник Сатпен. Который ниоткуда нежданно-негаданно явился на эту землю со сворой чужих черномазых и основал плантацию (Яростно выбил плантацию, как говорит мисс Роза Колдфилд), яростно выбил. И женился на ее сестре Элли и произвел на свет сына и дочь (Произвел на свет без ласки, как говорит мисс Роза Колдфилд) без ласки. Которые должны были сдаться жемчужиной его гордости, опорой и утешением его старости, но (Но не то они погубили его, не то он погубил их или еще что-то в этом роде. И умер) — и умер. И никто о нем не пожалел, говорит мисс Роза Колдфилд — (Кроме нее). Да, кроме нее (И кроме Квентина Компсона). Да. И кроме Квентина Компсона.*

— Говорят, вы едете в Гарвард учиться в колледже, — сказала мисс Колдфилд. — Поэтому вы едва ли когда-нибудь вернетесь сюда и станете провинциальным адвокатом в маленьком городке вроде Джефферсона — ведь северяне давно уже позаботились о том, чтоб на Юге молодому человеку нечего было делать. Поэтому вы, быть может, займетесь литературой, как многие нынешние благородные дамы и господа, и, быть может, в один прекрасный день вспомните и напишете об этом. Я полагаю, что к тому времени вы уже будете женаты и вашей жене, возможно, понадобится новое платье или новое кресло для дома, и тогда вы сможете написать это и предложить журналам. Возможно, тогда вы даже с добрым чувством вспомните старуху, которая заставила вас целый день просидеть взаперти, слушая ее рассказы о людях и событиях, которых вам самому повестливилось избежать, тогда как вам хотелось провести это время на воздухе в обществе своих юных сверстников.

— Да, сударыня, — отвечал Квентин. *Только она совсем не то имеет в виду*, подумал он. *Она просто хочет, чтобы об этом рассказали.* Было еще совсем рано. У него в кармане еще лежала записка, врученная ему маленьким негриненком незадолго до полудня, в которой она просила его зайти к ней, — странная церемонно-вежливая просьба, скорее даже повестка, чуть ли не с того света — затейливый древний листочек добротной старинной почтовой бумаги, исписанный неразборчивым мелким почерком; при этом то ли от изумления, что к нему обращается с просьбой женщина втрое его старше, с которой он не обменялся и сотнею слов, хотя знал ее всю свою жизнь, то ли просто оттого, что ему было всего лишь двадцать лет, он не распознал, что почерк этот свидетельствует о характере холодном, неукротимом и даже жестоком. Он повиновался и сразу же после полудня по пыльной сухой жаре первых дней сентября прошел полмили от своего до ее дома. Дом тоже почему-то казался меньше, чем на самом деле (он был двухэтажный); некрашенный и несколько запущенный, он, однако же, производил впечатление некой свирепой стойкости, словно, как и сама его хозяйка, был создан для мира чуть меньшего, чем тот, в который он попал. В полумраке закупоренной прихожей, где воздух был даже жарче, чем на дворе, словно здесь, как в склепе, были погребены все вздохи медленно текущего, обремененного зном времени, которое повторялось снова и снова вот уже сорок пять лет, стояла ма-

ленькая фигурка в черном платье, не издававшим ни малейшего шороха, с тусклым треугольником кружев на шее и на запястьях, а бледное лицо смотрело на него с выражением задумчивости, сосредоточенности и упорства, ожидая минуты, когда можно будет пригласить его в дом.

Ей нужно, чтобы об этом рассказали,— вот в чем все дело, подумал он, так, чтобы люди, которых она никогда не увидит и чьих имен никогда не услышит, а они в свою очередь никогда не слышали ее имени и не видели ее лица, прочитали это и наконец поняли, почему Господь допустил, чтобы мы проиграли эту Войну; что лишь ценою крови наших мужчин и слез наших женщин Он мог остановить этого демона и стереть с лица земли его имя и его род. Потом ему сразу же пришло в голову, что отнюдь не по этой причине она послала записку, и к тому же послала ее именно ему — ведь если она просто хотела, чтобы об этом рассказали, написали и даже напечатали, ей вовсе не надо было никого приглашать — ей, женщине, которая еще в молодые годы его (Квентинова) отца составила себе репутацию поэтессы-лауреатки их города и округа, опубликовав в суровой, имевшей ничтожное число подписчиков окружной газете несколько стихотворений, оду, панегирик и эпитафию, почерпнутых из каких-то горьких и непримиримых запасов непораженья.

Однако пройдет еще три часа, прежде чем он узнает, почему она послала за ним, ибо часть этого, первую часть, Квентин уже знал. Это была частица его собственного наследия, нажитого им за свои двадцать лет,— ведь он дышал тем же воздухом и слышал, как его отец говорил о человеке по имени Сатпен; это была часть наследия города Джефферсона, который восемьдесят лет дышал тем же воздухом, которым человек этот дышал между нынешним сентябрьским днем в 1909 году и тем воскресным утром в июне 1833 года, когда он впервые въехал в город из туманного прошлого, и приобрел себе землю никому не ведомым образом, и построил свой дом, свой особняк, по всей видимости, из ничего, и женился на Эллен Колдфилд, и произвел на свет двоих детей — сына, сделавшего вдовой дочь, что не успела даже выйти замуж,— и так, предначертанным ему путем, пришел к насильственной (мисс Колдфилд, во всяком случае, сказала бы — заслуженной) смерти. Квентин с этим вырос; даже самые эти имена были взаимозаменяемы и почти что неисчислимы. Его детство было полно ими; в самом его теле, как в пустом коридоре, гулким эхом отдавались звучные имена побежденных; он был не реальным существом, не отдельным организмом, а целым сообществом. Он, как казарма, был наполнен упрямыми призраками со взором, обращенным назад, призраками, которые даже сорок три года спустя все еще выздоравливали от лихорадочного жара, вылечившего их болезнь; они приходили в себя от лихорадки, даже не зная, что боролись именно с нею, а не с самим заболеванием, с непоколебимым упорством и даже с сожалением продолжая смотреть назад за пределы лихорадки, в самую болезнь, ослабев от лихорадки, но зато освободившись от болезни, они даже не сознавали, что эта свобода — свобода бессилия.

(— Но почему ей надо было рассказать это именно мне? — спросил он в тот вечер у отца, вернувшись домой, когда она наконец его отпустила, предвзвешенно заручившись обещанием воротиться за нею с повозкой.— Почему именно мне? Какое мне дело, что сама земля или что бишь там еще в конце концов от него устала, возмущалась против него и его уничтожила? Какое мне дело, если она даже уничтожила и всю ее семью? В один прекрасный день она возмутится и уничтожит всех нас, как бы нас ни звали — Сатпены, Колдфилды или как-нибудь иначе.

— Да,— отозвался мистер Компсон.— Много лет назад мы, южане, превратили наших женщин в благородных дам. Потом началась Война и превратила этих дам в призраки. Так теперь, коль скоро уж мы джентльмены, что еще остается нам делать, как не слушать их, коль скоро они теперь призраки? — Потом он добавил: — Ты хочешь знать истинную причину, почему она выбрала именно тебя? — После ужина они сидели на веранде, ожидая часа, назначенного мисс Колдфилд для его приезда.— Ей просто нужно, чтобы кто-нибудь поехал с ней туда — какой-нибудь мужчина, джентльмен, притом достаточно молодой, чтобы сделать то, чего она хочет, и именно так, как она хочет. А тебя она выбрала потому, что никого ближе твоего деда у Сатпена в наших краях никогда не было, и она, наверно, думает, что Сатпен мог что-нибудь рассказать твоему деду о себе и о ней — об обручении, которое никого не обручило, и о свадьбе, которая не сладилась. Мое же даже объяснить твоему деду, почему она в конце концов отказалась за него выйти. И что твой дед мог рассказать это мне, а я — тебе. И потому, что бы там сегодня вечером ни случилось,—

семейная тайна в некотором смысле так и останется в семье, а скелет, если это действительно был скелет,— в чулане. Возможно, она думает, что если б не дружба твоего деда, Сатпен никогда бы не смог здесь обосноваться, а если б он не смог здесь обосноваться, ему не удалось бы жениться на Эллен. Поэтому не исключено, что она считает тебя отчасти ответственным — по наследству — за то, что случилось из-за него с нею и со всей ее семьей.)

Какова бы ни была причина, по которой выбор пал на него — именно эта или какая другая, подумал Квентин,— докапываться до нее придется очень долго. Между тем, словно в обратной пропорции к исчезающему голосу, вызванный к жизни дух человека, которому она отказала в прощенье и не могла отомстить, начал постепенно обретать некую прочность и неизменность. Всецело ушедший в себя, окутанный собственными адскими миазмами, в атмосфере своей нераскаянности, дух этот размышлял (размышлял, мыслил, обладал чувствами, но хотя и был лишен покоя — усталости же он и вообще не знал — покоя она ему ни за что не хотела дать, но причинить ему ущерб или обиду тоже было не в ее власти), миролюбивый, теперь уже безобидный и даже не особенно внимательный — это чудовище, которое под звуки голоса мисс Колдфилд прямо на глазах у Квентина разродилось двумя получудовищами-детьми, а затем все эти три чудовища образовали туманный фон для четвертого. То была мать, покойница-сестра Эллен, эта Ниобея без слез, которая в каком-то кошмаре зачала от демона, которой даже при жизни недоставало жизни, которая скорбела без рыданий и теперь являла собой воплощение смиренной безысходной тоски — не оттого, что она как бы пережила всех остальных или, наоборот, умерла первой, а оттого, что как бы и вовсе никогда не жила. Квентину казалось, будто он видит перед собою всех четверых — словно их посадили традиционной семейной группой тех времен, в позах церемонных и безжизненно-благопристойных; группа эта теперь смотрелась, как смотрелся бы увеличенный и повешенный на стену позади и повыше головы поблекший старинный дагерротип, о присутствии которого хозяйка этого голоса даже не подозревала, словно она (мисс Колдфилд) никогда прежде не видела этой комнаты,— картинка, группа, даже на взгляд Квентина странная, причудливая и противоречивая, не совсем понятная; в ней (даже на взгляд двадцатилетнего) что-то было не так — группа из четырех человек, последний из коих умер двадцать пять, а первый — пятьдесят лет назад, вызванная теперь из безвоздушной мглы мертвого дома совместными усилиями неукротимой, ничего не прощившей суровой старухи и покорно подавляющего свою досаду двадцатилетнего юноши, который даже под звуки этого голоса продолжал говорить про себя: *Может, надо здорово знать человека, чтобы его любить, но если ты сорок три года кого-то ненавидел, ты будешь его здорово знать, так, может, тогда это будет лучше, может, тогда это будет просто замечательно, потому что сорок три года спустя он уже ничем не сможет тебя удивить или заставить тебя очень сильно обрадоваться или очень сильно разозлиться. И, может, даже это (этот голос, разговор, невысказанное и невыносимое изумление) было когда-то громким воплем, подумал Квентин, давным-давно, еще когда она была девочкой,— воплем юного строптивого несожаленья, возмущения против слепых обстоятельств и жестоких событий; когда-то, но не теперь; теперь же осталась лишь женская плоть одинокой упрямой старухи, сорок три года держащей наготове оружие для отплаты за старую обиду, старое непростенье, возмущенное и обманутое окончательным и полным афронтом, каким была смерть Сатпена.*

— Он не был джентльменом. Он не был даже джентльменом. Он явился сюда — у него была лошадь, пара пистолетов и имя, которого никто никогда прежде не слышал, никто не был даже уверен, что оно действительно принадлежит ему, точно так же как его лошадь и пистолеты,— явился искать места, где он мог бы укрыться, и округ Йокнапатофа такое место ему предоставил. Он искал поручительства почтенных людей для защиты от других незнакомцев, которые могли появиться позже, в свою очередь разыскивая его, и Джефферсон дал ему это. Потом ему потребовалась респектабельность — цит в образе добродетельной женщины, чтобы сделать его неуязвимым даже для людей, которые его защищали,— в тот неизбежный день и час, когда даже им пришлось восстать против него с презрением, ужасом и возмущением; и не кто иной, как наш с Эллен отец дал ему это. Нет, нет, я не оправдываю Эллен: слепая романтическая дура, чье поведение можно извинить разве что молодостью и неопытностью, если их можно считать оправданием; слепая романтическая дура, а позднее слепая глухая женщина-мать, которую нельзя было больше оправдать ни мо-

лодостью, ни неопытностью, когда она лежала при смерти в том самом доме, на который променяла и гордость и покой и где возле нее была только дочь — уже все равно что вдова, хотя и не успевшая еще стать новобрачной, — дочь, которой три года спустя и в самом деле суждено было овдоветь, хотя она еще не успела стать никем вообще; а также сын, который отрекся даже от самой крыши, под которой родился и куда ему суждено было вернуться всего лишь один только раз, прежде чем исчезнуть навсегда, вернуться убийцей и почти братоубийцей; а сам он, изверг, мерзавец и дьявол, сражался в Виргинии — там земля могла скорее избавиться от него, чем где-либо еще под солнцем; однако мы с Эллен обе знали, что он вернется; что прежде, чем найдет его пуля или ядро, погибнут все до единого солдаты наших армий; и лишь ко мне одной, к девочке, заметьте, к девочке четырьмя годами моложе той самой племянницы, которую меня просили спасти, ко мне одной только и оставалось Эллен обратиться с просьбой: «Защити ее. Защити хотя бы Джудит». Да, слепая романтичная дура; ведь для нее не существовало даже той стомильной плантации, которая, очевидно, соблазнила нашего отца, ни этого огромного Дома, ни даже день и ночь пресмыкавшихся рабов — ничего того, что примирило, я не хочу сказать, соблазнило ее тетку. Нет, всего лишь лицо человека, который каким-то образом ухитрился выступать этаким гоголем, даже сидя верхом на лошади, — человека, который, насколько было известно всем (в том числе отцу, который отдаст ему в жены свою дочь), либо совсем не имел прошлого, либо не осмеливался о нем рассказывать, — человека, который въехал в город прямо ниоткуда с лошадько, с парой пистолетов и со стадом диких зверей, которых он один, без всякой посторонней помощи затравил, ибо в той никому не ведомой языческой стране, откуда он сбежал, он был даже страшнее их самих, и с этим французом-архитектором, у которого был такой вид, словно его в свою очередь затравили и поймали эти самые негры, — человека, который бежал сюда и спрятался, укрылся за респектабельностью, за этой сотней миль земли, которую он неизвестно как выманил у племени невежественных индейцев, и за домом величинной со здание суда, в котором он прожил три года без единой оконной рамы, двери или кровати, и которые он все равно называл Сатпеновой Сотней, словно все это было пожаловано королем его прадеду и с тех пор непрерывно переходило по наследству от отца к сыну — дом и положение, супруга и семья — они были необходимы для маскировки, и потому он принял их вместе со всем остальным, что составляет респектабельность, как принял бы неизбежные неудобства и даже боль от шипов колючего кустарника, если б этот кустарник мог дать ему защиту, которой он искал.

Нет, он не был джентльменом. Женитьба на Эллен или даже на десяти тысячах Эллен не могла бы сделать его джентльменом. Не то чтобы он хотел быть джентльменом или хотя бы чтоб его за такого принимали. Нет. В этом не было никакой необходимости, ибо все, что ему требовалось — это имена Эллен и нашего отца на брачном свидетельстве (или на любой другой бумаге, удостоверяющей его респектабельность), которое люди могли увидеть и прочесть, точно так же как ему нужна была бы подпись нашего отца (или любого другого почтенного человека) на долговой расписке, потому что наш отец знал, кем был его отец в Теннесси и кем был его дед в Виргинии, а наши соседи и люди, среди которых мы жили, знали, что мы это знаем, а мы знали, что они знают, что мы знаем, и мы знали, что они поверили бы нашим словам о том, кто он и откуда он родом, даже если бы мы солгали, точно так же как всякий, однажды на него взглянув, сразу бы понял: он будет лгать о том, кто он, и откуда он родом, и зачем он сюда приехал, — понял бы просто потому, что он вообще ничего о себе не говорил. И именно то, что он решил укрыться за респектабельностью, служило уже достаточным доказательством (если кто-либо нуждался в дальнейших доказательствах), что бежал он наверняка от чего-то прямо противоположного респектабельности, слишком темного, чтобы об этом упоминать. Ибо он был слишком молод. Ему было всего двадцать пять лет, а человек в двадцать пять лет по доброй воле не станет подвергать себя тяготам и лишениям, связанным с расчисткой девственных земель и устройством плантации на новом месте ради одних только денег; тем более молодой человек с прошлым, о каком ему явно не хотелось рассказывать в Миссисипи в 1833 году, когда на Реке было полно парашодов, битком набитых пьяными дураками — нацепив на себя брильянты, они из кожи вон лезли, стараясь избавиться от своих рабов и хлопка еще до прибытия судна в Новый Орлеан: ведь туда можно было доскакать за одну ночь, а единственным препятст-

вием и помехой были только другие злодеи, или риск быть высаженным на песчаную отмель, или, в самом худшем случае, петля. Он ведь был не из младших сыновей, которых посылали из каких-нибудь старых мирных краев вроде Виргинии или Каролины с лишними неграми добывать новую землю — взглянув на этих его негров, каждый сразу видел, что они могли явиться (и наверняка явились) из краев много более старых, нежели Виргиния или Каролина, и уж во всяком случае далеко не мирных. А взглянув разок ему в лицо, каждый мог убедиться, что он предпочел бы реку и даже верную петлю тому, за что взялся, — знай он даже наверняка, что в той самой купленной им земле зарыто золото, которое только и ждет его прихода.

Нет. Я оправдываю Эллен не больше, чем самое себя. Себя я оправдываю даже меньше, потому что для наблюдения за ним у меня было двадцать лет, а у Эллен всего лишь пять. Да и за эти пять лет она его не видела, а только слышала от третьих лиц о его делах, да и слышала-то не больше чем о половине — ведь половины того, что он эти пять лет действительно делал, наверняка не знал вообще никто, а о половине остального ни один мужчина не заикнулся бы своей жене, а тем более молодой девице; он явился сюда и открыл балаган, и Джефферсон целых пять лет платил ему за развлечение хотя бы тем, что скрывал от своих женщин его дела. Но у меня для наблюдения за ним была в запасе вся жизнь; ибо очевидно — хотя по какой причине, Господь не счел нужным открыть — жизни моей суждено было окончиться в один апрельский день сорок три года назад, ибо всякий, кто имел столь же малую толику того, что можно назвать жизнью, сколь имела до этого времени я, никак не назвал бы жизнью то, что было у меня с тех пор. Я видела, что произошло с моей сестрой Эллен. Я видела, как она, почти затворница, наблюдала, как подрастают эти двое обреченных детей, которых она была бессильна спасти. Я видела, какой ценою она платила за этот дом и за свою гордыню; я видела, как один за другим наступали сроки оплаты векселей за гордость, довольство, покой и все остальное, которые она скрепила своей подписью в тот вечер, когда вошла в церковь. Я видела, как Джудит ни с того ни с сего без всяких объяснений запретили выходить замуж; я видела, как Эллен умирала, и только ко мне, совсем еще девочке, могла она обратиться с просьбой защитить ее оставшееся дитя; я видела, как Генри отрекся от своего дома и всех своих прав, а затем, возвратившись, буквально швырнул к подолу подвенечного платья своей сестры окровавленный труп ее возлюбленного; я видела, как возвратился этот человек — родоначальник и источник зла, переживший все свои жертвы, — человек, который породил двоих детей лишь для того, чтобы они уничтожили не только друг друга и его собственный род, но еще и мой род в придачу, и все же я согласилась выйти за него замуж.

Нет, я себя не оправдываю. Я не ссылаюсь на молодость, ибо кто из обитателей Юга после 1861 года — мужчина, женщина, черномазый или мул — имел время и возможность не только быть молодым, но даже и слышать, что такое молодость, от тех, кому довелось быть молодыми. Я не ссылаюсь на близкое родство: на то, что я — молодая девица, созревшая для замужества в ту пору, когда большая часть молодых людей, с которыми я при обычных обстоятельствах была бы знакома, погибла на полях проигранных сражений, — два года прожила с ним под одною крышей. Я не ссылаюсь на нужду: на то, что я, сирота, женщина, нищая, естественно, обратилась даже не за покровительством, а просто за хлебом насущным к своим единственным родичам — к семье своей покойной сестры; и тем не менее кто осмелится осудить меня — двадцатилетнюю сироту, молодую девицу без всяких средств — за то, что я хотела не только оправдать свое положение, но и защитить честь семьи, где доброе имя женщин всегда оставалось незапятнанным, приняв честное предложение от человека, чей хлеб я вынуждена была есть. А главное, я не оправдываю себя — молодую девицу, которая вырвалась из смерча, отнявшего у нее родителей, достаток и все остальное, которая видела, как все, что составляло ее жизнь, превратилось в груду развалин, окружавших несколько фигур, имевших облик людей, но имена и осанку героев, — да, молодую девицу, вынужденную ежедневно и ежечасно сталкиваться с одним из этих людей, который, несмотря на все, чем он мог быть когда-то, и несмотря на все, что она могла о нем думать и даже знать, четыре года доблестно сражался за землю и традиции той страны, где она родилась. И человек, который все это сделал, будь он даже отъявленным злодеем, тоже обладал бы в ее глазах — хотя бы в силу одного только общения с героями — осанкой и обликом героя; и вот теперь он тоже вырвался живым из смерча, принесшего столько страданий ей, и встречал уготованное Югу

будущее, не имея ничего, кроме голых рук, сабли, которую он, пѣ крайней мере, ни разу не сдал неприятелю, и благодарности за доблесть от своего потерпевшего поражение главнокомандующего. О да, он был храбр. Этого я никогда не отрицала. Но почему же единственной опорой нашего дела, всей нашей жизни, надежд на будущее и гордости минувшим должны были стать такие люди — люди, обладавшие доблестью и силой, но лишенные сострадания и чести? Нужно ли удивляться, что Господь позволил нам потерпеть поражение?

— Нет, сударыня,— отозвался Квентин.

— Но почему его жертвой оказался наш отец, наш с Эллен отец, из всех, кого он знал,— а не те, кто постоянно ездил туда и пил и играл с ним в азартные игры и смотрел, как он борется с этими дикими неграми,— из всех, чьих дочерей он мог бы даже выиграть в карты? Почему именно наш отец? Как он мог сблизиться с папой, на какой почве; что между ними могло быть, кроме обыкновенной учтивости двоих повстречавшихся на улице мужчин; что могло быть общего между человеком, который явился ниоткуда или не смел сказать, откуда именно, и нашим отцом; что могло быть общего между таким человеком и папой — казначеем методистской церкви, торговцем, который не был даже богат и не только не мог решительно никак спешествовать умножению его имущества или его видам на будущее, но не мог даже вообразить, не мог даже найти и подобрать на дороге что-либо, чего тот мог бы пожелать,— человеком, который не владел ни землей, ни рабами, не считая двух чернокожих слуганок, освобожденных им тотчас же после покупки, который не пил, не охотился, не играл в карты,— что могло быть общего между ним и человеком, который, как мне точно известно, за всю свою жизнь в Джефферсоне был в церкви всего лишь три раза — когда он впервые встретил Эллен, когда они репетировали свадьбу и когда они ее сыграли,— человеком, при виде которого каждому становилось ясно, что если у него и вправду нет денег сейчас, он все равно привык иметь деньги и намеревается приобрести их снова и не станет задумываться насчет того, как их добыть,— и надо ж было, чтобы этот человек нашел Эллен в церкви. Да, именно в церкви, словно семья наша была предана злему року и проклятью и сам Господь постарался о том, чтобы этот злой рок и проклятье были испытаны до последней капли. Да, злой рок и проклятье пали на весь Юг и на нашу семью словно за то, что один из наших предков решил укоренить свое потомство на земле, отданной в жертву злему року и уже им проклятой, даже если бы это проклятье много лет назад навлек на себя кто-то другой, а вовсе не наша семья, прародители нашего отца, которых Господь заставил укорениться на той земле и в те времена, уже заранее им проклятые. Так что даже мне, девочке, которая была еще слишком мала, чтобы это понять, хотя Эллен приходилась мне сестрой, а Генри и Джудит — племянником и племянницей, даже мне разрешали ездить туда лишь в сопровождении отца и тети, а играть с ними разрешали только в доме (и совсем не потому, что я была на четыре года моложе Джудит и на шесть лет моложе Генри: разве не ко мне Эллен перед смертью обратилась с просьбой: «Защити их?»), даже я всегда задумывалась над тем, что такого мог сделать его отец или наш отец еще до женитьбы на нашей матери, если нам с Эллен придется это искупать, да притом еще ни одной из нас в отдельности этой вины не искупить; какое преступление должно было совершиться, чтобы на нашу семью пало проклятье, превратив ее в орудие гибели не только этого человека, но и нас самих.

— Да, сударыня,— сказал Квентин.

— Да,— раздался тихий суровый голос над неподвижным треугольником тусклых кружев; и вот Квентин, казалось, увидел, как среди задумчивых благопристойных привидений возникает фигурка девочки в аккуратных юбочках и панталончиках, с благопристойными тугими аккуратными косичками, что носили в те мертвые времена. Казалось, она стоит, притаившись, на унылом, принадлежащем людям среднего достатка дворике или газоне за ровненьким забором и глядит на мир людоедов, что водятся на этой тихой городской улочке, глядит с таким выражением, какое бывает у детей, слишком поздно явившихся в жизнь своих родителей и обреченных созерцать все человеческие деянья сквозь призму сложных и бессмысленных причуд взрослых,— с выраженьем Кассандры, сумрачным, глубоко и сурово пророческим, в полном несоответствии с истинным возрастом даже этого ребенка, никогда не знавшего детства.— Потому что я родилась слишком поздно! На целых двадцать два года позже — девочка, перед которой из подслушанных разговоров взрослые лица сестры

и сестриных детей возникали словно в сказке о каких-то страшных людоедах, рассказанной после ужина, перед сном, еще задолго до того, как я выросла настолько, что мне разрешили, с ними играть, однако именно ко мне этой самой сестре пришлось перед смертью, когда сын ее исчез и был обречен стать убийцей, а дочь обречена была стать вдовой, не успев еще выйти замуж, именно к этой девочке пришлось ей обратиться и сказать: «Защити хотя бы ее. Спаси хотя бы Джудит». Да, девочка, однако верное чутье ребенка помогло ей угадать ответ, явно недоступный зрелой мудрости старших: «Спаси ее? От кого и от чего? Он уже дал им жизнь, так зачем ему вредить им дальше? Им нужна защита лишь от них же самих».

Все это должно было происходить гораздо позже, хотя и так было уже, вероятно, достаточно поздно; однако трепещущая пылинками желтая решетка из солнечных лучей еще не поднялась по разделявшей их неосязаемой стене мрака; солнце, казалось, почти не сдвинулось с места. Все это (разговор, рассказ) казалось (ему, Квентину) насмешкой над логикой и здравым смыслом, как это свойственно сну — мертворожденный и законченный, сон этот, как понимает спящий, длился, вероятно, не более секунды, однако самое его правдоподобие, которое должно заставить спящего в него поверить и внушить ему ужас, восторг или изумление, столь же всецело зависит от чисто формального признания и приятия уже протекшего, но все еще текущего времени, сколько музыка или напечатанная в книге сказка.

— Да. Я родилась слишком поздно. Я была девочкой, которая запомнит эти три лица (и его лицо тоже) такими, как она впервые увидела их в коляске в то первое воскресное утро, когда этот город наконец понял, что он превратил в скаковую дорожку путь из Сатпеновой Сотни к церкви. В то время мне было три года, и я, конечно, видела их и раньше, должна была видеть. Но я этого не помню. Я даже не помню, что вообще когда-либо до этого воскресенья видела Эллен. Казалось, будто сестре, которую я никак не видела, которая еще до моего рождения исчезла в крепости людоеда или джина, теперь позволили — правда, всего лишь на один день — воротиться в покинутый ею мир, а меня, трехлетнюю девочку, по этому случаю спозаранок подняли с постели, нарядили, завали словно на Рождество или на праздник даже еще важнее Рождества, ибо теперь наконец этот людоед или джин согласился ради жены и детей посетить церковь, разрешить им хотя бы приблизиться к спасению, хотя бы один только раз дать Эллен возможность вступить с ним в борьбу за души этих детей на таком поле боя, где ее могло поддержать не только Провидение, но и ее родные и люди ее круга; да, согласился хоть на время смириться, а если нет, то хотя бы ненадолго выказать великодушие, пусть даже и не раскаявшись. Вот чего я ожидала. А вот что я увидела, когда стояла перед церковью между папой и нашей тетей в ожидании, когда коляска пройдет эти двенадцать миль. И хотя я наверное еще до этого видела Эллен и детей, вот картина, которая впервые представилась мне тогда и которую я унесу с собой в могилу: летящая вихрем коляска, в коляске надменное белое лицо Эллен, по бокам у нее две уменьшенные копии его лица, а на переднем сиденье лицо и зубы дикого негра-кучера, и он, его лицо точно так же как у негра, кроме зубов (без сомнения, благодаря бороде), — смерч, ураган; лошади с дико горящими глазами галопом несутся вперед, с грохотом вздымая клубы пыли.

О да, их там было множество — тех, кто готов был подстрекать его, помогать ему, превратить это в скачки; воскресенье, десять часов утра, коляска на двух колесах вихрем подлетает прямо к дверям церкви, на облучке этот дикий негр в чело-веческой одежде — ни дать ни взять дрессированный тигр в полотняном пыльнике и в цилиндре, а Эллен — ни кровинки в лице — держит этих двоих детей, которые не плачут и которых вовсе не нужно держать; они сидят у нее по бокам совершенно спокойно, и на их детских лицах написано что-то бесконечно отвратительное — тогда мы еще не совсем это распознали. О да, там было множество тех, кто его подстрекал, кто ему содействовал; ведь даже он не мог бы устроить скачки без соперников. Потому что его остановило даже не общественное мнение и даже не мужчины, чьи жены и дети сидели в колясках, которые могли перевернуться и свалиться в канаву, его остановил сам священник — он выступил от имени женщин Джефферсона и округа Йокнапатофа. Поэтому сам он больше в церковь не ездил; теперь по воскресеньям в коляске сидела одна только Эллен с детьми, и потому мы знали, что теперь по крайней мере никто не будет биться об заклад — ведь никто не мог сказать, настоящие это скачки или нет, потому что теперь, когда его лица не было, оста-

валось только совершенно непроницаемое лицо негра, на котором слегка поблескивали зубы, так что теперь мы никак не могли понять, что это — скачки или просто лошади понесли, а если где и было торжество, то лишь на лице в двенадцати милях отсюда, в Сатпеновой Сотне, на лице того, кому даже не нужно было ничего видеть или при сем присутствовать. Теперь негр, проезжая мимо чужой коляски, говорил с той упряжкой так же, как и со своей, — бормотал что-то без слов, очевидно не нуждаясь в словах, на языке, на котором они объяснялись, когда спали в глине на том самом болоте, на языке, привезенном сюда из другого темного болота, где он их отыскал и откуда привез сюда, — пыль, грохот, коляска Эллен стремглав подлетает к дверям церкви, женщины и дети с криком бросаются врассыпную, мужчины хватают под уздцы своих лошадей. А негр высаживает Эллен с детьми у дверей и отъезжает с коляской к коновязи и бьет лошадей за то, что они понесли; а когда однажды как-то дураку вздумалось вмешаться, негр набросился на него с палкой и, оскалив зубы, буркнул: «Хозяин велел, я делаю. Говори с хозяином».

Да, от них. От них же самих. И на этот раз его остановил даже не священник. Его остановила Эллен. Наша тетя разговаривала с папой, и когда я вошла, тетя сказала: «Ступай играть», хотя даже если б я не могла ничего расслышать сквозь дверь, я могла бы повторить весь их разговор. «Это же твоя дочь, твоя собственная дочь», — сказала тетя, а папа ей ответил: «Да. Она моя дочь. Когда она пожелает, чтобы я вмешался, она скажет мне об этом сама». Потому что в следующее воскресенье, когда Эллен вышла из парадных дверей с детьми, их ожидала не коляска, а фаэтон Эллен, запряженный старой смиренной кобылой, которой она сама правила, и конюх, купленный им взамен того дикого негра. И Джудит, взглянув на фаэтон, поняла, что это значит, и завизжала; она визжала и брыкалась, когда ее несли обратно в дом и укладывали в постель. Нет, его при этом не было. Я даже не стану утверждать, будто за занавеской скрывалось торжествующее лицо. Вероятно, он удивился бы не меньше нас, потому что мы все поняли бы, что перед нами не просто детский каприз или даже истерика; что его лицо все время было в той коляске; что именно Джудит, шестилетняя девочка, подзуживала и подбивала этого негра пустить лошадей вскачь. Заметьте: не Генри, не мальчик, что уже само по себе было бы достаточно чудовищно, а именно девочка, Джудит.

Я почувствовала это сразу, как только мы с папой в тот самый день вошли в эти ворота и по аллее направились к дому. Казалось, будто где-то в мирной тишине этого воскресного дня еще существуют, длятся вопли этой девочки, теперь уже не как звук, а как нечто такое, что слышит кожа, что слышат волосы на голове. Но я вначале ничего не спросила. Мне тогда было всего четыре года; я сидела в повозке рядом с папой так же, как стояла между ним и тетей перед церковью в то первое воскресенье, когда меня нарядили и в первый раз повели знакомиться с моею сестрой, племянником и племянницей, сидела и смотрела на дом. Я, разумеется, бывала в нем и раньше, но даже и тогда, когда я, сколько помню, увидела его впервые, мне казалось, будто я уже знаю, как он выглядит, — совершенно так же мне казалось, будто я знаю, как должны выглядеть Эллен, и Джудит, и Генри, прежде чем я увидела их в тот раз, который всегда вспоминается мне как первый. Нет, я даже и тогда ничего не спросила, я просто посмотрела на этот огромный тихий дом и сказала: «Папа, а в какой комнате лежит больная Джудит?» — со свойственной ребенку способностью спокойно принимать необъяснимое, хотя теперь я знаю, что даже тогда мне хотелось понять, что увидела Джудит, когда, выйдя из дверей, она нашла вместо коляски фаэтон и вместо дикого негра ручного конюха; что именно она увидела в том фаэтоне, который всем остальным показался таким безобидным, — или еще хуже, чего она недосчиталась, когда увидела фаэтон, и завизжала. Да, был тихий мирный жаркий воскресный день, совсем как сегодня; я до сих пор помню полную тишину, царившую в этом доме, когда мы в него вошли, и по которой я сразу же поняла, что он отсутствует, хотя и не знала, что он сидит в виноградной беседке и пьет с Ушем Джонсом. Я лишь поняла, едва мы с папой переступили порог, что его там нет; словно ничуть не сомневалась, что ему вовсе незачем оставаться и созерцать свое торжество — и что по сравнению со всем предстоящим это был просто пустяк, даже не заслуживающий нашего внимания. Да! — эта тихая затененная комната, закрытые ставни, негритяжка с веером, сидящая у постели, а на подушке белое лицо Джудит с камфарной повязкой на лбу — мне тогда показалось, будто она спит (весьма вероятно, это и было сном или могло быть названо сном), и белое спокойное

лицо Эллен, и слова папы: «Ступай поищи Генри и попроси его поиграть с тобой, Роза» — и вот я стою за этой глухой дверью в этой тихой верхней прихожей, потому что боюсь из нее выйти, потому что я слышу, что воскресная тишина этого дома гремит даже громче, чем гром, даже громче, чем торжествующий смех.

«Подумай о детях», — сказал папа.

«Подумать? — отвечала Эллен. — А я что делаю? Что еще я делаю бессонными ночами, как не думаю о них?» Ни папа, ни Эллен не сказали: «Вернись домой». Нет, это случилось до того, как вошло в моду для исправления своих ошибок поворачиваться к ним спиной и убежать. Всего только два тихих голоса за глухой дверью — как будто они всего лишь обсуждали что-нибудь напечатанное в журналах; а я, маленькая девочка, стою у этой двери, потому что боюсь там оставаться, но еще больше боюсь оттуда уйти, неподвижно стою у этой двери, словно стараясь слиться с темным деревом и сделаться невидимой, как хамелеон, стою, прислушиваясь к живому духу, к душе этого дома, ибо теперь в него вошла какая-то частица жизни и дыхания Эллен, а не только его самого, стою и дышу долгим приглушенным звуком победы и отчаяния, торжества и страха.

«Ты любишь этого...» — сказал папа.

«Папа», — отозвалась Эллен. И это было все. Но я тогда могла видеть ее лицо так же ясно, как папа, и оно было точно такое, как в коляске в то первое воскресенье, да и в остальные тоже. Потом вошла служанка и сказала, что наша повозка готова.

Да. От них же самих. Не от него, не от кого-либо другого, ведь и спасти их не мог бы никто, даже он сам. Ибо теперь он показал нам, почему это торжество не заслуживало его внимания. То есть он показал это Эллен, а не мне. Меня там не было; я уже шесть лет почти ни разу с ним не встречалась. Наша тетя уже уехала, и я вела папину хозяйство. Вероятно, раз в год мы с папой ездили туда обедать, и может быть, раза четыре в год Эллен с детьми приезжала провести день у нас. Но только не он; сколько я помню, после свадьбы с Эллен он ни разу не переступил порог этого дома. Я тогда была молода, я была даже слишком молода и поэтому думала, что причина тому — какие-то упрямые укоры совести, чуть ли не раскаяние, даже и у него. Но теперь меня не проведешь. Теперь я знаю, что коль скоро папа наделил его женой и тем самым, респектабельностью, ему от папы ничего больше не требовалось, и потому даже простая благодарность, не говоря уж о приличиях, не могла заставить его поступиться своими развлечениями до такой степени, чтобы приехать на семейный обед к родственникам жены. Поэтому я виделась с ним очень редко. Мне теперь некогда было играть, даже если бы я прежде имела к этому склонность. Я так и не научилась играть и не видела причины учиться теперь, будь даже у меня на это время.

Прошло шесть лет; для Эллен это, конечно, не было тайной, ибо это, очевидно, продолжалось с тех самых пор, как он вбил последний гвоздь в стену своего дома; только теперь в отличие от его холостяцкой поры они привязывали свои упряжки и верховых лошадей и мулов в роще за конюшней, а потом шли лугом, так что из дома их не было видно. Ибо их все еще было очень много; казалось, словно Бог или дьявол воспользовался самыми его пороками, чтобы подобрать свидетелей тому, как действует лежащее на нас проклятье, не только из числа порядочных людей вроде нас самих, а из числа самых что ни на есть проходимцев и подонков общества, которые ни при каких иных обстоятельствах не посмели бы приблизиться к дому, даже и со стороны задворков. Да, Эллен с двумя детьми одни в этом доме, за двенадцать миль от города, а на конюшне четырехугольной рамкою лица, освещенные фонарем; с трех сторон белые, с четвертой — черные, а посередине борются два диких голых негра, борются не так, как белые, по правилам и с оружием, а так, как дерутся негры, стараясь побыстрее и сильнее поколечить друг друга; Эллен об этом знала или думала, что знает; дело было не в этом. Она приняла это — не примирилась, а приняла, — словно порой наступает такая минута, когда человек может принять оскорбление чуть ли даже не с благодарностью, ибо он может сказать себе *слава Богу, это все, теперь я по крайней мере все об этом знаю* — думая так, все еще цепляясь за эту мысль, она в тот вечер вбежала в конюшню; те самые люди, которые прокрались туда по задворкам, расступились перед ней, ибо в них еще сохранились какие-то остатки благопристойности, и Эллен увидела не двух диких черных зверей, как ожидала, а черного и белого — обнаженные до пояса, они пытались выдать друг другу глаза, словно оба были не только одного цвета, но и в равной мере заросли шерстью. Да. По-видимому,

в некоторых случаях, возможно, к концу вечера, в качестве пышного финала или просто заранее придумав это дьявольское действо для утверждения своей власти и превосходства, он сам выходил на арену с одним из негров. Да. Именно это и увидела Эллен: ее муж, отец ее детей, стоял, задыхаясь, обнаженный до пояса и окровавленный, а у ног его лежал, очевидно, только что упавший негр, тоже весь в крови, только на негре кровь выглядела как сало или пот — Эллен сбежала с холма, на котором стоял дом, с непокрытой головой и как раз успела услышать этот звук, этот крик; она слышала его, еще когда бежала в темноте и еще до того, как зрители заметили ее присутствие, слышала даже до того, как один из зрителей сказал: «Это лошадь», потом: «Это женщина», потом: «О Господи, это ребенок» — она вбежала в конюшню, — зрители расступились, и она увидела, как Генри с криком вырывается из рук державших его негров и как его тошнит — не останавливаясь и даже не глядя на лица тех, кто от нее отпрянул, она опустилась на колени в навоз на полу конюшни, чтобы поднять Генри, не глядя и на Генри, а только на него, а он стоял, оскалив зубы, которые теперь виднелись даже сквозь бороду, и другой негр мешком стирал с него кровь. «Я знаю, что вы извините нас, господа», — сказала Эллен. Но они уже уходили, и черномазые и белые, потихоньку прокрадываясь наружу, как прежде прокрадывались внутрь, а Эллен и теперь не смотрела на них, она стояла на коленях в грязи, Генри с плачем за нее цеплялся, а он все еще стоял там, между тем как третий негр тыкал в него не то рубашкой, не то сюртуком, словно этот сюртук был палкой, а он — змеей в клетке. «Где Джудит, Томас?» — спросила Эллен.

«Джудит?» — отозвался он. О нет, он не лгал: его торжество превзошло все его ожидания, он преуспел в пороке даже больше, чем сам мог надеяться. «Джудит? Разве она не спит?»

«Не лги мне, Томас, — сказала Эллен. — Я могу понять, что ты привел сюда Генри показать ему это, что ты хотел показать ему это, я постараюсь это понять, да, я заставляю себя постараться и понять. Но только не Джудит, Томас. Только не мою крошку, Томас.»

«Я не думаю, что ты это поймешь, — сказал он. — Ведь ты женщина. Но я не привел сюда Джудит. Я бы ни за что не привел ее сюда. Не думаю, что ты мне пове-ришь. Но я клянусь тебе, что это правда.»

«Я бы хотела тебе верить, — сказала Эллен. — Я хочу верить тебе». Потом она стала звать. «Джудит! — звала она тихим, ласковым, полным отчаяния голосом. — Джудит, детка! Тебе пора спать.»

Но меня там не было. Меня там не было, и в тот раз я не видела, как черты Сатпена проступили на двух лицах — на лице Джудит и на лице девочки-негритянки рядом с нею — они обе смотрели вниз через квадратный люк, ведущий на сеновал.

II

Все это лето буйно цвела глициния. Сумерки были полны ее ароматом и запахом сигары его отца — после ужина они оба сидели на галерее в ожидании, когда Квентину пора будет выезжать, между тем как в густом лохматом газоне беспорядочно кружились светляки. — этот запах, этот аромат пять месяцев спустя письмом мистера Компсона через суровые снега, надолго сковавшие Новую Англию, донесет из Миссисипи до комнаты Квентина в Гарварде. Весь этот день он слушал — слушал и услышал в 1909 году о том, что по большей части было ему уже известно, ибо он родился там и все еще дышал тем же воздухом, в котором звонили церковные колокола в то воскресное утро 1833 года, а по воскресеньям слышал даже звон одного из первых трех колоколов с той же самой колокольни, вокруг которой потомки тех самых голубей кичливо расхаживали и ворковали или описывали короткие круги, напоминающие бледные мазки жидкой краски на бледном летнем небе. В то воскресное июньское утро под мирный, настойчивый, не совсем гармоничный — хоть и в такт, но чуть фальшивый — колокольный звон к церкви направлялись дамы с детьми и дворовые негры с зонтами и метелками от муж и даже несколько мужчин (дамы в кринолинах среди мальчиков, одетых в суконные костюмчики, и девочек в панталончиках, в юбках тех времен, когда дамы не ходили, а шествовали), а когда другие мужчины, сидевшие, задрав ноги на перила, на веранде Холстон Хауса, подняли глаза, перед ними откуда ни возьмись явился незнакомец. Когда они его увидели, он на своем крупном эзезженном чалом коне доехал уже до середины площади — словно и человек и животное прямо с неба свалились под яркое солнце праздничного летнего дня, продолжая свой

мерный утомленный шаг,— лицо и лошадь, которых никто из них никогда прежде не видел, имя, которого никто никогда не слышал, происхождение и цель, о которых многие из них так никогда и не узнают. И вот последующие четыре недели (Джефферсон был тогда маленьким поселком: Холстон Хаус, здание суда, шесть лавок, кузница и извозчий двор; салун, излюбленный гуртовщиками и бродячими торговцами, три церкви и что-то около тридцати жилых домов) имя незнакомца переходило из уст в уста в домах и трактирах, где собирались деловые люди и бездельники, без устали повторяемое на разные лады: *Сатпен, Сатпен, Сатпен, Сатпен*.

Больше город о нем почти целый месяц ничего не узнает. Он несомненно приехал в город с Юга — мужчина лет двадцати пяти, как городу стало известно позднее — вначале возраст его угадать было трудно, ибо он выглядел как человек, перенесший тяжелую болезнь. Не как человек, который мирно лежал больной в постели и, выздоровев, с робким недоверчивым изумлением вышел в мир, который, как ему казалось, он едва не утратил, а как человек, который в полном одиночестве прошел через какое-то тяжкое испытание, нечто гораздо большее, чем простая лихорадка, скажем, как исследователь, которому пришлось не только вынести обычные тяготы, связанные с достижением цели, им же самим поставленной, но который еще столкнулся с дополнительным и непредвиденным препятствием в виде лихорадки и победил ее ценой непомерно высокого напряжения сил — не столько физических, сколько духовных,— один, без чьей-либо помощи, и не посредством слепого инстинктивного стремления выдержать и выжить, а потому, что хотел захватить, удержать ту вещественную награду, ради которой вначале пошел на жертвы, и ею насладиться. Крупный мужчина, но теперь до последней степени исхудавший, с короткой рыжеватой бородкой — она почему-то казалась фальшивой,— поверх которой его светлые глаза смотрели сразу и пронзительно и недоверчиво, и жестко и безмятежно, лицо словно из глины, обожженной в лихорадочном пламени — то ли души, то ли внешней среды — глубже, чем на солнце, под мертвым непроницаемым слоем глазури. Вот и все, что они увидели, и прошло много лет, прежде чем городу стало известно, что в то время это составляло все его имущество — крепкая изнуренная лошадь, одежда на плечах и маленькая седельная сумка, едва вмещавшая смену белья, бритву и ту самую пару пистолетов, о которых мисс Колдфилд говорила Квентину, с рукоятками, отшлифованными гладко, как ручка лопаты, и которыми он орудовал так уверенно, как женщины вязальными спицами; позже дед Квентина видел, как он, проскакав галопом мимо молодого деревца, с двадцати футов всадил две пули в игральную карту, приколотую к ветке. Он снял комнату в Холстон Хаусе, но ключ от нее всегда носил с собой и каждое утро кормил и седлал свою лошадь и задолго до рассвета уезжал — куда, городу тоже не удалось узнать, очевидно, благодаря тому, что он продемонстрировал свое искусство стрельбы из пистолета уже на третий день после приезда. Поэтому узнавать о нем что-либо оставалось только путем вопросов, а их поневоле приходилось ставить вечерами за ужином в столовой Холстон Хауса или в гостиной, через которую ему нужно было пройти, чтобы попасть к себе в комнату и снова запереть дверь, что он и проделывал сразу же после еды. Бар тоже выходил в гостиную, и вот тут-то и можно или нужно было бы с ним заговорить или даже задать ему кой-какие вопросы, но оказалось, что в бар он не заглядывал. Он сказал, что вообще не пьет. Он не говорил, что раньше выпивал, а потом бросил или что вообще никогда не употреблял спиртного. Он просто сказал, что выпивка его не интересует, и лишь спустя много лет дед Квентина (он тогда тоже был молод, пройдет еще много лет, прежде чем он станет генералом Компсоном) узнал, что Сатпен не пил, потому что у него не было денег платить за свою долю и самому ставить угощение; именно генерал Компсон первым понял, что в те дни у Сатпена не было не только денег на выпивку в веселой компании, но не было также ни времени, ни желания, что в те дни он был всецело рабом своего тайного безумного нетерпения, своей уверенности, почерпнутой из его недавнего, неведомо какого опыта, этой лихорадки — то ли духовной, то ли физической,— этой потребности торопиться, потому что время уходит из-под ног; все это будет подстегивать его следующие пять лет — согласно подсчету генерала Компсона он угомонился приблизительно за девять месяцев до рождения своего сына.

Итак, они подстерегали, ловили его в гостиной между столом, накрытым для ужина, и его запертой дверью, чтобы дать ему возможность рассказать им, кто он такой, откуда приехал и чего добивается, он же постепенно и неуклонно отступал, пока спина его не касалась чего-нибудь — стены или столба,— а потом стоял там, не отве-

чая им ничего вразумительного, с учтивостью и любезностью гостиничного портье. Свои дела он вел с индейским агентом племени чикасау или через него, и потому лишь в ту субботнюю ночь, когда он, раздобыв купчую или патент на право владения землей и с одной лишь испанской золотой монетой в кармане разбудил мирового судью, город узнал, что отныне он владеет сотней квадратных миль лучшей пойменной девственной земли во всем крае, хотя и эти сведения слишком запоздали, потому что сам Сатпен уехал опять неизвестно куда. Но теперь он владел землею по соседству с ними, и некоторые начали подозревать то, что генерал Компсон, по-видимому, уже знал: а именно что испанская монета, которой он заплатил за регистрацию своего патента на право владения землей, была последней из всех денежных единиц, какими он располагал. Поэтому теперь все были убеждены, что он отправился за другими; несколько человек в своей уверенности даже опередили (и даже произнесли это вслух, ведь его тут не было) будущую, тогда еще не родившуюся на свет свояченицу Сатпена, которая почти восемьдесят лет спустя скажет Квентину, что он нашел какой-то единственный в своем роде надежный способ прятать добычу и вернулся к своему тайнику наполнить карманы, а скорее всего попросту отправился со своими двумя пистолетами обратно к Реке, к пароходам, набитым картежниками, а также торговцами рабами и хлопком, чтобы пополнить этот тайник. По крайней мере именно это некоторые и рассказывали друг другу, когда два месяца спустя он возвратился — опять без всякого предупреждения, — причем на сей раз его сопровождал крытый фургон, которым правил кучер-негр, а рядом с негром сидел маленький человечек с выражением настороженной покорности судьбе на угрюмом изможденном чужеземном лице, облаченный в сюртук, в цветастый жилет и в шляпе, которая была бы уместной разве что на парижских бульварах, и все это — мрачный театральный наряд и выражение фаталистической и изумленной решимости — он будет неизменно сохранять два последующих года, между тем как и его белый клиент и негритянская команда, которой он будет отдавать приказания, да и то лишь косвенно, будут ходить совершенно голыми, если не считать слоя засохшей грязи. То был француз-архитектор. Много лет спустя городу станет известно, что он приехал с далекой Мартиники, доверившись одним только словесным обещаниям Сатпена, и прожил два года, питаясь зажаренной на костре олениной, в палатке, сооруженной из парусины, которой был обтянут фургон, прежде чем ему хоть в какой-нибудь форме заплатили. И до тех пор, пока он два года спустя не проедет через Джефферсон по пути в Новый Орлеан, он так больше никогда и не увидит города; то ли он сам не хотел туда ехать, то ли Сатпен не брал его с собой в город даже в тех редких случаях, когда Сатпена там видели, а в тот первый день он не успел как следует осмотреть Джефферсон, потому что фургон там не остановился. Очевидно, Сатпен вообще проехал через город по чисто географической случайности, остановившись лишь на короткое время, достаточное, однако, для того, чтобы кто-то (не генерал Компсон) успел заглянуть под навес фургона в наполненный неподвижными белками глаз черный туннель, из которого несло смрадом, как из волчьей норы.

Однако легенда о диких сатпеновских неграх возникнет не сразу, потому что фургон шел впереди, словно даже самое дерево и железо, из которых он был сделан, равно как и тащившие его мулы, в силу одной только связи с Сатпеном прониклись стремлением к свирепой неустанной гонке, убежденностью, что надо спешить, ибо время уходит; позже Сатпен рассказал Квентину деду, что когда они проезжали через Джефферсон, они уже сутки ничего не ели и он старался поскорее добраться до Сатпеновой Сотни и до поймы реки, чтобы засветло убить оленя, а иначе ему самому, архитектору и неграм пришлось бы снова лечь спать на голодный желудок. Итак, легенда о дикарях постепенно возвращалась обратно в город; ее принесли с собой мужчины, которые ездили смотреть, что там творится, и которые рассказывали, как Сатпен со своими пистолетами сидел в засаде у звериной тропы, а негров, словно свору гончих, пускал рыскать по болоту; именно эти мужчины рассказали, как тем первым летом и осенью у негров не было даже одеял (а может, они ими не пользовались), чтоб укрываться по ночам; это было даже еще до того, как охотник за енотами Эйкерс уверял, будто чуть не наступил на одного негра, спавшего в глубокой грязи — ни дать ни взять аллигатор, — но успел вовремя вскрикнуть. Негры еще не умели говорить по-английски, и не только Эйкерс, но и многие другие наверняка не знали, что язык, на котором они объясняются с Сатпеном, нечто вроде французского, а вовсе не какой-то темный и зловещий язык их племени.

Туда наведывались и многие другие кроме Эйкера, но это были почтенные граждане и землевладельцы, и потому им вовсе не нужно было прокрадываться в лагерь по ночам. Они, как рассказала Квентину мисс Колдфилд, собирались в Холстон Хаусе и выезжали туда верхом, часто захватив с собою завтрак. Сатпен построил печь для обжига кирпича, установил пилу и строгальный станок, которые привез с собою в фургоне, а также лебедку с длинным воротом из молодого дерева, в который по-сменному впрягались негры и мулы, а в случае необходимости, когда машина замедляла ход, даже и он сам — словно негры и в самом деле были дикари; как генерал Компсон рассказывал своему сыну — Квентину отцу, — пока негры работали, Сатпен никогда не повышал на них голос, он вел их за собой, воздействуя на них психологически, своим примером, превосходством своей выдержки, а вовсе не грубым запугиванием. Не слезая с седла (Сатпен обычно не удостоивал их даже небрежным кивком, явно не замечая их присутствия, словно это были всего лишь безликие тени), они, молча сгрудившись будто для самозащиты, с любопытством наблюдали, как растет его особняк, — доска за доскою и кирпич за кирпичом доставлялись туда с болота, где было вдоволь леса и глины; наблюдали, как работают бородатый белый и двадцать черных, все совершенно голые под липкой всепроникающей грязью. Поскольку эти зрители были мужчинами, им не приходило в голову, что костюм, в котором Сатпен явился в Джефферсон, у него единственный, а из женщин округа почти ни одна вообще ни разу его не видела. В противном случае некоторые из них предвосхитили бы мисс Колдфилд также и в этом: они догадались бы, что он бережет свою одежду, ибо приличный, если не элегантный вид станет единственным оружием (или, вернее, лестницей), с помощью которого он сможет повести последнюю атаку на то, что мисс Колдфилд, а возможно, и другие почитали респектабельностью, а респектабельность, как в глубине души полагал Сатпен, включает в себя нечто гораздо большее, чем просто приобретение хозяйки для своего дома, — так, по крайней мере, понимал его мысль генерал Компсон. И вот он и его двадцать негров работали вместе, намазанные грязью для защиты от москитов, причем, как сказала мисс Колдфилд Квентину, от остальных его можно было отличить только по бороде и по глазам, и один лишь архитектор похож был на человека благодаря французской одежде, которую он с какой-то неодолимой покорностью судьбе постоянно носил вплоть до того дня, когда дом был окончен (не считая оконных стекол и железной арматуры, которых они не могли изготовить своими руками) и когда архитектор уехал, — работали молча, с неослабным остервенением под палящим солнцем лета и в ледяной зимней грязи.

Это заняло у него два года, у него и его команды привозных рабов, которые все еще казались его новым согражданам гораздо страшнее любого дикого зверя, какого он мог бы поднять и убить в тех местах. Они работали от зари до зари, между тем как группы всадников подъезжали и, не спешившись, молчаливо смотрели, а архитектор в своем нарядном сюртуке и в парижской шляпе, с угрюмым и ожесточенным изумлением на лице скрывался где-то на заднем плане, напоминая нечто среднее между случайным, ничуть не заинтересованным зрителем и обреченным добросовестным призраком, — изумлением, как сказал генерал Компсон, не столько перед остальными и их работой, сколько перед самим собой, перед необъяснимым и невероятным фактом своего здесь присутствия. Однако он был хорошим архитектором; Квентин видел этот дом в двенадцати милях от Джефферсона, окруженный рощей из дубов и кедров, через семьдесят пять лет после его завершения. И не только архитектором, но, как сказал генерал Компсон, еще и художником, ибо лишь художник мог выдерживать эти два года, чтобы построить дом, который он, без сомнения, не только не собирался, но и твердо намеревался никогда больше не видеть. Да, целых два года терпеть не столько издевательство над здравым смыслом и оскорбление своих лучших чувств, сколько Сатпена, сказал генерал Компсон; лишь художник мог терпеть жестокость и спешку Сатпена и все же суметь обуздать мечту о мрачном величавом замке, на который явно нацелился Сатпен, ибо усадьба в том виде, как он ее задумал, была бы лишь немногим меньше тогдашнего Джефферсона, и маленький угрюмый измученный иностранец один на один сразился и победил неистовое непомерное тщеславие Сатпена или стремление к величию, к самоутверждению или к чему-то другому (этого не знал еще даже сам генерал Компсон) и, таким образом, создал из самого поражения Сатпена победу, которой самому Сатпену — даже выиграй он эту битву — едва ли удалось бы добиться.

Итак, дом был закончен — до последней доски, кирпича и деревянной шпильки,

которые они могли изготовить сами. Непокрашенный и необставленный, без единого стекла, дверной ручки или щеколды, в двенадцати милях от города и почти на таком же расстоянии от любого соседа, он простоял еще три года, окруженный своим регулярным садом и прямыми аллеями, хижинами рабов, конюшнями и копильнями; дикие индюки бродили в миле от дома, а дымчатые олени легким шагом подбегали совсем близко, оставляя еле заметные следы на симметричных клумбах, которые еще четыре года простоят без цветов. Теперь начался период, фаза, когда город и округ наблюдали за ним даже с еще большим недоумением. Возможно, это было потому, что следующий шаг к достижению той тайной цели, о которой генералу Компсону, по его словам, было известно, но которую город и округ представляли себе весьма смутно или вообще никак не представляли, требовал теперь терпения и праздного выжидания вместо бешеной гонки, к которой он их приучал; что именно ему нужно и каков будет его следующий шаг, первыми заподозрили женщины. Никто из мужчин и уж конечно не те, кто знал его достаточно хорошо, чтобы называть просто по имени, не подозревали, что ему требуется жена. Не подлежит сомнению, что некоторые мужчины — и женатые и холостые — не только не согласились бы с таким предположением, но даже решительно его бы отвергли, ибо образ его жизни в последующие три года должен был им казаться верхом совершенства. Он жил там в восьми милях от ближайшего соседа, в холостяцком одиночестве, в поистине великолепной — как бы ее назвать? ну, скажем, оружейной площадке в пол-акра. Он жил в спартанской оболочке самого большого строения во всем округе, не исключая даже здания суда, в доме, порога которого ни одна женщина не только не переступала, но даже и не видела, без всяких атрибутов женской изнеженности вроде оконных рам, дверей или тюфяков; там, где не только не было ни единой женщины, которая могла бы возразить, если б ему вздумалось спать на одной соломенной подстилке с собаками, но где ему даже не требовались собаки, чтобы убивать оленей, оставлявших следы возле дверей на кухне, ибо вместо них он охотился с двуногими, которые были ему преданы душой и телом и которых считали (или говорили, что считают) способными подползти к спящему оленю и перерезать ему горло, прежде чем тот успеет шевельнуться.

Именно в это время он, как мисс Колдфилд рассказывала Квентину, начал приглашать в Сатпенову Сотню компании мужчин; они ночевали, укрывшись одеялами, в голых комнатах, в пустых вместелищах будущей роскоши, охотились, по вечерам играли в карты и пили; время от времени он стравливал своих негров, а возможно, уже тогда при случае и сам участвовал в этой забаве — зрелище, которого, по словам мисс Колдфилд, сын его не мог выдержать, тогда как дочь его, напротив, во все глаза за ним следила. Сатпен теперь тоже выпивал, хотя, кроме Квентинова деда, были, вероятно, и другие, кто заметил, что пил он весьма умеренно, за исключением тех случаев, когда часть спиртного ставил он сам. Гости постоянно привозили с собой виски, но он пил как бы со скрупулезным расчетом, словно, как говорил генерал Компсон, старался сохранить в уме некую духовную платежеспособность, баланс между количеством виски, принятым им от гостей, и количеством живого мяса, которое он поставлял для их ружей.

Так он прожил три года. Теперь у него была плантация; за два года он выдрал дом и сад из девственного болота, вспахал свою землю и засеял ее семенами хлопка, которыми ссудил его генерал Компсон. После этого он, казалось, бросил все свои дела. Казалось, он просто уселся посреди того, что уже почти завершился, и сидел так три года, не выказывая ни малейшего признака еще каких-либо намерений или желаний. Пожалуй, не приходится удивляться, что мужчины округа поверили, будто жизнь, какую он теперь вел, с самого начала была его целью; иного мнения придерживался, пожалуй, один только генерал Компсон, который, казалось, знал Сатпена достаточно хорошо, чтобы для начала ссудить его семенами хлопка, и которому тот хоть немного рассказал о своем прошлом. Именно генерал Компсон первым узнал, что испанская монета была у него последней, и именно Компсон (как в городе узнали позже) предложил Сатпену в долг деньги для завершения и мебелировки его дома, но тот отказался. Вот почему генерал Компсон, без сомнения, первым во всем округе сказал себе, что Сатпену не нужно брать в долг деньги для окончательной отделки дома, потому что он намерен на этих деньгах жениться. Он был первым мужчиной, который это понял, ибо, судя по тому, что мисс Колдфилд рассказала Квентину семьдесят пять лет спустя, женщины округа говорили друг другу, а также и своим мужьям, что Сатпен не собирается на этом кончать, что он приложил уже слишком много усилий, перенес

слишком много тягот и лишений, чтобы угомониться и жить так, как он жил, пока дом строился, хотя теперь он может спать под крышей, а не на голой земле под парусиной, снятой с фургона. Вероятно, женщины уже прикидывали, у кого из мужчин, которых теперь можно было назвать его друзьями, имеется в семье предполагаемая невеста, чье приданое могло бы сообщить окончательную форму и содержание той респектабельности, которую мисс Колдфилд так или иначе считала его целью. И поэтому когда по истечении этой второй фазы, через три года после того, как дом был закончен, а архитектор уехал, и снова в воскресенье утром и снова без всякого предупреждения город увидел, как он пересекает площадь — на сей раз пешком, хотя и в том же костюме, в котором въехал в город пятью годами раньше и которого с тех пор никто не видел (он сам или один из его негров гладил скюртук раскаленными кирпичами, сказал генерал Компсон отцу Квентина), — и входит в методистскую церковь, удивились этому лишь некоторые мужчины. Женщины просто сказали, что он исчерпал возможности семейств тех мужчин, с которыми охотился и играл в карты, и теперь явился в город искать себе жену — точно так же, как отправился бы на рынок в Мемфис покупать рабов и скот. Но когда они поняли, на кого именно пал его выбор, ради кого он явился в город и в церковь, уверенность женщин слыхась с удивлением мужчин, а потом превратилась даже в нечто большее — в изумление.

Ибо к этому времени город решил, что хорошо его знает. Два года он наблюдал, как Сатпен с этим своим угрюмым и неослабным остервенением возводит оболочку дома и расчищает свои земли, затем три года пребывает в полной неподвижности, словно его приводило в действие электричество, а потом кто-то пришел и убрал, размонтировал провода или всю динамо-машину. И потому когда он в своем отглаженном скюртуке тем воскресным утром вошел в методистскую церковь, многие мужчины и женщины думали, что им достаточно оглядеть прихожан, дабы предугадать, в какую сторону поведают его ноги, как вдруг они поняли, что он, очевидно, наметил себе отца мисс Колдфилд, и притом с таким же холодным жестоким расчетом, с каким наверняка прежде наметил архитектора-француза. Глубоко потрясенные, они наблюдали, как он начал планомерную осаду единственного во всем городе человека, с которым он не мог иметь ничего общего, а уж денег и подавно — человека, который не мог решительно ничем быть ему полезен, разве что предоставить кредит в захудалой лавчонке или подать за него свой голос, если б ему когда-либо вздумалось выставить свою кандидатуру на должность методистского священника, — начал осаду казначея методистской церкви, лавочника не только со скромным положением и средствами, но обремененного женой и детьми, не говоря о матери и сестре — всех их он должен был содержать на доход от лавки, весь товар которой он десятью годами ранее привез в Джефферсон в одном-единственном фургоне, — человека, пользующегося репутацией исключительной и нестигаемой, даже пуританской праведности в стране, где в те времена царили беззаконие и произвол, человека, который не пил, не играл в карты и даже не ходил на охоту. В своем удивлении они забыли, что у мистера Колдфилда была дочь на выданье. Дочь они совсем не приняли в расчет. Мысль о любви никак не вязалась у них с Сатпеном. Им скорее приходила на ум мысль о жестокости, а не о справедливости, о страхе, а не об уважении и уж никак не о сострадании или любви; к тому же они, все еще теряясь в догадках, толковали о том, как Сатпен намерен или как он ухитрится использовать мистера Колдфилда в тех тайных целях, которые у него еще оставались. Этого они так никогда и не узнают; этого не узнала даже мисс Роза Колдфилд. Ибо с того самого дня в Сатпену Сотню больше никого на охоту не приглашали, и если теперь им случалось его видеть, то лишь в городе. Однако не без дела, не праздным. Мужчины, которые прежде ночевали и пили под его крышей (кое-кто даже стал называть его просто Сатпен, без учтвого «мистер»), смотрели, как он проходит по улице мимо Холстон Хауса, едва касаясь рукою шляпы, идет дальше, входит в лавку мистера Колдфилда — и поминай как звали.

А потом в один прекрасный день он вторично уехал из Джефферсона, — сказал мистер Компсон Квентину. — К тому времени городу уже пора было к этому привыкнуть. Однако его положение чуточку изменилось, и ты сам в этом убедишься, узнав, как город реагировал на его вторичное возвращение. Ибо когда он вернулся во второй раз, он в известном смысле стал врагом общества. Возможно, это произошло из-за того, что он на этот раз привез с собой — из-за вещей, которые он на этот раз привез, в отличие от фургона, груженного всего лишь дикими черномазыми, привезенными им прежде. Но я этого не думаю. То есть, я думаю, дело

было не только в цене люстр, красного дерева и ковров. Я думаю, жители города возмутились, когда поняли, что он хочет втянуть их в свои дела, что каково бы ни было преступное деяние, посредством коего были добыты красное дерево и хрусталь, он вынуждает город закрыть на него глаза. До тех пор, до того воскресенья, когда он явился в церковь, если он кого и обманул или обидел, то всего лишь старика Иккмотуббе, от которого он получил свою землю,— сделка, о которой знали только его совесть, дядюшка Сэм да Господь Бог. Но теперь его положение изменилось, ибо когда спустя три месяца после его отъезда из Джефферсона навстречу ему выехали к Реке четыре фургона, все знали, что их нанял, снарядил и отправил не кто иной, как мистер Колдфилд. Это были большие фургоны, запряженные волами, и когда они возвращались, город посмотрел на них и понял: что бы в них ни содержалось, у мистера Колдфилда не хватило бы денег, чтобы их наполнить, даже если б он заложил все свое имущество; без сомнения, на этот раз скорее мужчины, чем женщины, во время этой его отлучки представили себе его действия так: он стоит в кают-компании парохода, лицо закрыто носовым платком, стволы обоих пистолетов поблескивают в свете канделябров; а быть может, еще и похуже: притаившись на скользящем причале, он в предательской тьме вонзает кому-то в спину нож. Они видели, как он верхом на чалой лошади сопровождает свои четыре фургона, и даже те, кто прежде ел его хлеб, стрелял его дичь и даже называл его просто Сатпен, без «мистера», даже и они теперь не пытались вступить с ним в разговор. Они просто ждали, а тем временем города достигли рассказы и слухи о том, как он и его теперь более или менее прирученные негры прилаживали окна и двери, размещали на кухне горшки и сковородки, развешивали в комнатах хрустальные люстры и гардины, расставляли мебель, расстилали ковры; а в один прекрасный вечер тот самый Эйкерс, который пятью годами раньше чуть не наступил на спящего в болоте негра, вытаращив глаза и разинув рот, ворвался в бар Холстон Хауса с криком: «Ребята, на этот раз он ограбил целый пароход!».

И тут наконец гражданская добродетель разыграла. Однажды человек восемь или десять во главе с шерифом округа отправились в Сатпенову Сотню. Далеко им ехать не пришлось, потому что милях в шести от города они встретили самого Сатпена. Он сидел верхом на своей чалой лошади, в знакомом им сюртуке и в касторовой шляпе, прикрыв ноги куском парусины; к луке седла была приторочена дорожная сумка, а в руках он держал небольшую плетеную корзинку. Он осадил чалого (стоял апрель месяц, и дорога все еще была покрыта непролазной грязью) и сидел в своей забрызганной парусине, переводя взгляд с одного лица на другое; твой дед говорил, что глаза его напоминали осколки разбитой тарелки, а борода была жесткая, как скребница. Он так и сказал: жесткая, как скребница. «Доброе утро, господа,— произнес он.— Вы ко мне?».

Возможно, в то время стало известно что-нибудь еще, но, насколько я знаю, никто из членов комитета бдительности об этом не упоминал. Я только слышал, что город, мужчины на веранде Холстон Хауса увидели, как Сатпен и вся компания вместе въезжают на площадь — Сатпен немного впереди, а остальные беспорядочной кучкой за ним; Сатпен сидит, аккуратно прикрыв ноги парусиной, распрямив плечи под поношенным суконным сюртуком, слегка заломив набекрень поношенную касторовую шляпу, и разговаривает с ними через плечо, а эти его светлые глаза смотрят холодно, дерзко, пожалуй, насмешливо, а возможно, уже и тогда презрительно. Он останавливается у двери, негр-конюх подскакивает, придерживает голову лошади, и Сатпен спешивается, берет свою сумку и корзинку и поднимается по ступенькам и, как мне рассказывали, поворачивается, еще раз взглядывает на них и видит, что они, съезжившись, сидят на своих лошадях и не знают, что делать дальше. И, наверное, даже хорошо, что борода у него закрывала рот и им он не был виден. Потом он повернулся и посмотрел на других мужчин, которые сидели, задрав ноги на перила, и тоже на него смотрели, на мужчин, которые еще недавно приезжали к нему, спали у него на полу и охотились вместе с ним, и приветствовал их этим своим спесивым напыщенным жестом, приложив руку к шляпе (да, он был дурно воспитан. Твой дед говорил, что это ясно обнаруживалось всякий раз, как он stalkивался с людьми. Он напоминал Джона Л. Салливена¹, который с великим трудом выучился танцевать шотландку — тайком упражнялся и упражнялся, пока не счел, что теперь уже можно не прислушиваться к музыке. Возможно, Сатпен думал, что твоему деду или судье Бенбу это далось бы

¹ Салливен Джон Л. (1858—1918) — американский боксер, впоследствии ставший актером. (Здесь и далее примечания переводчика.)

немножко легче, чем ему, но ни за что не поверил бы, что кто-нибудь может лучше его знать, когда это надо делать и как. И кроме того, это было написано у него на лице; именно в этом, по словам твоего деда, и заключалась его сила — при виде его каждый мог сказать *В случае необходимости этот человек может сделать и сделает что угодно*. Затем он вошел в дом и потребовал себе комнату.

И вот они сидели на лошадях и ждали его. Я полагаю, они знали, что рано или поздно ему придется выйти; я полагаю, что они сидели и думали об этой его паре пистолетов. Понимаешь, дело в том, что все еще не было ордера на его арест; просто общественное мнение перестало его переваривать; а потом на площадь выехали новые всадники и тоже поняли что к чему, так что когда он вышел на веранду, там в ожидании его собрался целый отряд. Теперь на нем была новая шляпа и новый суконный сюртук, и так они узнали, что лежало у него в сумке. Теперь они даже узнали, что лежало у него в корзинке, потому что ее при нем теперь тоже не было. Без сомнения, в то время это просто сильно их озадачило, потому что они, видишь ли, были слишком заняты пересудами насчет того, как именно он собирался использовать мистера Колдфилда, и к тому же после его возвращения слишком сильно негодовали по поводу того, что им казалось результатами его деятельности, даже если средства все еще оставались для них загадкой, чтобы вообще вспомнить про мисс Эллен.

Итак, он, без сомнения, снова остановился и снова начал переводить взгляд с одного лица на другое, без сомнения неторопливо запоминая новые лица, а борода все еще скрывала то, что мог бы выдать его рот. Но на этот раз он, по-видимому, не сказал ни слова. Он просто спустился по ступенькам и пошел через площадь, а отряд (твой дедушка говорил, что к тому времени в нем набралось уже человек до пятидесяти) тоже двинулся и последовал за ним. Говорят, он даже не оглянулся. Он просто шел вперед, держась очень прямо и заломив набекрень новую шляпу, а в руке у него теперь находился предмет, который они наверняка сочли за последнее, ничем не вызванное оскорбление; комитет ехал по улице рядом, хотя и не совсем с ним наравне; остальные, у кого в ту минуту не оказалось лошадей, присоединялись к отряду и шли за ним по дороге, тогда как дамы, дети и рабыни высовывались из окон и дверей домов посмотреть на движущуюся мимо мрачную живую картину, а Сатпен, так ни разу и не оглянувшись, вошел в ворота мистера Колдфилда и по выложенной кирпичом дорожке зашагал к дверям, неся в свернутом из газеты рожке букет цветов.

Они снова принялись его ждать. Теперь толпа росла быстро — другие мужчины, мальчишки и даже негры из соседних домов, сгрудившись вокруг первоначальной восьмерки, следили за дверью мистера Колдфилда в ожидании его выхода. Вышел он не скоро, цветов у него в руках уже не было, и к воротам он вернулся уже помолвленным. Но они об этом не знали и, едва он успел подойти к воротам, взяли его под арест. Они повели его обратно в город, а дамы, дети и дворовые негры смотрели из-за занавесок, из-за садовых кустов, из-за углов и из кухонь, где, без сомнения, уже начал пригорать обед, и таким порядком они возвратились на площадь, где остальные здоровые мужчины вышли из своих контор и лавок и тоже присоединились к ним, так что когда Сатпен добрался до здания суда, за ним шла толпа, как за беглым рабом. Его передали мировому судье, но к этому времени туда подоспели твой дед и мистер Колдфилд. Они взяли его на поруки, и к вечеру того же дня он вернулся домой вместе с мистером Колдфилдом по той же улице, что и утром, и, без сомнения, те же глаза наблюдали за ним из-за оконных занавесок, вернулся прямо к торжественному ужину по случаю помолвки, однако ни за столом, ни до и ни после не было ни вина, ни виски. Трижды за тот день проходя по этой улице, он ни разу не изменил своей осанки — все тот же неторопливый шаг, в такт ему развеваются фалды нового сюртука, и все так же лихо над бородой и глазами заломлена новая шляпа. Твой дед говорил, что пятью годами раньше, когда он приехал в город, лицо его имело оттенок обожженной глины, а теперь его кожу покрывал обыкновенный загар. И он не то чтобы потолстел — по словам твоего дедушки, дело было совсем не в том, просто, преодолев сопротивление воздуха, как при беге, мясо на его костях, казалось, успокоилось, так что теперь он по-настоящему заполнял свою одежду и хотя все еще чванился, но уже без бахвальства и воинственности; правда, твой дед говорил, что это и прежде была не воинственность, а всего лишь осторожность. А теперь не стало и ее, словно по прошествии этих трех лет он мог доверить караульную службу одним только глазам, а мясо на его костях могло и отдохнуть. Два месяца спустя они с Эллен поженились.

Это произошло в июне 1838 года, почти день в день через пять лет после того

воскресного утра, когда он въехал в город на своем чалом. Оно (бракосочетание) состоялось в той самой методистской церкви, где он, по словам мисс Розы, впервые увидел Эллен. Тетке даже каким-то образом — вероятно, беспрестанным ворчаньем (но только не уговорами — они бы не подействовали) удалось заставить мистера Колдфида дать Эллен по этому случаю разрешение напудриться. Пудра должна была скрыть следы слез. Но еще до окончания свадебной церемонии пудра растеклась полосами и склеилась в комья. Видимо, в этот вечер Эллен вошла в церковь из плача, как входят с дождя, выдержала всю церемонию, а затем выпла из церкви обратно в плач, в слезы, даже в те самые слезы, в тот самый дождь. Она села в коляску и под ним (под дождем) удалилась в Сатпену Сотню.

Причиной этих слез была свадьба, а отнюдь не брак с Сатпеном. Те слезы, которые вызвал этот брак — если допустить, что слезы были, — пришли потом. Пышной свадьбы устраивать не собирались. То есть не собирался, очевидно, мистер Колдфилд. Ты, наверное, заметил, что разводятся по большей части те женщины, которых сочел браком жующий табачную жвачку мировой судья в окружном суде или разбуженный среди ночи священник, у которого из-под сюртука торчат подтяжки, а воротника и вовсе нет, в роли же свидетеля выступает его жена или сестра — старая дева в папиалотках. Так разве не естественно предположить, что эти женщины начинают мечтать о разводе не потому, что их в чем-то обделили, а от самого неподдельного отчаяния и ощущения, будто их предали? Что, несмотря на живое свидетельство в виде детей и всего прочего, им все еще мерещится, как они, провожаемые восхищенными взглядами, шествуют под торжественную музыку, с тем чтобы во всем блеске символических аксессуаров, по всем правилам отдать то, чем уже не обладают? А, собственно говоря, почему бы и нет? Ведь когда они и в самом деле отдаются, то для них это только и может быть (и действительно бывает) некой церемонией, подобной размену ассигнации для покупки билета на поезд. Если говорить об обоих мужчинах, то пышная свадьба, переполненная церковь и вообще весь этот ритуал нужны были именно Сатпену. Я узнал об этом из кое-каких намеков, невзначай оброненных твоим дедом, а он, без сомнения, также случайно узнал об этом от самого Сатпена, ибо Сатпен никогда и словом не обмолвился Эллен о том, что он этого хочет, и то обстоятельство, что в последнюю минуту он отказался поддержать ее желание и настоятельное требование, может отчасти объяснить ее слезы. Мистер Колдфилд, очевидно, намеревался использовать церковь, в которую он вложил определенную меру самопожертвования и, несомненно, самоотречения и, уж конечно, настоящего труда и денег — чтобы, если можно так выразиться, поддержать свою духовную платежеспособность, — равно как он использовал бы хлопкоочистительную машину, за которую почитал бы себя ответственным материально или морально, для очистки любого количества хлопка, который он или кто-либо из членов его семьи, будь то родственники или свойственники, вырастили — не более того. Возможно, его желание устроить свадьбу поскромнее объяснялось все той же упорной и неослабной бережливостью, позволившей ему содержать мать и сестру и жениться и вырастить детей на доходы от лавки, что десять лет назад уместилось в одном-единственном фургоне; возможно, каким-то врожденным чувством деликатности и приличия (им, кстати сказать, его сестра и дочь явно не обладали) по отношению к будущему зятю, которого он всего лишь двумя месяцами ранее помог выволить из тюрьмы, но уж никак не страхом, что все еще ненормальное положение этого зятя в городе может ему навредить. Но каковы бы ни были их отношения прежде и какими ни могли бы они стать в будущем, если бы мистер Колдфилд в то время считал Сатпена виновным в каком-либо преступлении, он бы и пальцем бы не двинул, чтобы его освободить. Он, возможно, ничего бы не предпринял, чтобы оставить Сатпена в тюрьме, однако в то время ничто не могло полнее оправдать Сатпена в глазах сограждан, чем поручительство мистера Колдфида — а этого он не сделал бы даже ради спасения собственного доброго имени, хотя арест был прямым следствием сделки между ним и Сатпеном — того самого предприятия, от которого он отказался, когда оно приняло оборот, противный его совести, и дал возможность Сатпену завладеть всей прибылью, даже не позволив Сатпену возместить убыток, который сам он вследствие своего отказа потерпел, и тем не менее он разрешил своей дочери выйти замуж за человека, чьи действия он по совести одобрить не мог. Это был второй случай, когда он поступил таким образом.

Когда совершалось бракосочетание, из сотни приглашенных в церкви присутствовали всего лишь десять человек — включая жениха с невестой и родственников, но

зато когда они вышли из церкви (дело было поздно вечером; Сатпен привез полдюжины своих диких негров, и они с горящими сосновыми ветками стояли у дверей), остальную часть этой сотни составили мальчишки, молодые люди и мужчины из трактира гуртовщиков на краю города — торговцы скотом, конюхи и тому подобная публика, которую никто не приглашал. Этим тоже объяснялись слезы Эллен. Устроить пышную свадьбу мистера Колдфилда убедила или умолила тетка. Но нужна она была Сатпену. Ему нужна была не безродная жена и не безродные дети, а два имени — имя безупречной жены и имя безукоризненного тестя — на брачном свидетельстве, на документе. Да, на документе по возможности с золотой печатью и даже с красными лентами, если б от них могла произойти какая-нибудь польза. Но не для себя. Она (мисс Роза) сочла бы золотую печать и ленты тщеславием. Но ведь именно тщеславие и породило этот дом, возведенный в глуши почти одними только гольими его руками, дом, которому в дальнейшем грозила опасность назойливого вмешательства извне: ведь любое сообщество людей осуждает все то, что недоступно их пониманию. И гордость: мисс Роза признала, что он был храбр; возможно, она даже допускала, что он был горд, что именно его гордость требовала такого дома и не удовлетворилась бы ничем меньшим и готова была добиваться его любой ценой. А потом он жил в этом доме один и три года спал на соломенной подстилке на полу, пока не смог обставить его как подобает — причем немаловажной частью этой обстановки было то самое брачное свидетельство. Она была совершенно права. Ему нужен был не просто кров, не просто безродная жена и дети, равно как ему нужна была не просто свадьба. Но когда разразился женский бунт, когда Эллен и тетка попытались привлечь его на свою сторону, чтобы он помог им убедить мистера Колдфилда дать согласие на пышную свадьбу, он отказался их поддерживать. Он, без сомнения, еще лучше мистера Колдфилда помнил, что всего два месяца назад сидел в тюрьме, что общественное мнение, которое в какой-то момент предыдущих пяти лет его проглотило, хотя так и не сумело полностью его переварить, проделало один из свойственных человечеству отчаянных и необъяснимых крутых поворотов и извергло его обратно. И ему ничуть не помогло, что по крайней мере двое граждан, долженствовавших представлять собою два зуба в этой оскорбленной пасти, вместо того послужили подпорками, которые не дали этой пасти захлопнуться, что позволило ему выйти наружу целым и невредимым.

Эллен и тетка тоже об этом помнили. Тетка, во всяком случае. Будучи женщиной, она без сомнения принадлежала к лиге джефферсонских женщин, которые еще пять лет назад, на второй день после его появления в городе, решили, что никогда не простят ему отсутствия прошлого, и с тех пор непреклонно стояли на своем. Поскольку свадьба была теперь вопросом решенным, она, вероятно, считала ее единственной возможностью не только обеспечить будущее племянницы в качестве его жены, но и оправдать поступок брата, вызволившего его из-под ареста, а также и свое собственное положение — ведь она, по всей видимости, разрешила и одобрила свадьбу, хотя на самом деле просто не могла ее предотвратить. Возможно, все это делалось именно ради большого дома, ради положения и помпы, которых он (что женщины поняли задолго до мужчин) не только домогался, но и твердо решил добиться. Но, быть может, женщины еще много более примитивны и для них любая свадьба лучше, чем никакая, а пышная свадьба и жених-злодей предпочтительнее скромной свадьбы и жениха-святого.

Поэтому тетка даже пустила в ход слезы Эллен, а Сатпен, который, вероятно, знал, к чему идет дело, с приближением назначенного срока становился все мрачнее и мрачнее. Не то чтобы он был встревожен, нет, просто озабочен — таким он, наверное, был с того самого дня, когда бросил все, что знал — лица и обычаи, — и (ему тогда как раз стукнуло четырнадцать, сказал он твоему деду) отправился в мир, о котором не знал ровно ничего даже теоретически, но уже имел в голове вполне определенную цель, какой большинство мужчин даже себе и не ставят, куда кровь не начнет замедлять свой бег у них в жилах лет эдак в тридцать, а то и позже, да и тогда лишь потому, что эта мечта связана в их воображении с праздностью и покоем или, по крайней мере, с удовлетворением их тщеславия. Даже тогда в нем была та настороженность, какую позже он будет носить день и ночь, не снимая и не меняя, словно одежду, в которой ему приходилось и спать и бодрствовать в чужой стране, среди людей, самый язык которых ему пришлось выучить; то неусыпное внимание, которое наверно знало: допусти одну-единственную ошибку — и конец; та способность сравнивать и сопоставлять закономерность со случайностью, обстоятельства с человеческой природой, свое собственное ненадежное суждение и смертную плоть не только с челове́-

скими силами, но и с силами природы; способность делать выбор и отказываться, идти на уступки своей мечте и честолюбивым замыслам — подобно тому как человеку приходится уступать лошади, на которой он скачет по лесам и оврагам и которой управляет, лишь не давая ей понять, что на самом деле управлять ею он не может, что на самом деле она сильнее его.

Теперь в странном положении был он. Одинок был он. Не Элен. Ее поддерживала не только тетка, но еще и то, что женщины никогда не признаются в одиночестве и не жалуется на него, пока непостижимые и непреодолимые обстоятельства не вынудят их оставить всякую надежду заполучить игрушку, о которой они в эту минуту мечтают. И не мистер Колдфилд. Его поддерживало не только общественное мнение, но и его собственное решительное и недвусмысленное предубеждение против пышной свадьбы. Позже (слезы победили; тетка и Элен написали сотню приглашений — Сатпен отрядил одного из своих диких негров разносить их по домам — и даже разослал с десятков более интимных на генеральную репетицию), когда они вечером накануне свадьбы приехали в церковь на репетицию и обнаружили, что церковь пуста, а на темной улице собралась кучка жителей городских окраин (в том числе два индейца чикасау из племени старика Иккемотуббе), слезы хлынули снова. Элен выдержала репетицию, но потом тетка отвезла ее домой в состоянии, близком к истерике, которая наутро перешла просто в тихий непрерывный плач. Высказывалось даже мнение, что свадьбу лучше отложить. Не знаю, кто его высказал, возможно, сам Сатпен. Зато я знаю, кто его отверг. Казалось, тетка теперь твердо решила навязать городу не только Сатпена, но и саму свадьбу. Весь следующий день она в домашнем платье и в шали ходила из дома в дом со списком приглашенных, а за нею плелась одна из двух Колдфилдовых служанок (слуг мужского пола у него не было) — то ли для защиты, то ли просто ее, подобно одинокому листку, увлек за собой яростный вихрь гнева оскорбленной в своем женском достоинстве фурии; да, и к нам она явилась тоже, хотя твой дед и в мыслях не имел уклониться от приглашения; насчет папы у тетки наверняка никаких сомнений не было — ведь папа помог освободить Сатпена из тюрьмы, а впрочем, к этому времени она уже скорее всего утратила всякую способность логически мыслить. Папа и твоя бабушка в ту пору только-только поженились, мама в Джефферсоне еще не осмотрелась, и я не знаю, что она подумала, знаю лишь, что она никогда не рассказывала, что произошло; как совершенно незнакомая обезумевшая женщина ворвалась в дом — не для того, чтобы пригласить ее на свадьбу, а чтоб сказать ей, пусть только она посмеет не явиться, — после чего выскочила вон. Мама вначале даже не могла понять, о какой свадьбе идет речь, и когда отец вернулся, он нашел ее тоже в истерике, и даже еще двадцать лет спустя мама не могла сказать, что же именно произошло. Ничего смешного она в этом не находила. Папа, бывало, подшучивал над нею по этому поводу, но даже и через двадцать лет, стоило ему начать свои шутки, я видел, как она поднимает руку (возможно, с наперстком на пальце), словно пытаясь защититься, и на лице ее появляется такое же выражение, какое наверняка было на нем после ухода тетки Элен.

В то утро тетка обошла весь город. Это заняло не так уж много времени, но она не пропустила никого, и к ночи обстоятельства дела стали известны не только во всем городе, но и за его пределами; они проникли на извозчиный двор и в трактир гуртовщиков, откуда потом на свадьбу и явились гости. Элен, разумеется, ничего об этом не знала, равно как и сама тетка, и уж конечно не могла вообразить, что должно было произойти, будь она даже ясновидящей, способной воочию увидеть репетицию событий еще до того, как наступит их час. Не то чтобы тетка почитала себя застрахованной против подобных оскорблений, она просто не могла себе представить, что ее намерения и поступки в тот день способны вызвать какое-либо иное следствие кроме того, ради которого она временно поступилась не только достоинством Колдфилдов, но и всякой женской скромностью. Я полагаю, что Сатпен мог ей об этом сказать, но он без сомнения знал, что тетка ему все равно бы не поверила. Скорее всего он даже и не пытался; он просто сделал единственное, что можно было сделать, а именно: вызвал из Сатпеновой Сотни еще шестерых или семерых негров, на которых он мог всецело положиться (кроме них он ни на кого положиться не мог), и вооружил их горящими сосновыми ветками, с которыми они и стояли у дверей, когда к церкви подъехала коляска и из нее вышли жених с невестой и родственники. И тут слезы прекратились, потому что теперь вся улица перед церковью была уставлена колясками и повозками; однако один только Сатпен и, быть может, еще мистер Колдфилд заметили, что хотя им следовало стоять у дверей пустыми, они, наоборот, стоят на противоположной стороне

улицы с седоками и что теперь дорожка, ведущая ко входу в церковь, представляет собой нечто вроде арены, освещенной дымящимися факелами, которые негры держат у себя над головой; их пламя, дрожа и колыхаясь, освещает два ряда лиц, между которыми свадьба должна пройти, чтобы попасть в церковь. Пока еще не было слышно ни свистков, ни насмешек; совершенно очевидно, что ни Эллен, ни тетка ничего дурного не заподозрили.

Эллен ненадолго вышла из плача, из слез и вошла в церковь. Церковь пока еще была пуста, если не считать твоих дедушку и бабушку да еще с полдюжины гостей, явившихся из преданности Колдфидам, а может, просто чтобы быть поближе и не пропустить ничего из тех событий, которые весь город, представленный стоящими в ожидании колясками, заранее предвидел, равно как и сам Сатпен. Церковь все еще была пуста — даже после того, как церемония началась и закончилась. У Эллен тоже была известная гордость или, по крайней мере, то тщеславие, которое временами может заменить гордость и силу духа; к тому же пока еще ничего не случилось. Толпа на улице пока еще хранила спокойствие, возможно, из уважения к церкви или из свойственной англосаксам тяги к безоглядному мистическому приятию жертвоприношений. Эллен, по-видимому, выпла из церкви и вошла в толпу, все еще ничего не подозревая. Возможно, она была все еще движима гордостью, не позволявшей ей показывать свои слезы гостям. Она просто вошла в толпу, видимо торопясь поскорее укрыться от любопытных взоров в коляске, где можно было поплакать; возможно, первым предостережением послужил крик: «Смотри, как бы не попасть в нее!», потом какой-то предмет — комок грязи, нечистот или что-то еще, — пролетевший мимо, а возможно, что и сами заколыхавшиеся огни, а потом она обернулась и увидела, что один из негров с поднятым факелом вот-вот прыгнет в толпу, на эти лица, и тут Сатпен обратился к нему на том наречии, которое большая часть жителей округа до сих пор не считала языком цивилизованных людей. Вот что увидела она, и вот что увидели другие из колясок, стоявших на противоположной стороне улицы, — новобрачная бросается под защиту его руки, он загораживает ее спиной, а сам стоит не шелохнувшись даже тогда, когда второй предмет (они не швыряли ничего, что могло бы причинить увечья, всего лишь комья грязи и гнилые овощи) сбивает шляпу у него с головы, а третий шлепается прямо ему в грудь, — он же стоит неподвижно, чуть ли не с улыбкой, и зубы сверкают сквозь бороду, одним-единственным словом сдерживая своих диких негров (в толпе, без сомнения, были пистолеты и уж конечно ножи — стоило негру прыгнуть, он не остался бы в живых и десяти секунд), меж тем как вокруг свадебного шествия, казалось, смыкаются лица — разинутые рты, в глазах отражается пламя факелов, — и все это колеблется, меняет очертания и исчезает в дымном сиянье горящих сосновых веток. Закрыв своим телом обеих женщин, он отступил к коляске и опять одним-единственным словом приказал неграм следовать за собой. Но никто больше ничего не бросал. Очевидно, это была лишь первая стихийная вспышка, и они держали наготове еще и другие предметы, а не только то, что успели бросить. Так кончилась вся эта история, достигшая высшей точки двумя месяцами раньше, когда комитет бдительности проводил Сатпена до ворот мистера Колдфида. Ибо люди, из которых состояла толпа — торговцы, гуртовщики и извозчики, — вернулись восвояси, снова укрылись в тех местах, откуда ради этого случая вылезли, как крысы, рассеялись, разбежались по окрестностям — их лиц даже Эллен не могла потом припомнить: таких людей встречаешь порою, когда они закусывают или просто выпивают в трактирах, разбросанных вдоль безымянных дорог в двадцати, пятидесяти и даже ста милях от города, и которых потом и там не встретишь; среди них были и те, кто приезжал в колясках и повозках поглазеть на бой гладиаторов, либо являлся в Сатпенову Сотню с визитом, либо (если это были мужчины) поохотиться на его дичь, лишний раз пообедать за его столом и при случае собраться вечером у него на конюшне, где он стравливал пару диких негров, как стравливают бойцовых петухов, а бывало, даже выходил на ринг и сам. Все это как бы сдуло ветром — но не из памяти. Сатпен не забыл этот вечер, хоть Эллен, я думаю, могла и забыть, потому что она смыла его из памяти слезами. Да, теперь она снова плакала — уж поистине на этой свадьбе лило как из ведра.

III

Если б он бросил мисс Розу, ей, по моему, вряд ли захотелось бы об этом рассказывать, заметил Квентин.

Видишь ли, сказал мистер Компсон, после того как в шестьдесят четвертом

году мистер Колдфилд умер, мисс Роза перебралась в Сатпенову Сотню к Джудит. Ей было тогда двадцать лет, на четыре года меньше, чем племяннице, которую она согласно воле умирающей сестры намеревалась — очевидно, путем бракосочетания с Сатпеном — спасти от тяготевшего над семьею рока, чьи замыслы Сатпен явно стремился осуществить. Она (мисс Роза) родилась в 1845 году, когда ее сестра уже семь лет была замужем и имела двоих детей, между тем как родители мисс Розы были уже в летах (мать ее, которой, очевидно, было уже лет сорок, умерла от родов, и мисс Роза так и не простила этого отцу), и, если считать, что мисс Роза отражала отношение своих родителей к зятю, они желали только мира и покоя и, вероятно, не ожидали, а быть может, даже и не хотели еще одного ребенка. Но она родилась ценою жизни своей матери, и ей не суждено было об этом позабыть. Ее воспитала та самая старая дева — тетка, которая пыталась навязать городу вопреки его желанию не только жениха ее старшей сестры, но и саму свадьбу; она выросла в замкнутой, доступной лишь женщинам масонской ложе и самый факт своего существования считала не только единственным оправданием смерти своей матери, не только ходячим живым упреком своему отцу, но и живым обвинением — вездесущим и даже способным перемещаться в пространстве — всего мужского начала (того начала, из-за которого ее тетка в тридцать пять лет все еще оставалась девственницей). Итак, первые шестнадцать лет своей жизни она прожила в этом мрачном тесном домике с отцом, которого она, сама того не зная, ненавидела, — с этим странным молчаливым человеком, чьим единственным товарищем и другом, казалось, была его совесть, а единственным предметом забот — его доброе имя в глазах сограждан, — с человеком, который впоследствии запрет себя на чердаке собственного дома и умрет голодной смертью, чтобы не видеть, как его родная земля судорожно отбивается от неприятельской армии, — и с теткой, которая даже десять лет спустя все еще продолжала мстить за неудачную свадьбу Эллен, набрасываясь на город и на весь род человеческий в лице всех и каждого из его созданий — брата, племянниц, мужа племянницы, самой себя и так далее — со слепого бессмысленной яростью меняющей кожу змеи. Тетка приучила мисс Розу к мысли, что сестра ее ушла не только из семьи и из дома, но и из самой жизни в некое подобие замка Синей Бороды, где превратилась в маску, которая с покорной и безнадежной тоской оглядывается на безвозвратно утерянный мир; ее держит там взаперти, глумливо играя с нею, точно кошка с мышью, человек, который еще до того, как она родилась, ураганом ворвался в ее жизнь и в жизнь ее семьи и, опустошив и разорив все вокруг, двинулся дальше. В мрачной кладбищенской атмосфере пуританской праведности и оскорбленной женской мстительности протекли детские годы мисс Розы — это старческое, дряхлое, бесконечное отсутствие молодости; подобно Кассандре, она подслушивала у закрытых дверей, пряталась в полутемных коридорах, дышавших мрачными и черными пресвитерианскими предчувствиями, в ожидании младенчества и детства, коих природа предательски ее лишила, наделив отвращением ко всему, что могло бы проникнуть в стены этого дома через любого мужчину, в особенности через ее отца, — этим тетка, казалось, наделила ее при рождении вместе с пеленками.

Быть может, она видела в смерти отца и в вызванной этим необходимости, чтобы она — сирота и нищая — обратилась за пропитанием, кровом и защитой к своей ближайшей родне — а этой родней оказалась племянница, которую ее просили спасти, — быть может, в этом она видела не что иное, как перст судьбы, предоставившей ей возможность исполнить последнюю волю умирающей сестры. Быть может, она считала себя орудием возмездия: пусть она недостаточно активна и сильна, чтоб вступить с ним в единоборство, но зато в виде некоего пассивного символа неотвратимой памяти, бескровная и бестелесная, восстанет с жертвенника брачного ложа. Ведь до шестидесяти шестого года, когда он вернулся из Виргинии и нашел ее там вместе с Джудит и Клити... (Да, Клити тоже была его дочерью — Клитемнестра. Он сам дал ей это имя. Он всем давал имена сам — всем своим отпрыскам, равно как и отродью своих диких черномазых, как только они начали сходиться с местными. Мисс Роза не говорила тебе, что среди черномазых в том фургоне были две женщины?)

Нет, сэр, сказал Квентин.

Да. Их было две. И привезены они были сюда вовсе не случайно и не по недосмотру. Об этом он позаботился сам, ибо он, без сомнения, заглядывал вперед много дальше, нежели на те два года, которые потребовались ему, чтобы построить себе дом и доказать свои добрые намерения, пока соседи не позволили ему скрестить его дикое поголовье с их прирученным — ведь различие в языке между теми и другими черно-

мазыми могло оставаться препятствием лишь несколько недель, а возможно и дней. Он привез этих двух женщин нарочно; он, вероятно, выбирал их так же расчетливо и тщательно, как выбирал прочий живой инвентарь — лошадей, мулов и рогатый скот, — который покупал позже. И он прожил там почти пять лет, прежде чем свел знакомство хоть с одной белой жительницей графства, и по той же причине, по какой в доме у него не было мебели — в то время ему нечего было предложить за них взамен. Да. Он нарек ее Клити точно так же, как нарекал их всех — того, кто был до Клити, Генри, и даже Джудит, с одинаковой бодрой и насмешливой отвагой, как бы по иронии судьбы собственными устами нарекая посеянные им самим зубы дракона. Впрочем, мне всегда хотелось думать, что какой-то чисто драматургический инстинкт побудил его не только породить дочь, но и дать ей имя верховного прорицателя собственной гибели и что он намеревался назвать Клити Кассандрой и просто перепутал имена по ошибке, естественной для человека, который наверняка выучился грамоте чуть ли не самоучкой.)... До его возвращения домой в шестьдесят шестом году мисс Роза за всю свою жизнь едва ли видела его сотню раз. И видела его лишь как лицо людоеда из своего детства — увиденное однажды, оно затем появлялось с перерывами и при случаях, которых она не могла ни вспомнить, ни сосчитать, подобно маске греческой трагедии, переходящей не только из сцены в сцену, но и от актера к актеру, маске, за которой события и происшествия совершаются без всякого порядка и последовательности; она и в самом деле не могла сказать, сколько в отдельности раз она его видела, и по той простой причине, что тетка научила ее не видеть ничего другого ни во сне, ни наяву. Во время этих натянутых, мрачных, почти официальных визитов, когда они с теткой выезжали на целый день в Сатпенову Сотню и тетка отправляла ее играть с племянником и племянницей, как могла бы попросить ее сыграть на рояле какую-нибудь пьесу для развлечения гостей, она не видела его даже за обеденным столом — тетка ухитрялась наносить эти визиты в его отсутствие, и к тому же мисс Роза, вероятно, постаралась бы уклониться от встречи с ним, даже если бы он был дома. А когда Элен три или четыре раза в год привозила детей к деду, тетка (эта сильная злопамятная женщина, которая, очевидно, вдвое больше мистера Колдфилда заслуживала звания мужчины и которая поистине была для мисс Розы не только матерью, но и отцом) придавала этим визитам ту же атмосферу мрачного вооруженного заговора и союза против двоих врагов, из которых один — мистер Колдфилд — независимо от того, мог он постоять за себя или нет, — давно уже снял свои посты, разобрал пушки и окопался в неприступной крепости своей пассивной добродетели; а второй — Сатпен — вероятно, способный вступить с ними в бой и даже их разгромить, понятия не имел, что он находящийся в боевой готовности неприятель. Он даже не являлся домой к обеду. Возможно, он просто щадил чувства тестя. Зачем и как возникли взаимоотношения между ним и мистером Колдфилдом, навсегда осталось тайной и для тетки, и для Элен, и для мисс Розы; Сатпен же впоследствии откроет эту тайну одному лишь человеку, да и то под клятвенное обещание молчать, пока жив мистер Колдфилд, — из уважения к тщательно оберегаемой репутации мистера Колдфилда как человека безупречной нравственности; твой дед говорил мне, что сам мистер Колдфилд по тем же соображениям никогда никому ее не открывал. Но, быть может, причина заключалась в том, что теперь, когда Сатпен получил от тестя все, что он мог бы использовать или что ему просто было нужно, у него не хватало ни смелости для встречи с тестем, ни чувства такта и приличия хотя бы четыре раза в год присоединяться к торжественной семейной группе. А может быть, у Сатпена не было иной причины, кроме той, которую он сам назвал и которой тетка потому и отказывалась верить, а именно: что ездит он в город далеко не каждый день, а уж если приезжает, то предпочитает проводить время (он теперь посещал бар) с мужчинами, которые каждый полдень встречаются в Холстон Хаусе.

Таково было лицо, которое — когда мисс Розе случалось его видеть — смотрело на нее через его же собственный обеденный стол, — лицо неприятеля, который даже не знал, что находится в состоянии боевой готовности. Ей в то время исполнилось десять лет, и после бегства тетки (мисс Роза теперь вела хозяйство отца, как прежде тетка, пока та в одну прекрасную ночь не вылезла в окно и не исчезла) не только не было никого, кто во время этих официальных похоронных визитов мог бы заставить ее поиграть с племянником и племянницей, ей даже не приходилось выезжать туда, где, хотя его и не было, он все еще присутствовал, как ей казалось, затаявшись в глумливом и настороженном торжестве, и дышать тем же воздухом, что и он. Теперь

она бывала там всего лишь раз в год, когда они с отцом, облачившись в воскресное платье, на крепкой, выдавшей виды повозке, запряженной парой крепких низкорослых лошадок, отправлялись за двенадцать миль провести день в Сатпеновой Сотне. Теперь на этих визитах настаивал мистер Колдфилд — при тетке он с ними ни разу туда не ездил — как он утверждал, из чувства долга, в чем ему поверила бы даже и тетка, возможно оттого, что настоящая причина заключалась не в этом; без сомнения, даже мисс Роза не поверила бы настоящей причине, а именно: что мистер Колдфилд хотел видеть внуков, все больше страшась наступления того дня, когда их отец расскажет хотя бы одному только сыну о той их стародавней сделке, причем мистер Колдфилд вовсе не был уверен, что зять о ней не рассказал. Хотя тетки уже и не было, она все еще ухитрялась в какой-то мере придать каждой из этих экспедиций прежний дух ожесточенной военной вылазки — теперь еще более яростной, чем прежде, — против врага, который и знать не знал, что находится в состоянии войны. Ведь теперь, после исчезновения тетки, Эллен отпала от этого тройственного союза, который мисс Роза, сама того не сознавая, пыталась превратить в двойственный. Теперь она была совсем одна; она сидела напротив него за обеденным столом, не имея поддержки даже от Эллен (с Эллен к этому времени произошла полная метаморфоза, и она вступила в свой следующий люструм² окончательно перерожденной), сидела за столом напротив врага, который даже не знал, что сидит там не как хозяин и муж сестры, а как одна из двух заключивших перемирие сторон. Он едва достаивал взглядом эту маленькую щуплую девочку, чьи ноги, даже когда она вырастет, не будут доставать до полу с ее же собственных стульев; он обращал на нее почти так же мало внимания, как на жену и детей — на Эллен, которая, хотя тоже крупкого сложения, была, что называется, в теле (и если б жизнь ее не склонилась к упадку в ту пору, когда даже мужчины не могли раздобыть себе достаточно еды, и если б конец ее дней не был омрачен невзгодами, она и впрямь была бы в теле. Не тучной, нет, всего лишь налитой и зрелой; седые волосы, все еще молодые глаза, даже слабый румянец на теперь уже несколько обвислых щеках; пухлые пальцы унизаны кольцами, гладкие ручки терпеливо сложены в предвкушении еды на камчатной скатерти перед хевилендовским сервизом под хрустальными канделябрами); он смотрел на нее не чаще, чем на Джудит, уже переросшую Эллен, и на Генри, хотя и не такого рослого для своих шестнадцати лет, какою Джудит была для своих четырнадцати, но уже обещавшего догнать отца; он совсем не замечал лица этой девочки, редко говорившей во время еды; ее глаз наподобие угольков (если можно так выразиться), воткнутых в мягкое тесто, ее аккуратно зачесанных волос того характерного мышиноного оттенка, какой приобретают волосы, редко освещаемые солнцем, рядом с обветренными лицами Джудит и Генри — у Джудит волосы матери и глаза отца, у Генри волосы черные, как у матери, с рыжеватым оттенком, унаследованным от отца, и светло-карие глаза, — не замечал щуплого тельца мисс Розы, отличавшегося какой-то странной неловкостью, словно на ней было костюм, в последнюю минуту и по необходимости взятый напрокат для маскарада, на который ей вовсе не хотелось ехать; от нее как бы веяло духом монастыря, куда она сама по собственному выбору себя заточила; эта добровольная послушница все еще мучительно сопротивлялась навязанным ей требованиям жизни, вместо того чтобы смириться и спокойно дышать, эта рабыня собственной плоти и крови даже и теперь пыталась бежать от действительности, сочиняя ученические вирши о своих тоже умерших земляках. Это лицо, самое маленькое из тех, что его окружали, смотрело на него через стол молча, с таким любопытством и напряженным вниманием, словно у мисс Розы и в самом деле было какое-то предчувствие, внушенное ей связью с текучим истоком событий (временем), которую она приобрела или развила в себе, подслушивая у закрытых дверей, но слышала она не то, что из-за них доносилось, потому что сделалась восприимчивой и безучастной, лишилась всяких пристрастий, убеждений и сомнений и обрела те свойства, что превращают людей в прорицателей, порою даже и правдивых; она явственно различала, как нарастает предвещающая лихорадка температура бедствий, грядущей катастрофы, в которой лицо людоеда из ее детства исчезнет, по-видимому, до такой степени бесследно, что она согласится выйти замуж за его бывшего обладателя.

Возможно, тогда она видела его в последний раз. Ибо они перестали туда ездить. То есть ездить перестал мистер Колдфилд. Определенный день для этих визитов ни-

² Люструм — пятилетие (лат.).

когда установлен не был. Просто в одно прекрасное утро он выходил к завтраку в скромном черном сюртуке из толстого сукна, в котором он женился и который до свадьбы Элли надевал пятьдесят два, а после бегства тетки — пятьдесят три раза в год, покуда не надел, чтоб больше не снимать, в тот день, когда поднялся на чердак, заколотил за собою двери, выбросил из окна молоток и так в этом сюртуке и умер. Тогда мисс Роза после завтрака уходила к себе и возвращалась в ужасающем черном или коричневом шелковом платье, которое тетка купила ей много лет назад и которое она все еще надевала по воскресеньям и другим праздникам даже после того, как оно совершенно износилось, вплоть до того дня, когда отец понял, что тетка больше не вернется, и разрешил мисс Розе пользоваться одеждой, которую тетка бросила в ночь своего побега. Затем они садились в повозку и уезжали, причем мистер Колдфилд предварительно высчитывал из жалованья обеих негритенок плату за приготовление обеда, который им в тот день не нужно было варить, и (как думали в городе) также и стоимость вчерашних остатков, которыми им предстояло кормиться. А потом они целый год туда не ездили. По всей вероятности, мистер Колдфилд просто не вышел к завтраку в черном сюртуке, и дни проходили, а он его так и не надевал, и на этом дело кончилось. Возможно, теперь, когда внуки выросли, он счел оплаченным лежавший на его совести долг, тем более что Генри уехал в университет штата в Оксфорд, а Джудит отправилась даже еще дальше — в пору перехода от детства к женской зрелости, став еще более недостижимой для деда, с которым и прежде виделась мало, а интересовалась им, вероятно, еще меньше, — в то состояние, в котором, хотя еще и видимые глазу, молодые девушки как бы видны сквозь стекло, куда до них не доносится даже и голос и где они (да, и эта девчонка-сорванец, что бегала быстрее, лазала выше брата, скакала верхом не хуже его, вступала в драку с ним и с его врагами) пребывают в жемчужном призрачном сиянье и, не отбрасывая тени, сами тоже его изучают; неувидимые, бесплотные и текучие, они плывут сквозь этот непостижимый зыбкий туман, но ничего в нем не ищут, а словно висящий на плаценте зародыш, безмятежно ожидают, пока могучая первичная клетка, питаясь и наливаясь материнскими соками, обрстет спиной, плечами, грудью, боками и бедрами.

Теперь начался период, закончившийся катастрофой, которая заставила мисс Розу переменить настолько, что она согласилась выйти замуж за того, кого с детства привыкла считать людоедом. Это не было переломом характера — он у нее не изменился. Даже поведение ее ничуть не изменилось. Даже если бы Чарльз Бон не умер, она после смерти отца, по всей вероятности, рано или поздно переехала бы в Сатпену Сотню, а совершив этот шаг, скорее всего провела бы там остаток дней своих. Но если бы Бон остался в живых и женился на Джудит, а Генри не пропал без вести, она перебралась бы к ним, только когда сочла бы это удобным, и жила бы в семье своей покойной сестры лишь в качестве тетки, каковою в действительности и была. Изменился у нее не характер, хотя прошло шесть или семь лет с тех пор, как она не видела Сатпена, и к тому же четыре года из них она тайком кормила по ночам отца, скрывавшегося на чердаке от военной полиции конфедератов. В это самое время она сочиняла героические оды о тех самых людях, от которых отец ее скрывался и которые расстреляли бы его или повесили без суда, если б им удалось его найти, и, между прочим, людоед ее детства был одним из них и даже вполне достойным (он вернулся домой с наградой за доблесть, подписанной собственноручно генералом Ли). Лицо, с которым мисс Роза отправилась туда проводить остаток дней своих, было тем же лицом, которое смотрело на него через обеденный стол и о котором он тоже навряд ли мог сказать, сколько раз он его видел, когда или где, и вовсе не потому, что не мог его забыть, а оттого, что стоило ему отвернуться, как он, по всей вероятности, уже через десять минут не смог бы его описать, и теперь с этого лица на него с тем же холодным пристальным вниманьем смотрели глаза женщины, которая прежде была той самой девочкой.

Хотя ей несколько лет не придется вновь встретить Сатпена, с сестрой и племянницей она виделась теперь чаще, чем прежде. Элли теперь достигла высшей точки того, что тетка назвала бы ее изменой. Казалось, она не только сдалась, смирилась со своею жизнью и замужеством, но даже по-настоящему ими гордилась. Она расцвела, словно нормальное бабье лето, когда женщине полагается постепенно расцветать и грациозно увядать шесть или восемь лет, Рок втиснул года в три-четыре — то ли в возмещение за все, что должно еще произойти, то ли намереваясь произве-

сти полный расчет — оплатить чек, скрепленный подписью жены Рока, Природы. Эллиен приближалась к сорока, она была полная, все еще без единой морщинки на лице. Казалось, ничем не потревоженная, закаленная прожитыми годами плоть стерла с ее лица все следы, какие пребывание в этом мире до самого побега тетке оставило на нем, вытеснила их из пространства между скелетом и кожей — между совокупностью жизненного опыта и оболочкой, в которую он был заключен. Ее осанка и манеры стали теперь чуть ли не царственными — они с Джудит теперь частенько наезжали в город с визитами и к тем самым дамам (многие из них уже успели стать бабушками), которых тетка пыталась насильно загнать на свадьбу двадцатью годами раньше, и в пределах скудных возможностей города делали покупки — словно ей наконец удалось отринуть не только пуританское наследие, но и самую действительность; превратить невыносимого мужа и непостижимых детей в бестелесные тени; бежать наконец в мир чистой иллюзии и там в полной безопасности двигаться и жить, попеременно принимая позы владельницы поместья самого обширного, супруги самого богатого, матери самых счастливых. Когда она делала покупки (в Джефферсоне к тому времени было уже двадцать лавок), она, не выходя из коляски, самоуверенно и любезно несла невозможнейшую дичь, повторяя пестрый набор бессмысленных фраз из сочиненной ею самой для себя роли странствующей герцогини, наделяющей бутафорскими бульонами и снадобьями смиренных безземельных поселян, — эта женщина, будь она достаточно стойкой, чтоб выдержать лишения и горе, и впрямь могла бы стать звездой первой величины в роли прародительницы и, расположившись возле очага, горделиво вершить судьбами своего семейства, вместо того чтоб в свой последний час обратиться к младшей его представительнице с просьбой защитить остальных.

Обычно два, а порою и три раза в неделю обе они приезжали в город и в дом мистера Колдфилда: глупая, болтливая, моложавая женщина-кукла, уже шесть лет живущая в мире, созданном ее воображением, женщина, что, уносимая потоком слез, покинула отчий дом и семью и в призрачных, дышащих миазмами краях наподобие скорбных берегов Стикса произвела на свет двоих детей, а затем, словно возвращенная на болоте бабочка, не обремененная ни желудком, ни какими-либо иными тяжелыми органами жизненного опыта и страданья, взмыла в сверкающую пустоту, где навек остановилось солнце, и Джудит, молодая девушка, что не жила, а грезилась и чья полная отрешенность и отстраненность от действительности граничила с чисто физической глухотой. Для них мисс Роза теперь, наверное, вообще ничего не значила ни как девочка — предмет и жертва неусыпной мстительной заботы и внимания сбежавшей тетке, ни даже как женщина, выполняющая обязанности домоправительницы, и уж, во всяком случае, как настоящая родная тетка. И трудно было бы сказать, которая из двух — сестра или племянница — в свою очередь казалась мисс Розе более нереальной — взрослая, бежавшая от действительности в теплый, населенный куклами рай, или молодая девушка, спавшая наяву в состоянии какого-то смутного ожидания, напоминавшем физическое состояние плода перед рождением на свет, и столь же далекая от реальной жизни, сколь и сама Эллиен; два или три раза в неделю они подъезжали к дому мисс Розы, а однажды, тем летом, когда Джудит исполнилось семнадцать, остановились там по дороге в Мемфис, куда ехали покупать Джудит наряды; да, не что-нибудь, а приданое.

Это было лето после первого учебного года Генри в университете, уже после того, как он привез Чарльза Бона домой на Рождество, а потом еще на неделю во время летних каникул, перед тем как Бон отправился верхом к Реке, чтобы ехать парохомом к себе в Новый Орлеан; то лето, когда Сатпен тоже уехал из дому, по делам, как сказала Эллиен, очевидно не сознавая — именно так она в то время жила, — что понятия не имеет, куда уехал ее муж, и даже не отдавая себе отчета, что это насколько ее не интересует. Никто кроме твоего деда и, быть может, еще Клиты так никогда и не узнал, что Сатпен тоже отправился в Новый Орлеан. Они входили в дом мисс Розы, в этот полутемный мрачный тесный домик, где даже через четыре года после своего побега за каждой дверью, казалось, стоит тетка, готовая вот-вот ее открыть, и который Эллиен минут десять или пятнадцать оглашала своею шумной болтовней, после чего удалялась, забрав с собой свою погруженную в грезы, безразличную ко всему на свете, не произнесшую ни слова дочь, а мисс Роза, которая приходилась этой девушке теткой, тогда как по годам должна была бы приходиться ей сестрой, не обращая внимания на мать, следовала по пятам за уходящей и недоступной дочерью с немой тоской в

близоруких глазах, без тени зависти перенося на Джудит все несбыточные мечты и надежды своей собственной загубленной молодости и предлагая ей в дар (о чем не раз с хохотом рассказывала Элен) свое единственное достояние — она предложила научить Джудит вести домашнее хозяйство, составлять меню и считать белье, однако вместо ответа увидела непонимающий бездонный взгляд, услышала недоуменный вопрос: «Что? Что ты сказала?» — и изумленные и одобрительные выкрики Эллеж. И вот уже нет ничего — ни коляски, ни узлов, ни Элен с ее глупым смехом, ни живущей в мире смутных мечтаний племянницы. Когда они в следующий раз приехали в город и коляска остановилась перед домом мистера Колдфилда, на крыльцо вышла одна из негрятенок и объявила, что мисс Розы нет дома.

Тем летом она еще раз увидела Генри. Она не встречала его с предыдущего лета, хотя на Рождество он приезжал домой с Чарльзом Боном, своим товарищем по университету, и до нее доносились слухи о праздничных вечеринках и балах в Сатпеновой Сотне, но они с отцом туда не ездили. А когда Генри после Нового года, возвращаясь вместе с Боном в университет, заехал навестить свою тетюшку, ее и в самом деле не оказалось дома. Поэтому она не видела его целый год, до следующего лета. Однажды она отправилась за покупками в город и остановилась на улице побеседовать с твоею бабушкой, когда он проехал мимо. Он ее не заметил; он ехал на новой кобыле, подаренной ему отцом, теперь уже взрослый мужчина, в сюртуке и в шляпе; твоя бабушка рассказывала, что он был такого же высокого роста, как его отец, и сидел верхом на кобыле так же спесиво, хотя и был не так крепко сложен, словно его кости, уже способные выдержать эту спесь, были еще слишком легки и слабы для отцовского чванства. Ибо и Сатпен тоже играл свою роль. Он развратил Элен далеко не в одном отношении. Он был теперь самым крупным плантатором и производителем хлопка в округе, чего он добился тою же тактикой, что и при постройке дома, — тем же бьющим в одну точку неослабным упорством и полнейшим пренебрежением к тому, как выглядят в глазах горожан те его поступки, которые они видели и какими представляются им те, которых они видеть не могли. Многие из его сограждан все еще считали, что дело тут нечисто: одни думали, что плантация — всего лишь прикрытие для его настоящих, темных махинаций, другие думали, что он измыслил какой-то способ воздействовать на рынок и потому выручал за кипу своего хлопка больше, чем честные люди; третьи, очевидно, думали, что дикие негры, которых он сюда привез, с помощью колдовства ухитрились собрать с акра больше хлопка, чем их прирученные собратья. Его не любили (любви он, впрочем, и не домогался), но боялись, что, казалось, его забавляет, если не радуется. Но его приняли; теперь у него было так много денег, что его нельзя было и дальше не признавать или даже сколько-нибудь серьезно ему докучать. Он добился своего — уже через десять лет после свадьбы дела у него на плантации пошли гладко (теперь у него был надсмотрщик — сын того самого шерифа, который арестовал его у ворот дома его будущей жены в день помолвки), и теперь он тоже играл свою роль — роль человека надменного, живущего в довольстве и праздности, и по мере того, как он благодаря праздности и довольству обрстал мясом, надменность его приобретала отенок чванства. Да, он развратил Элен не только тем, что заставил ее перейти на свою сторону, хотя, подобно ей, понятия не имел, что его расцвет тоже был вынужденным искусственным цветением и что пока он все еще разыгрывал перед публикой свою роль, за его спиной Рок, судьба, возмездие, ирония — некий режиссер, назови его как хочешь, — уже разбирали декорации и готовили реквизит для следующей сцены. «Вот едет...» — сказала твоя бабушка. Но мисс Роза уже увидела Генри. Она стояла рядом с твоей бабушкой, едва доставая головою ей до плеча, щупленькая, в одном из брошенных теткой платьев, которые мисс Роза укоротила себе по росту, хотя никто никогда не учил ее шить — равно как она взяла на себя ведение домашнего хозяйства и предложила обучить этому Джудит, хотя никто никогда не учил ее ни стряпать, ни вообще делать что-либо, кроме как подслушивать у закрытых дверей; стояла, повязав голову платком, словно ей было не пятнадцать лет, а все пятьдесят, смотрела на племянника и говорила: «Ой... да ведь он уже бреется».

Потом она перестала встречаться даже и с Элен. Вернее, Элен перестала их навещать; она нарушила свой ритуал, согласно которому еженедельно объезжала одну за другой все лавки и, не выходя из коляски, заставляла лавочников и приказчиков показывать ей сукно, жалкие украшения и безделушки — они выносили ей товары, отлично зная, что она ничего не купит, а только подержит в руках, помнет,

пощупает, разбросает и в конце концов отвергнет, сопровождая все это потоком пустой беспечной болтовни. Не с презрением и даже не свысока, а добродушно и даже по-детски злоупотребив учтивостью и полной беспомощностью этих мужчин — приказчиков и лавочников, — она отправится в отцовский дом, где тоже поднимет бессмысленный шум и суету и примется самоуверенно давать нелепые, несуразные советы касательно мисс Розы, отца, домашнего хозяйства, мисс Розиных туалетов, расстановки мебели, приготовления пищи и даже часов, когда следует завтракать, обедать и ужинать. Между тем уже близилось время (шел 1860 год, и даже мистер Колдфилд, наверное, признал, что война неизбежна), когда семья Сатпена, чья судьба последние двадцать лет напоминала озеро — питаясь тихими ключами, оно колышется в тихой долине, еле заметно разливаясь и поднимаясь, а на поверхности вод в теплых лучах солнца безмятежно качаются четверо членов семьи, которые уже ощутили первые подземные толчки — ясное предвестие земного катаклизма, — теснящие воды к выходу в узкое ущелье, и вот четыре мирных пловца, внезапно повернув друг к другу головы, еще не ведая тревоги и сомнений, а лишь слегка настораживаясь, смотрят, как над ними сгущается тьма, хотя ни для кого из них еще не настал тот миг, когда человек, оглянувшись на товарищю по несчастью, мысленно задает себе вопрос *Не пора ли оставить заботы о спасении других и подумать, как спасти самому?* еще не понимая, что этот миг вот-вот наступит.

Итак, мисс Роза ни с кем из них больше не встречалась; она никогда не видела (и никогда не увидит живым) Чарльза Бона — Чарльза Бона из Нового Орлеана, друга Генри, который был не только на несколько лет его старше, но и вообще слишком великовозрастным для колледжа и тем более не у места в этом маленьком новом колледже на дальней окраине, даже в захолустье штата Миссисипи, за три сотни миль от блестящего и как бы даже чужестранного города, откуда он был родом — элегантный, блестящий, не по годам самоуверенный молодой человек, красивый, несомненно богатый, за спиной которого вместо родителей маячила призрачная тень адвоката-опекуна, — столь важная персона обитателям миссисипского захолустья тех лет должна была казаться чем-то вроде феникса, не ведавшего детства, рожденного не от женщины, — он неподвластен времени, а исчезнув с лица земли, не оставит нигде ни костей, ни праха — мужчина с изысканными манерами, столь светский и галантный, что рядом с ним спесь и чванство Сатпена казались неуклюжей позой, а Генри выглядел просто неотесанным мальчишкой. Мисс Роза никогда его не видела, это была лишь картина, плод воображения. И совсем не то рассказывала ей о нем Эллен, мотылек, бабочка Эллен, что безмятежно млея в ласковой летней неге, а теперь еще вдобавок приобрела очарование и грацию женщины, великодушно уступающей молодость своей наследнице — ведь иная матрона между помолвкой и свадьбой дочери ухитряется вести себя так, будто она-то и есть настоящая невеста. Слушая Эллен, чужой человек мог бы даже подумать, что бракосочетание, о котором — как покажут последующие события — молодые люди и родители между собой даже и словом не обмолвились, уже состоялось. Эллен ни разу не упомянула также и о любви между Джудит и Боном. Даже и не намекала на нее. Любовь — поскольку речь шла о них — была темой раз и навсегда исчерпанной, все равно что девственность после рождения первого внука. Она говорила о Боне так, словно он являл собою три неодушевленных предмета в одном или скорее один неодушевленный предмет, который она и ее семья используют сразу для трех целей — как костюм, который Джудит могла бы надеть в качестве бального платья или амазонки; как предмет мебели, который дополнит и завершит обстановку ее дома; и, наконец, как ментора, следуя примеру которого Генри мог бы усовершенствовать свои провинциальные манеры, одежду и речь. Она, казалось, перехитрила самое время. Прошедшие годы, в течение которых не было ни медового месяца, ни вообще каких-либо изменений, она превратила в нечто вроде рамы, из которой смотрели пять (теперь уже пять) навеки застывших лиц, словно их запечатлели в заранее предугаданный миг их наивысшего расцвета, стерев с них все мысли и следы пережитого; они висели в пустоте, как живописные портреты людей, живших и умерших в столь давние времена, что об их радостях и горестях ныне, без сомнения, забыли даже и самые подмостки, на которых они расхаживали, становились в позы, плакали и смеялись. Так говорила Эллен; между тем мисс Роза, пропуская мимо ушей все ее речи, представляла себе эту картину по одному лишь первому слову, быть может, даже только по имени: Чарльз Бон; мисс Роза, в шестнадцать лет уже обреченная на вечное девичество, ослепленная

ярким блеском призрачных иллюзий, словно лучами разноцветных лампочек в кабаре, где она впервые в жизни случайно очутилась; близоруко щурясь, она сидит там, а в лучах бесплотной мишуры сверкают мириады пылинок — вихрем обрушившись на нее и секунду помедлив, они вновь устремляются в свой бешеный полет. Она несколько не завидовала Джудит. Нельзя также сказать, будто она жалела себя, когда сидела и смотрела на без умолку болтавшую Элен, одетая в одно из перешитых на живую нитку домашних платьев (платья, которые время от времени дарила ей Элен, иногда поношенные, но чаще совершенно новые, были, разумеется, всегда только из шелка) — тетка бросила их, когда сбежала с барышником, быть может надеясь или даже твердо намереваясь больше никогда ничего подобного не носить. Это была скорее просто немая тоска и даже чувство облегчения от сознания, что теперь она может окончательно и бесповоротно похоронить все свои надежды, — ведь Джудит вот-вот претворит их в живую волшебную сказку. Позднее и Элен рассказывала это твоей бабушке словно сказку, только сказку, сочиненную для членов фешенебельного дамского клуба и ими же разыгранную. Однако мисс Розе все это должно было казаться вполне достоверным и не только правдоподобным, но и вполне справедливым; отсюда ее замечание, которое заставило Элен опять покаться со смеху от изумления (об этой, по ее словам, детской шутке она тоже рассказала). «Мы его достойны», — изрекла мисс Роза. «Достойны? Его? — проговорила или, наверное, воскликнула Элен. — Разумеется, мы его достойны — если ты предпочитаешь выразить это так. Надеюсь, ты понимаешь, что Колдфилды могут только сделать честь любому самому именитому и блестящему жениху».

Ответить на это, разумеется, нечего. По крайней мере, из рассказов Элен никак не следует, что мисс Роза хотя бы попыталась найти какой-нибудь ответ. Она просто проводила Элен, а затем начала готовить для Джудит второй подарок — больше ей нечего было подарить. Теперь у нее в распоряжении было два подарка, второй тоже достался ей в наследство от тетки — выскочив ночью в окно, та одним махом научила мисс Розу и вести хозяйство и подгонять по фигуре платья; правда, второй дар развился позже (был, так сказать, запоздалым отзвуком), ибо когда тетка сбежала, мисс Роза еще не доросла до брошенных ею платьев, и потому их бесполезно было укорачивать. Она принялась тайком шить наряды для приданого Джудит. Материю она взяла в отцовской лавке. Больше брать ей было неоткуда. Твоя бабушка мне рассказывала, что в то время мисс Роза просто не умела считать деньги, то есть теоретически она знала достоинства монет, но никогда не держала в руках наличных денег, которые можно было бы увидеть, пощупать и сосчитать; в определенные дни она отправлялась с корзинкой в город делать покупки в определенных, заранее назначенных мистером Колдфилдом лавках; никакими монетами или ассигнациями при этом — ни на словах, ни на деле — никто не обменивался, а позднее мистер Колдфилд шел по следу, оставленному ею в виде счетов, нацарапанных на бумаге, на стенах или прилавках, и сам их оплачивал. Поэтому ей пришлось взять материю у него, хотя своими запасами, с самого начала состоявшими лишь из предметов первой необходимости, он не мог даже прокормить себя и дочь, и запасы эти отнюдь не увеличились и тем более не стали разнообразней. И, однако, именно к нему в лавку ей пришлось отправиться в поисках материи для изготовления интимных предметов девичьего туалета, которым на самом деле следовало стать ее собственным подвенечным нарядом, и можно лишь вообразить, какими представляла себе мисс Роза эти вещи, не говоря о том, на что они были похожи, когда она без всякой посторонней помощи их сшила. Никто не знает, как она ухитрилась взять материю в лавке у отца. Он ей ничего не давал. Он считал своим долгом снабдить внучку одеждой, чтобы прикрыть ее наготу или защитить ее от холода, но уж никак не для свадьбы. Поэтому я думаю, что мисс Роза ее украла. Должна была украсть. Она, наверное, вытасила ее прямо из-под носа у отца (лавка была маленькая, он сам был у себя приказчиком и, находясь в любой точке, мог видеть все) со свойственным женщинам бесстыдством и склонностью к мелкому воровству, но скорее всего, я думаю, с помощью какой-то отчаянно дерзкой уловки, обманувшей его самой своей невинностью и простотой.

Итак, она даже больше не встречалась с Элен. Элен теперь, очевидно, уже выполнила свое предназначение и, завершив густой короткий век веселой бабочки, исчезла — если не из Джефферсона, то уж во всяком случае из жизни своей сестры; мисс Роза увидит ее еще всего лишь раз, на смертном одре в затемненной комнате,

в доме, на который жестокая судьба уже наложила руку, разметав его черный фундамент и лишив его главной опоры — обоих мужчин, мужа и сына, из которых один отправился на полное опасностей и риска поле битвы, а другой во тьму забвенья. Генри попросту исчез. Слухи об этом донеслись до нее, когда она целыми днями (и ночами — ей приходилось ждать, пока отец уснет) старательно и неумело шла для приданого племянницы наряды, которые ей приходилось прятать не только от мистера Колдфилда, но и от обеих негритянок, чтобы те ему не донесли; она плела кружева из распущенных шнурков и припрятанных ниток и пришивала их к этим нарядам, в то время как пришла весть об избрании Линкольна и о падении форта Самтер; она слушала, но все это едва ли доходило до ее сознания, и погребальный звон, возвещавший гибель ее родной земли, затерялся где-то между двумя старательными, но кривыми стежками на платье — она никогда не наденет и не снимет его ради мужчины, которого ей даже не придется увидеть живым. Генри попросту исчез; она слышала только то, что слышал весь город — накануне Рождества Генри снова приехал на каникулы домой вместе с Боном, красивым и богатым уроженцем Нового Орлеана, о чьей помолвке с дочерью мать за последние полгода прожужжала уши всему городу. Они приехали снова, и теперь город ждал, когда наконец объявят о торжественном дне. А потом что-то случилось. Никто не знал, что именно — то ли что-то между Генри и Боном, с одной стороны, и Джудит — с другой, то ли что-то между тремя молодыми людьми, с одной стороны, и родителями — с другой. Но как бы там ни было, когда настало Рождество, Генри и Бон уехали. А Элен нигде не показывалась (она, очевидно, удалилась в затемненную комнату, откуда уже не выйдет до самой своей смерти двумя годами позже), а так как выражение лиц и поведение Сатпена и Джудит никому ничего не говорили, пришлось довольствоваться рассказами негров: о том, как в ночь под Рождество вспыхнула ссора — не между Боном и Генри и не между Боном и Сатпеном, а между сыном и отцом, и что Генри по всей форме отрекся от отца, отрубил свое право первородства и кров, под которым был рожден, и в ту же ночь они с Боном уехали из дому, оставив убитую горем мать, — правда, как думали в городе, ее сразило не то, что расстроилась свадьба, а просто грубое вторжение действительности в ее жизнь — как бы удар топора, которым из жалости оглушают животное, прежде чем перерезать ему горло.

Итак, вот что услышала мисс Роза. Что она при этом подумала — никто не знает. В городе поступок Генри приписали его горячему нраву, ведь он так молод, да притом тоже Сатпен, и решили, что время все заглядит. Безусловно, такому мнению отчасти способствовало то, как Сатпен и Джудит вели себя по отношению друг к другу и к городу. Они теперь часто приезжали в Джефферсон, как будто — по крайней мере между ними — ровно ничего не произошло; этого, разумеется, не могло бы быть в случае ссоры отца с Боном и, вероятно, в случае какого-либо недоразумения между отцом и Генри: в городе знали, что Генри и Джудит связаны взаимоотношениями более тесными, нежели обычная привязанность между братом и сестрой; взаимоотношения эти очень странные — нечто вроде жестокого, но не личного соперничества между двумя юнкерами отборной роты — они едят из одного котелка, спят под одним одеялом, подвергаются одинаковому смертельному риску и готовы пожертвовать друг за друга жизнью, однако не ради товарища, а чтобы не образовалась брешь в боевой линии части. Вот все, что узнала мисс Роза. Она не могла узнать больше того, что знал весь город, ибо те, кто знал (Сатпен и Джудит, но только не Элен — ей, во-первых, никто бы ничего не сказал, а во-вторых, она все равно бы забыла, не осознала, если б ей даже и сказали, — мотылек, бабочка Элен, из-под которой вдруг ни с того ни с сего вырвали пронизанный солнцем воздух, бросив ее в затемненную комнату, и вот она лежит там совсем одна — пухлые ручки на покрывале, а в глазах даже не боль, просто тупое недоумение), сказали бы ей не больше, чем любому случайному человеку в Джефферсоне или где бы то ни было. Мисс Роза, наверное, съездила туда, наверное, всего один раз и больше уже не ездила. И, наверное, сказала мистеру Колдфилду, что там все в порядке — в чем, вероятно, не сомневалась и сама, поскольку продолжала шить наряды для свадьбы Джудит.

Она все еще занималась этим, когда штат Миссисипи отделился и первые люди в форме конфедератов стали появляться в Джефферсоне, где полковник Сарторис и Сатпен набирали полк, который в шестьдесят первом году выступил из города — Сатпен, помощник командира, гарцевал по левую руку полковника Сарториса на воном жеребце, носившем имя героя романа Вальтера Скотта, под полковым знаме-

нем — зная по их с Сарторисом наброску сшили из шелковых платьев Сарторисовы женщины. Сатпен теперь раздобрел — не только по сравнению с тем, каким он в тот воскресный день тридцать третьего года впервые въехал в Джефферсон, но даже и с тем, каким он был, когда они с Элен поженились. Он еще не был грузным, хотя ему уже пошел пятьдесят пятый год. Жир и толстый живот появились позднее. Они навалились на него внезапно, сразу, в тот год, когда почему-то расстроилась его помолвка с мисс Розой и она, покинув его кров, вернулась в город и с тех пор жила одна в отцовском доме и больше ни разу с ним не говорила, за исключением того единственного случая, когда, узнав, что он умер, она обратилась к нему с гневной речью. Тучность навалилась на него внезапно, словно этот, как выражались Уош Джонс и негры, видный мужчина достиг предела своего совершенства и пребывал в этом состоянии, пока не пошатнулась самая основа его жизни, и тогда что-то в его теле, между внешней формой, которую знали люди, и несгибаемым остовом, который являл собой истинную его сущность, растаяло и осело, как безжизненно обвисший воздушный шар, что держится одной лишь обманчивою оболочкой.

Она не видела, как выступил полк, потому что отец запретил ей выходить из дому, пока он не уйдет, не позволил вместе с другими женщинами и девушками участвовать и даже присутствовать на торжествах по случаю его выступления — впрочем, вовсе не потому, что в полку оказался его зять. Он никогда не был раздражительным человеком, и до формального объявления войны и отделения штата Миссисипи его поступки и речи протеста были не только спокойными, но логичными и вполне разумными. Но когда жребий был брошен, он, казалось, за одну ночь совершенно переменился — точно так же, как переменился характер его дочери Элен несколькими годами раньше. Как только в Джефферсоне стали появляться войска, он запер свою лавку и не отпирал ее все то время, пока набирали и обучали рекрутов, и после ухода полка, когда проходящие мимо воинские части располагались ночью на биваке, ни за какие деньги ничего не продавал военным, и, как говорили, не только родственникам солдат, но даже и людям, которые поддерживали отделение южных штатов и войну хотя бы только в разговорах и суждениях. Он не позволил своей сестре вернуться домой, когда ее барышник-муж вступил в армию; он даже не разрешил мисс Розе смотреть в окно на проходивших по улице солдат. Лавка теперь постоянно была закрыта, и он целыми днями сидел дома. Они с мисс Розой жили в задних комнатах; парадная дверь была заперта, ставни выходящих на улицу окон закрыты. По словам соседей, он проводил весь день, сидя у окна возле узкой щелки между шторами, словно часовой на посту, вооруженный вместо мушкета большой семейной Библией, в которой его четким приказчиьм почерком были записаны даты рождения его самого и сестры, его свадьбы, рождения и свадьбы Элен, рождения обоих внуков и мисс Розы, а также смерти жены (однако даты бракосочетания тетки там не было, ее вписала мисс Роза вместе с датой смерти Элен в тот день, когда она вписала дату смерти самого мистера Колдфилда, Чарльза Бона и даже Сатпена); он сидел там, пока не появлялся какой-нибудь военный отряд; тогда он раскрывал Библию и громким хриплым голосом, заглушавшим даже топот марширующих сапог, начинал декламировать древние, исполненные страстного мистического гнева отрывки, которые он заранее отметил, — так настоящий часовой разложил бы на подоконнике свои патроны. Затем в одно прекрасное утро он узнал, что его лавку взломали и разграбили, очевидно, какие-то чужие солдаты, которые раскинули бивак на окраине города и которых, очевидно, подстрекали, хотя, быть может, только на словах, его же собственные сограждане. В ту же ночь он поднялся на чердак с молотком и горстью гвоздей, заколотил за собой дверь и выбросил молоток из окна. Он отнюдь не был трусом. Это был человек непоколебимой нравственной силы: он приехал на новые места с небольшим запасом товаров, на которые сумел содержать в достатке и покое семью из пяти человек. Разумеется, он достиг этого сомнительными сделками — иначе как сомнительными сделками или плутовством достичь он этого не мог, — а твой дед говорил, что человека, который в таком краю, как штат Миссисипи в те годы, нажился бы только на продаже соломенных шляп, вожжей и солонины, его же собственная родня упрянула бы в дом умалишенных как клетмана. Но трусом он не был, хотя, как говорил твой дед, совесть его возмущалась не столько при мысли о кровопролитии и убийстве, сколько при мысли о расточительстве — о том, что люди напрасно пожирают, уничтожают и портят добро — ради чего это делалось, ему было безразлично.

Теперь существование мисс Розы сводилось к тому, чтобы поддерживать жизнь в себе и в отце. Пока лавку не разграбили, они жили старыми запасами. С наступлением темноты она отправлялась с корзиной в лавку и приносила провизию, которой хватало на день или два. Между тем запасы, и до того давно не пополнявшиеся, значительно сократились даже до разграбления лавки, и вскоре мисс Роза, которую не учили делать ничего практически полезного, ибо тетка воспитывала ее в убеждении, что она существо не только нежное, но еще и драгоценное, стряпала еду, день ото дня становившуюся все менее и менее доступной и все более и более неудобоваримой, а по ночам поднимала ее на чердак отцу с помощью колодезного блока и привязанной к слуховому окошку веревки. И так она три года ночами тайком снабжала человека, которого ненавидела, пищей, едва достаточной для одного едока. Возможно, она прежде не знала, что его ненавидит, возможно, она не знала этого даже теперь, и тем не менее первая из од к солдатам армии южан в том портфеле, который в 1885 году, когда его видел твой дед, содержал их свьппе тысячи, была датирована первым годом добровольного заключения ее отца и написана в два часа ночи.

Потом он умер. Однажды утром рука, обычно поднимавшая корзину с едой, за ней не протянулась. Старые гвозди все еще торчали в двери, и соседи помогли мисс Розе взломать ее топорами и нашли того, кто видел, как единственный источник его существования был разграблен его же собственными защитниками — правда, он отрекся и от них и от дела, за которое они боролись, — нашли его и три нетронутых порции еды возле его соломенного тюфяка, словно за три этих последних дня он мысленно свел все счета с этим миром, подвел итог, проверил его, а потом обратил свой мертвый, равнодушный, неумолимо осуждающий взор на картину всеобщего безумия, несправедливости и произвола. Теперь мисс Роза была не только сиротой, но и нищей. Лавка превратилась в пустую скорлупу; от брошенного строения, из которого бежали даже крысы, не осталось ничего, даже и доброго имени, ибо его хозяин своим поведением навсегда отринул, оттолкнул от себя и соседей, и город, и сражающуюся страну. Теперь не было даже и обеих негритянок — он освободил их тотчас, как они ему достались (кстати, он их не купил, а согласился взять в погашение долга), выправил им вольные, которых они не умели прочитать, и назначил еженедельное жалованье, которое полностью удерживал в счет их текущей цены на невольничьем рынке; и в благодарность за все это они чуть ли не первые из джефферсонских негров бежали и последовали за войсками янки. И потому когда он умер, у него не оставалось ничего — ни добра, ни сбережений. Без сомнения, единственная радость его жизни состояла не в жалком спартанском имуществе, накопленном прежде, чем его путь скрестился с путем его будущего зятя, — не в деньгах, а в воплощаемом ими текущем счете в некоем духовном банке, из которого он надеялся когда-нибудь получить проценты на вложенные туда самоотречение и стойкость. И, без сомнения, во всей истории с Сатпенем его задела не столько потеря денег, сколько то, что ему пришлось пожертвовать своим имуществом, символизирующим стойкость и самоотречение, дабы сохранить в неприкосновенности тот духовный платежный баланс, который он считал раз и навсегда признанным и обеспеченным. Дело, однако, обернулось так, словно из-за какой-то ничтожной ошибки в подписи или дате ему пришлось дважды платить по одному и тому же счету.

Итак, мисс Роза была сиротой и нищей, и на всем белом свете у нее не осталось никакой родни, кроме Джудит и тетки, о которой в последний раз слышали два года назад, когда она пыталась пересечь боевые линии янки, чтобы добраться до Иллинойса, поближе к рок-айлендской тюрьме, где сидел теперь ее муж, — он преда-ложил свои таланты по части поставки лошадей и мулов кавалерии конфедератов и был при этом схвачен. Эллен уже два года как умерла — мотылек, бабочка Эллен, которую ураганом прибило к стене и которая еле-еле бьется, цепляясь за эту стену, нельзя сказать, чтобы она упорно цеплялась за жизнь или испытывала невыносимую боль: ведь она слишком легка, чтобы сильно ушибиться, и даже не очень ясно помнит, какую была солнечная пустота до урагана, нет, она просто оглушена и сбита с толку — эта пестрая суетная оболочка, которая даже не очень изменилась за год, что она жила впроголодь, — ведь вслед за войсками янки сбежали и все Сатпеновы негры, дикая кровь, которую он привез сюда и пытался слить, смешать с прирученной местной так же старательно и с той же целью, как смешивал кровь своего жеребца, да и свою собственную. И с одинаковым успехом: словно лишь его присутствие могло заставить этот дом принять и сохранять человеческую жизнь; словно дома и в самом

деле обладают чувствами, личностью и характером, не столько приобретенными от людей, которые в них дышали или дышат, сколько изначально присущими дереву и кирпичу или сообщенными этому дереву и кирпичу тем или теми, кто их задумал и построил; этот же дом бесспорно тяготеет к заброшенности и пустоте, упорно сопротивляясь любым обитателям, если только их не поощрял и не поддерживал кто-то жестокий и сильный. Эллиен, конечно, немного похудела — но лишь так, как распадается бабочка, вступившая в стадию распада: площадь туловища и крыльев и вправду еле заметно уменьшается, пятнистый узор чуть-чуть сжимается, не образуя при этом, однако, ни единой морщинки — все то же гладкое, почти девичье лицо на подушке (правда, теперь мисс Роза обнаружила, что Эллиен, очевидно, уже многие годы красила волосы), те же, почти такие же пухлые (правда, теперь уже без колец) ручки на покрывале; и только растерянность в темных непонимающих глазах свидетельствовала, что в ней еще теплится остаток жизни, необходимый лишь для того, чтобы в предчувствии приближающейся смерти попросить семнадцатилетнюю сестру защитить ее оставшееся дитя. (Генри все еще пребывал в сетях, он добровольно отказался от права первородства и еще не вернулся, чтобы сыграть последнюю роковую роль в судьбе своей семьи — и эта чаша, как сказал твой дед, тоже миновала Эллиен; не то чтобы это нанесло ей последний сокрушительный удар, нет, скорее это осталось бы без последствий — ведь цепляющаяся за стену бабочка, даже еще и живая, уже не смогла бы ощутить ни потрясений, ни ветра). Поэтому для мисс Розы было вполне естественно перебраться к Джудит; столь же естественно для нее, как и для любой другой женщины, южанки из хорошей семьи. Ей вовсе не требовалось никакого приглашения; никому бы и в голову не пришло, что она станет его ожидать. Ибо такова благородная дама с Юга. Мало того что она без гроша за душой и без каких-либо видов на будущее, и притом зная, что это знают все, кто знает ее, с зонтиком, с собственным ночным горшком и с тремя сундуками вторгается к тебе в дом, в ту комнату, где твоя жена стелит простыни с вышивкой ручной работы, и начинает командовать всеми чернокожими слугами, которым, как и белым, доподлинно известно, что у нее никогда не будет денег на чаевые; мало того что она идет прямо на кухню, отстраняет кухарку и приправляет по своему вкусу твой обед; дело даже не в этом, оказывается, для поддержания жизни ей этого недостаточно; оказывается, она, как вампир, и впрямь питается живою кровью — нельзя сказать, чтобы ненасытно и уж конечно без особой алчности, а просто с безмятежной и царственной праздною цветка она добывает себе пропитание из старой крови — ведь она течет и в ее жилах, — из той крови, что пересекла неведомые моря и континенты и вступила в бой с затаявшимися в непроходимых джунглях злым роком.

Именно этого от нее и ожидали. Но этого она как раз и не сделала. Между тем у Джудит все еще оставались заброшенные клочки земли, которые могли ее поддержать, не говоря уж о Клити, которая ей помогала и составляла ей компанию, и об Уоше Джонсе, который кормил ее, как кормил Эллиен, пока та не умерла. Однако мисс Роза переехала туда не сразу. Возможно, она вообще никогда бы не переехала. Хоть Эллиен и просила ее защитить Джудит, она, вероятно, чувствовала, что Джудит пока еще не нуждается в защите — ведь если даже отсроченная любовь могла укрепить в ней волю к жизни и долготерпение, то эта же самая любовь, пусть даже и отсроченная, должна сохранить и действительно сохранит Бона до той поры, пока безумие мужчин истощится, утихнет, зайдет в тупик, и он вернется оттуда, где был, и привезет с собой Генри — Генри, жертву того же безумия и злосчастья. Она, наверное, время от времени виделась с Джудит, и Джудит, возможно, уговаривала ее переехать в Сатпену Сотню, но я думаю, что не поехала она туда именно по этой причине, хотя понятия не имела, где находятся Бон и Генри, а Джудит, по-видимому, не пришло в голову ей об этом сообщить. Ибо Джудит это знала. Она, вероятно, знала это уже давно, и даже Эллиен могла это знать. Но, может быть, Джудит не рассказывала об этом даже и матери. Может быть, Эллиен так до самой смерти и не узнала, что Генри и Бон теперь служили рядовыми в роте, сформированной их одноклассниками по университету. Первое за все четыре года известие о том, что племянник ее еще жив, мисс Роза получила в тот день, когда Уош Джонс верхом на единственном оставшемся у Сатпена муле подъехал к ее дому и принялась громко звать ее по имени. Она видела его и раньше, но теперь не узнала — долговязый, костлявый, желтый от малярии дитя со светлыми глазами и физиономией, которая с одинаковым успехом могла принадлежать человеку любого возраста от двадцати пяти до шестидесяти

лет, сидел верхом на неоседланном муле у калитки и до тех пор выкрикивал «эй, эй!», пока она не подошла к дверям, после чего он чуть-чуть понизил голос, хотя и не слишком. «Вы будете Розы Колдфилд?» — спросил он.

IV

Квентин ждал дома — было еще слишком светло, во всяком случае слишком светло для мисс Колдфилд, даже если принять во внимание, что предстоит проделать двенадцать миль туда и двенадцать обратно. Квентин это знал. Казалось, он видит, как она сидит и ждет в одной из душных темных комнат своего унылого одинокого домика. Света она не зажигала — ведь она скоро уедет из дому, а какой-то духовный наследник или родич тех, кто некогда объяснял ей, что от света и движения воздуха веет жаром, наверное, внушила ей также, будто стоимость электричества, которую показывает счетчик, зависит не от фактической продолжительности горения, а от количества энергии, затраченной на преодоление инерции при повороте выключателя. Она уже, наверное, надела черную шляпку с черными блестками — он знал и это, — а также шаль; она сидит в ступающемся ущербном сумраке и уже сейчас держит в руках или на коленях ридикюль со всеми ключами: от кладовки, буфета и от дома, который она собирается покинуть всего на каких-нибудь шесть часов, и, подумал он, непременно зонтик от солнца и от дождя; она сидит и думает, что теперь ей не страшна любая непогода, ведь хотя до сегодняшнего дня он за всю свою жизнь не обменялся с ней и сотнею слов, ему было известно, что она до этого вечера, возможно даже за все свои сорок три года, ни разу не выходила из дому после захода солнца, если не считать молитвенных собраний по средам и воскресеньям. Да, зонтик она возьмет непременно. С ним она выйдет на порог, когда он за нею заедет; она не выпустит его из рук весь вечер, душный, знойный, сухой вечер без капли росы — даже теперь, когда стало темнеть, жара нисколько не спала, и лишь светляки чуть-чуть быстрее и суматошнее закружились вокруг веранды, где он сидел, когда мистер Компсон с письмом в руке вышел из комнат и мимоходом щелкнул выключателем лампочки, освещавшей крыльцо.

— Здесь его не разберешь, тебе, наверно, придется войти в дом, — сказал мистер Компсон.

— Я, пожалуй, и здесь разберу, — ответил Квентин, поднимаясь со стула.

— Возможно, ты и прав. Возможно, дневной свет, не говоря уж о ней, — мистер Компсон махнул рукой в сторону единственной, засиженной мухами, за долгое лето покрывшейся толстым слоем пыли лампочки, которая, впрочем, и без того светила очень слабо, — возможно, и такой свет будет слишком ярк для них. Да, для них, кто жил в те дни, в те времена, в те мертвые времена; люди, как и мы, жертвы, как и мы, они были, однако, жертвами других, более простых и — относительно — более значительных, более героических обстоятельств, и потому сами они тоже не жалкие запутавшиеся пигмеи, а фигуры более героические, крупные, простые и ясные, надежные даром любить только раз и умирать только раз; это не жалкие марионетки, чьи головы, руки и ноги ярмарочный комедиант наудачу вытаскивает из мешка и, как попало прикрепив к туловищу, заставляет тысячу раз подряд становиться убийцами или жертвами убийства, тысячу раз подряд сходиться и снова расходиться. Возможно, ты прав. Возможно, более яркий свет им совершенно не нужен. — Однако письмо он дал Квентину не сразу.

Он снова сел; Квентин тоже сел, взял с перил веранды сигару, кончик ее снова начал тлеть; аромат глицинии разноцветным дымом плыл по лицу Квентина; мистер Компсон поднял ноги на перила веранды, в руке он держал письмо, и рука его на фоне полотняной штанины казалась черной, как у негра.

— Ведь Генри любил Бона. Он отрекся от права первородства и от материального достатка ради человека, который если и не был законченным негодяем, то уж во всяком случае намеревался стать двоежнецом; ради человека, на мертвом теле которого Джудит четыре года спустя найдет фотографию другой женщины и ребенка. Он (Генри) так сильно его любил, что бросил отцу обвинение во лжи, хотя должен был понять, что отец не мог и не стал бы утверждать ничего подобного без веских к тому оснований и доказательств. И все же Генри это сделал, он сам своей рукой нанес удар, хотя и должен был знать, что отец говорил ему про женщину и ребенка, — правда. Он должен, непременно, должен был сказать себе в тот сочальный,

когда в последний раз закрыл за собою дверь библиотеки, и должен был повторять, когда вместе с Бонем сквозь студеную тьму того рождественского утра скакал верхом прочь от дома, в котором он родился и который увидит снова всего один лишь раз — в тот день, когда руки его обгалятся свежей кровью того самого человека, что теперь ехал рядом с ним; он должен был сказать себе *Я хочу верить. Хочу, хочу. Даже если это так, даже если отец сказал мне правду и если я наперекор себе не могу не признать, что это правда, я все равно хочу и буду верить.* Да и что еще мог он надеяться найти в Новом Орлеане, если не правду? Но кто знает, почему человек, даже страдая, цепляется не за здоровую руку или ногу, а за ту, которую, как он знает, должны у него отнять? Ведь он любил Бона. Мне кажется, я вижу его и Сатпена в библиотеке в тот сочельник — отца и сына; слышу утверждение и обвинение во лжи, как звук и отзвук, как громовой раскат и эхо сразу вслед за ним, и Генри тотчас делает свой непреложный выбор между отцом и другом, выбор (как ему, наверное, казалось) между честью и любовью, с одной стороны, и кровью и выгодой — с другой, хотя в то самое мгновение, когда он обвинял отца во лжи, он знал, что это правда. Отсюда эти четыре года, этот искус. Даже тогда, в тот сочельник, он должен был знать, что это напрасно, а тем более когда узнал и собственными глазами увидел все в Новом Орлеане. К тому времени он, вероятно, уже настолько изучил Бона, что должен был понять: раз тот не изменился прежде, то скорее всего не изменится и позже, и все равно он (Генри) не мог сказать другу *Я сделал то из любви к тебе, сделай же это из любви ко мне.* Понимаешь, он не мог этого сказать — он, этот человек, этот юноша, едва достигший двадцати лет, отвернулся от всего, что у него было в жизни, чтобы связать свою судьбу с единственным другом, которого — даже в ночь их отъезда он должен был это знать, как знал, что отец сказал ему правду, — которого он обречен и вынужден убить. Он должен был знать это точно так же, как знал, что надежда его напрасна; какая надежда, на что, он и сам не мог бы сказать; в каком сне ему могло привидеться, будто изменился друг или обстоятельства; какая надежда, какой сон, от которого он в одно прекрасное утро пробудится и поймет, что это был лишь сон, — так в горячем бреду раненому мерещится, будто его нежная любимая рука или нога цела и невредима, а болят у него только здоровые.

Это был искус для самого Генри, и Генри заставил всех троих ждать, на что — до известного предела — пошла даже и Джудит. Она не знала, что случилось в библиотеке в ту ночь. По-моему, она ничего не подозревала до того, как четыре года спустя увидела их снова в тот день, когда в дом внесли тело Бона и она нашла в кармане его мундира фотографию, на которой было не ее лицо и не лицо ее ребенка; а в то Рождество она просто проснулась утром и узнала, что они уехали, и осталось только письмо, записка — от Генри, ведь он уж конечно запретил Бону ей писать — весть о перемирии, об искусе, и Джудит до известного предела на это пошла — Джудит, которая ослушалась бы любого приказа отца так же мгновенно, как Генри бросил ему вызов; она ведь и Генри послушалась не потому, что он был родственником, братом, а лишь в силу их особых отношений — они составляли как бы одно существо с двумя телами, и обоих одновременно обольстил человек, которого Джудит к тому времени еще ни разу не видела. Оба — и Джудит и Генри — знали, что она выдержит искус и позволит ему (Генри) использовать этот перерыв, но лишь до обоюдного ими признанного, хотя точно и не названного и не обозначенного предела, причем оба, конечно, не сомневались, что когда дойдет до этого предела, она так же спокойно откажется от уступок, традиционно свойственных слабому полу, нарушит перемирие и встретит его как врага, отнюдь не требуя и даже не желая присутствия и помощи Бона, и, без сомнения, даже не позволит ему вмешаться, если б он при сем и присутствовал, а сначала — как мужчина с мужчиной — вступит в бой Генри и лишь потом согласится снова стать женщиной, возлюбленной и невестой. Ну а Бон? Генри едва ли мог рассказать Бону, что говорил ему отец, равно как едва ли мог возвратиться к отцу и заявить ему, что Бон это отрицает, — ведь чтобы сделать одно, ему пришлось бы сделать и другое, а он знал, что отрицание Бона было бы ложью, и хотя сам мог стерпеть ложь Бона, ни за что бы не повторил ее ни отцу, ни Джудит. К тому же Генри вовсе не нужно было рассказывать Бону о происшедшем.

Ведь как только Бон тем первым летом приехал домой, он несомненно узнал, что Сатпен был в Новом Орлеане. Он несомненно понял, что Сатпен теперь знает его тайну — если только Бон, прежде чем он увидел, как отнесся к его тайне Сатпен, вообще считал, что такие вещи следуют хранить в тайне, а тем более что они

могут быть серьезным препятствием для женитьбы на белой женщине — ведь в подобном положении, по всей вероятности, находились все его современники, которые могли себе это позволить, и ему так же мало могло бы прийти в голову извещать об этом свою жену или невесту, как раскрывать им секреты студенческого братства, в которое он вступил до женитьбы. В сущности, единственное, чем родственники его нареченной невесты когда-либо его удивили, так это именно своим отношением к этому открытию. Если кто из них производит на меня странное впечатление, так это именно он. Он явился в это захолустье, в это сельское пуританское семейство почти так же, как сам Сатпен некогда явился в Джефферсон, — человек неизвестного происхождения, по всей видимости совершенно сложившийся, без прошлого, без детства, без родины, с виду немного старше своих лет, в ореоле какого-то языческого великолепия; человек, который, очевидно, без всяких усилий и даже без особого желания обольстил двух провинциалов — брата и сестру, вызвал всю эту сумятицу и тем не менее с той самой минуты, когда он понял, что Сатпен старается помешать свадьбе, превратился как бы в простого зрителя — бездеятельного, слегка ироничного и в высшей степени загадочного. Кажется, будто он почти бесплотной тенью витает где-то позади или выше всех этих прямолинейных и логичных, хотя и не совсем (для него) понятных требований, заявлений, утверждений и отрицаний с видом ироничной и ленивой отчужденности, словно юный римский консул, который, дабы пополнить свое образование, путешествует по областям, где обитают орды варваров, некогда покоренные его дедом, вынужден остановиться на ночлег посреди дышащего миазмами, населенного призраками глухого леса, в жуткой землянке, принадлежащей сварливому ребячливому семейству. Кажется, будто он находит всю эту историю не то чтобы непонятной, а попросту ненужной; будто он сразу понял, что Сатпен узнал про его любовницу и ребенка, и теперь действия Сатпена и ответные действия Генри представляются ему (Бону) бестолковой суетой одержимых моральными запретами людей, недостойных называться мыслящими, и он рассматривает их с тем бесстрастным вниманием, с каким изучает мышцы захлороформированной лягушки постигший всю бездну премудрости ученый, по сравнению с которым Генри и Сатпен просто троглодиты. Это странное впечатление производит не столько его внешность, манера ходить, говорить, одеваться, провонять Элен к столу и к карете и (возможно, даже наверное) целовать ей руку, чем Элен с такой завистью восхищалась, мечтая, чтобы все это перенял Генри, сколько он сам — невозмутимое фаталистическое спокойствие, с которым он наблюдал за этими людьми, предоставляя им действовать по своему усмотрению, словно все время знал, что ему надо ждать удобного случая — и только; знал, что окончательно и бесповоротно обольстил и Генри и Джудит, а раз так, то ему нечего бояться, что он не сможет жениться на Джудит, когда захочет. Не основанная частью на инстинкте, частью на вере в удачу, частью на мускульной привычке нервов и чувств почти бессознательная хитрость игрока, который ждет случая урвать как можно больше из того, что само идет ему в руки, а какой-то сдержанный стойкий пессимизм, много поколений назад освободившийся от всех побрякушек и трескучих фраз таких людей (да, таких, как Сатпен, Генри, да и Колдфилды тоже), которые еще не совсем вышли из варварства и ближайшие две тысячи лет все еще будут торжествующе сбрасывать с себя ярмо латинской культуры и интеллекта, никогда, впрочем, особенно им не угрожавшее.

Ведь он любил Джудит. «По-своему», несомненно добавил бы он, ибо, как вскоре узнал его нареченный тесть, он уже не первый раз играл эту роль, не первый раз давал такие клятвенные обещания, какие он давал Джудит, не говоря уж о том, что не в первый раз намеревался связать себя этими узами, на свой лад проводя различие (он был или, по крайней мере, считался католиком) между торжественным обрядом с белой женщиной и с той, другой. Сейчас ты увидишь письмо — не первое его письмо к ней, но, во всяком случае, первое, единственное, как было в то время известно твоей бабушке, которое она когда-либо показывала, и поскольку ее теперь нет на свете, мы можем считать его единственным, которое она сохранила, если, конечно, после ее смерти мисс Роза или Клити не уничтожили все остальные, да и это сохранилось не потому, что Джудит его сберегла, а потому, что она сама принесла и отдала его твоей бабушке после смерти Бона, возможно, в тот самый день, когда она уничтожила остальные его письма (разумеется, если считать, что уничтожила их она сама), надо думать, в тот день, когда она нашла в мундире Бона портрет его любовницы-окторонки и мальчика. Ведь он был ее первым и последним возлюб-

ленным. Она, наверное, смотрела на него точно такими же глазами, как Генри. И было бы трудно сказать, кому из них он казался великопнее — той, что делеяла надежду, пусть даже неосознанную, присвоить его себе посредством обладания, или тому, кто был лишен всякой надежды, ибо знал, что их разделяет непреодолимый барьер пола — он, этот человек, которого Генри, быть может, впервые увидел, когда он ехал по университетской роцке верхом на одной из принадлежащих ему двух лошадей, или когда он пересекал дворик в плаще французского покроя и в шляпе, или же (так мне хотелось бы думать) когда его по всей форме представили Бону, причем тот в цветастом, почти женском халате сидел, откинувшись на спинку кресла, у залитого солнцем окна одной из своих комнат — красивый, эlegantный, со слегка кошачьими повадками, он был слишком стар для своего окружения, слишком стар не по годам, а по жизненному опыту; от него почти осязеаемо веяло духом пресыщенья, как от человека, который все познал, завершил все свои дела, удовлетворил все вожделения, исчерпал и даже позабыл все наслаждения. И потому не только для Генри, но и для всех студентов этого нового, маленького провинциального колледжа он должен был стать источником не зависти — ибо завидовать можно лишь тому, кто, как тебе кажется, не имеет над тобой никаких преимуществ, разве что случайных: ведь и тебе когда-нибудь улыбнется фортуна, и ты их тоже приобретешь, — не зависти, а отчаяния, горького, страшного, нестерпимого, безнадежного отчаяния юности, которое порой выливается в оскорбление и даже насилие, обращенное против того, кто это отчаяние породил, или, в крайних случаях, как это было с Генри, в оскорбление и насилие, обращенное против всех и каждого, кто посмеет этого человека опочить, — о чем свидетельствует бешеная ярость, с какою Генри отрелся от отца и права первородства, когда Сатпен запретил свадьбу. Да, он любил Бона, который соблазнил его столь же бесповоротно, сколь он соблазнил Джудит, — этот парень, родившийся и выросший в глуши, подобно остальным пяти или шести студентам, тоже сыновьям плантаторов, которых Бон приблизил к своей особе и которые по-обезьяньи подражали его одежде, манерам и (в меру своих возможностей) его образу жизни, — этот парень смотрел на Бона так, словно тот был героем некой «Тысячи и одной ночи» для юношества, который случайно наткнулся на волшебный камень или талисман, наделивший его не мудростью, не властью, не богатством, а способностью и возможностью непрерывно, неустанно и ненасытно переходить от одного невообразимого наслаждения к другому. Их изумление и безнадежная горькая обида еще больше усиливались оттого, что этот сибарит, который нежилса в роскошных покоях, разодеый в диковинные, почти женские наряды, ничуть не скрывал от них своей пресыщенности. Генри — провинциал, чуть ли не простак, склонный скорее к диким безотчетным выходкам, нежели к размышлениям и, как всякий провинциал, страстно гордившийся девственностью своей сестры, — не мог не сознавать, что эта гордость противоречит самой себе, ибо девственность ценится и существует лишь благодаря своей недолговечности, и лишь ее утрата, отсутствие могут доказать, что она вообще когда-либо существовала. В сущности, это, вероятно, и есть кровосмешение в его чистом, законченном виде — брат понимает: для того чтобы девственность его сестры существовала, ее надо уничтожить, и он отнимает у сестры девственность через посредство зятя, человека, которым он был бы, если бы мог превратиться, воплотиться в любовника, мужа, — того человека, которого он принял бы, избрал в качестве похитителя своей собственной невинности, если бы мог превратиться, воплотиться в сестру, любовницу, невесту. Быть может, именно это и происходило — если не в сознании Генри, то в его душе. Ибо он никогда не думал. Он чувствовал и мгновенно переходил от чувства к действию. Он знал верность и хранил ее, он знал гордость и ревность, он любил, скорбел и убивал, все еще скорбя и, я думаю, все еще продолжающая любить Бона, человека, которому он дал четыре года, чтобы тот прошел искуса, отринул и расторг свой первый брак, хотя и признавал, что все эти четыре года надежд и ожиданий пропадут напрасно.

Да, Джудит обольстил Генри, а вовсе не Бон, доказательством чему служит весь их на редкость спокойный роман: помолвка (если вообще можно говорить о помолвке), длившаяся целый год, но включавшая лишь два визита на каникулах, во время которых Бон в качестве гостя ее брата, по-видимому, либо катался верхом и охотился вместе с Генри, либо изображал томный, изящный, загадочный тепличный цветок с одним лишь названием города вместо происхождения, истории и прошлого, цветок, вокруг которого Элен беспечно порхала и трепыхалась, словно мотылек в последние

дни бабьего лета; им, живым человеком, понимаешь ли, завладели как вещь. Дни были заполнены до предела, и не было никакого просвета, промежутка, перерыва, когда он мог бы поухаживать за Джудит. Его просто невозможно представить себе наедине с Джудит. Попробуй — и в лучшем случае вместо них ты увидишь лишь тени, тогда как сами они, без сомнения, каждый в отдельности пребывали где-то в другом месте — две тени, не ведая тревог и плотских вожделений, прогуливаются летним днем по саду — два безмятежных призрака бесстрастно, внимательно и молча витают, глядя сверху и сзади на зловещую грозовую тучу, из которой несокрушимый, как скала, Сатпен и неуемный неистовый Генри, вспыхивая, сверкая и угасая, мечут друг на друга ослепительные молнии запретов, послушания и непокорства — Генри, который до того ни разу не был даже и в Мемфисе, который ни разу не покидал родного дома до того сентября, когда он в своем провинциальном костюме отправился в университет верхом на новой кобыле, в сопровождении конюха-негра; ты увидишь их всех, шесть или семь человек одинакового происхождения, живших в одно и то же время, которые если и отличались от своих кормильцев — чернокожих рабов, то чисто внешне: пищей, одеждой и повседневными занятиями — одинаковый пот с той лишь разницей, что одни проливали его, работая в поле, а для других он был ценою скудных спартанских развлечений — бешеных скачек и охоты, — доступных им лишь потому, что им не приходилось потеть на полях; одинаковые забавы — у одних игра на старые ножи, медные побрякушки, табак, пуговицы или куртки, потому что это всегда под рукой; у других — на деньги, лошадей, часы и пистолеты, и по той же причине; одинаковые вечеринки с танцами под одинаковую музыку одинаковых, грубо сработанных скрипок и гитар — здесь, в господском доме, со свечами, шелковыми туалетами и шампанским, там, в хижине с земляным полом, при дымящихся сосновых лучинах, в ситцевых платьях и с водой, подслащенной патокой, — да, конечно, Джудит обольстил Генри, потому что Бон в то время еще даже ни разу ее не видел. Он, наверное, слушал только краем уха косноязычные рассказы Генри о его жизни и о короткой, весьма заурядной родословной и потому едва ли запомнил, что у Генри есть сестра, — он, этот ленивец, человек слишком старый, чтобы водить компанию с юношами, почти детьми, среди которых он теперь жил; этот человек, который временно играл не свою роль и хорошо это знал, мирился с этим потому, что была причина, заставлявшая его это терпеть, достаточно веская и явно слишком важная или, во всяком случае, слишком личная, чтобы открыть ее своим теперешним знакомцам; этот человек, который позже выказал такую же лень, почти полное отсутствие интереса, такое же безразличие, когда поднялся шум вокруг помолвки, которая — насколько было известно в Джефферсоне — так и не состоялась и существования которой сам Бон никогда не подтверждал и не отрицал; он оставался на заднем плане, пассивный и бесстрастный, словно в этой истории был замешан не он и даже не какой-то отсутствующий приятель, от чьего имени он действовал, а словно человек, который и в самом деле был в ней замешан и получил отказ, совершенно ему неизвестен и даже безразличен. Казалось, никакого романа не было даже и в помине. Судя по всему, он оказал Джудит весьма сомнительную честь тем, что не сделал даже попытки ее погубить и к тому же отнюдь не настаивал на свадьбе — ни до, ни после запрещения Сатпена, — и это, заметь себе, человек, который еще в университете пользовался репутацией сердцееда задолго до того, как Сатпен нашел тому доказательства. Итак, не было ни помолвки, ни даже романа; они с Джудит за два года виделись три раза, всегонавсего семнадцать дней, включая время, которое отняла Элли, и расстались, даже не попрощавшись. И тем не менее четыре года спустя Генри пришлось убить Бона, чтобы помешать им жениться. Вот почему обольстил Джудит именно Генри, а отнюдь не Бон — обольстил ее, а заодно и самого себя с расстояния, отделявшего Оксфорд от Сатпеновой Сотни, а ее от человека, которого она еще даже и не видела; обольстил, очевидно, посредством той телепатии, благодаря которой они в детстве порою, казалось, заранее предвидели поступки друг друга, как две птицы, что одновременно вспархивают с ветки, — это не та взаимосвязь, что согласно ходячему заблуждению существует между близнецами, а скорее та, что может существовать между двумя людьми, которых, невзирая на их пол, возраст, наследственность, расу и язык, сразу после рождения высадили на необитаемый остров — островом здесь была Сатпенова Сотня, а уединением, одиночеством они были обязаны отцу, с которым не только город, но даже и семья их матери всего лишь заключили перемирие, а отнюдь его не приняли и с ним не породнились.

Ты представляешь себе? Вот они — девочка, выросшая в глуши девушка видится с человеком в среднем по одному часу в день на протяжении двенадцати дней его жизни, к тому же за период в полтора года и тем не менее так жаждет выйти за него замуж, что вынуждает своего брата прибегнуть к последнему средству — убийству, чтобы это замужество предотвратить, и это после четырех лет, в течение которых она даже не всегда была уверена, что он еще жив; отец, который видел того человека всего лишь раз и тем не менее отправился за шестьсот миль, чтобы навести о нем справки и найти либо то, что он — не иначе как в силу ясновиденья — уже подзрел, либо, по крайней мере, нечто такое, на основании чего можно запретить свадьбу; брат, для которого честь и счастье сестры — принимая во внимание их странные и необычные взаимоотношения — еще более драгоценны, чем для отца, и который тем не менее отстаивает эту свадьбу до такой степени, что отрекается от отца, от родного дома и семьи и четыре года сопровождает отвергнутого жениха, служит ему, а затем его убивает, очевидно, по той же причине, по какой четырем годами раньше покинул свой дом; и, наконец, возлюбленный, который явно помимо своей воли и желания был втянут в помолвку, чего, казалось, он хотя и не домогался, но и не избегал, который столь же иронически и бесстрастно принял отказ и тем не менее четыре года спустя так возжаждал этой женитьбы, прежде совершенно его не интересовавшей, что вынудил брата, ранее отстаивавшего эту женитьбу, убить его, только чтобы ее предотвратить. Да, если даже допустить, что для не искушенного в правилах светского обращения Генри, не говоря об его умудренном житейским опытом отце, уже одного существования любовницы с одной восьмью и сына с одной шестнадцатой долей негритянской крови (даже если принять во внимание морганатический брак — такую же неотъемлемую часть общественной и светской экипировки богатого молодого жителя Нового Орлеана, как его бальные туфли) было достаточно, хотя такая щепетильность в вопросах чести несколько чрезмерна даже для тех призрачных образцов добродетели, какими были наши предки — равно и мужчины и женщины, — родившиеся на Юге и достигшие совершеннолетия около 1860 или 61 года. Это просто невероятно. Это просто ничего не объясняет. Или, может быть, так: они нам ничего не объясняют, а нам самим ничего знать не полагается. До нас дошли лишь кой-какие изустные предания; мы извлекаем из старинных сундуков, ящичков и картонок письма без обращения и подписи, в которых некогда жившие мужчины и женщины теперь являют собой лишь инициалы или прозвища, символы каких-то теперь совершенно непонятных страстей, которые звучат для нас как санскрит или язык индейцев чокто; мы видим смутные силуэты людей, в чьей горячей плоти и крови дремали в ожидании мы сами, людей, которые, все больше и больше удаляясь в глубину веков, принимают теперь размеры поистине героические и разыгрывают перед нами сцены неподвластных времени, непостижимых первобытных страстей и первобытного насилия, — да, все они: Джудит, Бон, Генри, Сатпен. Они все здесь, и все равно чего-то не хватает; они напоминают химическую формулу, которую мы осторожно извлекали вместе с письмами из того самого забытого сундука, старинная выцветшая бумага крошится, чернила поблекли, мы с трудом разбираем почерк, странно знакомый, полный глубокого значения и смысла, знак и след неуловимых, наделенных чувствительностью элементов; мы соединяем их в требуемых пропорциях, но ничего не происходит; мы внимательно, сосредоточенно, вдумчиво перечитываем все сначала, убеждаемся, что ничего не забыли, не допустили ни малейшей погрешности в расчетах, мы соединяем их снова, и снова ничего не происходит — перед нами всего лишь слова, символы, формы, смутные, загадочные, равнодушные, на бурном фоне кровавых и страшных человеческих деяний.

Бон и Генри приехали из университета на эти первые рождественские каникулы. Джудит, Эллен и Сатпен увидели Бона впервые, — Джудит увидела человека, в обществе которого проведет всего двенадцать дней, но запомнит настолько, что четыре года спустя (за это время он ни разу ей не написал. Генри не позволял ему — понимаешь, ведь он проходил искус), получив от него письмо со словами *Мы ждем уже достаточно долго*, тотчас начнет вместе с Клити шить из лоскутков и обрезков фату и подвенечное платье; Эллен увидела в нем изысканное, причудливое и как бы даже бесполое произведение искусства, которым она с детской жадностью вознамерилась украсить свой дом; Сатпен после первой встречи, когда помолвка существовала только в воображении его жены, усмотрел в Боне скрытую угрозу достигнутому им (наконец-то!) блестящему завершению всех его долгих трудов и честолюбивым замы-

слов, угрозу, представлявшуюся ему настолько очевидной, что для доказательства реальности ее он предпринял путешествие за шестьсот миль — и это сделал человек, который вызвал бы на дуэль и застрелил любого, кого он опасался или невзлюбил, но и десятка миль бы не проехал, чтоб навести о нем справки. Понимаешь? Может даже показаться, что путешествие Сатпена в Новый Орлеан — просто случайность, еще один бессмысленный подвох злого рока, избравшего своею жертвой именно эту семью из всех остальных жителей округа или даже всей страны, — точно так же мальчишка, сам не зная почему, обливает кипятком именно этот муравейник и никакой другой. Бон и Генри пробыли в Сатпеновой Сотне две недели и отправились назад в университет; по дороге они заехали навестить мисс Розу, но ее не оказалось дома; весь долгий весенний семестр они болтали, ездили верхом и учились (Бон изучал право. Ему, в сущности, не оставалось ничего другого — если не считать ту причину, что заставила его оставаться здесь, — ибо только эти занятия, это копанье в запыленных ветхих фолиантах Блэкстоуна и Коука³ отлично сочетались с его томной ленью, лишь они могли скрасить его пребывание в этом университете, число студентов которого все еще обозначалось двухзначной цифрой, а на юридическом факультете, кроме него самого и Генри, числилось всего шесть человек, — да, он соблазнил Генри и на это: Генри перешел на юридический в середине семестра), причем Генри обезьянничал, скорее даже повторял в карикатурном виде его манеру говорить и одеваться. А Бон, хотя уже и познакомился с Джудит, очевидно, оставался все тем же ленивцем с кошачьими повадками, которому Генри теперь навязывал роль жениха своей сестры, подобно тому как во время осеннего семестра Генри и его однокашники навязали Бону роль Лотарио; Эллен и Джудит теперь два или три раза в неделю ездили за покупками в город и однажды заглянули к мисс Розе по дороге в Мемфис, куда они отправились в карете; впереди ехал фургон для багажа, а на облучке рядом с кучером восседал второй черномазый, в чьи обязанности входило через каждые несколько миль разводить костер и калить кирпичи, на которых грели себе ноги Эллен и Джудит; они ездили по лавкам, покупая приданое на свадьбу, хотя помолвка существовала пока только в воображении Эллен; между тем Сатпен, который видел Бона всего лишь один раз, теперь, когда тот вторично приехал в его дом, находился в Новом Орлеане, где наводил о нем справки, и кто знает, о чем он думал, какого дня, какой минуты ожидал, чтобы поехать в Новый Орлеан и найти там нечто, очевидно уже давно ему известное? Ему не с кем было поговорить, не с кем поделиться своими страхами и подозрениями. Он не доверял ни одному мужчине, ни одной женщине, он, этот человек, которого не любил никто — ни один мужчина, ни одна женщина — ведь Эллен была неспособна любить, а Джудит была слишком на него похожа, а что до сына, то Сатпен, наверное, с первого взгляда увидел, что Бон — хотя дочь еще можно от него спасти — сына его уже соблазнил. Понимаешь, он добился слишком большого успеха и был одинок из-за презрения и недоверия, которые успех приносит тому, кто добился его благодаря своей силе, а не просто удаче.

Потом настал июнь и конец учебного года, и Генри с Бонем вернулись в Сатпену Сотню — Бон собирался провести там день или два, а потом отправиться верхом к Реке, чтоб ехать пароходом домой в Новый Орлеан, куда уже уехал Сатпен. Он пробыл там всего два дня, и только теперь ему представился случай объясниться с Джудит, а быть может, даже в нее и влюбиться. Это был единственный случай, другого ему не представится, хотя, конечно, ни он, ни Джудит не могли этого знать, — ведь хотя Сатпен всего две недели назад уехал из дома, он наверняка уже разведал про любовницу-окторонку и мальчика. Итак, Бон и Джудит в первый и в последний раз, можно сказать, получили свободу действий — то есть могли бы ее получить, потому что на самом деле свободу действий имела только Эллен. Воображаю, как она трудилась над этим романом, предоставляла Джудит и Бону возможности для объяснений и свиданий, ходила за ними по пятам с робким, но железным упорством, от чего они напрасно старались уклониться — Джудит хотя и сердито, но все еще невозмутимо, Бон с насмешливым недоумением и досадой, что, очевидно, было обычным проявлением этого непроницаемого и неуловимого характера. Да, именно неуловимого — это был миф, призрак, нечто ими же самими порожденное и созданное — некая эманация сатпеновской крови и характера, словно как человек он вовсе и не существовал.

³ Влэкстоун (1723—1780) и Коук (1552—1634) — известные английские юристы.

Однако было мертвое тело, которое мисс Роза видела, а Джудит похоронила на фамильном кладбище рядом с матерью. И еще: то обстоятельство, что даже такая, совершенно неопределенная, никогда никем не упомянутая помолвка не распалась, доказывает — хотя бы и от обратного, — что они действительно любили друг друга — ведь за эти два дня какой-нибудь легкомысленный флирт сошел бы на нет, погиб от одной только приторной сладости и слишком широких возможностей. Потом Бон поехал к Реке и сел на пароход. И вот еще что: кто знает, быть может, если бы Генри поехал с ним в то лето, не дожидаясь следующего, Бону не пришлось бы умереть так, как он умер; если б только Генри тогда поехал в Новый Орлеан и тогда же, пока еще не стало слишком поздно, узнал про любовницу и ребенка, он мог бы отнестись к этому открытию точно так же, как Сатпен, как можно было ожидать от ревнивого брата; ведь кто знает — быть может, Генри бросил свое обвинение во лжи не потому, что речь шла о любовнице и ребенке, то есть о двоеженстве, а потому, что услышал об этом от отца, который его опередил, от отца — естественного врага и сына и жениха дочери, чьим союзником выступает мать, тогда как после свадьбы отец становится союзником зятя, который приобретает себе смертельного врага в лице тещи. Но Генри в тот раз не поехал. Он проводил Бона до Реки и вернулся обратно; через некоторое время возвратился домой и Сатпен — куда и зачем он ездил, никто до следующего Рождества не узнает; и прошло то лето, последнее лето мира и довольства, когда Генри — разумеется, сам того не сознавая, — способствовал сближению Бона с Джудит гораздо больше, нежели сам Бон — этот ленивый фаталист вряд ли стал бы до такой степени себя утруждать. — а Джудит внимала ему с тем безмятежным непроницаемым спокойствием, которое еще год назад было смутной бесцельной мечтательностью молодой девицы, теперь же превратилось в спокойную сдержанность зрелой — зрелой и влюбленной — женщины. Именно тогда начали приходиться письма, и Генри читал их все подряд, без всякой ревности, самоотверженно и безоглядно перевоплощаясь в того, кто должен был стать возлюбленным его сестры. А Сатпен еще ничего не говорил о том, что он узнал в Новом Орлеане, а только ждал, не внушая ни малейших подозрений ни Джудит, ни Генри, ждал неизвестно чего, быть может, надеясь, что Бон, узнав — а он неизбежно должен был это узнать, — что Сатпен открыл его тайну, поймет, что его карта бита и на следующий год даже не вернется в университет. Однако Бон вернулся. Они с Генри снова встретились в университете; письма — теперь уже и от Генри и от Бона — каждую неделю привозил в Сатпену Сотню конюх Генри, а Сатпен все еще ждал, теперь уж истине неизвестно чего — ведь нельзя же предположить, что он ждал Рождества и неминуемой катастрофы — он, человек, о котором говорили, будто он не только шел навстречу своим невздам, но порою создавал себе их сам. Но на этот раз он их ждал и дождался — наступило Рождество. Генри с Бонем снова приехали в Сатпену Сотню, и теперь Эллен удалось даже убедить весь город, будто помолвка и вправду существует; настало 24 декабря 1860 года; черномазые ребятишки с ветками остролиста и омелы уже притаились на задах господского дома в ожидании минуты, когда можно будет пожелать белым людям веселого Рождества; столичный богач приехал ухаживать за Джудит, а Сатпен все еще молчал, не внушая подозрения никому, разве что Генри, который в тот же вечер довел дело до катастрофы; между тем как Эллен качалась на гребне волны своей придуманной пустопорожней жизни, что на рассвете следующего дня рухнет, оглушит ее и, оторопевшую и растерянную, унесет и бросит в затемненную комнату, где она спустя два года и скончается, — итак, сочельник, взрыв, и никто никогда не узнает, что и почему произошло между Генри и Сатпеном, и только негры будут шепотом передавать из хижины в хижину рассказ о том, как Генри с Бонем ночью уехали из дому и как Генри по всей форме отрекся от семьи и права первородства.

Перевела с английского М. БЕККЕР.

(Продолжение следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ГЕННАДИЙ ГЕРОДНИК



РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ОСТАНКАМИ «ПАНТЕРЫ»

Прозрачны дали и ветра спокойны.
От ржавых мин очистилась земля.
Но, отступая, оставляют войны
Воспоминаний минные поля.

Людмила Татьянчева.

Каждый бывший фронтовик испытывает неодолимую потребность побывать в тех местах, где ему довелось когда-то воевать.

...Летом 1944 года наша 128-я стрелковая дивизия занимала оборону в нескольких километрах восточнее Пскова, упершись в знаменитую укрепленную линию гитлеровцев «Пантера». Немецкий передний край проходил через цепочку полностью разрушенных деревень, считая с севера на юг: Горнево, Бёрдово, Лажнево, Клишово. Последние месяцы перед освобождением Пскова мой 533-й полк занимал позиции напротив Клишова и Будника.

Нам очень мешал так называемый Клишовский дот — мощное сооружение из железобетона. На нижнем, подземном, этаже немцы хранили боеприпасы, продукты и питьевую воду, на втором отдыхали свободные от дежурства смены, еще выше были наблюдательная площадка и амбразуры. Оттуда то и дело строчили крупнокалиберные пулеметы.

Мы не раз пытались уничтожить Клишовский дот еще до начала решающего штурма «Пантеры». Но сделать это не удалось, и ненавистная машина простояла вплоть до начала боевых операций по освобождению Пскова.

22 июля в три часа утра после короткой артподготовки пехота 533-го дружно пошла на штурм «Пантеры» правее и левее Клишовского дота. А чтобы нейтрализовать его на время атаки, группа наших снайперов вела интенсивный огонь по амбразурам. Чтобы не попасть в окружение, гитлеровцы оставили дот и через пригород Кресты побежали к Пскову.

Три десятилетия спустя я совершил путешествие по тем местам псковской земли, где когда-то довелось воевать. Прошел около пятнадцати километров вдоль бывшей линии «Пантера». От грозного в свое время и, как полагали фашисты, неприступного рубежа осталось немного. Кое-где громоздятся груды и скрутки ржавой колючей проволоки. На месте дотов зияют глубокие ямы, на дне которых лежат многопудовые стальные бронеклопаки. Взорванный железобетон использован в качестве бутового камня для фундаментов жилых домов и колхозных хозяйственных построек. Заросли травы и противотанковые рвы.

Побывал я в восстановленных и ныне процветающих селениях. Деревушки возникли буквально из пепла, глаз радуют красивые, благоустроенные домики с радио- и телеантеннами на крышах. И представьте себе: в Клишове натыкаюсь на знакомый дот. Тот самый! Целый-целехонький стоит во дворе одной из усадеб. Знакомлюсь, так сказать, с дотовладельцами. Ими оказались Теребилины, семидесятилетние Алексей Васильевич и Евдокия Константиновна. Хозяин рассказал мне:

— Когда мы вернулись в родное Клишово, застали здесь полное разоренье, одни пепелища. Только на месте нашей усадьбы стоит эта самая немецкая штукавина. Ладно, начинаем строиться, дот нам покамест заместо жилья служит. Приехали саперы, стали

вокруг рвать немецкие укрепления. Явились и к нам. Забирайте, говорят, свои шмутки и отходите подальше — сейчас мы эту фашистскую будку враспыл пустим. А я так отвечаю им: «Пушай наши потомки видят, какие крепости одолевали храбрые советские солдаты».

Так уцелел Клишовский дот. Посмотреть его приходят жители окрестных деревень, приезжают псковичи и более далекие гости. Но дот не только своеобразный музейный экспонат под открытым небом — кроме того, он выполняет некоторые подсобные задачи. На нижнем ярусе стоит огородный инвентарь, пока нет морозов, хранятся овощи и фрукты.

Беседуя с клишовцами и их соседями, я не раз слышал от них упоминание о военном городке, расположенном в бору восточнее цепочки перечисленных мною деревень. Поначаду я подумал было, что в лесу действительно размещается какая-то воинская часть. Оказалось, речь шла о другом: военным городком местные жители называют обширный участок леса, в котором занимали оборону полки 128-й сд.

Вернувшиеся в 1944 году изгнанники застали целыми обжитые нами землянки. К вершинам наиболее высоких и густых деревьев вели зигзаги лестничных маршей — там были тщательно замаскированные наблюдательные площадки. Некоторые елочки-связистки еще держали на своих ветвях обрывки телефонных проводов... Военный городок.

Начинающие жизнь заново клишовцы, бёрдовцы, будничане находили во фронтовых землянках немало хозяйственных мелочей, пригодных для их спартанского быта: грубо сколоченные столы, топчаны, табуретки и скамейки, навесные двери, старые солдатские котелки, жестяные трубы для печурок, небольшие, величиной со школьную тетрадку прямоугольники оконного стекла, приколотенные к стенам и потолкам спиленные плащ-палатки, торчащие в бревнах гвозди, на которых в свое время висели автоматы и солдатские сидоры...

С огромным душевным волнением углубляюсь в лес, в котором три десятилетия назад военная судьба прописала меня на треть года. В огромном землеграде ищу микрорайон своего 533-го полка. Брожу по лесистым взгорьям и повсюду нахожу следы землянок, траншей, воронок от авиабомб и крупнокалиберных снарядов, укрытий для орудий, автомашин и транспортеров с покатыми въездами — аппаратами...

Как будто разыскал всхолмие, на котором располагались штабные землянки нашего полка. Как будто — с полной уверенностью утверждать не могу. Слишком многое изменилось здесь за тридцать лет. Молодые деревца успели вымахать вровень со старожилками; от многих зеленых великанов, которые своими кронами прятали нас от вражеской авиации, остались только смолистые пни. Протоптаны новые лесные тропы, проложены новые лесные дороги, по-иному делят лес на квадраты незнакомые просеки...

Если все же не ошибаюсь, если наша главная штабная землянка была на том бугре, то землянка полковых разведчиков, с которыми я постоянно делил кров, располагалась на этом. Усаживаюсь на краю неглубокой впадины, поросшей чабрецом, розоватыми бессмертниками и маслятами. Между прочим, по моим наблюдениям, маслята очень любят края старых полузапавших окопов и впадин, образовавшихся на месте бывших землянок.

Вспоминается, маслята и тогда обильно росли на нашем «разведбугре». В июне — июле мы не раз варили из них суп. Особенно любил собирать грибы сибиряк Щепоткин... И пошла, и пошла воспоминания! Старшина взвода разведки Ипат Щепоткин, начальник полковой разведки старший лейтенант Николай Кузьменко, сержант Антон Россинский, солдат Георгий Шелабода... Последние два — мои земляки, белорусы. Где же вы, друзья-однополчане? Сколько вас осталось в живых? Из разведвзвода? из полка? из дивизии? Ведь после того, как мы расстались с этими обжитыми землянками, нам предстояли ожесточенные бои в Пскове и Прибалтике, в Польше и Германии. Почетные наименования (дивизии — Псковская и 533-го полка — Одерский) завоеваны дорогой ценой. А затем оставшиеся в живых ветераны прошли огромный жизненный путь в три десятилетия, на котором тоже были неизбежные потери. Сколько же нас соберется на нынешнее юбилейное празднование освобождения Пскова?

И как-то мои раздумья потекли по иному руслу. А если бы кто-то догадался устроить в этом землеграде небольшой заказник... Скажем, отобрать наиболее важные штабные землянки — дивизионные, полковые — и восстановить их в первоначальном виде. Пусть рядом будут траншеи, ходы, индивидуальные ячейки. Пусть на одной из сосен

сохраняется наблюдательный пункт и к нему ведут лестничные марши... Чтобы натуральные памятники Великой Отечественной войны не зарастали травой, не предавались забвению.

Эти раздумья во время моего визита в псковский землеград поначалу я сам не принимал всерьез. Они казались мне фантазией, весьма далекой от реального воплощения в жизнь. Однако очень скоро я на свои «фантазии» взглянул по-иному. В 1976 году Советским правительством был принят закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». И вот что я вычитал в законе:

«Статья 5. Виды памятников истории и культуры.

К памятникам истории и культуры в соответствии со статьей 1 настоящего закона относятся: памятники истории — здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, гражданской и Великой Отечественной войнами...»

И так далее — еще длинный ряд перечислений.

«Статья 10. В целях организации учета и охраны памятников истории и культуры недвижимые памятники подразделяются на памятники общесоюзного, республиканского и местного значения».

После этого я по-иному осмыслил свое мемориальное путешествие на Псковщину летом 1974 года. Неужто, раздумывал я, штабные землянки и главные наблюдательные, командные пункты дивизий, которые освободили древний русский город от оккупантов и получили почетные наименования Псковские, не заслуживают зачисления в разряд исторических памятников республиканского или хотя бы местного значения?! Неужто не заслуживают этого наиболее важные участки укрепленных рубежей, которые наши воины героически штурмовали в июле 1944 года и где многие из них отдали свою жизнь?!

Поделился я своими мыслями с коллегами-ветеранами. Они полностью поддержали меня. В горячих спорах у нас рождались новые и новые предложения.

Стоило бы на берегах Великой установить памятные знаки в тех местах, где на всевозможных подсобных средствах, еще до возведения понтонных мостов, реку форсировали стрелковые полки.

И еще обязательно надо сделать так: на бывшем переднем крае выбрать пустующий ныне участок и на протяжении в двести — триста метров реставрировать как вражеские оборонные сооружения, так и наши. Пусть в натуральном виде будут доты и дзоты, траншеи с пулеметными гнездами и «лисьими норами», заграждения из колючей проволоки в несколько рядов и спираль Бруно, противотанковый ров и рельсовые надолбы, нейтральная полоса и мины поле. Только вместо настоящих мин, вполне понятно, совершенно безопасные макеты. А рядом для сравнения пусть будет участок «Пантеры» в таком виде, каким он стал после обработки нашей артиллерией и саперами.

Спору нет, дело это хлопотливое и трудоемкое. Раньше надо реставрировать, затем подновлять, охранять. Но сил, которые можно привлечь на реализацию такого плана, более чем достаточно: ветераны-фронтовики, ветераны-партизаны, военный комиссариат и допризывники, ДОСААФ, красные следопыты, краеведы, музеи, комсомольцы и пионеры, жители бывших фронтовых деревень. Нужна только инициатива, необходимо также, чтобы за это кто-то отвечал и руководил добровольцами.

На восстановленные натуральные памятники войны распространяются законы, охраняющие исторические памятники и разного рода заповедные места.

В Пскове период Великой Отечественной довольно широко увековечен средствами монументального искусства. В ознаменование победы в центре города воздвигнут мемориал Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. В память освобождения города от фашистских захватчиков возвышается монумент на площади у моста имени 50-летия Октября. На Юбилейной улице, на Братском кладбище сооружен памятник воинам, павшим за освобождение города. Рядом на плите перечислены имена 137 захороненных здесь солдат и офицеров. Именами героев гражданской и Великой Отечественной войны названы многие улицы города. В Псковском историко-краеведческом музее сооружена диорама «Форсирование реки Великой».

Сейчас экскурсии по местам боевой славы проходят в Пскове так: экскурсанты осматривают названные памятники в черте города, затем направляются в юго-восточный

пригород Кресты. Здесь в 1969 году сооружен величественный мемориальный ансамбль на тех рубежах, где в 1918 году в боях с немецко-кайзеровскими захватчиками родилась Красная Армия.

От Крестов до бывшей линии переднего края рукой подать, неполных два километра. Но дальше экскурсионные автобусы не идут: незачем, смотреть нечего.

И действительно — смотреть нечего, все позарастало. Даже ветераны, воевавшие в этих местах, с трудом находят свои землянки и траншеи. Сохранился только Клишовский дот. Но о нем, как ни удивительно, в городе мало кто знает. А те, кто знает, считают, будто осматривать такой объект в организованном порядке даже предосудительно.

Спросил я как-то у одного из псковских экскурсоводов: почему Клишовский дот не показывают экскурсантам? Оказалось, он впервые слышит о нем. Когда же я растолковал ему, что это за штука, молодой человек снисходительно пожал плечами и ответил мне так:

— С какой стати показывать экскурсантам какой-то фрицевский дот! Для показа в Пскове предостаточно более достойных объектов!

Вот так-то!

Сразу после полной ликвидации блокады в январе 1944 года командование Ленфронта организовало на Дворцовой площади выставку трофейного оружия, захваченного нашими войсками в недавних боях. Мне довелось побывать на этой выставке.

Тысячи людей — военные и гражданские — рассказывают вокруг Александровской колонны, которая еще по-блокадному обшита защитным кожухом. Но скоро ангел, вознесенный на вершину Александрийского столпа в память о победе над Наполеоном, своими глазами увидел, как история пишет свой приговор еще одному «завоевателю России».

Длинноствольные пушки, короткорылые мортиры и гаубицы... Крупновские и захваченные в других странах — чешской «Шкоды» и французского концерна «Шнейдер-Крёзо»... Это они девятьсот дней терроризировали ленинградцев, обстреливая город из Пушкина и поселка Володарского, из Пязелева и с Вороньей горы...

Стоит почти ведренной емкости пустая гильза от 210-миллиметрового снаряда. Быть может, именно от того, который разрушил Георгиевский зал в Инженерном замке. Дальше лежит на боку неразорвавшийся снаряд 406-миллиметровой «берты». Поставить его на попа, так он будет ровнее с человеком выше среднего роста. Такие «чемоданы» и «дуры» прошивали сверху донизу пяти-семизатжные дома.

По-разному реагировали на эти экспонаты профессиональные военные, женщины, дети... Но у всех посетителей главенствовало одно общее чувство: как ни прочна крупновская сталь, как ни страшны чудовища фашистской военной машины, Красная Армия, советский народ, мы, ленинградцы, оказались сильнее.

Именно так рассуждал старик Теребилин, оставляя на своей усадьбе гитлеровский дот.

Во время исторического послевоенного парада Победы наши воины пронесли по Красной площади десятки знамен гитлеровских частей и соединений, украшенных свастикой, орлами и прочими фашистскими эмблемами, — пронесли полотнищами вниз и древками вверх. Нет, не порвали их наши солдаты в пылу боя, не сожгли, не втоптали в землю, а за сотни, за тысячи километров доставили в Москву. Ибо знали, что эти трофеи будут служить символом славы советского оружия и позора иноземных захватчиков.

На месте гитлеровских лагерей смерти в Освенциме, Майданеке, Бухенвальде организованы музеи, в которых сохранены крематории, газовые камеры и прочие материальные свидетельства фашистских злодейств.

Вернемся к вопросу об отборе и классификации памятников истории и культуры. Нас окружает бесчисленное множество творений рук человеческих. Какие из них достойны сохранения для грядущих поколений?

Пока речь идет о глубокой старине, больших расхождений во мнениях не бывает. Если говорить конкретно о Пскове — Троицкий собор, Поганкины палаты, церковь Василия с Горки, Мирожский монастырь, Гремячая башня, любой фундамент в Довмонтовом городе и так далее. Вряд ли кто станет оспаривать огромную историческую ценность этих произведений древнего русского зодчества.

Но чем ближе к нам эпоха, тем явственнее слышна разногласия мнений. И уж совсем странными кажутся иными предложения о причислении к историческим памятникам отдельных траншей и землянок, дотов и дзотов, сооруженных на памяти еще здравствующих старших поколений.

Осенью 1976 года я поехал по Новгородской области. Там, на Волховском фронте, мне довелось воевать. Не считая Новгорода, побывал в Малой Вишере и Селищенском поселке, в Чудове и Любани, в Мясном Бору и Спасской Полисти. Вдоль и поперек исходил свой околоволховский земляград, точнее — болотоград. Познакомился со многими местными историками, краеведами, следопытами. И воочию убедился, что о сохранении памятников далекого прошлого новгородцы пекутся столь же заботливо, как и псковичи.

Однако если взять период Великой Отечественной войны, то противоборство различных мнений здесь чувствовалось даже намного острее, чем в Пскове. И для этого, как выяснилось, имелись весьма веские причины. В Пскове столкновения различных точек зрения пока что носили чисто академический характер, преобладало настроение: это все не к спеху, время терпит. А в Новгороде эти вопросы вдруг стали остроэмоциональными, их надо было решать незамедлительно. И случилось это вот почему.

Во время странствий по памятным местам я познакомился с москвичом историком Б. И. Гавриловым. Борис Иванович находился в Новгороде в многомесячной командировке, выполняя очень интересную и ответственную работу. Оказывается, Институт истории АН СССР составляет общесоюзный «Свод памятников истории и культуры», которые государство берет под охрану. К тому времени Борис Иванович закончил составление такого свода по Ярославской области и приступил к аналогичной работе по Новгородской.

Пока речь шла, как говорили летописцы, о стародавних временах, дела у Бориса Ивановича подвигались вперед быстро и гладко. Софийский собор, Детинец, церковь Спаса-Нередицы, Юрьев монастырь, памятник «Тысячелетие России» и так далее. Все эти шедевры давным-давно изучены, описаны, сфотографированы и реставрированы рачительными хозяевами — работниками Новгородского историко-архивного музея-заповедника и Новгородских реставрационных мастерских. Борису Ивановичу оставалось только полюбоваться на объект и данные о нем занести в карточку паспортизации установленного образца.

Но когда Борис Иванович добрался до «сороковых, роковых» XX столетия, плавный, бесперебойный ритм его работы заметно нарушился. Нельзя сказать, что новгородцы, слишком увлекшись стариной, совершенно позабыли о периоде Великой Отечественной войны. Что это не так, легко убедиться даже при беглом осмотре достопримечательностей Новгорода и области. Монумент Победы, мемориал Вечный огонь, памятники Героям Советского Союза — юному партизану Лене Голикову, А. К. Панкратову, И. С. Герасименко, А. С. Красилову, Л. А. Черемнову, такж «Т-34», установленный на пьедестале в районе Подберезья, обелиск на могиле дивизионного комиссара, члена Военного совета 2-й ударной армии И. В. Зуева в селении Зуево, обелиски на братских могилах павших воинов Волховского фронта, воздвигнутые во многих селениях области...

И все же оказалось, что представитель Академии наук в понятие «памятники Великой Отечественной войны» вкладывал значительно более широкий смысл. Дескать, нельзя ограничиваться только произведениями монументального искусства — необходимо брать на учет и наиболее значительные натуральные памятники войны.

Борис Иванович, человек инициативный, решительный и до одержимости влюбленный в свое дело, нашел такой выход из возникших затруднений. Надел резиновые сапоги и в сопровождении местных следопытов направился в волховские топи — туда, где сражалась 2-я ударная армия. Установил самую далекую точку любанского прорыва (к марту 1942 года наши войска вклинились во вражескую оборону на семьдесят километров), определил рубежи, которых достигли отдельные дивизии и кавалерийский корпус генерала Гусева, разыскал остатки наших боевых позиций у Мясного Бора в знаменитой Долине смерти, нанес на карту местонахождение штабных землянок армии, кавкорпуса, дивизий, примерно наметил точки, где следует установить обелиски или хотя бы памятные знаки. Возбудил ходатайство перед Новгородским облисполкомом о сооружении мемориала или хотя бы монумента, обелиска в память о подвиге 2-й ударной.

К сожалению, не все упущения удавалось исправить. За треть века трава забвения в этих местах разрослась так пышно и густо, что под ее покровом уже невозможно обнаружить следы прошлого. Срубы и накаты многих землянок успели полностью ис-

глеть, а сами места тщательно замаскированы послевоенными поколениями кустов и деревьев. В болотистых местах полностью позаплыли траншеи.

Бывает и так: важный натуральный памятник мы теряем из-за того, что слепым действиям времени и природы бездумно помогает сам человек. Например, Борис Иванович очень сожалел, что ему не удалось найти никаких следов траншей у деревни Большие Угороды Солецкого района. На этом рубеже 1-я Ленинградская дивизия народного ополчения получила боевое крещение и некоторое время успешно сдерживала рвущихся к Ленинграду фашистов. Местным колхозникам никто вовремя не подсказал, что траншеи имеют историческое значение и хотя бы небольшой участок их следовало сохранить.

Нельзя сказать, что точка зрения историка Гаврилова оказалась для новгородцев совершенно новой. Как выяснилось, еще задолго до его приезда отдельные местные краеведы и следопыты по своей инициативе детально обследовали поля сражений на новгородской земле, предлагали реставрировать отдельные землянки и траншеи, установить памятные знаки на важнейших укрепленных рубежах. Но психологический барьер, о котором я говорил, был настолько высок, что эти энтузиасты долгое время оставались в меньшинстве.

Советское монументальное искусство, у колыбели которого стоял великий Ленин, всегда шагало в ногу с историей нашей страны. Оказалось оно на высоте и в послевоенный период. Великая Отечественная увековечена такими грандиозными сооружениями, как мемориальные ансамбли в Ленинграде, Волгограде, Севастополе, Бресте и во многих других городах, где советский народ совершил особо выдающиеся подвиги в борьбе против фашистских захватчиков.

Эти величественные памятники поэтически описаны мастерами слова, их фотографии во многих миллионах экземпляров расходятся в виде почтовых открыток, во всевозможных красочных альбомах и буклетах, их часто показывают кино и телевидение, к ним нескончаемым потоком движутся экскурсанты и туристы. И это замечательно! Но отдавая должное монументальному искусству, мы должны бережно хранить и натуральные памятники Великой Отечественной войны.

Я уже довольно подробно рассказал о положении дел в Новгороде. Благодаря энергичным усилиям историка Гаврилова, к учету, восстановлению и сохранению натуральных памятников войны здесь стали относиться намного внимательнее, чем это было до недавнего времени. Однако укоренившаяся в течение десятилетий традиция, пережитки устоявшихся взглядов дают себя знать и поныне: ряд рекомендаций представителя АН СССР претворяется в жизнь слишком уж медленно, со скрипом.

Весь 1943 год и начало 1944-го вплоть до полной ликвидации блокады мне довелось всевать на Ленинградском фронте. Служил в спецкомандах, которые занимались радиопропагандой среди войск противника. В этих мини-подразделениях выполнял обязанность диктора и командира. Вели передачи из окопов переднего края, со специально оборудованных грузовиков и броневиков и даже с упрятанной в земле стационарной радиовещательной станции. Обслуживали участки обороны 42-й и 55-й армий. Часто вместе с нами выступали немцы: взятые в плен, перебежчики и официальные представители антифашистской организации немецких военнопленных «Свободная Германия». Так что в течение 1943 года я с микрофоном и автоматом облазил всю дугообразную линию нашей обороны, проходящую от предместий Урицка, через Пулково, окрестности Пушкина, Павловска, Колпина и вплоть до Невы. Поэтому мое ленинградское мемориальное путешествие, которое я совершил в 1977 году, оказалось наиболее трудоемким.

По периметру обороны города-героя ленинградцы соорудили четыре десятка памятников и мемориальных ансамблей. Все вместе они образуют так называемый Зеленый пояс Славы протяженностью в двести двадцать километров. Он состоит из трех зон. Большое кольцо — 23 сооружения, Ораниенбаумский плацдарм — 9 и Дорога жизни — 8.

Я не буду описывать масштабы и художественные достоинства этого грандиозного творения ленинградцев. О Зеленом поясе Славы немало написано, его отдельные сооружения многие видели своими глазами. В Ленинграде, как ранее в Пскове и Новгороде, я тоже придирчиво присматривался: а как же здесь решается вопрос о натуральных памятниках войны? К сожалению, ситуация на берегах Невы тоже не порадовала меня.

Еду в Рыбацкое, нахожу знакомый дом. Его точные координаты: проспект Села

Рыбацкого, напротив дом 165. Рядом на неказистом столбике столь же скромно оформленная табличка. Текст гласит:

«В суровые годы Великой Отечественной войны трудящиеся Ленинграда — мужчины, женщины, подростки — вместе с воинами Ленинградского фронта превратили свой любимый город в неприступную крепость, построили непреодолимую круговую оборону с долговременными огневymi точками.

Здесь занимало оборону пулеметно-артиллерийское подразделение 14-го укрепрайона 55-й армии».

С душевным волнением переписываю эти слова в блокнот... Из дома 165 выходит средних лет мужчина. Поздоровавшись, довольно фамильярно заявляет:

— Ага, наконец-то соизволили явиться!

Удивленный таким загадочным началом разговора, отвечаю:

— Действительно, долго собирался — более тридцати лет...

— Так вы случайный прохожий, ветеран? — спросил мужчина. — А я-то думал...

— Совершенно верно — ветеран. Но не случайный прохожий: специально приехал издалека, чтобы посмотреть на этот дот. А вы за кого меня приняли?

— Видите ли, я уже несколько раз обращался и в домоуправление и повыше: убедите эту будку с глаз, сколько можно терпеть под окнами такое безобразие! И все бесполезно.

Я заступился за старого ветерана войны, которого имею некоторые основания считать своим однопольчанином. Допустим, жалобщик из дома 165 — редкое исключение. И все же по всему видно, что этот натуральный памятник героической обороны Ленинграда незаслуженно оказался на задворках общественного внимания. Сама пояснительная табличка выполнена примерно на том уровне изобразительного искусства, на котором изготавливаются вывески для палаток по приему стеклотары. Конечно, памятникам такого рода, как этот дот в Рыбацком, слишком пышное, парадное оформление не пойдет. Архитекторам, монументалистам следовало бы создать для них соответствующее оформление — простое, строгое, но ни в коем случае не убогое.

В туристских путеводителях по окрестностям Ленинграда, в описаниях Зеленого пояса Славы натуральные памятники войны — чаще надолбы, траншеи — упоминают лишь в тех случаях, если они являются элементами какого-то мемориального комплекса. Если же расположены особняком, как этот дот в Рыбацком, то о них ни слова.

И вот оказалось, что богатырская застава на берегу Славянки не включена в число ветеранов — защитников Ленинграда. Ее фотографию не увидишь ни на открытках, ни в альбомах. У нее не бывает свежих цветов. По бойкой автомагистрали нескончаемой чередой мчатся экскурсионные и туристские автобусы — и все мимо, мимо, мимо...

Из Рыбацкого в Колпино добираюсь двумя рейсовыми автобусами. На дорожных указателях то и дело вижу знакомые, навек запомнившиеся с войны названия: Усть-Славянка, Петрославянка, Шушары, Усть-Ижора, Ивановское, Понтонный... Но местность узнаю с трудом — очень все изменилось вокруг...

Приехал. Выбравшись из автобуса, пытаюсь сориентироваться, что сделать совсем не просто. В сорок третьем среди руин и каменных коробок темной громадой вырисовывался Ижорский завод. Не говоря уж об артиллерии и авиации, он был в зоне досягаемости даже крупнокалиберных минометов. И все же завод работал.

На окраине Колпино в огромных печах для обжига кирпича завода «Красный кирпичник» размещался КП 72-й стрелковой дивизии. Мы, радиосолдаты, не раз обогревались и обсушивались там во время походов к переднему краю. В шутку говорили: пойдем на процедуру обжига.

Передний край проходил в трех километрах южнее Колпино. Там ныне установлен входящий в Зеленый пояс Славы «Ижорский таран». Именно из-за него я приехал сегодня в Колпино.

Иду вдоль железной дороги, оставляя город справа. Справа и слева от тропы растут яблони. Сегодня 2 июня — деревья еще всюю цветут. В сорок третьем наша пятерка до переднего края добиралась по кустам. Яблонь не помню, видимо они посажены позже.

На этом участке оборону держал знаменитый Ижорский батальон. Ижорцы и колпинцы защищали свой дом не только в переносном, но и в буквальном смысле. Они выходили на передний край, как колхозники на полевой стан. Всего в трех километрах за ними были их жилища и семьи, их родной завод. Борщи и каши им продолжали варить на фабричной кухне. Женщины обстирывали ставших солдатами мужей, сыновей и братьев, чинили простреленные шинели и ушанки. Помогали хоронить убитых.

До ноября сорок третьего на участке Колпино — Павловск нашим войскам противостояла 250-я испанская пехотная дивизия, так называемая Голубая. Гитлер и Франко обещали голубым легионерам развлекательную прогулку в экзотическую Россию. Однако проведя в окопах на Волховском и Ленинградском фронтах две осени и две зимы, сыны знойной Андалузии, Кастилии, Каталонии уразумели, что сие означает — воевать против советской России. «Дранг нах остен» у франкистов выветрился намного раньше, чем у гитлеровцев. Хуаны, Гомесы и Мануэли перебегали на нашу сторону пачками.

Командование группы «Норд» — в который раз! — перебросило побуревшую, порыжевшую и изрядно разложившуюся Голубую на другой участок фронта. Ее место заняла немецкая дивизия, прибывшая с Юга.

Пока под Колпином стояли испанцы, я здесь бывал редко — мимоходом, по соседству. Голубую обслуживал переводчик и диктор лейтенант Соломон Соловейчик, владевший испанским.

В Колпине была вторая известная мне на Ленинградском фронте стационарная радиостанция, ведущая пропаганду среди войск противника. Только в отличие от нашей на берегу Славянки эту строить заново не понадобилось — на фронтовой лад перестроился колпинский радиоузел. От него, прижимаясь к земле, тянулись провода к переднему краю.

При узле постоянно жили три испанца. Под руководством и контролем Соловейчика перебежчики-антифашисты просвещали своих однополчан, оставшихся по ту сторону переднего края. Они полностью обслуживали себя: заготавливали среди городских развалин дрова, топили печи, варили еду.

Когда же Голубую сменила дивизия мышиного цвета, наша пропаганда немедленно перестроилась на немецкий язык. Моя пятерка с аппаратурой ОГУ (окопная говорящая установка) стала бывать в районе Колпина довольно часто. Помню, первая передача для новичков называлась «Срывайте с рукавов ненавистные Крымшильды». Дело в том, что гитлеровцы, воевавшие в Крыму, награждались памятным нарукавным знаком — «Крымский щит». Щит по-немецки — *der Schild*.

Вот он, «Ижорский таран». Художественный замысел памятника оригинален: мощный таран в виде срезанного косо железобетонного бруса покоится на трех вертикальных железобетонных опорах и острием направлен в сторону врага. В композицию входят также растущий в декоративной каменной вазе шиповник и установленное на пьедестале 76-миллиметровое орудие.

К памятнику подходит одна группа экскурсантов, вторая, третья... Отхожу в сторону и тщательно осматриваю ближайшие окрестности «Тарана»: пытаюсь найти следы главной траншеи переднего края. Она была сработана ижорцами добротнo, основательно: в полный профиль, на участках с сыпучим или болотистым грунтом стены были обшиты досками или оплетены ветками ивняка, вдобавок укреплены распорками, дно выстелено жердочками.

Увы, никаких следов траншеи не нашел, все запахано. Тянутся километровые борозды с саженцами капусты и еще тощими кустиками морковки. В разных местах необъятного поля видны веерообразные фонтаны дождевальных установок. Сейчас здесь выращивает овощи для ленинградцев пригородный совхоз имени Тельмана.

Ориентируясь на железную дорогу и южный конец аллеи, все же решаю про себя: траншея проходила вот здесь. В десяти метрах от бруствера, уже на нейтральной полосе торчала обглоданная паулами и осколками культа дерева, породу которого невозможно было определить. К этому изувеченному стволу мы иногда прикрепляли выносной громкоговоритель. В «испанское время» здесь звучало: «Atencion! Atencion!» («Внимание! Внимание!») — в немецкое: «Achtung! Achtung!»

Возвращаюсь в Колпино по той же яблоневоy аллее... И вдруг вижу: слева в густых зарослях притаился дот. Ба, вспомнил я, ведь это мой старый знакомый! Когда мы ходили к переднему краю, делали возле него привал. Беседовали с пулеметчиками и петеевцами, курили, обменивались новостями. Пробираюсь к доту вплотную. Никакой дорожки к нему, никакой таблички.

Победа советского народа над фашизмом — историческое событие столь огромного значения, что в ознаменование его в целом, в ознаменование отдельных эпизодов памяти, мемориальные ансамбли, пантеоны будут сооружаться и впредь. И к пятидесятилетней годовщине победы, и к столетней, и к тысячелетней... Вполне вероятно, что некоторые из них будут еще более величественными, чем нынешние в Ленинграде, Волго-

граде, Севастополе, Бресте... Однако ни мы, ни наши потомки не в силах построить самый простой дот, подобный тем, которые уцелели в Рыбацком и Колпине. Такие непосредственные участники Великой Отечественной войны — не копии, а оригиналы! — уникальны, невоспроизводимы. Историческая ценность таких натуральных памятников войны, внимание к ним общественности с годами и десятилетиями будут возрастать. Эти священные реликвии, свидетельствующие о патриотизме и героизме советского народа, мы обязаны бережно сохранять для грядущих поколений.

Когда у нас, ветеранов войны, заходит разговор о создании музеев под открытым небом — заказников переднего края, батальонных, полковых и дивизионных тылов, — обычно находятся скептики, пугающие непреодолимыми трудностями. А кто и на какие средства будет строить? А кто будет охранять и реставрировать? На все эти вопросы ленинградцы ответили практическими делами.

Зеленый пояс Славы сооружался в основном методом народной стройки. Например, при возведении только первой очереди мемориального ансамбля «Кировский вал» приняли участие более 50 крупных предприятий Кировского района. Кировцы отработали на субботниках 150 тысяч часов. Распланировали площадь, проложили 9 тысяч квадратных метров набивных дорожек, разбили полгектара газонов, посадили около 900 деревьев и 20 тысяч кустов. Перевозили с полей боев и устанавливали на новом месте надолбы.

Как и в любом деле, за которое берутся ленинградцы, при сооружении Зеленого пояса Славы были показаны образцы продуманности, организованности, научного подхода. Каждый мемориальный комплекс пояса закреплялся за определенным, территориально наиболее близким к нему районом города. «Кировский вал» планировал и строил Кировский район, «Пулковский рубеж» — Московский, «Ополченцев» — Октябрьский, «Непокоренных» — пушкинцы, «Ижорский таран» — колпинцы и т. д. Эти же районы и пригороды Ленинграда остаются шефами над закрепленными за ними памятниками и после их сооружения: охраняют, ремонтируют, обновляют зеленые насаждения. Правда, у других городов, не считая Москвы, возможностей значительно меньше, чем у Ленинграда. Но ведь задачи можно поставить сообразно со своими силами. Я имею в виду восстановление наиболее важных натуральных памятников войны.

На Псковщине около деревни Чернушки восстановлен дзот, у которого совершил свой бессмертный подвиг гвардии рядовой 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матросов. В Латвии у железнодорожной станции Блидене восстановлен дзот, у которого подвиг русского солдата на исходе войны повторил эстонец — лейтенант Якоб Кундер. Ему, как и Матросову, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На Малой земле в Марьиной Роще восстановлена и взята под охрану государства землянка на КП полевого управления 18-й армии. В три наката потолок, внутри застланная солдатским одеялом койка, стол и на нем горелка из малокалиберной снарядной гильзы. Текст на прикрепленной у входа таблице гласит: «Землянка нач. политотдела 18-й армии полковника Брежнева Л. И.».

Интересный факт недавно сообщила польская газета «Трибуна люду». В Польше по инициативе Музея Войска Польского приступили к созданию уникального музея под открытым небом. В Кнышиньской пуще воссоздается подлинный партизанский лагерь — с блиндажами, землянками, траншеями, полевой пекарней и так далее. Что и говорить, пример, достойный подражания!

Чаще всего мы спохватываемся и восстанавливаем натуральные памятники войны много лет спустя после того, как они отслужили свою службу. Особый же интерес представляют те памятники, те вещественные приметы прошлого, которые сохранены для грядущего в тот решающий момент, когда им, списанным за ненадобностью, угрожала ликвидация. Между прочим, эти памятники в большинстве случаев отличаются своеобразием, оригинальностью, неповторимостью.

В Новороссийске между цементными заводами «Октябрь» и «Пролетарий» стоит товарный вагон — свидетель ожесточенных боев в этом районе города. Деревянная обшивка отсутствует — ее начисто «обглодали» огонь, пули и осколки. А в металлическом остове насчитывается около десяти тысяч пробоин, вмятин и царапин.

В Волгограде сохранены развалины мельницы, разрушенной в 1942 году. Этот мемориальный объект является экспонатом городского Музея обороны.

В августе 1941 года под Таллином фашисты захватили в плен матроса с «Минска» Евгения Никонова. Пытая двадцатилетнего юношу, они выкололи ему глаза. Однако

герой не выдал военной тайны. Окончательно озверевшие фашисты привязали матроса к дереву и сожгли его живым. От огня дерево засохло. Казалось бы, осталось одно — спилить его, чтобы не портило пейзажа. Но у него нашлись защитники. Они рассуждали так: пусть это дерево напоминает живым о стойкости советских воинов и обличает кровавый фашизм. Так остался натуральный памятник войны. Таллинцы называют его Деревом-свидетелем.

Заглянем опять в город-герой Новороссийск. Подсчитано, что на каждого малоземельца враг обрушил в среднем 1250 килограммов смертоносного металла. Тонну с четвертью! На каждого! И под этим стальным шквалом советские воины не только сохранили присутствие духа, не только устояли, но и победили. Этот факт увековечен оригинальным по замыслу монументом, сооруженным неподалеку от бывшего штаба 83-й бригады морской пехоты: из крупных осколков фашистских снарядов, мин и авиабомб, приваренных друг к другу, смонтирована внушительных размеров пирамида. Вес ее 1250 килограммов.

В чешской деревне Лидице, полностью уничтоженной вместе с ее жителями гитлеровскими карателями, был сооружен такой памятник жертвам фашизма: огромный крест, сколоченный из двух обуглившихся балок и опутанный ржавой колючей проволокой. Обгорелые балки взяты с пожарищ в той же деревне, колючая проволока — из ограждений местного концлагеря. Со временем, когда памятник сильно пострадал от непогоды, его воспроизвели в таком же виде, но из более прочных материалов.

Как видим, кое-что сделано. Но по сравнению с произведениями монументального искусства натуральных памятников, восстановленных и взятых под охрану государства, пока что до обидного мало. Да и о тех, которые имеются, узнать не так-то просто. Об одном узнаешь из коротенькой газетной информации, о другом услышишь от знакомого, на третий случайно наткнешься сам...

Много врагов у полузабытых и полностью забытых натуральных памятников войны. Дожди, морозы, ржавчина, человеческое равнодушие, а подчас и воинствующее невежество. Но главный враг — быстротекущее время. С каждым годом становится все меньше и меньше непосредственных участников войны, помощь которых в розыске, учете и сохранении реликвий войны необходима. Конкретные энергичные дела по спасению неприкаянных до сих пор натуральных памятников Великой Отечественной войны не терпят промедления.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МЭЛОР СТУРУА



ЦВЕТА ВРЕМЕНИ В БАТОН-РУЖЕ

С ПОТОМАКА НА МИССИСИПИ

Как-то в середине февраля мне позвонил Том Суинсон из Международного пресс-центра. Для нас, иностранных корреспондентов, аккредитованных в Вашингтоне, Том нечто вроде дядьки или ангела-хранителя, смотря по обстоятельствам. Для кого как.

— Мы организовываем поездку по тюрьмам и судам Соединенных Штатов. Если хочешь, присоединяйся,— сказал мне Том.

Предложение было заманчивым, и я решил согласиться.

— О'кей. Двадцать второго февраля ровно в девять утра будь на Четырнадцатой стрит у входа в «Нэшнл пресс-билдинг».

В Международном пресс-центре, находящемся на втором этаже «Нэшнл пресс-билдинг», Стивен Козн, помощник государственного секретаря США по правам человека, читал нам напутственное слово.

— Есть ли сейчас в американских тюрьмах политические заключенные?— спросил я Козна.

— Нет.

— А как быть тогда с заявлением главного представителя США в ООН Эндрю Янга о том, что в американских тюрьмах томятся сотни и даже тысячи политических заключенных?

— Ну, это зависит от того, что подразумевать под данным термином.

— Тогда позволите перефразировать мой вопрос следующим образом: имеются ли в американских тюрьмах заключенные, считающие себя политическими?

— Сколько угодно. Но это ровным счетом ничего не означает. Они оказались за решеткой не потому, что пользовались свободами, а потому, что нарушали законы.

— Но политическими заключенными являются как раз те, кто бросает вызов законопослушанию.

— Я имел в виду уголовное законодательство.

— Разумеется. Пример тому дело «уилмингтонской десятки», не так ли?

Но недаром мистер Козн помощник государственного секретаря США по правам человека. Он пропустил мимо ушей мое ироническое замечание и всем своим видом дал мне понять, что не намерен попасться в столь элементарную ловушку. К тому же к нашему диалогу подключились другие участники «тюремного турне», также желавшие подвергнуть допросу мистера Козна. Беседа переключилась на несколько иной аспект прав человека. Мои коллеги упорно добивались у мистера Козна ответа на вопрос, почему Вашингтон, рядящийся в тогу защитника прав человека, оказывает в то же время помощь диктаторским режимам, фашистам и расистам.

...Бросок видавшей виды «дакоты» из Вашингтона, столицы Соединенных Штатов, до Батон-Ружа, столицы штата Луизиана, занял с остановками в Чарлстоне и Мобиле около пяти часов.

В аэропорту Батон-Ружа, весьма неказистом и непрезентабельном, без алюминиевого лоска и стеклянного блеска, нас встречали судья Вильям Хог Дэниелс и помощник шерифа Эдди, просто Эдди, без фамилии, хотя она у него, конечно, имелась. Эдди,

с солидным брюшком, ясно обозначающимся над поясом-патронташем, с моложавой сединой и розовощекостью, был прикреплен к нам в качестве водителя-телохранителя. Полицейский автобус, за баранкой которого сидел Эдди, имел стальные сетки на окнах. Так что, путешествуя по Луизиане, мы видели ее небо, ее природу и людей рассеченными на мелкие квадратики и ромбики, как на полотнах кубистов.

Судья Дэниелс, наш гид,—сейчас, собственно, уже не судья, но по традиции это звание закреплено за ним навечно до самой смерти и даже после нее. Поэтому, как здесь принято, мы тоже называли его просто судьей. На первый взгляд судья Дэниелс типичный джентльмен-южанин со старомодно галантными манерами, с мягким юмором, с речью нараспев, в которой преобладают покровительственно-патерналистские нотки благодушствующих плантаторов. Бывший журналист, бывший полковник контрразведки, бывший судья штата, ответственный ныне за рекламу его сельскохозяйственной продукции, Дэниелс представлял собой гибрид консерватора по природе и либерала, вернее критикана и брюзги поневоле.

— Так вот,—раздался певучий голос судьи Дэниелса,—Новый Орлеан — это Нью-Йорк Луизианы, а Батон-Руж — его Вашингтон. В Новом Орлеане делают деньги, в Батон-Руже — политику. Новый Орлеан — биржа, Батон-Руж — конгресс. Кстати, здание конгресса Луизианы, нашего Капитолия, самое высокое в Соединенных Штатах. Вы скоро его увидите и сами убедитесь в этом.

В самом деле вскоре перед нашим взором сквозь все ту же тюремную сетку возник, правда еще в отдалении, небоскреб, старообразный, не вытянутый стеклянно-бетонным параллелепипедом, а возвысившийся в небо готически заостренной верхушкой.

— Наш супер-Капитолий детище покойного губернатора Хью Лонга,—говорит судья Дэниелс.—Он был большим человеком и любил все большое.

Добавим от себя, что Хью Лонг был большим расистом. По сравнению с ним даже бывший губернатор Алабамы Джордж Уоллес карлик. Знаменательно, что и тот и другой стали жертвами политического покушения. Лонг был убит, Уоллес навеки прикован к ортопедическому креслу. И тот и другой мечтали стать президентами Соединенных Штатов и распространить на всю страну сегрегационистские принципы не умирающей в сердце каждого истового южанина Конфедерации. Имя Лонга и сейчас огромная сила в Луизиане. Живы и процветают и его идеи, и его последователи, и его сын — всемогущий председатель финансовой комиссии сената, миллионер-эпикурец Рассел Лонг. Миллионы Лонга вложены в нефтяной бизнес. Поэтому если Генри Джексона называют сенатором от «Боинга», Рассела Лонга величают сенатором от «Экксона», крупнейшего нефтяного концерна в США и во всем капиталистическом мире. Поэтому что хорошо для «Экксона», хорошо для Луизианы, во всяком случае для самого Лонга и его королевской рати.

Судья Дэниелс словно читает мои мысли.

— Конечно, у Луизианы самое высокое в Америке здание конгресса. Но штатом реально управляют не законодатели. Вся власть в руках триумvirата нефтяных магнатов, баронов прессы и федеральных судей,—говорит он.

Особенно достается от нашего гида последним.

— В отличие от судей штатов, которые избираются, федеральные судьи назначаются президентом пожизненно. Они имеют скверную привычку заживаться на свете до мафусаилова века, блистая невежеством и слабоумием. Они никому не подотчетны — ни властям штата, ни его населению. Их нельзя ни сместить, ни отозвать.

— Как баронов прессы и нефтяных магнатов?

— Совершенно верно.

...Судья Дэниелс продолжал вводить нас в курс местных дел:

— В Луизиане семьдесят процентов населения — белые, тридцать процентов — негры. А вот в наших тюрьмах восемьдесят процентов заключенных — негры и лишь двадцать процентов — белые.

— Почему?

— Не потому, что мы расисты. Корень подобной диспропорции — разница в уровне образования. У белых лучшая подготовка, чем у негров. Поэтому они легче находят работу высокооплачиваемую и высококвалифицированную. Безработица сильнее поражает негров, в особенности молодых. А большинство преступников как раз и рекрутируются из безработных и молодежи.

— Итак, причина диспропорции в разнице уровней образования. Но в чем причина этой разницы?

— Опять-таки не в расизме, хотя лично я уверен, что интеллектуальные способности негров значительно ниже наших,— прорывается сквозь тонкую личину либерализма заскорузлое плантаторское нутро судьи Дэниелса.— Это вполне научно доказанный факт. К подобному заключению пришли многие наши антропологи и физиологи, изучая строение черепа и мозговые извилины негров. Об этом же свидетельствуют проводившиеся в наших школах тесты на интеллект.

— По расовому принципу?

— Да, по расовому: негры беднее белых, поэтому образование, которое они получают, качественно хуже.

— Но ведь это же, по сути дела, заколдованный, порочный круг: негры не могут получить хорошей работы потому, что не имеют хорошего образования, и не могут получить хорошего образования потому, что не имеют хорошей работы. Единственный выход из этого порочного круга на улицу, а затем в тюрьму, не так ли?

— Почти что так. Но это в основном относится к прошлому. После знаменитого судебного дела «Броди против школьного совета Топека-каунти» в пятьдесят четвертом году начался процесс десеграциации учебных заведений. Разница между качеством образования, которое получают белые и негры в Луизиане, все более стирается. Сейчас у нас в штате два государственных университета — Южный и Луизианский,— одинаково доступных для всех.

— И?

— И,— здесь судью-консерватора внезапно подменяет неудачник-фрондер,— все остается по-старому. В Южном университете девяносто пять процентов студентов — негры, в Луизианском девяносто пять процентов студентов — белые.

— То есть сегрегация законодательно отменена, а практически остается?

Поздно вечером в отеле «Кэпитол-хауз» в нашу честь был устроен ужин, на котором присутствовала почти вся судебно-тюремная верхушка Луизианы во главе с Полем Фелпсом, начальником всех тюремных заведений штата. Цветных, если не считать официантов, на ужине не было.

Не помню уже, как это произошло, с чего началось, но разговор сосредоточился на личности некоего Карлоса Марсело, главы организованной преступности в Батон-Руже и, кажется, во всей Луизиане. Наши хозяева наперебой, кто с возмущением, кто с восхищением, рассказывали о проделках Марсело, безнаказанно обирающего весь штат. Я поинтересовался, почему же нельзя найти управы на этого гангстера, если все его преступления столь хорошо известны властям.

— Мы знаем, что это он, но не можем накрыть его. Нет доказательств, никто не хочет быть свидетелем, показывать против Марсело. Затевая дело против него, мы лишь еще больше опустошим нашу казну, увязнув в судебной волоките, так и не выиграв ее,— ответил главный тюремщик Луизианы Фелпс.

Сидевший рядом со мной судья Дэниелс недовольно пробурчал:

— Не нашим следователям-мужланам тягаться с адвокатами Марсело — гарвардскими профессорами права. Кстати, некоторые из них тоже гангстеры, вернее наследники гангстеров. Сейчас среди королей преступного мира распространилась мода посылать своих детей в Гарвардский и Йельский университеты, самые дорогие и уважаемые в Америке, учиться на юристов. Весьма надежное помещение капитала, скажу я вам. Свой своего надежнее защищает.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что секрет неуязвимости Карлоса Марсело не только в умении замечать следы, терроризировать свидетелей и нанимать допых адвокатов. Он пустил настолько глубокие корни в легальный бизнес штата, что вырвать их из луизианской земли местной Фемиде уже не под силу.

Воспользовавшись паузой в бурных прениях по поводу юридической nepотопляемости Карлоса Марсело, я спрашиваю мистера Фелпса, имеются ли в подведомственных ему тюрьмах политические заключенные.

— У нас в тюрьмах сидят тупицы и хитрые, черные и белые, бедные и богатые, но политических заключенных среди них нет,— отвечает мистер Фелпс. В голосе главного тюремщика Луизианы явно звучат нотки гордости за разнообразие переданной на его попечение клиентуры.

— А есть ли у вас заключенные, которые считают себя политическими? (Эти два вопроса именно в таком порядке я задавал затем всем «заинтересованным лицам», с которыми мне довелось встретиться в ходе «тюремного турне» по Соединенным Штатам, организованного Томом Суинсоном. Получился весьма любопытный, хотя и кустар-

ный опрос общественного мнения, вернее надзирательско-околоточного, на тему о правах человека в Америке.)

— Таких хоть пруд пруди. Люди, попадающие за решетку, обычно начинают фанатизировать. Вы вскоре сами в этом убедитесь. Буквально все заключенные будут уверять вас, что это система толкнула их на преступление, что это система не оставляет им иного выхода.

— Но если судить по социальному и расовому составу ваших подопечных, то так оно и есть на самом деле.

Почувствовав, что атмосфера накаляется, судья Дэниелс решил разрядить ее шуткой.

— У нас в тюрьмах есть политики, сидящие за уголовные преступления, но нет уголовников, сидящих за политические взгляды,— сказал он.

БЕЛЫЕ СУДЬИ В ЧЕРНЫХ МАНТИЯХ

Городской суд Батон-Ружа. Комната № 201. На скамье подсудимых сидят 8 иностранных журналистов, включая автора этих строк. За судейской кафедрой вместо одного, как полагается, судьи целых двое. Молодые рослые гиганты атлетического сложения, кровь с молоком, сущие супермены. Даже бесформенные черные судейские мантии, брошенные на гражданское платье, не уродуют их ладно, по-спортивному скроенные фигуры. Брюнета зовут Дуг Моро. Он главный городской судья. Имя блондина Боб Уайт. Он просто судья, пока что еще не главный. Вокруг них хлопочет, ликуя и содрогаясь, любуясь и восторгаясь, пышная дама госпожа Мэри Миллсэп. Она возглавляет департамент суда, ведающий надзором за условно освобожденными преступниками, главным образом несовершеннолетними.

Дуг Моро, как две капли воды похожий на актера Кристофера Рива, играющего в кино роль супермена (гонорар—полтора миллиона долларов), весьма подробно, пересыпая речь техническими и судебными терминами, рассказывает нам о том, как борются в Батон-Руже против нарушителей уличного движения. Некоторое время мы вежливо слушаем судью-супермена, затем начинаем ерзать на скамье подсудимых, тихо перешептываться и проявлять иные признаки нетерпения. Поскольку мы путешествуем по Батон-Ружу в полицейском автобусе, оснащенном рацией, сиреной и световой сигнализацией, а наши машины находятся за две тысячи миль отсюда в гаражах Вашингтона, то лекция судьи Моро для нас неактуальна. И, по правде говоря, не для этого мы приехали в столицу Луизианы.

Воспользовавшись паузой, я задаю свой коронный вопрос:

— Есть ли в ваших тюрьмах политические заключенные?

Судья Моро, явно застигнутый врасплох вопросом, весьма далеким от проблемы проезда на красный свет, несколько мешкает с ответом, а затем говорит:

— Нет. Американцы могут пользоваться любыми свободами, если они не выходят за рамки закона.

— Но политические, как правило, выступают именно за изменение существующих законов.

— Если они добиваются изменения законов в рамках закона, то тогда все о'кей.

— А если они при этом поедут на красный свет?

— Мы их будем судить, но не как политических, а как нарушителей уличного движения.

— Имеются ли в ваших тюрьмах заключенные, считающие себя политическими?

— Сколько угодно. Это, например, люди, которые утверждают, что на преступление их толкнула система, что корень их злоключений — существующие у нас в стране порядки. Есть и такие, которые попадают в тюрьму как уголовники, а затем политизируются. Вам еще предстоит встреча с нашими заключенными. Они будут уверять вас в чем угодно. Они будут опаривать даже объективные научные факты.

— Жизнь несправедлива,— цитирует судья Уайт любимое изречение президента Картера.— Не все рождаются богатыми. Не все имеют средства на хорошее образование, на опытного юриста. Но зато все равны перед законом.

— Перед белым судьей в черной мантии?

— Это уже из области политики, а мы, судьи, политикой не занимаемся. Даже ведя избирательную кампанию, мы не говорим о своих политических взглядах.

Пока мы ведем диалог с белыми судьями в черных мантиях, комната № 201 город-

ского суда Батон-Ружа постепенно заполняется людьми. Преобладают негры. Они занимают длинные деревянные скамейки для зрителей. Это истцы, ответчики, их родственники, адвокаты и свидетели, дела которых должны разбирать Моро и Уайт. (Наше вторжение задержало начало судебного разбирательства.) Белое меньшинство сосредоточилось на скамьях для присяжных. Это судебные клерки, пришедшие поглазеть на иностранцев из Вашингтона. Какой-то тип усиленно фотографирует нас, в особенности меня. Он явно не из газеты. По-видимому, судебный фотограф. Типичное лицо профессионального боксера, получившего на своем веку не одну хорошую взбучку, прежде чем уйти на покой, повесить перчатки на гвоздь и камеру на шею.

Аудитория с напряженным вниманием следит за диалогом. Я начинаю ощущать незримый водораздел, образовавшийся в комнате № 201. Белые клерки на скамьях для присяжных поддерживают судей, негры на скамьях для публики явно сочувствуют мне, точнее вопросам, которые я задаю. Видимо, ощущение водораздела начинает овладевать и белыми судьями в черных мантиях. Чтобы разрядить обстановку, они призывают на помощь почтенного Норберта Рейфорда. Он образцово-показательная личность: с одной стороны, негр, с другой — адвокат. На примере почтенного Рейфорда пара суперменов пытается доказать нам, что черные судейские мантии могут носить и люди с черным цветом кожи. Дело в том, что на последних выборах Рейфорд-демократ как раз выступал против Моро-республиканца. Победа, а вместе с ней и кресло главного судьи остались за Моро.

— Сыграл ли расовый фактор какую-либо роль в вашем поражении?— спрашиваю я почтенного Рейфорда.

— Нет, никакой,— поспешно, слишком уж поспешно отвечает Рейфорд и с мягкой улыбкой добавляет:— Просто мистер Моро пользовался большей популярностью среди избирателей. В студенческие годы он был знаменитым футболистом. Да и его отец в прошлом известный легкоатлет. Он даже был олимпийским чемпионом в тридцатые годы.

Раздается смех. Обстановка на мгновение разряжается.

Попадая с берегов Потомака на берега Миссисипи, из Вашингтона, где негры политическая сила, в Луизиану, где негры все еще тягловая сила, даже невооруженным глазом замечаешь разницу в их поведении. В Луизиане негры, в особенности те, которыми, как Рейфорду, есть что терять, в присутствии белых говорят мягким голосом, заискивающе, отвечая на вопросы посторонних, заглядывают в глаза белым, как бы осведомляясь: ну как, мол, все ли в порядке, довольны ли вы мною, не напутал ли я чего, не напортил ли, грешным делом? Здесь это называется «дядетомизмом» — от дяди Тома из знаменитого романа Бичер-Стоу. В глазах нынешнего поколения американских негров дядя Том выглядит не бунтарем, а паинькой, готовым сотрудничать со своим хозяином, в котором он видит не рабовладельца, а просвещенного покровителя, чуть ли не отца родного, хотя и строгого иногда, но всегда справедливого. Ничто не вечно под луной, меняются взгляды, переоцениваются ценности. «Хижина дяди Тома», бывшая когда-то бомбой, сейчас для негров нечто вроде брома. Рейфорд из породы «дядетомистов».

— Люди старшего поколения еще помнят негров, запертых в клетках или выполнявших тяжелые каторжные работы в кандалах и наручниках. Сейчас иные времена. Правосудие стало мягким. Могил на тюремных кладбищах все меньше и меньше. Люди выходят на свободу живыми,— говорит он.

Судья Дэниелс, наш Вергилий по луизианскому судебно-тюремному аду, начинает спокойно ерзать на скамье подсудимых. Видимо, патка почтенного Рейфорда вызвала у него очередное выделение желчи.

— Иные времена, мягкое правосудие... Все это чепуха. Рейфорд один из богатейших людей в Батон-Руже. Его дом может посрамить дома многих белых джентльменов. Что знает он о могилах на тюремных кладбищах? Вот посетите Анголу и убедитесь сами. Ангола — это наша самая знаменитая тюрьма. Люди редко выходят из нее на свободу живыми... Наше судебное сословие лжет и клятвопреступничает,— снова заворчал он,— лишь в одном случае: когда это ему выгодно. Во всех остальных случаях мы сама честность и правдивость...

Атмосфера в комнате № 201 еще больше накаляется. Символически расслоившаяся аудитория — белые на скамьях для присяжных и черные на скамьях для публики — все больше начинает втягиваться в перепалку. Госпожа Мэри Миллсэп женским инстинктом понимает, что пора кончать, пока еще не поздно.

— Леди и джентльмены,— обращается она к нам,— мы и так задержали начало судебного разбирательства. Да и ваш график весьма уплотнен. Давайте оставим судью Моро с его истцами и ответчиками и перейдем в «Пробейшн групп», где я познакомлю вас с моими коллегами и подопечными.

С подопечными мисс Миллсэп мы познакомились лишь на следующий день, а встреча с ее коллегами оказалась мимолетней. Это были в основном молодые полицейские — парни и девушки, слегка принаряженные под хиппи, видимо, для того, чтобы внушать больше доверия малолетним преступникам.

— Какие виды преступности наиболее распространены среди несовершеннолетних? — спрашиваем мы мисс Миллсэп.

— Угон автомобилей, вооруженные ограбления, мелкие кражи в супермаркетах. Преступления в основном совершают дети бедняков и негры. У них нет денег, а кругом изобилие товаров и машин. И телевидение круглосуточно рекламирует их, вбивая в головы людей мысль о том, что каждый должен обладать автомобилем, домом, холодильником и прочими вещами. Но как обладать ими, если нет денег? Путем воровства и ограблений. Это очень по-американски: раз я должен иметь то-то и то-то, то я и буду иметь. Не важно как, но буду.

В беседе принимают участие только белые полицейские. Единственный коллега мисс Миллсэп с черным цветом кожи — девушка-полицейский — упорно молчит, прислушиваясь к беседе, презрительно поджав губы и столь же презрительно переводя взгляд со спрашивающих на отвечающих.

Из городского суда Батон-Ружа мы отправились в его мэрию. Стало припекать, и мы с нескрываемой завистью поглядывали на Эдди, сменившего форму помощника шерифа на легкую весеннюю одежду. Исчез и револьвер-пушка. Вместо него за ремень брюк Эдди засунул миниатюрный пистолет.

— Револьвер жены,— пояснил Эдди, перехватив мой взгляд.— У нас в Луизиане многие женщины носят оружие. Когда у тебя под боком живут негры, так спокойнее.

Расистская пропаганда, подогревая ненависть к цветным, малюет всех негров как потенциальных насильников. По всей стране, в особенности на глубоком Юге, создаются женские организации, членов которых обучают обращению с огнестрельным оружием. Запуганные, взбаламученные буржуазки, носящие в своих сумочках вместе с пудреницей и помадой пистолеты, служат великолепными дрожжами расизма, прикрываемого благородным флером «самообороны простых граждан против преступности», что на поверку оказывается лишь слегка модернизированным судом Линча...

Мэр Вудро (Вуди) Дюма («Никаких родственных связей с Александрями Дюма, отцом и сыном»,— видимо, в который уже раз сострил он) приветствовал нас у выхода из лифта и тут же передал на попечение судьи Элмо Лира.

Подобно своему знаменитому шекспировскому тезке, судья Лир стар и сед. Вот только вместо трех дочерей у него всего одна — четырнадцатилетняя Мелинда. Я узнаю об этом не со слов судьи, а из предвыборного буклета, который он нам презентовал. Буклет озаглавлен «Судью Лира в апелляционный суд. Поддержим опытного судью». Лир и впрямь опытный судья и политикан. Впервые он избирался участковым судьей в 1962 году. В 1966, 1972 и 1978 годах он переизбирался, не имея конкурента. Выпускник Луизианской школы права, так сказать, доморощенного Гарвардского университета, из которого выходит правящая верхушка штата, бывший военный летчик, имеющий 8 боевых наград, бывший помощник генерального прокурора Луизианы, известный адвокат по уголовным делам. Ну как не поддержать столь опытного судью!

Судья Лир приглашает нас в зал, где обычно заседает городской магистрат. Здесь мы впервые за нашу поездку сталкиваемся с телевидением. По-видимому, судья решил использовать встречу с иностранными корреспондентами в своих предвыборных целях. Правда, у него опять нет оппонента — кому охота тягаться с судьей Лиром,— но лишнее паблисити никому и никогда еще не вредило.

Присутствие телевизионной камеры властно диктует время беседы. Судья Лир залезает на высокую кафедру и раздражается длиннющим монологом не о людской неблагодарности, по Шекспиру, а о благах американской демократии. Послушав несколько минут для вежливости задравную речь Лира, я перебиваю его своим вопросом:

— Судья Лир, сэр, есть ли политические заключенные в ваших тюрьмах?

— Нет,— по-военному отрезает Лир, переводя взгляд с меня на глазок телекамеры и обратно.

- А заключенные, считающие себя политическими?
- Есть,— столь же лаконично отвечает Лир и после нерешительной паузы добавляет: — Если бы я оказался за решеткой Анголы, то я бы выдал себя не только за политического, но за кого угодно, лишь бы выйти на свободу.
- И это помогло бы вам?
- Нет, не думаю.
- А что, если осужденные вами люди становятся политическими уже в тюрьме?
- После того как мы выносим приговор подсудимому, мы перестаем интересоваться его личностью и судьбой.
- И это хорошо?
- Нет, мы понимаем, что это плохо.
- Судья Лир, сэр, вот вы сейчас ведете избирательную кампанию. Поднимаете ли вы в ходе ее вопросы, связанные с правами человека?
- Нет, впрочем, да, вопрос о равноправии мужчины и женщины.
- А у вас есть женщины-судьи?
- Нет.
- Вы занимаете различные судебные должности вот уже с шестьдесят второго года. Приходилось ли вам когда-либо за эти годы заниматься проблемами, имеющими хоть какое-либо касательство к правам человека или гражданским правам?
- Нет, не приходилось.

Затем судья Лир пытается втолковать мне, что в Соединенных Штатах правосудие находится вне сферы политики, что судей избирают не по принципу, демократ он или республиканец, а по тому, насколько он опытен и честен.

— Опыт и честность — вот мои единственные предвыборные обещания,— гордо говорит судья Лир, косясь в сторону телевизионной камеры.

— Но ведь с приходом к власти той или иной администрации, как правило, меняется состав судей и шерифов?

— Опытные, честные судьи и шерифы есть и среди демократов и среди республиканцев,— отвечает находчивый судья Лир. Затем, словно вспомнив что-то, присовокупляет: — Вы спрашивали меня о теме прав человека в ходе моей избирательной кампании. Я забыл упомянуть, что я за равноправие для всех национальных меньшинств.

— А у вас есть хоть один судья-негр?

— В окружном суде Батон-Ружа пока что нет ни одного негра. Но в этом нет ничего страшного. Это ровным счетом ничего не означает. Ведь мы, судьи, представляем не население, а закон.

Судью Эмо Лира сменяет судья Том Пью. Это, видимо, очень больной человек. Он с трудом передвигается, тяжело опираясь на палку-костыль. Том Пью — старший судья по семейным делам. Судя по его виду, по его страдальчески сморщенному лицу, невеселы дела семейные в Луизиане. Слова судьи подтверждают это ощущение.

— Мой мир населен разбитыми сердцами,— говорит он.— Передо мной проходят человеческие жизни от колыбели до могильной плиты, и опыт все больше убеждает меня в том, что в нашей стране институт семьи находится под большой угрозой. И в отношении малолетних преступников наша система оказывается неадекватной. Война во Вьетнаме произвела деморализующий эффект на все наше общество...

То ли судья Пью никуда не избирается, то ли его слова портят музыку, но, во всяком случае, я замечаю, что оператор отключил телевизионную камеру и дремлет, уютно пристроившись на гостевых местах...

Последним в программе дня было посещение юридического факультета Луизианского университета, своеобразной альма матер, поставляющей штату служащих Фемиды. Нас принимал декан факультета Уинстон Дэй, на удивление молодой — ему всего тридцать два года — и здоровый мужчина.

Окруженный со всех сторон портретами своих предшественников и меценатов-попечителей (портреты, выполненные маслом, были невысокого качества, но гигантских размеров), мистер Дэй совершил для нас небольшой исторический экскурс в луизианское право, из которого я понял лишь то, что оно в отличие от права в других штатах Америки зиждется не на английском, обычном, основанном на прецедентах, а на французском, писаном, основанном на знаменитом «Кодексе Наполеона» (Луизиана, прежде чем ее продали Соединенным Штатам, была французским владением).

— В нашем штате право и кухня имеют французский привкус,— сострил мистер Дэй.

Что касается кухни, то он совершенно прав. Что же касается права, то лишь отчасти, формально. Право в Луизиане не французское, впрочем, как не английское или американское, а расистское, не писаное, конечно, а обычное, основанное на прецедентах многовекового рабовладения. Вспомнив рассказ судьи Дэниелса о том, как десегрегация высших учебных заведений ничего не изменила в Луизиане, оставив все по-старому, я спросил декана, сколько негров обучается на его факультете.

— Процентом шесть-семь, не больше,— ответил мистер Дэй.

— Дорого?

— Не только.

— Трудно?

— Не только.

— Но и?..— попытался я подстегнуть декана.

— Понимаете, мы, южане, народ консервативный. Контингент наших студентов тоже весьма консервативный. Достаточно сказать, что за все десять лет войны во Вьетнаме у нас здесь не было ни одного студенческого беспорядка.

В голосе декана мне послышались нотки самодовольства, даже гордости. Казалось, и портреты его предшественников и попечителей-меценатов, прислушиваясь к нашей беседе, горделиво взирают на своего достойного преемника, не учинившего в годы вьетнамской агрессии ни одного беспорядка в стенах университета или за оными. Вот это молодец! Вот это пай-мальчик!

— А нынешнее поколение студентов еще более консервативно, еще более провинциально и по возрастному составу старше, чем мое,— продолжает декан Дэй.— Они не изучают иностранные языки, не интересуются международной политикой.

— Ну а проблемами прав человека?

— Тоже нет. Скорее сенсационными процессами...

ЗАРЕШЕЧЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

— Сегодняшний день мы посвятим знакомству с постановкой просветительского дела в Батон-Рууже,— сказал нам судья Дэниелс, когда на следующее утро мы собрались в холле отеля «Кэпитол-хауз» в ожидании полицейского автобуса.

Судья был настроен легкомысленно с ног до головы — от броских башмаков из крокодиловой кожи до фатоватого головного убора, лихо сдвинутого на затылок. Вся его фигура излучала доброжелательность, и тем не менее мы заволновались. Объявленная им программа весьма и весьма отклонялась от цели нашей поездки. И мы решили заявить протест.

— Повремените, леди и джентльмены, повремените и не спешите протестовать,— пропел судья Дэниелс.— Я имел в виду зарешеченные учебные заведения, начиная от школы первой ступени, через колледжи и университеты и кончая академией преступности — Анголой.

Мы облегченно, хотя и с некоторым смущением вздохнули...

Школа первой ступени называлась судебным центром по семейным делам. Нас встретили плакат, гласивший: «Если ты не понимаешь моего молчания, то ты не поймешь и моих слов», — и старший надзиратель мисс Маргарет Вик. И плакат и надзиратель не располагали к беседе, к многословию. Мисс Вик, правда, принаряженная и завитая, видимо, специально для нас, оказалась, несмотря на все ее старания, весьма не-симпатичной «классной дамой», чем-то напоминавшей — неуловимо, но точно, в особенности по-лисьи хищной заостренностью лица своего, — злых ведьм из диккенсовских романов, истязавших всевозможных малюток и мальцов начиная с хрестоматийного Оливера Твиста.

В отличие от обычной начальной школы в этой, зарешеченной, стояла мертвая тишина. Памятуя о плакате-предупреждении, я пытался вникнуть в нее, понять ее затаенный смысл. «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал» — сказано у поэта. Вряд ли он имел в виду тишину детской тюрьмы. Она страшнее кладбищенской, ибо неуместна, даже противоестественна. Я бы лично, хотя, быть может, это и непедагогично с точки зрения тюремных песталоцци, предпочел бы подобной мертвецкой тишине здоровый бурсацкий бунт. Лишь изредка лязгали засовы, вздрагивали железные двери-решетки и откуда-то издалека доносились приглушенные звуки телевизора.

Предводительствуемые Вик, мы двинулись — тоже тихо — по коридорам судебного центра по семейным делам. Тюремная тишина оказалась заразной, и даже вопросы мы задавали вполголоса, словно в доме находился покойник. Впрочем, почему «словно»? Разве загубленное детство не в счет? Стены, украшенные творчеством малолетних заключенных — рисунками, вышивками, — наводили еще большее уныние. Под одной вышивкой, бурной и яркой, красовалась табличка с надписью: «Радуги без шторма не бывает».

О каком шторме шла речь? О детской преступности, которая захлестывает Соединенные Штаты? О принявшем эпидемический характер насилия общества и семьи против юношества? (Случаи избиения до смерти детей родителями уже давно перестали быть сенсациями, вошли, как это ни кощунственно звучит, в быт, стали заведенным порядком вещей.) О какой радуге? О так называемом психологическом цветном кошмаре, вызываемом употреблением наркотиков? Наркомания, бич страны, все чаще и все больше бьет по малолетним. Организованная преступность в погоне за долларами, припудренными героином, давно уравнила в правах несовершеннолетних и совершеннолетних американцев и американок...

Воспоминания невольно переносят меня из Батон-Ружа в Нью-Йорк, в Гарлем, на 115-ю стрит. Здесь жил и умер Уолт Уондермиер, носивший титул самого юного наркомана Америки. В день смерти ему было двенадцать лет. Его нашли мертвым в общественной уборной. Рядом с ним на полу валялись два пластиковых пакетика из-под героина, шприц и мензурка. Мальчонка был одет в рубашку, украшенную вышивкой-афоризмом несколько иного свойства, чем вышивка-афоризм в батон-ружской тюрьме для несовершеннолетних. Она гласила: «Мне так хочется укусить кого-нибудь. Я ищу разрядку для своей внутренней напряженности».

Уолта положили в гроб, нарядив в костюм с позолотой, о котором он мечтал всю свою короткую жизнь, но который был не по карману его родителям. Отца Уолта депортировали на Суринам за нарушение иммиграционных законов. Уолт и его пятеро братьев и сестер ютились в одной клетушке и спали в одной кровати.

Уолт был одинок. Но судьбой своей он не одинок в Америке. Лишь в одном Нью-Йорке 20 тысяч зарегистрированных несовершеннолетних наркоманов. Каждые шесть часов где-то в Америке умирает человек, принявший смертельную дозу наркотиков, и еще чаще — в поисках денег для них. На 116-й стрит в Нью-Йорке и на многих других стрит и авеню американских городов, включая Батон-Руж, открыто торгуют героином — от двух до ста долларов за пакетик, в зависимости от качества, конъюнктуры и инфляции. В подворотнях и подъездах стоят, покачиваясь, словно пьяные, мальчики и девочки, ровесники Уолта. И, глядя на них, начинаешь чувствовать, как и тобою тоже овладевает неодолимое желание укусить, но только не кого-нибудь, а тех, кто лишает американских Уолтов права на шторм и радугу, права на жизнь, заменяя их шприцем и галлюцинациями, смертью...

..Судебный центр по семейным делам. Но разве это дела семейные, а не социальные? Тюрьмы издавна называют университетами. Подобно луизианским университетам, формально десегрированным, а по существу разделенным по принципу цвета кожи человека, батон-ружская тюрьма для несовершеннолетних тоже изолирует своих узников не стенами камер, не решеткой, а признаками расовой принадлежности. Даже надзиратели, пытающиеся играть в воспитателей, подобраны по «двухцветной» системе. Как сказала нам мисс Вик, в анкетах заключенных имеется специальная графа относительно расовой принадлежности.

Большинство малолетних узников находилось в камерах. Ребята, как правило, лежали на нарах и глядели в потолок. Лишь маленькая группа заключенных, собравшись в «комнате отдыха», смотрела какую-то телевизионную передачу о похождениях мультипликационного Тарзана.

— Тем, кто ведет себя примерно, мы разрешаем смотреть телевизор сколько угодно. А тех, кто нарушает наш внутренний распорядок, мы лишаем этого удовольствия, — объяснила нам похожая на ведьму мисс Вик.

— Вы разрешаете детям смотреть любые программы, без разбора?

— Да. Выбор программы зависит исключительно от желания большинства зрителей.

— Сейчас много пишут и говорят о влиянии телевидения на рост преступности среди несовершеннолетних. Вам здесь это должно быть виднее.

— Не знаю, но, по-моему, ограничивать свободу смотреть телевизор вреднее, — ответствовала мисс Вик.

Филиппика против «ограничения свободы» в устах дамы-тюремщицы прозвучала несколько фальшиво. Но дело не в этом. Как раз за несколько дней до нашего посещения батон-ружской тюрьмы для несовершеннолетних на экраны кинотеатров американских городов вышел новый фильм «Воители» режиссера Уолтера Хилла. Фирма «Парамаунт», в которой он готовился, оклеила 670 кинотеатров, начавших показ «Воителей», леденящей кровью рекламой. На ней изображены уходящие за горизонт тысячные толпы молодых бандитов-громил. Одни острижены наголо, у других длинющие космы, или перехваченные пестрыми лентами, или заправленные в бедуинские бурнусы и бейсбольные шапочки-козырьки. На обнаженные тела наброшены кожаные жилеты. На шеях болтаются всевозможные амулеты. Глаза спрятаны за темными очками. Лица разрисованы, как у клоунов. В руках угрожающе поднятые бейсбольные биты, традиционное — наравне с пулеметами-автоматами — оружие гангстеров. Под угрожающей иллюстрацией не менее угрожающий текст: «Это армии ночи. Их сто тысяч. По численности они превосходят полицию в соотношении пять к одному. Они могут повелевать Нью-Йорком. Этой ночью они вышли для того, чтобы расправиться с «Воителями».

В Соединенных Штатах реклама не всегда с должной достоверностью отражает качество товара, который она проталкивает на потребительский рынок. О рекламе фирмы «Парамаунт» этого никак не скажешь. Она вполне адекватно передает дух и букву ее продукции. Содержание фильма вкратце таково. В одном из парков Бронкса (район Нью-Йорка) происходит своеобразный съезд всех молодежных банд города желтого дьявола. Они составляют заговор с целью постепенного захвата власти над ним — район за районом, округ за округом. Один из главарей синдиката бандитов по имени Сайрус, чем-то напоминающий Джима Джонса, реального верховного жреца «народного храма», учинившего варварский акт массового самоубийства в джунглях Гайаны, призывает своих партнеров-соперников объединиться. Если мы объединим наши усилия, вместо того чтобы драться между собой, мы сможем хозяйничать в городе как нам заблагорассудится, говорит этот «учредитель» съезда. Идея Сайруса, видимо, не всем приходится по вкусу, и кто-то убивает «объединителя». Подозрение падает, правда несправедливо, на банду из нью-йоркского района Бруклин, носящую название «Воители». Вся дальнейшая основная часть фильма посвящена тому, как «Воители», преследуемые другими бандами и полицией, пробиваются через «враждебную территорию» к себе домой, на просторы безопасных песков острова развлечений Кони-Айленд. Одиссея «Воителей» — непрерывная цепь сменяющих друг друга сцен всевозможного насилия.

Затратив 6 миллионов долларов на производство фильма, «Парамаунт» был полон решимости выкачать из плюса существенные прибыли в наикратчайший срок, заманив с этой целью в кинотеатры самую массовую аудиторию — молодежь. С помощью вышесказанного плаката и других рекламных ухищрений кинематографического блицкриг «Парамаунта» увенчался успехом. Молодежь валом повалила на «Воителей». За месяц проката кассовый сбор составил около 15 миллионов долларов. Голливуд с удовлетворением потирал руки. На его студиях срочно стали запускаться в производство картины аналогичного содержания.

Однако с первых же дней показа «Воителей» выяснилось, что молодежная аудитория, которая платит при входе долларами, расплачивается при выходе кровью, а иногда даже жизнью. «Воители» стали своеобразными кинематографическими дрожжами, на которых еще больше поднялась волна преступности среди несовершеннолетних, и без того захлестывающая Соединенные Штаты. Первое убийство произошло уже на третий день после начала демонстрации «Воителей». Это было в Палм-Спрингс, штат Калифорния. В одном из кинотеатров во время перерыва парни из банды «Синие покрывала» задели девушку из банды «Семейство». В завязавшейся драке выстрелом из револьвера был убит молодой парень Марвин Кеннет из банды «Семейство». На следующий день в городе Окснард в сорока милях от Лос-Анджелеса в фойе кинотеатра, показывавшего «Воителей», разыгралась поножовщина, жертвой которой стал семнадцатилетний юноша Тимоти Гитчел. А еще через несколько дней в Бостоне ребята из местной банды «Дорчестеры», возбужденные просмотром все тех же «Воителей», передрались между собой. Один из них, подражая герою фильма, крикнул: «Я добуду тебя!» — и ударом ножа смертельно ранил шестнадцатилетнего Марти Якубовича. Показательно, что в большинстве случаев все эти потасовки имели расовую подоплеку.

Драки, поножовщина, перестрелки повсюду волочатся кровавым шлейфом за «Воителями». Сейсмологи от социологии фиксируют, что никогда еще со времен показа «Механического апельсина» Стэнли Кубрика в 1971 году ни один фильм не вызывал такой эпидемии насилия, как «Воители». Несколько кинотеатров вынуждены были убрать броскую рекламу и даже отказаться от дальнейшей демонстрации самой картины. Но в большинстве кинотеатров жажда прибыли возобладала над чувством ответственности. В порядке «компромисса между наживой и порядком» их владельцы стали нанимать специальных охранников, оплачивать которых вынуждена фирма «Парамаунт» (на какие только жертвы не пойдешь ради бизнеса!). Мне самому пришлось наблюдать этих охранников в действии в вашигтонском кинотеатре «Таун даунтаун». (По данным старшего вице-президента «Парамаунта» Гордона Вивера, посты охраны были установлены в 200 кинотеатрах.)

Пытаясь снять с себя обвинения в «социальной безответственности», фирма «Парамаунт» утверждает, что в ходе съемок картины она не имела никаких «тревожных сигналов». Однако это далеко не так. Именно в ходе съемок, проходивших в ночном Нью-Йорке, выявился взрывчатый характер «Воителей». Съемки привлекали, притягивали к себе настоящие молодежные банды Вавилона на Гудзоне, что провоцировало бурные столкновения между ними, заканчивавшиеся кровавыми драками. Итак, жизнь влияла на искусство, а искусство на жизнь.

История с «Воителями» не исключение, а лишь последний пример сопряжения кино- и телепродукции с преступностью среди молодежи. Аналогичные взрывы насилия наблюдались и при повторной демонстрации на телеэкранах таких фильмов, как «Марафонец», «Желание умереть», и некоторых других. Тщетно общественность, родительские и школьные организации пытаются бороться со всемогущими кинофирмами, за спиной которых угрожающе маячат финансирующие их банки и корпорации, крупнейшие в Соединенных Штатах. Столь же неудачными оказываются попытки взнудать распоясавшихся апологетов насилия, льющегося непрерывным потоком с большого и малого экранов, с помощью правосудия.

Наиболее шумевшая из подобных попыток — так называемое дело Заморы. Летом прошлого года два пятнадцатилетних паренька Рональд Замора и Дэррел Агрелла, жители курортного города Майами-Бич, штат Флорида, захотели совершить прогулку в Орlando, где находится знаменитый «Дисни уорлд» — «Мир Диснея», более современное и усовершенствованное издание калифорнийского «Диснейленда» — «Страны Диснея». Но у мальчиков не было ни машины, ни денег. Тогда они решили ограбить соседку Заморы госпожу Элинор Хатгарт. Это была одинокая восьмидесятидвухлетняя старуха. Согласно показаниям самого Заморы ребята проникли в квартиру Хатгарт и, угрожая найденным у нее револьвером, потребовали денег. Старуха согласилась дать им 415 долларов, но, видимо, пригрозила, что расскажет об их непрошеном визите полиции. Тогда Замора застрелил ее через подушку, чтобы приглушить звуки выстрелов. Прихватив деньги и старенький «бьюик», автомобиль убитой, Рональд и Дэррел смогли наконец осуществить свою голубую мечту. Сразу же после убийства они покатались в «Мир Диснея», где провели затяжной уик-энд в компании с куклами великого мультипликатора, в окружении всевозможных развлекательных аттракционов.

Но рядовое, к сожалению, убийство, в котором были замешаны несовершеннолетние, неожиданно получило сенсационный оборот, вытолкнувший его на первые страницы американской печати. Элис Рубин, адвокат Заморы, готовя защиту своего юного клиента, неожиданно обнаружил, что накануне убийства Замора смотрел по телевидению два эпизода — один из уголовной серии «Коджэк» и второй из серии ужасов «Дракула». В них со скрупулезной точностью воспроизводятся сцены убийства, совершенного мальчиками в реальной жизни. Заинтересовавшись этим совпадением, адвокат стал копнуть поглубже. Выяснилось, что Замора страдал так называемой телевизионной наркоманией. По свидетельству его матери Иоланты Заморы, он буквально сутками без еды и сна просиживал перед ящиком, смотря подряд все фильмы и серии с насилием и уголовщиной, такие, как «Баретта», «Старики и Хатч», «Женщина-полицейский», и многие — нет им числа — другие. Но особенной популярностью у Заморы пользовалась серия «Коджэк» о похождениях крутого полицейского инспектора из Нью-Йорка. Он даже требовал у отца, чтобы тот обрил себе голову, как актер Телли Савалас, играющий роль детектива Коджэка.

К делу Заморы были привлечены известные психиатры. Обследовав подсудимого, они пришли к выводу, что он «страдал от длительной, интенсивной, недобровольной и

подсознательной телевизионной интоксикации», что он стал жертвой «электронного промывания мозгов, электронного гипноза», что он жил в «фантастическом мире телевидения, которое притупило его понимание добра и зла, заменило ему родителей, школу и церковь. Ему было все равно, что спустить курок пистолета, приставленного к виску человека, что раздавить муху. Он не сознавал, что совершает хладнокровное предумышленное убийство. Он думал, что действует согласно телевизионному сценарию, и только». Любопытно, что сам Замора, давая показания на суде, сказал: «После того как я выстрелил, я ожидал криков и стонов, как это бывает обычно на телевидении. Но ничего подобного не последовало, и я не воспринял все происходившее как реальность». Для него реальностью была не жизнь, а ее искаженное отражение в голубом экране.

Широкое паблсити, которое приобрело дело Заморы, не на шутку всполошило телевизионные компании, репутация которых и без того подмочена в глазах общественности, обеспокоенной ростом преступности среди молодежи. По иронии судьбы в данном случае телевидение как бы само себе делало хакарири. Дело в том, что суд над Заморой был первым процессом, который от начала до конца транслировался по телевидению, после того как Верховный суд США разрешил установку телекамера в судебных помещениях с экспериментальным одногодичным сроком. Было оказано массивное давление на судью Поля Бейкера, разбиравшего дело Заморы. Давление сие не прошло безрезультатно. Судья заявил, что он не позволит никакого «обобщенного обвинения в адрес телевидения» и не допустит никаких показаний свидетелей или экспертов «на отвлеченную тему о том, как вообще телевидение влияет на детей». Ничего себе отвлеченная тема. (Кстати, судья в значительной степени привел в исполнение свою угрозу. Он, например, отвел такого свидетеля защиты, как доктор Маргарет Томас, декан Флоридского технологического университета в Орlando, где находится «Мир Диснея», и автор 15 печатных трудов о насилии на телевидении. Мотивируя свой отвод, судья Бейкер заявил, что он «не удовлетворен» качествами доктора Томас как эксперта.)

Наконец, был брошен в бой сам крутой нью-йоркский полицейский лейтенант-детектив Коджэк, вернее играющий его роль актер Телли Савалас. Выступая перед присяжными и поглаживая свою знаменитую бритую голову, Савалас утверждал, что сам он лично против показа насилия по телевидению. Поэтому в серии, где он играет, сам он лично ни разу не выхватывал револьвера и ни в кого не стрелял. Бритоголовый актер умалчал, что за него это с успехом и многократно делают другие актеры, играющие других полицейских и разбойников.

Дело Заморы кончилось тем, что пятнадцатилетний Ронни получил пожизненное заключение. Иначе и быть не могло, ибо оправдание Заморы было равносильно осуждению телевидения. А телевизионные компании, эти всемогущие «электронные промыватели мозгов», не только не были осуждены хотя бы морально, но даже ухитрились извлечь из процесса над собой выгоду для себя — выгоду рекламную. Из гигантского материала, снятого на суде, был сделан двухчасовой документальный фильм «Телевидение перед судом». По признанию журналиста Ричарда Ривса, читающего в нем авторский текст от ведущего, «зритель этого фильма становится жертвой манипуляций, совершаемых телевидением себе на пользу». На меня, когда я смотрел эту ловко склеенную документальную ленту, особое впечатление произвел сам Рональд Замора. Нет, мальчик ничего такого не делал. Он просто сидел на скамье подсудимых как сторонний наблюдатель. Он словно смотрел телевизор, как это он делал обычно почти двадцать четыре часа в сутки, когда находился на свободе, или, вернее, в плену у телевидения. Но только на сей раз на экране показывали не «Коджэка», а его самого. Фильм был откровенной апологией насилия и не менее откровенной защитой его апологетов. Злая ирония судьбы: «Телевидение перед судом» показывали по каналу Эй-би-си как специальную программу, потеснив для этого одну из любимых передач Заморы — «Полицейские истории». Более того, фильм, в котором главным действующим лицом стал по воле этот несчастный подросток, конкурировал с шедшим одновременно с ним по другому каналу компании Си-би-эс детективным фильмом из злополучной серии «Коджэк»! Совпадения, которых нарочно не придумаешь. Совпадения символические и многозначительные...

Телевизионным каналам, показывавшим «Телевидение перед судом», пришлось предпослать вступительным титрам еще один, предупреждавший родителей, что он не для детских глаз. А если родителей как раз в это время не было дома? Насилие и лицемерие удивительно ладно уживаются друг с другом...

В дни, когда дело Заморы не сходило со страниц американской печати, жизнь еще несколько раз подтвердила преступно-трагический характер «электронного промывания мозгов». Сначала в Хэртфорд-Сити, штат Индиана, были убиты четыре брата, живших в трейлере, доме на колесах. Давая показания, убийца заявил, что он скопировал свой поступок с телевизионного фильма о Чарльзе Мэнсоне, знаменитом главаре шайки «фрегатов», совершившей целый ряд убийств в Голливуде. Затем в Колумбусе, штат Огайо, четырнадцатилетний мальчик застрелил своего младшего брата в ходе «реконструирования» одного из эпизодов детективного фильма «Грязный Гарри», который они только что посмотрели по телевидению.

Но больше всего внимание общественности привлекла история, связанная с показом опять-таки по телевидению кинофильма «Рожденная невинной». Это выдержанный в натуралистических тонах рассказ о судьбе трудного подростка-девочки. По ходу действия она попадает в исправительное заведение, где ее подвергают групповому изнасилованию. Через три дня после премьеры фильма на атлантическом побережье Сан-Франциско точно таким же образом была изнасилована десятилетняя Оливия Ниemi. Задержанные насильники признались, что они действовали «по сценарию» вышеупомянутого фильма.

В то время как суд занялся преступниками, родители пострадавшей решили подать жалобу на крупнейшую американскую телекомпанию Эн-би-си, ответственную за производство и показ фильма «Рожденная невинной». Процесс обещал быть сенсационным и принципиальным. Истцы, вернее поддерживавшая их общественность, хотели создать наконец судебный прецедент, чтобы, пользуясь им, хоть как-то преградить путь апологии насилия, звучащей с экранов кино и телевидения. Киномагнаты и телепродюсеры отчаянно защищали свое право чеканить звонкую монету любыми способами, ссылаясь при этом на первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу печати! Да, насилие и лицемерие удивительно ладно уживаются друг с другом.

Адвокат пострадавшей Марвин Льюис, выступая на процессе, говорил: «Нет никакой разницы между заводом, который загрязняет окружающую среду ядовитыми отходами, и телекомпаниями, которые отравляют сознание наших детей и молодежи». Это было не просто броское сравнение. Адвокат пытался установить криминальный характер деятельности телекомпаний и их подсудность по принципу аналогии: если отравление окружающей среды наказуемое преступление, влекущее за собой компенсацию для потерпевших, то почему отравление сознания молодежи не должно подпадать под ту же категорию?

Флойд Абрамс, адвокат, представлявший Эн-би-си, строил защиту своего клиента на базе первой поправки к Конституции США и обвинял противоположную сторону в попытках введения «тоталитарной цензуры». Демагогически смешивая божий дар с яичницей, Абрамс восклицал: «Если мы будем следовать вашей логике, то нам придется закрыть все библиотеки, изгнать все трагедии Шекспира с театральных подмостков и вообще поставить крест на всяком просвещении, на всякой творческой деятельности». «Первая поправка не может и не должна служить щитом, под прикрытием которого совершаются деяния, наносящие ущерб отдельным индивидуумам и обществу в целом,— возражал ему Льюис.— В данном случае речь идет о конкурирующих между собой телевизионных компаниях, которые подчинили своему контролю всю страну и сознание людей и пользуются этой неограниченной властью им во зло». Американская медицинская ассоциация, принявшая участие в процессе в качестве коллективного эксперта, выступила со следующим заявлением: «Нами было проведено пятьдесят научных исследований, которыми было охвачено более десяти тысяч детей и подростков, представлявших все слои общества. Проведенные эксперименты показали, что наблюдение за насилием в кино и по телевидению стимулирует агрессивное поведение молодежи». Один из таких экспериментов был поставлен в Йельском университете. Профессор Джером Зингер, проводивший его, сказал: «Подростки, отличающиеся наиболее агрессивным поведением, принадлежат как раз к таким семьям, где родители не обременяют себя заботой следить за тем, какие телевизионные программы смотрят их дети».

Подводя итоги всем проведенным в ее рамках экспериментам, Американская медицинская ассоциация пришла к следующему заключению: «Телевидение является начальной школой насилия и высшей школой преступности». Коротко и ясно. И это далеко не преувеличение. Согласно данным индексов Нильсена, телевизионного эквивалента института Гэллала, средний американец, когда ему исполняется восемнадцать лет, то есть когда он достигает совершеннолетия, умудряется посмотреть по телевиде-

нию 18 тысяч убийств! Любопытно, что за это же время он проводит в школе всего 11 тысяч часов.

Выступал на суде в качестве свидетеля и Джеймс Даффи, представитель другой крупнейшей американской телекомпании — Эй-би-си. Он вынужден был признать, что погоня за аудиторией и рекламой «слишком часто ослепляет нас и заставляет забывать о нашей основной ответственности». Мистер Даффи, разумеется, лицемерил, ибо основная ответственность коммерческого телевидения в том и состоит, чтобы увеличивать прибыль его владельцев всеми правдами и неправдами, скорее последними. Причем телемагнаты действуют не в ослеплении, а с трезвым расчетом. Для них «электронное промывание мозгов» — одна из форм намывки золота, а детские души — прииски, которые они застолбили в ожесточенной конкурентной борьбе. Мистер Даффи огласил, между прочим, весьма любопытные данные. Оказывается, Эй-би-си провела следующий эксперимент: по ее заказу группа врачей и социологов опросила 100 несовершеннолетних преступников; 22 из них признались, что «копировали технику совершения преступления с телевидения».

Уже в ходе процесса пришло сообщение из Такомы, штат Вашингтон. В местной тюрьме для несовершеннолетних группа заключенных, посмотрев по телевидению фильм «Рожденная невинной», воспроизвела сцену изнасилования в реальной жизни. По словам тюремных властей, никогда еще до показа этой картины подобных происшествий у них не было. Пострадавшая из Такомы была отведена судом.

Суд отвел еще одного весьма важного свидетеля. Я имею в виду актрису, исполнявшую главную роль в фильме «Рожденная невинной», — пятнадцатилетнюю Линду Блэйр. Судьба Линды Блэйр — трагический пример того, как Голливуд безжалостно губит молодые таланты, морально развращая и физически разрушая их, а затем с их помощью отравляет миллионы подростков ядом насилия и секса.

Линда Блэйр было тринадцать лет, когда она с согласия родителей была приглашена на главную роль в фильме «Эксорсист» («Изгоняющий дьявола»), который снимал в павильонах кинокомпании «Уорнер бразерс» режиссер Фридкин по одноименному роману писателя Бэтти. Роман «Изгоняющий дьявола» долгое время возглавлял полуофициальный список бестселлеров в Соединенных Штатах. А фильм «Изгоняющий дьявола» получил премию «Золотой глобус», которая присуждается голливудской ассоциацией иностранной печати лучшим картинам года. Причем в том году Фридкин был объявлен лучшим режиссером года, Бэтти — лучшим сценаристом, а Линда — лучшей актрисой. Постановка фильма обошлась братьям-разбойникам Уорнерам в 15 миллионов окупивших себя долларов, ибо «Эксорсист» принес им колоссальный доход, уступавший лишь рекордным прибылям от «Крестного отца».

«Я ни за что не отдала бы моего ребенка на роль Ригэн» (так зовут девочку из «Изгоняющего дьявола»), — говорят американские матери, атакуемые всевозможными институтами общественного мнения. Оно и понятно. Кто согласится, будучи в здравом уме, не помутненном ядовитыми испарениями легких миллионов, добровольно столкнуться в ад родное дитя? Кто согласится выпустить его в вальпургиеву ночь порнографии и насилия, подвергнуть отнюдь не только кинематографическим мукам, а духовным, физиологическим, физическим?

Линда Блэйр играет Ригэн, милую девочку, в которую вселяется дьявол, трансформирующий ее лицо и тело. Она превращается в отвратительного оборотня, покрытого кровью и гноем, обезображенного чудовищными шрамами. Голова ее вращается на шее как вокруг оси. Из горла вырываются дикие хрипы, ледяющий душу хохот, тошнотворное зелье. Вместо истины языком ребенка глаголют публичные дома и воровские притоны. Охваченная половым экстазом, она мастурбирует распятием, пытается изнасиловать родную мать, избивает врачей, блюет на священников, которым так и не удается изгнать из нее дьявола (в фильме — да, но не в жизни).

Для того чтобы Линда Блэйр выполняла все эти трюки с предельной достоверностью, над нею совершались опыты, вернее ее подвергали пыткам, которые сделали бы честь заплочных дел мастерам из эсэсовских лагерей смерти. Так, например, для того чтобы добиться от Линды «аутентичного» демонического взгляда, крупнейший специалист по созданию кинематографических чудовищ Дик Слит (голивудский гример номер один) вставлял ей в глазницы линзы-белки. Одновременно девочке вводили анестезирующие препараты, чтобы унять нестерпимую боль. Процесс гримирования длился часами и вызвал в конце концов кожное заболевание. Для натуралистических съемок в госпитале Линду заставляли целыми сутками лежать на спине без движения, «воз-

награждая» ее долготерпение молочными коктейлями. В сцене первоначального вселения дьявола в девочку ее привязали к вибрирующей кровати. Металлические скрепки вонзались в тело Линды. «Остановите! Остановите!» — молила будущая актриса года. Никто не обращал внимания на ее вопли. В заключительной сцене изгнания нечистой силы съемки проходили при арктической температуре (черти, привыкшие к тропикам ада, не выносят мороза), Линда чуть было не превратилась в ледяной столб. Ее пришлось отогревать, возвращая к жизни, специальной медицинской аппаратурой.

Конечно, искусство требует жертв. Но таких? И, главное, разве это искусство? Кинокритики, даже те, кто голосовал за присуждение «Экскурсисту» премии «Золотой глобус», почти единодушно объявили ленту Фриджина «наиболее сексуальным, наиболее садистским фильмом с наиболее похабным диалогом». А заслужить эти три «наиболее» не так просто, совсем не просто, если учитывать специфику американского кинорынка.

«Наиболее шокирующий фильм за многие годы», как оценивал его журнал «Ньюсуик», шел с аншлагами. Если демонстрация «Воителей» потребовала специальных охранников, то демонстрация «Изгоняющего дьявола» — нашатырного спирта и успокоительных капель. Владельцы кинотеатров Лос-Анджелеса и Бостона продавали их вместе с традиционными кукурузными хлопьями и кока-колой. В Вашингтоне полицейские власти впервые в истории американской столицы запретили несовершеннолетним вход в «Синема I», где показывали «Изгоняющего дьявола». Фирма «Уорнер бразерс» имела наглость снабдить картину сертификатом, разрешающим детям вход, но «только с родителями» (без несовершеннолетней аудитории ни один боевик не может рассчитывать на кассовый успех). Если супруги Блэйр отдали свое дитя кинематографическому дьяволу, то почему их примеру не могут последовать другие? В Нью-Йорке зрителей выносили из залов в обморочном состоянии. В Чикаго несколько человек прямо с киносеанса были отправлены на сеанс к психоаналитикам. В них, пациентов, вселился дьявол.

Дьявол вселился и в Линду. Она была запродана ему родителями — мистером Джеймсом и миссис Элиной Блэйр, бизнесменами из штата Коннектикут. У дьявола было много лиц. Больше, чем у Януса, больше, чем у Будды. И много рук. Больше, чем у Шивы. Этот многоликий и многорукий дьявол прикидывался то писателем Вильямом Блэтти, то кинорежиссером Вильямом Фриджиным, то продюсером голливудской фирмы «Уорнер бразерс», то бесчисленными кинопрокатчиками, кинокритиками, владельцами кинотеатров. Дьявол — многоликий и многорукий — превратил в исчадие ада вполне нормального и здорового подростка. До съемок в «Экскурсисте» Линда увлекалась балетом и гимнастикой, занималась конным спортом, прилежно посещала приходскую церковь. Она была настолько нормальной, настолько средней американской девочкой, что ее даже снимали несколько раз в телевизионной рекламе. (Это обстоятельство как раз и сыграло роковую роль в судьбе Линды. Голливуд заметил ее и, чуть было не вогнав в гроб, благословил на грехопадение.)

Успех «Экскурсиста» вызвал к жизни его продолжение: «Экскурсист II: еретик». Голливуд спешил разрабатывать золотоносную жилу изгнания дьявола, пока сие занятие шекотало нервы публике. Главную роль вновь поручили Линде Блэйр, дав ей в качестве партнера выдающегося английского актера Ричарда Бэртона. «Экскурсист II» мало чем отличался от своего предшественника по части ужасов и насилия. И тем не менее успеха он не имел. Впрочем, правильнее было бы сказать — и потому успеха он не имел. Публика, обкормленная кошмарами «Экскурсиста I», оказалась иммунизированной. Она ожидала еще большей «клубнички», а ей подбросили старую, из прошлого урожая.

Затем последовали три телевизионных фильма-боевика. В одном Линда играла запойную алкоголичку, во втором жертву похищения, прототипом которой послужила история Патриции Херст, третьим фильмом как раз и была скандальная лента «Рожденная невинной». По словам «самой одержимой мученицы Голливуда», работа над «Экскурсистом II» выглядела пикником, передышкой в сравнении с тем, что потребовали от нее эти три телевизионных фильма. И впрямь все познается в сравнении!

Надо отдать должное широте дьявола, вселившегося в Линду. Он осыпал ее золотом со щедростью гётевского Мефистофеля. Даже за провалившегося «Экскурсиста II» она получила около миллиона долларов. Линда завела себе конюшню породистых скакунов, выстроила фешенебельную виллу. Ее выставили на соискание премии Оскара — золотой статуэтки, высшего символа успеха в Голливуде. Но за все это надо было платить, и притом высокой ценой. Дьявол осыпал Линду золотом не ради ее пре-

красных глаз, пусть даже обезображенных искусственными белками-линзами работы несравненного Дика Смита. Он требовал взамен от нее душу — такова уж дьявольская профессия — и получил ее.

Несмотря на хваленые «психическую стабильность и физическую силу» Линды, они оказались небезграничными. Искуситель делал исподволь свое разрушительное дело. Линда пристрастилась к алкоголю, завела любовников, а затем стала менять их с быстротой и легкостью бальзаковских герцогинь-куртизанок. Сначала в ее сердце и на ее вилле поселился австралийский рок-певец Рик Спрингфилд. Его сменил другой рок-певец, Гленн Хьюз из группы «Густой пурпур». Потом явились рок-музыканты из группы «Арканзасский мореный дуб». И наконец, еще один рок-певец из родного штата Коннектикут — Тед Хартлетт. Поскольку Линде к тому времени было всего пятнадцать лет, она занималась своей интенсивной амурной деятельностью под наблюдением дуэньи, роль которой по совместительству исполняла ее мать. «Мне безразлично, что говорят обо мне люди. Детские ухаживания не для меня, а замуж раньше двадцати пяти лет я не собираюсь», — заявляла Линда.

С первыми любовниками пришли и первые нервные припадки. Оргии на вилле все чаще чередовались с лечением в психиатрических больницах. Правда, Линда по-прежнему хвасталась: «В жизни я совсем не похожа на героинь, которых играю в кино и на телевидении. Просто я немного переутомила за свою десятилетнюю карьеру (она начала сниматься в рекламе с пяти лет), и мне нужен продолжительный отдых», — говорила она. Но когда с неизбежностью темы рока в древнегреческих трагедиях ее поразила наркомания, на смену браваде пришли запоздалые lamentации о «пластиковой жизни Голливуда», разбившей вдребезги ее реальную жизнь. Так дьявол заполучил душу Линды Блэйр, а адвокат Марвин Льюис — еще одного свидетеля обвинения против растленных телепродюсеров. Правда, ад принял Линду, а суд отвел ее. В конце концов, как и следовало ожидать, дело о «Рожденной невинной», подобно делу Заморы, оказалось мертворожденным.

— Не общество, а люди ответственны за поступки, которые они совершают, — многозначительно изрек судья, когда адвокат Льюис зачитал письмо-показание Джэкоба Паттерсона, заключенного из федеральной тюрьмы в Спрингфилде, штат Миссури, в котором, в частности, говорилось:

«Многие не верят, что такое действительно происходит в жизни. Я, например, всегда стремился следовать примеру героев моего детства, таких, как гангстеры Аль-Капоне, Красавчик Бой Флойд, Легс Даймонд, и им подобные... Общество сначала само создает монстров, а потом уж пытается обуздывать их».

Общество сначала само создает монстров, а потом уж пытается обуздывать их... Я невольно вспомнил эту фразу в «комнате отдыха» батон-ружской тюрьмы для несовершеннолетних, где небольшая группа заключенных, сидя у телевизора, смотрела ленту о похождениях мультипликационного Тарзана. Было еще утро, и на экране шли передачи для самых маленьких. До «семейного часа» с убийствами, мордобоем и изнасилованиями было еще порядочно времени.

— Простите, мисс Вик, поступили ли сегодня новые заключенные в вашу тюрьму? — спросил я старшую надзирательницу.

— Да, конечно.

— А сколько?

— Одну секундочку. — Мисс Вик о чем-то пошептала с пожилым стражником, вышолнявшим, на мой непросвещенный взгляд, роль тюремного консьержа, а затем сказала: — Двадцать четыре человека.

— А за что?

Мисс Вик вновь зашептала с консьержем, который тут же полез в грессбух за бумагами.

— Убийства, вооруженные ограбления, изнасилования, — ответила она через минуту.

Общество сначала само создает монстров, а потом уж пытается обуздывать их... «Комната отдыха» была увешана щитами, на которых красовались портреты Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, нарисованные неумелыми руками заключенных. Под портретами крупными буквами были выведены разные мудрые и, видимо, полезные и уместные изречения этих несомненно великих американцев.

— «Ни один человек не имеет настолько хорошей памяти, чтобы быть хорошим лжецом. Грешить молчанием — трусость человека», — прочел вслух высказывание Лин-

кольна судья Дэниелс. Сделав рассчитанную паузу, он обратился ко мне:— Ну что же вы трусите, мистер Стуруа? Почему вы не задаете свой коронный вопрос о политических заключенных?

Впервые нашему гиду-судье изменило чувство такта и юмора.

— «Свобода, когда ее посеешь, имеет свойство быстро пускать корни»,— продекламывал я вместо ответа афоризм под портретом первого президента Америки Вашингтона и, тоже выдержав паузу, нарочито глядя сквозь судью Дэниелса, спросил старшую надзирательницу:— Не кажется ли вам, мисс Вик, что высокий уровень безработицы среди молодежи, достигающий семнадцати процентов, и в особенности среди негритянской молодежи, доходящий до трагических тридцати четырех процентов, в значительной степени способствует росту детской преступности?

— О, разумеется! — прощепетала мисс Вик.

А судья Дэниелс попытался сострить:

— Хвалю, хвалю. Вы хорошо готовите домашние задания, мистер Стуруа!

Было пора уходить. Все стали прощаться с мисс Вик и пожилым консержем-ключником. А я напоследок через плечо взглянул на молчаливую группу ребят-заключенных, смотревших, не отрывая глаз, на телевизионный экран, где рисованный Тарзан раскачивался на рисованных лианах над разрисованной пропастью. Наверное, точно так же двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю смотрел своего «Коджэка» Ронни Замора из Майами-Бич.

АНГОЛА, ЧТО В ЛУИЗИАНЕ

— За что посадили тебя в карцер?

— За отказ работать.

— Работать где?

— На хлопковой плантации.

— Но разве работа на свежем воздухе и облегченный режим не лучше, чем круглосуточное сидение в стальной клетке?

— Это смотря как... Я лично предпочитаю быть заключенным в тюрьме двадцатого века, чем невольником на хлопковых плантациях прошлых столетий.

— Но в любом случае ты не свободен. А работа в поле полезнее для здоровья, чем отсижка в карцере. Да и время бежит быстрее.

— Не вам, находящимся на воле, судить о том, как течет время по эту сторону тюремной ограды. И неволя неволе рознь. Одно дело родиться рабом, другое — стать узником. В первом случае ты просто скотина, во втором — у тебя есть хотя бы право выбора между плантацией и карцером. Да и здоровье вещь весьма относительная. В моем положении главное не цвет лица, иное дело — цвет кожи,— заключенный усмехается своей шутке,— а состояние духа. Когда меня заставляли гнуть спину на хлопковой плантации, как это делали в течение многих столетий мои предки, я начинаю сходить с ума от злости. Такое ощущение, словно время бежит вспять и я уже не человек, пусть даже с пятизначным тюремным номером вместо имени и фамилии, а вещь, животное, раб. Хочется биться головой об стенку, кричать во весь голос, умереть...

Разговор происходит в блоке «Д» тюрьмы Ангола, что в Луизиане. Ангола — тюрьма строжайшего режима. Блок «Д» — строжайший блок в строжайшей тюрьме. Его обитатели находятся, если не ошибаюсь, за четырьмя кордонами тюремных решеток, не считая внешних. Прутья решеток необычайно толстые, как в зоопарках.

Стоящий рядом со мной начальник тюрьмы Фрэнк Блэкбарн сокрушенно качает головой.

— Дурак — сам себе враг,— говорит он.— Заморочил себе мозги чепухой о времени, текущем вспять, к рабству, и угодил в карцер. У нас в Анголе порядок строгий: кто сказал «а», тот попадет в блок «Д». — Мистер Блэкбарн не лишен чувства юмора. Не висельника, а вешателя.

Но «чепуха» ангольского забастовщика отнюдь не чепуховая. Питает ее не только символика. Ангола, одна из самых мрачных и больших тюрем Америки, находится в нескольких десятках миль от Батон-Ружа, столицы штата Луизиана, и занимает территорию в 18 тысяч квадратных акров. Когда-то здесь была невольничья плантация. Рабы собирали хлопок, пасли скот, занимались рыболовством. Ангола была богатой землей и гиблым местом одновременно. Бежать отсюда было почти невозможно. С трех сто-

рон Анголу окольцовывают воды Миссисипи, с четвертой ее блокируют крутые скалы, кишащие ядовитыми змеями.

С отменой рабства Ангола — невольничья плантация стала Анголой-тюрьмой. Знаменитая «Прокламация» Авраама Линкольна не внесла каких-либо существенных изменений в ее географию — физическую и политическую. Миссисипи по-прежнему преграждает путь беглецам с трех сторон, а с четвертой их по-прежнему подстерегают крутые скалы и ядовитые змеи. Место плантаторов заняли тюремщики, место рабов — заключенные. Их пропорция — 1500 тюремщиков на 4500 заключенных — достаточно красноречиво говорит о строгости существующего здесь режима. И еще одна весьма важная цифра: 85 процентов узников Анголы — негры.

Несмотря на ее большие просторы (сознаюсь, слово не совсем подходящее применительно к тюремной территории), Ангола, плоская, как поднос, простреливается насквозь в прямом и переносном смысле — невооруженным глазом и вооруженной охраной со сторожевых вышек-башен. Подобные вышки непременная деталь почти любого тюремного пейзажа. Но в Анголе они особенные. Не своей, с позволения сказать, «архитектурой», а бдящей в их скворечнях стражей. Она целиком, поголовно состоит из женщин, как правило жен тюремщиков или их других ближайших родственников.

— Почему? — спросил я начальника тюрьмы Блэкбарна.

— По нескольким причинам. Ну, во-первых, нехватка рук. (Это при полуторатысичном персонале!) Нецелесообразно, нерационально и неэкономично держать круглосуточно на сторожевых вышках здоровых мужчин, когда для них есть столько дел на земле. Во-вторых, это отдушина для наших жен. Они живут вместе с нами на тюремной территории и томатся от безделья. Ставя их на сторожевые вышки, мы убиваем сразу двух зайцев: высвобождаем мужчин от непроизводительного труда и женщин — от скуки. К тому же это вторая зарплата для семьи, что не столь уж маловажно в условиях постоянно растущей дороговизны.

— Да, но, убивая двух зайцев, вы учите ваших жен убивать людей.

— Совершенно справедливо. И в этом третий большой плюс использования женщин в качестве охраны на сторожевых вышках. Обучая их обращению с огнестрельным оружием, поручая им следить за передвижением заключенных по лагерю, мы исподволь излечиваем их от страха перед узниками, в особенности неграми. Они уже не чувствуют себя незащитными, не пытаются отговаривать мужей, заставлять их переменить профессию, покинуть Анголу. Они как бы тоже становятся ее постоянными жителями. Посмотрите на их коттеджи рядом с тюремными блоками. Они вросли всем своим бытом в ангольскую землю. А это очень важно, ибо, помимо всего прочего, способствует установлению патриархально-патерналистских отношений между нами и заключенными. Вы бы только посмотрели, как они играют с нашими детьми!

Слушая объяснения мистера Блэкбарна, я невольно вспомнил «Хижину дяди Тома». Да, обитатель карцера в блоке «Д» был совершенно точен в своем ощущении времени, текущего вспять, к эпохе рабовладения. Ведь здесь, в Анголе, даже Миссисипи вопреки физической реальности и визуально здравому смыслу тоже течет вспять, находясь в молчаливом сговоре с «заземленными» тюремщиками и их супругицами, сменившими воздушные замки своих девичьих грез на сторожевые вышки самой мрачной и большой тюрьмы Луизианы, а быть может, и всей Америки..

Дом начальника тюрьмы Блэкбарна находится на самой высокой точке холма, господствующего над Анголой. Блэкбарну, как поется в песне, сверху видно все. Мистер Блэкбарн мужчина невысокого роста, видимо в прошлом кряжистый, а ныне располневший. Щеки словно фунтовые бифштексы. Могучая шея выпирает из воротничка рубашки, который, как легко угадывается, никогда не водил знакомства с галетуком. На голове Блэкбарна ковбойская шляпа гигантских размеров. Здесь такие называют десятигаллонными — намек на то, что в них можно влить десять галлонов жидкости. Это, конечно, преувеличение, но шляпа тем не менее впечатляет, и Блэкбарн не расстается с ней, даже садясь за стол. Поверх рубашки егерская куртка. Блэкбарн — заядлый охотник. Его дом украшают коллекции ружей, охотничьи трофеи, анималистские картины и фотографии. По многочисленным комнатам самоуверенно разгуливают борзые. Глаза у начальника тюрьмы умные, с лукавинкой. Они многое перевидали. Во рту, наполовину скрытом жесткими рыжеватыми усами, торчит неизменная сигара, толстая и крепкая.

С высоты своего капитанского мостика Блэкбарн горделиво озирает Анголу — 18 тысяч квадратных акров земли, охраняемых водами Миссисипи, ядовитыми змеями, тюремными стражниками и их женами-снайперами.

— Вот здесь мы сеем хлопок, здесь пшеницу. А это луга для молочного скота. А это пруд, в котором мы разводим рыбу. Все, что будет у нас сегодня за столом, наше — и овощи, и фрукты, и мясо, и рис, и рыба, и даже хлеб,— говорит Фрэнк Блэкбарн.

Я слежу за движением его правой руки и вижу тучные стада, пасущиеся на лугах, блестящих от только что прошедшего дождя, вижу хлопковые плантации и шеренги виноградных лоз, вижу солнечные блики на водоемах и сельскохозяйственном инвентаре. Классическая пасторальная картина, если убрать сторожевые вышки, колючую ограду и бетонированные блоки — от «либерального» «А» до беспощадного «Д», где томятся люди, предпочитающие цементно-холодную реальность карцеров буколическим воспоминаниям о временах рабства.

Если Фрэнк Блэкбарн больше похож на плантатора, чем на тюремщика, то его жена напоминает скорее полковую даму.

— Вам не страшно жить в окружении нескольких тысяч заключенных?— спрашивает ее кто-то из нашей группы.

— Нет, не страшно. До того как стать начальником тюрьмы в Анголе, мой муж заведовал большим домом для умалишенных. Там было похуже и пострашнее,— отвечает полковая дама и приглашает всех к столу отведать дары земли и воды ангольской...

За блоком «А» в самом центре лошадиного хозяйства Анголы одиноко торчит лачуга-курятник, сработанная из проржавелой жести, местами покрашенной синей краской, покореженной и вспухшей от сырости фанеры и распоротых мешков из-под риса. С потолка, напоминающего скорее решето, чем кров, свисают уздечки, бездействующий фён и голая электрическая лампочка. Щербатый деревянный пол заляпан цинковыми заплатами. Единственная мебель — нары, заваленные грязным бельем. Воздух пропитан каким-то сладковатым смрадом, в котором перемешались ароматы лампадного масла, кукурузных лепешек, муската, лошадиного навоза и самого пронизывающего и терпкого запаха на земле — человеческого пота. Здесь живет заключенный № 35510 по прозвищу Кокки. Его полное имя Фрэнк Мур. Он самый старый обитатель Анголы. Не по возрасту, а по тюремному стажу. Кокки находится за тюремными стенами с 1939 года, то есть сорок лет.

За все это время никто ни разу не посетил его из «потустороннего» мира. Кокки одинок как перст. Его общение ограничивается лошадьми, за которыми он ухаживает с 1945 года, и собачонкой по кличке Рант, которая всюду следует за ним по пятам. Три года назад в рождественское утро у Кокки парализовало левую руку. Сейчас она безжизненно, словно плеть, свисает вдоль туловища. С тех пор Кокки уже не ездит на лошадях, а лишь разговаривает с ними. Они отлично понимают друг друга. Во всяком случае, для Кокки лошадиный язык ближе человеческого. И собачий тоже. Рант, дворняжка из индейской резервации, души не чает в своем хозяине.

Фрэнк Мур абсолютно безграмотен. Он не знает, за что попал в тюрьму, и не знает, как выбраться из нее. У него нет родственников, которые могли бы хлопотать за него, и нет средств, чтобы нанять адвоката.

— Мне хочется на волю, а адвокаты хотят денег. Вот и некому представить меня совету по помилованию. Все позабыли обо мне,— жалуется Кокки, впрочем без гнева, без возмущения. Он уже свыкся с положением нечеловека, смирился с ним.

— А ты заслужил волю, Кокки?

— Если на свете есть человек, заслуживший волю, так это я.

Среди тех, кто «позабыл» о существовании Кокки, и начальник всех тюремных заведений Луизианы Поль Фелпс.

— Кокки? Я не знаю такого заключенного. Как его настоящее имя? Фрэнк Мур? Не знаю, не слышал. Он из забытых? У него нет семьи? Тогда нет ничего удивительного в том, что о нем позабыли,— говорит мистер Фелпс.

Кокки не единственный забытый в Анголе. Их здесь так много, что тюремная канцелярия перестала даже вести учет лиц, требовавших пересмотра их дел, сокращения сроков наказания, помилования. А уж о тех, кто по безграмотности не знает, как это делается, и говорить не приходится. Они превращаются, по существу, в пожизненно заключенных. Для внешнего мира они мертвецы, для Анголы — даже не узники, а рабы. Кокки, например, живет не в камере, а в хижине-курятнике, которую ему соорудили лет пятнадцать назад. Законодательство Луизианы не предусматривает никакого контрольного механизма для обнаружения забытых. В 50-х годах губернатор Эрл Лонг создал так называемый Комитет забытого человека, который за время своей деятель-

ности освободил 107 заключенных. Но это было двадцать с лишним лет назад. С тех пор больше ничего не предпринималось. Комитет распустили, а число забытых неизмеримо возросло.

— Это объясняется нашей философией помилования. Помилование в Луизиане не право, а привилегия. Мы соблюдаем права, а привилегии — личное дело заключенных, — объясняет мистер Фелпс.

Итак, в Анголе нет бесправных, а есть только привилегированные. Мистера Фелпса такое положение вещей не смущает. Он считает его вполне естественным. На вопрос, можно ли назвать справедливой систему, которая делает людей узниками только потому, что у них нет денег и образования, главный тюремщик Луизианы отвечает:

— Быть судиею тому, справедливо сие или нет, не мое дело. И вообще вопрос тут не в справедливости. Просто есть люди, имеющие средства и умеющие ими пользоваться, и люди, у которых их нет. И это относится не только к тюрьмам. Аналогичное положение наблюдается и вне тюремных стен.

Здесь мистер Фелпс абсолютно прав. Вот почему король луизианской мафии Карлос Марсело, вместо того чтобы коротать дни в Анголе, ворочает большим бизнесом и устанавливает династические связи с истеблишментом американского Юга, а Кокки и тысячи ему подобных впадают в рабство. Вот почему одни становятся сверхчеловеками-суперменами, а другие нечеловеками-невидимками.

Впрочем, слово «раб» мало кого пугает или смущает в Анголе. Узники свыклись с ним, тюремщики не стыдятся его. «Южные джентльмены», играющие роль современных просвещенных плантаторов, считают, что их патерналистские отношения с заключенными более гуманны, чем отношения янки-фабрикантов с наемной силой, и уж во всяком случае многим заключенным живется лучше в Анголе, чем за ее стенами.

— Свобода? Что такое свобода? И могут ли они справиться с ней? — спрашивает мистер Фелпс тоном, который подразумевает и подсказывает отрицательный ответ.

Госпожа Петти Грешэм, заместитель начальника тюрьмы по административным вопросам, суровая дама, чем-то напоминающая кинематографических начальниц гитлеровских концлагерей с налетом «психотической углубленности», рассуждает следующим образом:

— Если у заключенных нет никого во внешнем мире, кто мог бы помочь им, и если тем более они пожилые люди, которые не в состоянии сами о себе позаботиться, то разве не было бы лучше для таких, если бы их вообще не трогали, если бы они оставались здесь навсегда? Выдворять их в открытый мир было бы, возможно, еще более жестоко.

При всей жестокости «свободного мира» в любом его понимании — философском, как западного, и обыденном, как внетюремного, — подобная логика поражает своей бесчеловечностью. И, кроме того, кто дал право (или это их привилегия?) леди и джентльменам — тюремщикам рассуждать о сравнительных степенях жестокости и о гуманизме пожизненного заключения, так сказать, явочным порядком?

Жестокость всегда ходит в паре с лицемерием. Они как бы орел и ^{бл}решка человеческой подлости... Заключенного № 50038 звали в миру Джеймсом Поиндекстером. В Анголе он находится с 1954 года, то есть уже двадцать пять лет. Поиндекстеру семьдесят лет, и он ходит, тяжело опираясь на палку. Спустя четверть века мягкосердечная Фемида вспомнила наконец о нем и, принимая во внимание его «хорошее поведение», заменила пожизненное заключение на восемьдесят лет тюрьмы!

— Если бы я знал об этом раньше, то, наверное, попытался бы бежать отсюда. А сейчас я уже неспособен на это. Ноги не ходят. Восемьдесят лет — на что они мне? Для того чтобы добраться до Пойнт Лук-аута, даже мне, калеке, достаточно одного часа.

Пойнт Лук-аут — тюремное кладбище в Анголе. Признаться, я не обратил на него особого внимания, когда мы осматривали владения Фрэнка Блэкбарна. Да и наши гиды не очень-то стремились задержать нас в этом месте. Впрочем, одна фраза врезалась в мою память.

— Вот это наше кладбище, а рядом с ним стрельбище, на котором практикуются наши жены, несущие караульную службу на сторожевых вышках, — сказал Фрэнк Блэкбарн, когда мы проезжали мимо Пойнт Лук аута.

Я мысленно взял на заметку соседство стрельбища и кладбища, чтобы в дальнейшем обыграть эту символику в своих записях. Помню, еще тогда меня несколько удивили размеры кладбища, но я как-то не удосужился спросить об этом Блэкбарна. Хотя

Ангола считается одной из самых кровавых тюрем Америки по количеству междоусобиц и поножовщины со смертельным исходом, объяснить только этим размеры Пойнт Лук-аута, конечно, нельзя. Главная причина — в забытых. Именно они составляют основное население Пойнт Лук-аута.

Уголовное законодательство США, пожалуй, одно из самых жестоких в отношении длительности сроков тюремного заключения. И с годами эта тенденция еще более усиливается. В Луизиане, например, приговоры к пожизненному заключению словно с конвейера сходят, словно поставлены на поток. Во всех тюрьмах штата 715 пожизненных, из них 640 — в Анголе.

— Но и эта цифра не дает общей картины. К ней следует приплюсовать еще полторы тысячи узников, получивших двадцать пять лет и выше,— откровенно признается мистер Фелпс.

Между пожизненным заключением и заключением, скажем, на «популярный» срок в девяносто девять лет нет, по существу, никакой разницы. Дело не только в том, что заключенному необходим мафусаилов век, чтобы осилить «временные» девяносто девять лет. По закону эти годы приравнены к пожизненному заключению и в том отношении, что право на помилование наступает лишь после пятидесятилетней отсидки. Поэтому понятно, что у узников куда больше шансов попасть в Пойнт Лук-аут, чем оказаться на свободе.

Согласно элементарной логике чем дольше сидит заключенный за решеткой, тем ближе срок его освобождения.

— Это далеко не так,— замечает мистер Фелпс.

— То есть?

— А очень просто. Чем дольше человек находится в тюрьме, тем меньше остается у него на воле друзей и близких, готовых и способных помочь ему. Он постепенно переходит в категорию забытых. А отсюда до фактического пожизненного тюремного заключения рукой подать.

Человек не просто переходит в категорию забытых. Он теряет молодость, здоровье, силу рассудка, превращается в беспомощного калеку, во вьючное животное, в вегетирующее существо. Зачастую он лишается естественной для человека тяги к свободе, начинает бояться ее, бояться мира одиночества, ожидающего, или, вернее, поджидающего, его за тюремной оградой. Он предпочитает не расставаться с тюрьмой, рассматривая ее как наименьшее из двух зол, уже не как темницу, а как дом призрания, дом для престарелых.

— Это проблема не только Луизианы. Это национальная проблема,— говорит мистер Фелпс.

Да, так оно и есть на самом деле. В Соединенных Штатах исподволь складывается так называемый подкласс «лишних и забытых», сломленных длительной тюрьмой и неспособных прокормить себя вне ее стен. Это живые мертвецы, хватаящие, в свою очередь, живого. Они белмо на совести людей и балласт для налогоплательщиков. Они давят и на душу и на карман, невольно способствуя дальнейшей деградации общества, породившего и поразившего их. Разумеется, рост преступности в Соединенных Штатах играет далеко не маловажную роль в пролиферации пожизненных заключений. Но в значительной степени это ужесточение Фемиды вызвано политическими соображениями. За ширмой «законности и порядка» бушует вендетта капиталистического общества против бедных и цветных, против париев, сам факт существования которых вызывает панику и истерию у имущих.

Волна этой истерии подымается все выше и выше. Вот некоторые весьма любопытные статистические данные на сей счет. В 1967—1968 годах тюрьмы штата Флорида приняли 62 узника, приговоренных к пожизненному заключению. С 1976 года количество подобных узников составляет 300 человек в год. В штате Нью-Йорк их число выросло с 1971 по 1974 год на 44 процента. Дальнейший скачок был еще более разительным: в 1974 году 173 пожизненных, в 1975 году — 520! В самой Луизиане число пожизненных за последнее десятилетие увеличивается в среднем на 100 процентов каждые три года. По признанию мистера Фелпса, «в будущем ожидается еще более драматический рост». Ни в одной стране ни в одно время не было столько «заживо погребенных», сколько в тюрьмах современных Соединенных Штатов Америки, этого общепризнанного лидера «свободного мира».

И еще немного статистики. Содержание узников, приговоренных к пожизненному заключению, обходилось налогоплательщикам Луизианы в 1974/75 финансовом году в

1,7 миллиона долларов. В текущем году эта сумма возрастет до 4,5 миллиона долларов. Тюремные власти с ужасом подсчитали: если даже стоимость жизни и число пожизненных не будет расти, что, конечно, фантастическое допущение, содержание 640 узников обойдется штату в 100 миллионов долларов за двадцать лет! А ведь в Анголе имеются и другие заключенные, приговоренные к астрономическим срокам, превышающим двадцать лет. И их число давно перевалило за тысячу.

Чем дальше, тем хуже. Согласно данным министерства юстиции США Луизиану в недалеком будущем ожидает рекордный для всех штатов рост заключенных. В то время как за период с декабря 1975 по декабрь 1976 года ее население увеличилось на 13 процентов, ее тюремное население возросло на 31 процент. Эта соотносительная динамика роста набирает сейчас все большую скорость. По словам мистера Фелпса, штат уже потратил за последние четыре года 100 миллионов долларов на строительство новых тюрем и на реконструкцию старых.

— Для того чтобы шагать в ногу с ростом количества заключенных, нам необходимо строить ежегодно по новой тюрьме,— говорит мистер Фелпс.

Тюремное дело в Америке — большой бизнес, рост которого заставляет зеленеть от зависти почти любую отрасль американской промышленности. Это отнюдь не увеличение и сказано не для красного словца. Согласно данным Ассоциации по поддержанию законности и порядка, в 1976 году в США на борьбу с преступностью было потрачено 19,7 миллиарда долларов налогоплательщиков. Данных за последние годы не имеется. Но если учесть, что с 1971 по 1976 год расходы на контроль за преступностью возросли по стране на 87 процентов — более 100 процентов по федеральному бюджету, 94 процента по бюджетам штатов и 86,1 процента по местным бюджетам,— то трудно догадаться, что расходы на тюремный бизнес продолжают, как здесь принято выражаться, «ракетировать к небу».

За долларами стоят люди. Общее число занятых в системе правосудия составляло на октябрь 1976 года 1 079 892 человека.

— Столь непроизводительные расходы миллиардов долларов на содержание миллионов тюремщиков и заключенных рано или поздно вынудят нас к поискам более приемлемых альтернатив. Быть может даже, экономические факторы, в особенности на фоне нарастающего налогового бунта, помогут объективно в решении проблемы заживо погребенных, заставят суды отказаться от практики приговоров на чрезмерно длительные сроки заключения,— рассуждает мистер Фелпс.

Но подобные рассуждения беспочвенны. Они опровергаются и жизнью и статистикой. Когда администрация попыталась, например, «привести в чувство» почтовую систему страны, также непроизводительно пожирающую финансовые и человеческие ресурсы, она столкнулась с непреодолимой силой «особых интересов». Рабочие места, организационно укомплектованные в масштабах страны, становятся внушительными избирательными блоками, и отрывать их от долларового вымени равносильно самоубийству для политического деятеля, стремящегося к высшим выборным должностям. Ну а тюремная система в отличие от почтовой еще и аппарат классового господства и подавления. Буржуазия на нем никогда не экономила и в особенности не намерена экономить сейчас, когда ее основы подгнили и поколеблены, когда принуждение стало главной формой убеждения.

— Мы все говорим, что проблема преступности одна из главных проблем Америки. И тем не менее если завтра среди нас появится, так сказать, юридический Эйнштейн, который сумеет за ночь решить эту проблему, то он и дня не просуществует, как его укокошат. Кто рискнет оставить без работы более миллиона бюрократов? Тюремный бизнес — гигантская сила,— замечает с налетом иронии наш чичероне судья Дэниелс.

Но дело не только и не столько в этом. Тюремный бизнес не просто источник существования бюрократов, он основа существования режима, строя. В Соединенных Штатах он направлен своим острием не против преступности, а против эксплуатируемых. Недаром члены гангстерских синдикатов и «белые воротнички» составляют менее процента растущего тюремного населения Америки. Ангола не для Карлоса Марсело и Генри Форда. Она для таких, как Кокки. И для решения этой проблемы необходим не «юридический Эйнштейн», а Ленин...

Мы покидали Анголу поздно вечером, совершив изнурительное путешествие по всем кругам ее ада — от блока «А» до блока «Д». Кстати, в этом последнем блоке произошел весьма любопытный инцидент. Помните заключенного, который предпочел от-

сидку в карцере работе на хлопковой плантации, напоминающей ему времена рабства? Когда я разговаривал с ним через толстую стальную решетку, к нам подошел мой коллега из Южно-Африканской Республики. Я представил друг другу заключенного и журналиста.

— Так вы из ЮАР?— переспросил заключенный.

— Да, из ЮАР,— подтвердил журналист.

— О, примите тогда мои искренние соболезнования. Вот где действительно нет никаких свобод! А вас не арестуют за общение со мной?

Журналист густо покраснел и поспешно отошел от клетки. Когда мы выходили из блока «Д» под аккомпанемент автоматически с лязгом и грохотом захлопывавшихся за нашими спинами заперов, он сказал мне:

— Вы можете себе представить, каково положение на моей родине, если даже этот несчастный, заживо погребенный в Анголе, посаженный на цепь в карцер, соболезнует мне...

У лагерных ворот мы пересели из огромной тюремной машины мистера Блэкбарна в полицейский автобус помощника шерифа Эдди, вдруг показавшийся нам уютным и комфортабельным. И впрямь все на свете познается в сравнении. Эдди взял у охранника свой пистолет, сданный под расписку на время нашего пребывания в Анголе, и уселся за руль.

— Ну как ангольская академия преступности?— спросил он, не обращая ни к кому в частности.

Мы нестройно промывчали в ответ нечто невразумительное.

— Мистер Стуруа, а почему вы ни разу не задали в Анголе ваш сакраментальный вопрос о политических заключенных?— пошутил судья Дэниелс, чтобы разрядить создавшуюся неловкость.

— Попав в ад, не спрашивают, имеются ли в нем грешники, ваша честь,— ответил я.

Батон-Руж—Вашингтон, 1979 г.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

«НОВЫЕ ИДЕОЛОГИ СТАРЫХ ПРАВЫХ»

«Мыслить, как до 1789 и как в 2100 году» — девиз французских «новых правых» (журнал «Нувель обсерватер»).



Событием прошлого, 1979 года буржуазная печать Франции именует явление так называемых новых правых — идеологического течения, возникшего вне рамок существующих политических партий и имевшего довольно широкий резонанс как в самой Франции, так и в других странах Запада. Во французской прессе были опубликованы десятки, если не сотни статей о «новых правых», и, в частности, журналы «Нувель обсерватер» и «Нувель литерэр» дали о них подборки материалов.

«Новые правые» вызревали в течение ряда лет в недрах нескольких политических клубов, кружков, редакций журналов и газет. В конце 1978 года они получили в свое распоряжение трибуну издающегося довольно большим тиражом журнала «Фигаро магазин», принадлежащего реакционному газетному магнату Эрсану. Вышло около дюжины книг, написанных «новыми правыми» или при их участии. Еще недавно едва слышные их голоса располагают отныне мощными усилителями. В их поддержку выступили некоторые известные писатели, придерживающиеся правых политических взглядов, такие, как Эжен Ионеско и Морис Бардеш. В июле прошлого года журнал «Нувель обсерватер» писал: «Вот уже несколько месяцев надо быть глухим, чтобы не услышать глумливых голосов, исходящих от новых правых — притязательных, освободившихся от чувства вины, философствующих, претендующих на то, чтобы захватить интеллектуальный рынок, покинутый ими со времени Освобождения».

«Чувство вины», о котором идет речь, обусловлено было преступлениями фашизма; они сделали одиозными в глазах широкой общественности любые идеи, как-то соприкасавшиеся с теми, что вызвали к жизни Освенцим и Орадур. Если до второй мировой войны подобного рода идеи еще имели кредит у некоторой части интеллигенции, то после нее ни один уважающий себя деятель культуры — во Франции, как и в ряде других западноевропейских стран — публично не выражал своих к ним симпатий. Что касается тех, «старых» правых, точнее крайних правых, группировок, какие продолжали там существовать, то они не пытались открывать никаких америк в сфере идеологии, довольствуясь в этом отношении перелицовкой наследия, оставшегося от третьего рейха.

Не то «новые правые». Это respectable с виду интеллектуалы — преподаватели, журналисты, писатели, «эксперты»-технократы. Кастетов и велосипедных цепей они с собой, разумеется, не носят (хотя, как теперь выясняется, в студенческие годы кое-кто из них не брезговал участием в погромных отрядах ультра). Их задача: идеологический погром, «переоценка всех ценностей» в духе крайней реакции.

«Новые правые» по многим пунктам разделяют позиции «классического» охранительства (Бёрк, Жозеф де Местр, Бональд); «...в них окаменела вся контрреволюционная мистико-проphetическая мысль начала XIX столетия», — пишет о «новых правых» «Нувель литерэр». «Естественное неравенство», «органический порядок», верность патриархальным ценностям — все эти традиционные идеи охранительства фигурируют в их программных документах. Вместе с тем, призывая вернуться в прошлое, «новые правые» имеют в виду не то или не совсем то прошлое, какое имели в виду реакционеры-«классики». Для тех идеалом был санкционированный христианской церковью средневековый сословный строй. «Новые правые» косятся на него с подозрением: ведь это из его недр вышло капиталистическое общество, несовершенное, на их взгляд, постольку, поскольку оно, в свою очередь, чревато своим отрицанием — социализмом и коммунизмом. Свой идеал «новые правые» находят в досредневековой, дохристианской

Европе: среди языческих варварских племен, населявших в эпоху античности большую часть континента.

Такой ход вообще-то не совсем нов: напомним о том, какую роль играли в нацистской пропаганде идеализированные доблести древних германцев. У «новых правых» место «арийских ценностей» заняло некое «индоевропейское наследство». Сие понятие охватывает столько же кельтские, сколько древнегерманские традиции и должно вызвать в уме главным образом идиллическую картину «простых и здоровых нравов». Это мир вагнеровских музыкальных драм с их «органическими» сюжетами, их сильными и вместе с тем элементарными характерами («великий упрости́тель» — кем-то было сказано о Р. Вагнере). Движение «новых правых» «в сторону Вагнера» (на которого они охотно ссылаются) идет теми же путями, кои были испробованы «мифотворцами» в коричневых рубашках, столь охотно эксплуатировавшими вагнеровские темы (в чем, разумеется, автор «Нибелунгов» несколько не повинен). Вместе с тем «новые правые» не просто обыгрывают символику далекого прошлого, как это делали нацисты, на сей раз призыв вернуться ко временам «добродетельного» варварства следует понимать в гораздо более буквальном смысле.

Столь экстравагантные идеи сегодня проходят: западная публика уже приучена ко всякого рода идеям эстрадно-философского характера. Помимо всего прочего идеи эти отражают нечто вполне реальное, а именно тот факт, что буржуазное общество малопомалу отворачивается от христианства, сползая к некоему языческому натурализму — хотя отнюдь и не «добродетельному», а скорее взятому с прямо противоположным знаком (и выступающему, таким образом, как антигуманизм). Заметим, что «новые правые» вовсе не выглядят какими-то игривыми парадоксалистами или же безнадежными романтиками, влюбленными в кельтские древности, в Галию друидов и кровавых жертвенных обрядов. Напротив: «Драчливые, энергичные, думающие не столько о кабинете древностей, сколько о власти, эти новые правые далеко не являются самыми глупыми правыми на свете; ветер стоицизма, язычества, агностического позитивизма закалил их черты, опрокинув... их традиционных опекунов — теологов», — пишет о них «Нувель обсерватер». Место теологов заняли Дюмезиль, Моно, Фрейд, Леви-Стросс. Ж. Дюмезиль — лингвист, изучающий языки индоевропейской семьи, Ж. Моно — биолог-структуралист, К. Леви-Стросс — структуралист-этнолог; все крупные ученые, особенно последний. Впрочем, можно было бы привести немало других имен ученых, которых «новые правые» обильно цитируют и которых они берутся пространно комментировать, ища у них поддержки.

В этом состоит претенциозная новизна «новых правых»: они пытаются опереться на науку. Реакционеры-«классики» были единодушны в своем неприятии научной мысли; лейтмотивом проходит в их сочинениях требование: избегать яркого света знания, жить в сумерках, по нити. В XX веке в стране, где наука и техника достигли высочайшего развития, фашисты, придя к власти, насаждали вопиющий обскурантизм, поощряли оккультные и прямо бредовые идеи. «Новые правые» выглядят людьми, шагающими и в ногу с веком НТР и даже впереди него. Они одновременно и ретрограды и модернисты: они тоже «за прогресс» и даже «впереди прогресса». Они в курсе всех последних достижений специальных наук; среди их тезисов нет ни одного, которому они не придавали бы импозантно-научообразную форму. Собственно говоря, отдельные попытки привлечь специальные исследования на службу реакционным идеям имели место и раньше. Напомним хотя бы о «социальном дарвинизме» или о евгенике — «науке человеководства». Но то были именно отдельные попытки. «Новые правые» заявляют, что их задача — создание целой философии позитивистского типа, то есть представляющей собой некий синтез специальных наук. Писатель и журналист Луи Повель, другой их лидер, вслед за Огюстом Контом, классиком позитивизма, определяет ее как «религию, вытекающую из науки».

Подобный образ мыслей обычно зовется сциентизмом. В данном случае, однако, сциентизм является не более чем позой. Ибо тут, как говорится, телега поставлена впереди лошади: все догматы известны заранее и почитаются непреложными, наука приянута, чтобы создать видимость рационального их обоснования. Так, центральный для «новых правых» догмат о неравенстве (людей, народов, рас) получает генетическую будто бы подпорку: дескать, поведение человека на четыре пятых детерминировано наследственностью и лишь на одну пятую социокультурной средой, а так как люди от природы неравны, то, значит, и в обществе они не могут быть равны тоже. Из биологии переносится на жизнь общества также и неизбежное превосходство сильного над

слабым. Вообще там, где у Бёрка и де Местра фигурировало провидение, там у «новых правых» красуется природа. В природе вычитывается, например, «принцип порядка» — тут в помощь привлекаются и структурная биология, и структурная лингвистика, и кое-что еще и потом механически переносится опять-таки на жизнь общества.

Не стоит труда разбираться во всех этих псевдонаучных выкладках. «Новые правые» берут со стола науки то, что плохо лежит, и с тем, что взяли, обращаются совершенно произвольно; если они и вписывают туда новую страницу (на что они сами претендуют), то лишь в историю вульгаризации научной мысли. Достаточно сказать, что из тех четырех научных авторитетов первого ранга (Дюмезиль, Моно, Фрейд, Леви-Стросс), на которых, по словам «Нувель обсерватор», пытаются опереться «новые правые», и Леви-Стросс, и Моно, и Дюмезиль сочли возможным, так сказать, дезавуировать этих последних, заявив, что не видят никакой связи между своими работами и теми выводами, которые из них сделаны (Фрейд, естественно, уже никого не может дезавуировать).

Когда «новый правый» трубит в свой кельтский рог и сей надтреснутый трубный глас означает призыв вернуться к «ценностям архаических времен», тогда он, «новый правый», выступает в качестве экстравагантного ретрограда. Когда же он обращается к научным теориям, математическим формулам и схемам — желательным последним, новооткрытым, — он хочет казаться человеком сегодняшнего, более того, завтрашнего дня. Повель считает нужным уточнить — 2100 года (это ему принадлежит формулировка квадратуры круга, взятой «новыми правыми» в качестве девиза и вынесенной в эпиграф настоящей статьи). Уместно вспомнить, что герой романа Томаса Манна «Доктор Фаустус» композитор Адриан Левверкюн по внушению черта поставил перед собой такую цель: соединить математику и неоварварство, математику и магию. Идея, вообще характерная для модернизма определенного толка. «Новые правые» переносят ее из сферы искусства в более широкую сферу культуры — «Нувель обсерватор» называет эту операцию «обновлением фасада у самых старых правых в мире».

Но какой бы ореол «научности» ни пытались создать вокруг себя «новые правые», одного его недостаточно, чтобы заставить прислушаться к себе сколько-нибудь широкую аудиторию. Идеи, пропагандируемые ими, настолько заскорузлы, настолько диссоннируют с духом нашего века, что трудно заставить их проглотить, не прибегая при этом к каким-то трюкам. Можно ли в наше время с ясным челом и чистой совестью утверждать, что человечество делится на овец и козлищ, что есть люди, а также народы, расы, которые рождены повелевать, и другие, которым остается лишь повиноваться?

Но «новые правые» так прямо этого не говорят — во всяком случае, пока они обращаются к широкой аудитории. Они ловкие демагоги и знают, как подать самое несъедобное блюдо.

Так, вместо того чтобы прямо заявить соотечественникам, что среди них есть «лучшие» (незначительное меньшинство) и «худшие» (подавляющее большинство), они предпочитают говорить о «праве на различие»; объектом же критики делают «эгалитарное болото», каковое есть «царство посредственностей». У «новых правых» за этим слышится: каждому свое. Это вползает, шипит, традиционная «мудрость», выраженная изречениями типа «всяк сверчок знай свой шесток» и «всяк кулик в своем болоте велик». Деление человечества на овец и козлищ здесь само собой разумеется.

В наиболее щекотливом для «новых правых» вопросе об отношении к фашизму они придерживаются двойной линии: с одной стороны, отрешиваются от него, с другой — косвенно его реабилитируют. Косвенная реабилитация проявляется в том, что они приравнивают фашизм к «другим формам тоталитаризма»; фашисты, заявляют они, были плохи, однако ничуть не хуже многих других. К примеру, лагеря смерти, конечно, были ужасны, но и бомбардировки германских городов англо-американской авиацией, оказывается, не менее, если не более жестоки. Вообще же фашисты, с точки зрения «новых правых», более всего повинны в том, что они будто бы злоупотребили, сделав их тем самым одиозными в глазах всего мира, изначально вполне позитивными идеалами, как то чистота расы, «ценности варварства» и т. д. Теперь, дескать, пришло время вернуть этим идеалам их первоначальную белизну. «Гитлер, — суммирует их взгляды по данному вопросу газета «Монд», — был девиантом (извращенцем), скомпрометировавшим ту семью, с которой связывают себя «новые правые»...»

На место скомпрометированного «нового порядка» воздвигается иной идеал: «новая культура». «Новые правые» всячески подчеркивают, что их деятельность развертывается исключительно в сфере культуры, в особенности в сфере научного или околонучного творчества. Они высокомерно отворачиваются от традиционных крайне

правых партий и сами не выдвигают никаких конкретных политических программ. Разумеется, это не значит, что они отгораживаются от политической жизни. «Совершенно ясно, что движение идей, совершающееся в обществе, рано или поздно оказывает воздействие на политическую сферу», — заявляет Бенуа на страницах «Монд». А проще говоря, вся деятельность «новых правых» — это политика, только политика дальнего прицела. Она исходит из того, что в настоящих условиях, по словам «Нувель литерэр», («научные») исследования более важны для политики завтрашнего дня, чем дискуссии относительно доброй или злой воли...».

Оставим в стороне вопрос, насколько это действительно так. В данном случае, как мы знаем, речь идет о спекуляциях вокруг научных исследований, о том, чтобы выковать из этих последних оружие, посредством которого можно было бы учинить идеологический погром. Пока же «новые правые» осуществляют «стратегию вживания»: это значит, что они стремятся приучить общество, и прежде всего различные его элиты, к себе, к своим идеям, хотя бы к мысли о том, что идеи эти имеют право на существование. Как говорит Бенуа: «Не демонстрировать, а существовать интеллектуально». Не торчать на отшибе справа, у самого края, делая страшные рожи и показывая левый кулак, но быть общительными, улыбчивыми, квалифицированными диспутантами, убеждать всех и каждого, сколь безупречны лелеемые ими идеалы «с точки зрения науки» и как будет хорошо решительно для всех, если эти идеалы провести в жизнь. Развертывая свое идеологическое наступление, «новые правые» стремятся обратить себе на пользу и тот полемический резонанс, который вызвали в прессе их выступления, не без оснований рассчитывая, что благодаря ему они смогут расширить свою аудиторию.

Пока в странах «третьего мира» правые путчисты продолжают действовать по старинке, то есть начинают с захвата аэропортов и президентских дворцов, радиостанций и банков, потом переходят к массовым репрессиям и т. д., в просвещенном Париже вырабатывается новая модель путчизма для Запада: целью становится овладение в первую очередь «интеллектуальным банком», что в настоящих условиях приобретает особое значение.

Насколько можно судить по сообщениям французской прессы, «новые правые» встречают немало сочувственников среди различных элит, в том числе и тех, что имеют отношение к «коридорам власти». Некоторые их рекомендации уже сейчас находят практическое воплощение: так, ведется кампания за реформу образования в направлении создания элитных школ — вопрос частный и все-таки очень важный в век НТР (создание элитных школ еще более затруднит доступ к управленческим должностям для представителей «низших» слоев общества).

Притом, однако, все партии правящего большинства официально отмежевались от «новых правых» (да и с крайне правыми группировками у них не установилось взаимопонимание). Слишком резко порывают они с идеалами священного для французов 1789 года, с принципами гуманизма вообще. Шокированные их поведением, буржуазно-либеральные критики весьма резко порицают «варварство с ученым лицом». «То, что новые правые для нас готовят», — пишет, например, газета «Монд», — это возвращение к закону джунглей, к царству слепой силы, против которого испокон веку, со времени Антигоны и Сократа, человечество не переставало восставать».

В действительности то, к чему призывают «новые правые», не так уж и контрастирует с фактическим положением вещей: закон джунглей, превосходство сильного над слабым — неотъемлемые элементы буржуазного образа жизни. Но одно дело мириться с таким положением (и поощрять его) де-факто и совсем другое — признавать его де-юре. Официальная пропаганда строится на традиционном либеральном фундаменте, «подмоченные эгалите и фратерните» (равенство и братство) остаются ее краеугольными принципами. Тот идеологический вариант, который предлагают правящему классу «новые правые», представляется ему чересчур вызывающим, чересчур рискованным. «Новые идеологи старых правых», как называет их газета французских коммунистов «Юманите», пока остаются в резерве: они еще должны доказать свою жизнеспособность. Так обстоит дело на сегодняшний день. А что будет завтра?

Ю. КАГРАМАНОВ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

★

О ВОЙНЕ И О МИРЕ...

Статья вторая

«**Р**усский народ,— написал в конце жизни Василий Шукшин,— за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброта... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

Об этом же — и о том, что в повестях его говорится, — Валентин Распутин сказал в одном из интервью:

«...И если мы станем считать вопросы нравственности второстепенными, тыловыми, нам неминуемо придется поворачивать назад, ибо тыл тогда сам по себе превратится во фронт, а что значит фронт за спиной, понятно не только военным».

Я часто думаю: о чем эта литература последних лет, которую мы называем деревенской прозой? Погружение извечной деревенской Атлантиды (и многих ею утвержденных ценностей) под шквалом урбанизации и НТР?.. О прощании, оплакивании, последнем поклоне? Да, и об этом. Но главное — о жизни. Больше того — о смысле жизни. Подняться к этой проблеме по-серьезному, как поднимается, например, Распутин, — нужна не просто смелость, а зрелость. Всей литературы зрелость. Которую мы ощущаем в нашей и военной и деревенской прозе.

В традиции великой русской литературы (да и мировой, классической) вопрос «о смысле всего» принято связывать напрямую с вопросом о смерти. Об умирании. Именно смерть заостряет вопрос до боли, до крика: зачем? зачем все? какой во всем смысл?

Были времена, когда о смерти, умирании писали много, очень много, писали с удо-

вольствием, со вкусом, с подвыванием — Максим Горький таких писателей называл «смертяшкиными». Нет ничего отвратительнее, чем конъюнктурщики этой темы.

Но бывало и другое. Смерть ушла из литературы начисто, «намертво». Нет, люди погибали, если надо, — героически или подло погибали, кровь лилась, текла обильно по страницам. Смерть как поступок жила в литературе. Но смерть как тема, проблема ушла, исчезла. А с нею — закономерности — и вопрос о смысле жизни.

В «Юности» был когда-то опубликован рассказ «Невероятная смерть» интересного нашего белорусского писателя Валентина Тараса. Партизанский командир и молодой паренек едут сквозь ночь лесом, полевыми дорогами. По своим обычным партизанским делам. Увидели огонек на хуторе. Командир послал партизана посмотреть, кто и что там. Мальчишка заглянул в окошко: в избе старухи, дети, тусклый свет падает на мертвого старика, лежащего в гробу. Надо узнать, «кто его?». Спросил:

— Кто его?

— Сам.

— Как сам?!

Пораженный, вернулся на дорогу и сообщил командиру, что человек умер «сам».

— Умирают же люди! — позавидовал командир.

Военная наша литература не могла и не может не писать о смерти человека — смерти во имя жизни прежде всего. Сохраняя и передавая всю боль и трагедию насильственного конца. Но военная ситуация фактически снимает главный вопрос, а точнее, решает его лишь «тактически». И редко, очень редко — «стратегически», как умели классики. Смерть Андрея Болконского — не только во имя победы над Наполеоном. Нет, она нужна Толстому и для победы над

бессмыслицей бытия, ради выяснения: в чем смысл жизни и смерти человека? У нас же смерть героя чаще — поступок, а не вопрос. И когда у Астафьева в повести «Пастух и пастушка» герой умирает не от ран, а от усталости — рана вроде бы пустяковая, а он все равно умирает, как бы от всей войны умирает, от жестокости, им познанной, — начинаешь подозревать, что писатель уловил и выразил усталость самой нашей военной литературы. Усталость от смертей, одинаково лишенных глубины вечных вопросов. Да, тех самых вечных, проклятых!

И тут не «деревенщики» ли могут, способны подсказать и подсказывают кое-что военной прозе? Не случайно именно Астафьев ощутил это и художественно выразил — писатель, одинаково сильно заявивший себя как в военной, так и в деревенской прозе.

Умирает старуха Анна в «Последнем сроке» Валентина Распутина, умирает остров на сибирской реке — зеленая, обжитая Матёра. Река времени и просто река возьмут свое. «Надо, раз надо», — как бы говорит всем своим обликом старуха в «Последнем сроке». А в «Прощании с Матёрой» звучит: «Надо ли?» Но и там и здесь главная мысль об остающихся — о тех, кому жить дальше. О «проводящих». И старуха Анна и древняя Матёра одинаково тревожно, жалеюще смотрят на удаляющихся от них. Да, и Матёра смотрит, слушает: не ради ли этого выпущен автором на страницы повести чудной, пронизательный зверек — Хозяин, который все видит, все чувствует?

Последний срок... Старуха уходит, умирает, взрослые ее дети приехали, на время оторвавшись от дел и своей жизни, проводить, исполнить обряд и выполнить долг. Человеческий, сыновний, дочерний.

И до чего же, господи, не умеют эти люди вести себя перед лицом смерти! Чужой. И свою далеко не каждый человек встречает, встретит как следовало бы — как сам от себя или другие от него ждали. Но редко кто перед лицом собственного конца бывает столь же пуст и обидно неглубок, сколь бывают многие в роли «проводящих».

Умирает мать! А они что? Они приехали ее жалеть, оплакать ее. Как умеют, как могут. Но что бы они ни сделали, что бы ни сказали — все выглядит и все звучит ужасно. Перед лицом смерти.

Да кто же они? Люди, обыкновенные люди, но это о них (и о себе) говорит Поливанов — один из героев нового романа Давида Гранина «Картина»: «Не думал я о

смерти. Словно бы бессмертен. Ты разве к смерти готовишься? Тоже живешь равно бессмертен. Это у всех нынче. Как болезнь... Поскольку там ничего нет, то боимся подумать...».

«Провожаящие» и сама боятся думать о смерти (да и не думают) и приговоренного к ней болезнью или старостью «отвлекают». Как в «Последнем сроке»: «Ну, мать, молодец ты у нас, — с веселым удивлением покачал головой Илья. — Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, всю разговорилась. Прямо как по писаному чешешь...».

— Смерть не оманешь. — Старуха смотрела на них с терпеливой укоризной и сказала не сразу.

Все они как бы ради умирающей стараются — чтобы подбодрить. Но больше потому, что других слов не имеют. Не привыкли об этом думать. Делают вид, что всем еще долго ехать вместе («Ты еще у нас плясать пойдешь!»), но сами лишь «зубы заговаривают», отвлекают, как зло сказано у того же Гранина, — «чтобы на ходу спрыгнуть».

«Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара... Варвара открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню».

Варвара самая недалекая из детей старухи по уму, да и живет ближе других. Люся — та городская, кричать не станет на всю деревню и чувствует ложность положения, фальшь, когда она возникает, но и эта что ни сделает — все невпопад, все ужасно...

Сыновья Михаил и Илья позаботились о водке — тоже понадобится.

«Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли ждут, как надо, не теряют ли даром время...».

А потом была первая тревога, и их всех позвали к умирающей.

«Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится не скоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери, в ее последний

час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил ее прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношение к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Сами не веря себе!.. Литература давно — начиная с Достоевского, Толстого, видит в человеке, замечает, подмечает то, на что, казалось бы, и смотреть нельзя. На пугающие эти, мимолетные, но тем не менее задерживаемые сознанием человека, фиксируемые им самим мысли, ощущения.

Очень даже знакомы Распутину-художнику такие чувства, как презрение, гнев, хватает в его повестях разоблачительных, почти фельетонных красок: достаточно вспомнить пьянку сыновей, которой они скрашивают свое ожидание смерти матери, или же «труды и дни» шефов, налетевших на затопляемую Матёру... Но «разоблачением пороков» он не ограничивается, на этом его реализм, его психологизм не кончается. Гнев Валентина Распутина видит и бездушные, и эгоистичные, и пьянку, от которой люди на улицах «на ходу бодаются». Но жалость его, перенятая у старухи Анны и бабки Дарьи, видит намного дальше, глубже: как нелегко, непросто человеку справляться со всем, что в нем намешано, как мучительно!

В «Прощании с Матёрой» об этом же — напрямую: «Смотрите, думайте! Человек не один, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребующих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните».

Тени, тьма исчезают, если их попытаешься рассмотреть с помощью света. То же самое случается очень часто и в литературе, когда о смерти пишут «от ума». Стремясь понять смерть, а через нее и смысл жизни, литература чаще именно так и поступает: тьму смерти высвечивает рассудком и уже о свете рассуждает будто бы о тьме.

Иво Андрич в своей мудрой книге «Знаки вдоль дороги» пишет: «То, что у писателя мы называем «размышлениями о смерти», чаще всего очень далеко от размышлений и еще дальше от смерти. Это лишь выраженные словами наши чувства неуверенности и страха при мысли о смерти. Подлинная мысль о смерти слов не находит».

И удивительно, как Распутин эти слова

все-таки находит — будто уже сам пережил. И старухой когда-то «побывал».

Старуха умирала даже красиво. Если какую-то смерть можно посчитать красивой. Есть народы, например, японцы, для которых умереть красиво — значит оправдать всю свою жизнь. Какую бы ни прожил. И испохабить — тоже любовь, если умрешь без достоинства. Это их поговорка: «Умрешь — не надо будет завтра». У русского народа, у славян свое отношение к смерти, но забота о достойном уходе из жизни тоже великая. Заранее готовили и наряд и обряд, чтобы уйти как можно незаметнее, не причиняя лишних неудобств живым. Своего рода чистоплотность, свойственная людям очень интеллигентным. И вот им — крестьянам, «простым мужикам».

Мы знаем, как ценил это, как завидовал этому Толстой («А мужики-то, мужики как умирают!»). Старуха умирала — хоть это и неожиданно будет, но хочется сравнить, — как академик Павлов! Который до последнего мгновения диктовал, сообщал ассистенту ощущения умирающего. Работал («Не мешайте, Павлов работает, — Павлов умирает!»).

Старухе, конечно, такое и на ум не могло прийти, что ее умирание может быть кому-то полезно. Одна забота, морока с ней от этого, одно беспокойство для людей! Вот и дети должны были срываться с места, бросать все и ехать к ней. И теперь сидят, ждут, и даже получается, что она виновата в чем-то: ведь смерти ее ждут! Так надо скорее дело делать — скорее умирать! А то нехорошо получается. Будто в упрек им тянет-затягивает с этим делом...

Павлов не Павлов, а выходит, что и старуха делом занята, не просто умирает, а как бы и работает: смерть поторапливает, помогает ей в ее работе...

«...Старуха собиралась спокойно, без суеты и страха. Тихонько освободила от одеяла грудь, чтобы было с чего начать, осторожно, не вызывая шума, покачала себя в кровати и нашла, что ничего лишнего в ней нет, все вышло... Ноги она вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравняются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она им говорила, что они не виноваты, она сама их насадила бегом, да они не понимали. Теперь поймут, куда не денутся».

Вроде бы все дела переделала, осталось последнее: помочь своей подружке и напарнице — смерти. Но нет, что-то держит, мешает успокоиться и уйти. Небольшой во-

просец остается — к земле, к небу, к людям и к самой себе: зачем приходила, куда денется ее жизнь и вообще — зачем все?

Уходя от всех и от всего, хотела бы и она знать, понять, выяснить, зачем и для чего жила, топтала землю и «скручивалась в веревку, выноса на себе любой груз»?

А зачем ему, умирающему человеку, знать это? — вот еще вопрос, встречающийся. Психологически понятно, почему именно приближение конца, смерти заостряет вопрос о смысле жизни. Для человека нет ничего невыносимее бессмысленности — и в жизни и в смерти. Но можно и так вообразить: чем ближе к концу человек, тем ближе он и к «будущим ответам», о которых Циолковский говорил: «Итак, значит, мы пришли к выводу, что материя через посредство человека не только восходит на высший уровень развития, но и начинает мало-помалу познавать самое себя!.. И одна из самых поразительных его возможностей — это вопрос, о котором мы сегодня заговорили: почему, зачем и т. д. Кто пренебрегает этим вопросом, тот, значит, не понимает его значения, ибо материя, в образе человека, дошла до постановки такого вопроса и властно требует ответа на него. И ответ на этот вопрос будет дан — не нами, конечно, а нашими потомками, если род людской сохранится на земном шаре до того времени, когда ученые и философы построят картину мира, близкую к действительности.

Все будет в руках тех грядущих людей — все науки, религии, верования, техника, словом, все возможности, и ничем будущее звание не станет пренебрегать, как пренебрегаем мы — еще злослыные невежды — данными религии, философов, писателей и ученых древности».

Когда слышишь упреки С. Залыгину, что его сибирские мужики в «Комиссии» — «все философы», каких и «аспирантура не рождает», хочется сказать: никакая аспирантура и не сравнится со школой, которую проходил русский мужик, проламывающийся сквозь тайгу к Тихому океану. А если иметь в виду традицию советской литературы, то самый яркий пример — «Жизнь Клим Самгина». Удивительный это роман, дотоле не имевший аналогов в мировой литературе. Надо было пройти путь Алексея Пешкова по самому дну жизни с внезапным, стремительным восхождением — через книгу и через приобщение к спорам интеллигентных и совсем не интеллигентных философов — пройти через такое резкое восхождение к интеллектуальной жизни, культуре, чтобы строить роман весь на «умство-

ваниях». Конечно, и события есть в романе, и выверенно, ритмически точно разбросанные среди бесконечных разговоров сцены самгинских «любвий» (противоестественных своей «умственностью» и этим, в свою очередь, подчеркивающих порочность самих разглагольствований Клим Самгина).

Вот сейчас задаю себе вопрос: почему так нужен был, читался «Клим Самгин» в юношеском возрасте? Что его перечитывал потом — понять можно. Но почему тогда — ведь шла война! «Войну и мир» в третий раз глотал, вчитывался в нее, как в листовки партизанские, — это более чем понятно! Но и «Жизнь Самгина» читалась — я точно свои ощущения помню — не затем, чтобы уйти от войны, забыть про нее, а в ответ на все, что происходило, что окружало нас. Зачем был нужен «хлюпик» и «болтун» Клим Самгин тогда, когда наступило время оружия? Не Клим Самгин нужен был, а «Жизнь Клим Самгина» — удивительная книга, излучающая ум, бросающая протуберанцы интеллекта в мир, нас окружающий, внезапно одуревший, отупевший мир, заполненный ненавистными зелеными немецкими мундирами и черными — полицейскими. Книгу эту в темной, твердой (каких сейчас, кажется, не бывает) обложке на белорусском языке, я, кстати говоря, выкрал у полиция (ее и еще пяток других). Ему поручили сжечь школьную библиотеку, он это старательно делал, а заодно пытался испечь картошку...

Конечно же, не только деревенская проза сегодня живет и болеет большой мыслью о человеческом предназначении на земле. Новый роман Даниила Гранина «Картина» — проза вполне городская, но это проза, которая горячо вспоминала, что Достоевский как раз «городской писатель». Да, «общечеловеческий», никто не спорит — наши абсолютно условные деления на «городских», «деревенских», «военных» к нему тем более неприменимы! — и все же, все же... Было время, и совсем недавно это было, когда «деревенщики» всецело завладели Достоевским. Ну, и еще военная литература. А городской литературе он вроде бы и не нужен был. Почему деревенской так необходим Достоевский, понять нетрудно: сошлись, встретились у самых корней, у истоков!.. А вот почему городу был не нужен — уразуметь невозможно. Впрочем, Достоевскому от того убытка никакого. Убытки вынуждена была подсчитывать современная литература...

Роман Даниила Гранина «Картина» в том же ряду большой современной литературы, что и «Последний срок», «Прощание с Ма-

тёрой» Валентина Распутина, «Комиссия» Сергея Залыгина, «Дом» Федора Абрамова — вот еще одно подтверждение условности деления на деревенскую, городскую и т. д.

И тем не менее, мы воспользуемся этой условной систематизацией — поскольку она существует в сознании и критики и читателей. Да и в сознании самих писателей — сколько бы они ни возражали против объединения их словом «деревенщики»...

Старуха Анна не только работала, рожала, растила детей, хоронила умерших — в земле и в сердце своем... Судя по всему, — она была заметной в округе личностью. Это теперь она вроде «кокона», высохшего, мертвого, из которого живое уже вылетело. Это рядом с детьми своими, неумело дожидаящимися «срока», она уже ничто. И своей заботой и неумелой, какая есть, любовью, а больше всего вынужденным, нелепым, пугающим их самих ожиданием дети теснят, теснят ее к краю... Страшно, но это так.

А прибежала к ней соседка Мирониха — ее одноклассница, подружка, и вдруг ожила старуха, помолодела, засветилась живыми чувствами.

Нет, не как трава, прожила жизнь старуха! Детям ее действительно повезло с нею.

Люся, дочка, помнит, как боронила поле. «Конь Люсе достался старый, слабосильный, они все в ту весну еле таскали ноги, но этот и вовсе был похож на свою тень». А когда он запнулся и упал, напугав до смерти «тоненькую, во что попало одетую девчонку», прибежала мать. Ее уговаривание умирающего коня, ее разговор с конем — как с собственной судьбой разговор — верх правды и чувства.

«Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее:

— Игренья,— приговаривала она.— Ты это че удумал, Игренья? От дурной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любя кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игренья, не поддавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Че там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дужил. А тут на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь».

Что «на характере только и держалась» — да и не она одна — это великая

правда. А стержень ее характера — совесть. Совесть крестьянина, которая в том же 1947-м или 1949-м поднимала с печи, выволакивала из послевоенных землянок наших больных, голодных старух, стариков, и они ползли жать, косить — не ради «палочек» в табеле трудодней, а потому что «жито осыпается!», «хлеб пропадает, грех!».

И они еще, такие вот женщины, «дядьки», могли себя в чем-то винить, в чем-то упрекать! Вот и распутинская старуха исповедуется перед подружкой Миронихой:

«Я одна с имя (с детьми). Одного отпустишь, другой ревет. И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету... А Зорька наша уж в колхозе жила... Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей когда вынесу, а то лопать хлеба солью посыплю... И стала я, девка, Зорьку поднимать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог».

И застала ее за этим занятием дочка — Люся. Которой тоже «капельки» доставались. «Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали... И-ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сейчас думаю: помнит она или не помнит?».

Вот он, ее «смертный грех», о котором и на краю могилы вспоминает.

«Без стыда, старуня, рожу не изнасишь», — успскаивает ее Мирониха. И «рожа» изнашивается, но и совесть тоже — людская. Если слишком много на нее и долго слишком все вваливать, если все на ней везти, да на «характере» — как говорит героиня завалившемся Игрене.

Даже свет, как предполагают ученые, «устает»! Пронесся через миллиарды световых лет, и, гляди, уже что-то сместилось в спектре... А совесть, а характер — им что, износу не бывает? Нет, и тут возможна амортизация — не об этом ли «Привычное дело» Василия Белова? Вялый и горький рефрен: привычное, мол, дело, — в сознании и в поведении крестьянина живет как умирающее эхо прежних его порывов, поступков, попыток не со всем, что плывет, соглашаться. А тут — по-о-оплыл по течению! Что барахтаться, привычное, мол, дело...

Газета «Правда» в номере от 17 ноября 1979 года напечатала открытое письмо землякам Федора Абрамова, в котором говорится, пусть жестокая, пусть обидная, но

«правда в глаза» — о том, что необходимо преодолеть, изжить, если мы хотим иметь надежное во всех отношениях сельское хозяйство. Это те проблемы, которые действительно «не объедешь ни на каком тракторе».

«Я не поверил было, — говорит писатель, — когда мне сказали, что за июль этого года пало восемь телят. И отчего? От истощения. Среди лета, когда трава кругом». А уж о зиме и говорить нечего! «В прошлом году, например, по 2 килограмма сена на день давали корове, а весной даже солсму с Кубани завезли (это в край-то бескрайних трав!). И где уж тут надои наращивать. Сохранить бы вживе скотину... Исчезла былая гордость за хорошо распашанное поле, за красиво поставленный забор, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статьями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе».

Иван Африканович, давно махнувший рукой даже на самого себя. Иван Африканович с его удобной присказкой: «а, привычное дело!» встает за этой правдой...

И тем бо́льшая цена таким, как распутинская старуха. Для которых привычным все это не сделалось, не стало. На таких все и держалось. Так что, не заслужили они поклона?

Только умеем ли мы это делать — проводить? Провожать. Или как дети старухины — разучились? А может и не научены.

В повести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» Люся жалуется любимому, провозая его в новые бои, в смерть.

«— Раньше бы хоть помолились, — сказала Люся, теребя отвороты его шинели. — Но мы же неверующие. Атеисты мы... Завыть бы, как я старину, по-бабьи, во весь голос... Но мы же в школе учились. Нельзя!..

— Вот, вот! Только этого еще недоставало! — оглядываясь на машины, пробормотал Борис, насильно отстраняя ее от себя».

А потом как ему будет недоставать такой вот именно, «в голос», жалости — когда тихо, устало умирать будет в санитарном поезде...

Не потому ли так ждет свою ласковую Таню-Танчору непривычная к нежностям старуха, что теперь ей, как слабому ребенку, как раз это и нужно — сткрытая нежность, жалость, боль на лицах, в глазах детей.

В повести есть страницы, которые прямо вписываются в классику. Помните, когда старуха берется учить Варвару обряду

«провождения». Репетирует с дочерью, как ее, старуху, оплакивать.

«— Помру я, — повторила старуха и сказала: — Обвыть меня надо.

— Че надо?

— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить — ниче не умеют. Одна надежа на тебя. Я тебя научу как. Плакать ты и сама можешь. Надо с причитаньем плакать».

Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты, — остановила ее старуха. — Ты слушай покуль, учись. Не надо сейчас реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрава. А то кто-нить придет и перебьет нас. Давай потихоньку.

Она подождала, пока Варвара немножко утихнет, и начала снова:

— Ты, лебедушка моя, родима матушка...

— Ты, лебедушка моя, родима матушка, — сквозь рыдания повторила за ней Варвара».

Надо ей это, чтобы «обвыли» ее, старуху, не сейчас, так потом. Себя ей все-таки жалко. Но их «христовеньких» (как сказала бы тетка Дарья), немых, еще жалче!

Не умеем (разучились или не научились) мы проводить: что родную Матеру, что родную мать! «Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаятся на каждом шагу — нет, бегут...» — скажет Дарья в «Прощании с Матерой». Так и не сказали друг другу главного: ни мать детям, ни дети матери в «Последнем сроке». Но они ее муки видели, ее боль и тоску, а она — нет. Даже если была, испытывали, не увидела: прятали от нее. Чтобы ей было «легче»... Но ей как раз от этого было еще тяжелее.

Что, это только сегодня так? А вчера люди умели это делать — лучше, умнее, человечнее? Кто умел, а кто — чаще — и не умел. Во всяком случае, если по литературе судить: «Смерть Ивана Ильича», «Семья Тибо»...

Жить так, чтобы смертью смысл жизни не уничтожался, а потому и не страшной была бы смерть — к этому звала великая литература. Искала смысл жизни, звала к осмысленной жизни...

Валентин Распутин заговорил о вечных проблемах человеческого бытия и сказал свое слово. Горькое получилось слово — если иметь в виду старухиних детей!

Но от нравственной немочи никто не

знал, не изобрел лекарств негорьких — ни Толстой, ни Роже Мартен дю Гар. Не пытаясь, не хочет «сладким» кормить и Распутин.

Мы уже говорили о том, как эмоциональный фокус военной литературы смещался к женской и даже детской памяти о войне.

То же происходит, происходило, по моему предположению, и в литературе, которую называют деревенской. Где-то у истоков явления этого стоят абрамовские «Братья и сестры». А потом была «Пелагея» — щемящий гимн-плач о женской судьбе-доле. По ним, по женщинам, война и послевоенная разруха, обездоленность ударили особенно больно. Мужики, они и есть мужики. Кто не пал на войне — очень немногие в русских деревнях — вернулись в «бабье царство». Бабье-то оно бабье, но царили они — редкие, а потому на вес золота мужики-начальники. Но даже если и не начальники, им было как душу отвести. Как умел это и добрейший, простодушнейший Иван Африканович из «Привычного дела». Сена корове нет, а что в лесу накосил, бригадир «арестовал» — ничего, дело привычное, найти бы только выпить! А можно и хлеба полегче поискать — в других краях. Жены, бабы с места стронуться не могли: на них — дети!

И приходилось вертеться, как только им не приходилось!

«— Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят...»

Так плел ей Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окна за расчесыванием волос. А сама она из этой встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапы в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза...

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекархой. Я не шучу.

— А и я не шучу, — ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекархой — сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...».

Это — абрамовская Пелагея.

Когда мы записывали наших женщин в Брестской области для книги «Я из огня»

ной деревни». встретились нам такая же «Пелагея», доярка. Белорусская сестра Пелагеи, которая тоже столько всего хлебнула! Начиная с войны. Спалили ее деревню, семью убили...

У женщины этой сегодня пятеро детей. Хорошие. Но отца дети не знают.

И разве кто бросит в нее камень, в женщину? Если помнишь вместе с ними, нашими женщинами, если знаешь, как им доставалось, и в войну и после...

Заметим лишь, что у мужчин память обычно «парящая», легче отрывается от реальной правды пережитого. Мы в этом убедились, записывая сотни рассказов — и мужчин и женщин. И в Белоруссии и в Ленинграде. У «мужиков» и тут преимущество: в самом горьком и обидном они легче находят что-то для себя утешительное или возвышающее. Как один нам рассказывал — об очень даже не веселом, но все же восклицал радостно: «Я был воинственный! Я же был воинственный!..».

Женская память обычно ближе к реальности пережитого, менее податлива давлению и «эрозии» времени — вот она-то и притягивает сегодня и военную и деревенскую прозу ближе к земле, ко всей правде войны и послевоенных трудностей. И не случайно лучшее, что деревенская проза дала (а Распутин так и весь, начиная с «Денег для Марии»), это прежде всего летопись женской доли.

Народ сохранил «душу живу», пройдя через все, — вот величайший итог наших побед. В этом пафос и смысл лучших произведений и военной и деревенской прозы. Но в деревенской мы еще вычитываем и вопрос: ну, а через современную жизнь пройдя, сохраним то, что сберегли в тяжелейших испытаниях? Техника убивающая не сломала нас, людей, ну, а «технический век», НТР — не унесут они, не уничтожат вместе с тысячами видов животных и растений, вместе с «малыми реками» и прочим многое и в самом человеке? То, что на первый взгляд и не самое значительное, не главное, даже мешающее атомному веку, но потом окажется, что без этого человеку неуютно будет рядом с себе подобными. Человек, который теряет умение быть счастливым, теряет и способность давать счастье другим...

Нет, ни Шукшин, ни Айтматов, ни Друцэ, ни Распутин этого не утверждают, они лишь спрашивают. Как и наши белорусы — Стрельцов, Полтаран, Сипаков, Жук, Карамазов (правда — голосом менее решительным). И самое ценное в этой литературе,

что спрашивает она вовремя. Правдой жизни, искусства, характеров убеждает, что спрашивать надо, думать надо, беспокоиться. Без этого, как действовать — не взвесив всего, не заглянув в прошлое, не понимая того, что живет в глубинах человеческих душ и до чего не добирается ни статистика, ни логика, ни политэкономия, ни математика? Только литература туда проникнуть может, и никто ей не простил бы, когда бы она не выполняла свой долг и прямую обязанность. А критикам, которые считают, что не тем занимается литература, такая литература, ответил когда-то еще Твардовский:

Все учить вы меня норовите,
Преподайте немудреный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,
Только зная: что можно, что нет.
Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт!

В «Прощании с Матёрой» есть удивительная сцена: внезапный туман, какой-то невиданный, «неземной», вдруг закрыл и как бы унес Матёру. Ни от нее уйти — уехать, ни к ней прибиться!

«Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался. буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, за эту отвесную стену, снова и снова соскальзывал с ее кручи; Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца, пробивалось смутное мерцание воды...

— Долго что-то, — почувяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева. — Остров, что ли, потеряли? А?

— Найдем, — без уверенности сказал Галкин... Проплыли еще минут пятнадцать... ни берега, ни знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше, чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами: не знаю.

— Глуши, — решившись, сказал он. Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана, — самой воды уже не было видно совсем. Он ездил чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз — там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода».

Очень соблазнительно начать разгадывать этот «туман»: не символ ли? И кто его напустил — не Хозяин ли? Чтобы отсрочить гибель Матёры, спрятать старух от жизни, которой они боятся, к которой не готовы?..

Не дым ли это, преобретенный, придавил всех и все? (Дарья, помните, жалуется на кладбище тем, кто «стал землей»: «Ды-ым-но, дымно у нас. Продыху нету от дыму»). Или же, наоборот, — глоток свежести задыхающимся легким земли?!

Но не будем изобретать символы и разгадывать загадки, которые сами же себе и задаем. Попробуем пойти за чувством, за первыми ощущениями и мыслями, которые возникли из чтения.

Из множества ощущений, ассоциаций извлеку несколько. Свои мысли на Енисее... И наконец — острое чувство, что где-то уже читал об этом, и удивление, когда такая ниточка привела.. к финальной сцене романа «Идиот». Да, к той, где убийца и князь будто в странном тумане, не слыша ни себя, ни друг друга, шепчутся возле прикрытой белой простыней Настасьи Филипповны...

Когда плывешь по широчному, как море, нижнему Енисею — да, наверное, и по любой из сибирских, как бы неземного масштаба рек, — не можешь не ощущать все еще вчерашнюю мощь природы, сопротивляющуюся всему «рукотворному». Честно помню предательскую (по отношению к собственному роду — человеческому) радость, что не везде, пока еще не повсюду единоборство человека и природы в нашу пользу. («В пользу ли?», слишком часто мы сегодня спрашиваем). Со злорадством, направленным против самого же себя, замечаешь, что енисейские леса и заросли съели некоторые поселения 30—40-х годов: сквозь ребра-стропила мертвых человеческих строений просвечивает небо...

И помня, что главные легкие планеты — бразильские леса — люди догравливают дымами и пожарищами, радуешься не новым поселениям, а бескрайним, все еще диким зеленым массивам...

Вот и это вспомнилось, когда, читая Распутина, плыл вместе с главным пожегщиком Воронцовым, его подручным Петрухой по Ангаре, отыскивая Матёру, и радовался спасительному туману...

...Странная, чем-то очень напоминающая петербургскую фантастику Достоевского — сцена на острове, где в бараке Богодула последние жители Матёры чего-то ждут, а их куда-то уносит остров, туман и странный, дикий, пугающий их самих разговор...

«Заплакал во сне, тревожно и неутешно, мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая, — они так и не укладывались, дремали сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и

остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у Богодула было даже не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Да, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако, что неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо надо-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчишке жить надо.

Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

— Вместе дак вместе. Куда ему правда что, без нас?

— Ты не ложилась, Дарья?

— Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли?..

— А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?

— Я-то? Я Настасья.

— Это которая с Матёры?

— Она. А ты Дарья?

— Дарья.

— Это рядом-то со мной жила?

— Ну».

Будто где-то в космосе встретились. Или еще где. Там, где тьма непроглядная, или как у Распутина неожиданно: «непроглядный свет».

«— Я ить тебя, девка, признала.

— Да, я тебя поперёд признала.

— Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?

...— Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-нибудь.

— Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюсь».

Действительно, как бы уносит их Матёра, летают на ней!

«Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании пронесется мимо, точно при сильном движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар проснувшийся Богодула и приник к окну. Его заторопили:

— Че там? Где мы есть-то? Говори — че ты молчишь?

— Не видать, кур-р-ва! — ответил Богодула. — Гуман.

Старухи закрестились, нашептывая, заде-

вая друг друга руками. И опять, только еще более потерянно:

— Это ты, Дарья?

— Однако, что я. А Настасья где? Где ты, Настасья?

— Я здесь, я здесь».

Греются друг о друга — телом, голосами, именами, привычно произносимыми..

«— Ты бы свечку зажег? — сказал князь.

— Нет, не надо, — ответил Рогожин, и взяв князя за руку, нагнул его к стулу; сам сел напротив, придвинув стул так, что почти соприкасался с князем коленями»...

Это уже из «Идиота»...

«— Рогожин! Где Настасья Филипповна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин.

— Там, — шепнул он, кивнув головой на занавеску.

— Спит? — шепнул князь.

Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча.

— Аль уж пойдём!.. Только ты... Ну, да пойдём!

Он приподнял портьеру, остановился и оборотился опять к князю.

— Входи! — кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед...

Князь шагнул еще ближе, шаг, другой и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две: оба, во все время, у кровати ничего не выговорили; у князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты... Спавший был закрыт с головой белою простыней, но члены как-то неясно обозначались; видно только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек... Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул.

— Выйдем, — тронул его за руку Рогожин»...

«— Это ты? — выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру.

— Это... я... — прошептал Рогожин и потупился.

Помолчали минут пять».

И все в таком вязком темпе и на все ложится «непроглядный» мертвящий свет..

«— Слушай!... — спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая, — слушай, скажи мне: чем ты ее? ножом? тем самым?

— Тем самым».

«— Стой, слышишь? — быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке, — слышишь?

— Нет! — так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.

— Ходит! Слышишь? В зале.

Оба стали слушать.

— Слышу,— твердо прошептал князь.

— Ходит?

— Ходит.

— Затворить али нет дверь?

— Затворить...

Дверь затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали.

Убийца и повязанный с ним невольной виной князь Мышкин постепенно отрываются от реальности, как бы от самой земли — их уносит, от всех и всего уносит. Только они теперь и «близкие» друг другу: убийца, соучастник и жертва!

«— Значит, не признаваться и выносить не давать.

— Н-ни за что! — решил князь,— ни-ни-ни!».

«Когда Рогожин затих (а он вдруг затих), князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать...

Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку как бы совсем уже в бессилии и отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на щеки Рогожина».

Известно, что заключительная сцена романа «Идиот», фрагменты которой мы привели, возникла первой — в сознании писателя. У Валентина Распутина, возможно, все было по-иному, но внутренний динамизм и его, столь же замедленной, сцены исключительный...

А на стыке военной и невоенной есть у нас литература, которой критика как бы и не замечает, привыкнув мыслить «блоками», распределив писателей по «обоймам», «спискам». А между тем и вне привычных «обойм» существуют произведения, в которых та же глубина человековедения, которую мы сегодня находим в литературе военной и деревенской.

Начав читать повесть Евгения Дубровина со странным, пародийно «беккетовским» названием «В ожидании козы», я ждал со страницы на страницу, с минуты на минуту, что глубина этой вещи, сначала поразившая, скоро перейдет в отшель, нередко встречающуюся в «литературе о детях». Вначале, конечно, поконфликтуют, если так автору понадобилось, дети с отцом — выросшие, отбившиеся от рук за войну дети, с вернувшимся из военной, лагерной одис-

сеи отцом, но в нужный момент все образуется.

Не образовалось! Потому что страсти у детей из этой повести не игрушечные, которые можно включать и выключать по желанию. Самые что ни есть подлинные страсти и проблемы в этой повести. Ни умения, ни времени у отца-матери не хватило, чтобы справиться с дикой и часто злой фантазией своих сыновей, которую распалила война и безотцовщина. Они живут не в удобно придуманном мире, как часто бывает в «воспитательной литературе», а в самом что ни есть реальном, со всеми трудностями и искажениями тех лет, когда можно было прожить преотлично и даже вышпаться, ломая судьбы и жизни другим людям.

Главное в повести сами дети — Вад и его старший брат, от имени которого ведется повествование, — непонятно жестокие по отношению к отцу и даже к самим себе. Непонятно жестокие, если отключиться от времени, когда это происходит. Но и временем всего не объяснишь: кое-какие ответы еще глубже. Впрочем, не ответы, у Дубровина, а вопросы: автор совсем не претендует все истолковать и объяснить. Для настоящей литературы никогда не было все в человеке ясно. «Человек — тайна», — говорил Достоевский, и он всю жизнь разгадывал тайну человека. Как делали это и Пушкин, и Толстой, и Булгаков, и наши — Якуб Колас, Чорный.

Кончается повесть Евгения Дубровина трагически: отец и мать, чтобы спасти от голода детей своих, все еще неприрученных, отправляются в соседний район купить козу, на нее теперь вся надежда. Да так и не вернулись родители. «Люди говорили, что тогда много было пришлого народу: шли в родные места или искали лучшего края, и многие пропадали бесследно. Такое уж тогда было время. После миллионов смертей дешево ценилась простая человеческая жизнь». Дешевле козы.

А в родительском доме продолжалась странная саморазрушительная вакханалия детского своеволия, приведшая к гибели (похожей на самоубийство) младшего сына, Вада...

«Дорога была пуста до самого горизонта, но в каждый момент там могли показаться родители с бегущей сзади козой. И мне придется отчитываться за все. Я тогда еще не знал, что мои родители никогда не придут и мне не перед кем отвечать».

Суда не будет, кары не будет. Но это самое страшное, потому что некому будет и снять вину.

«С тех пор прошло немало лет. У меня самого уже сын, который скоро пойдет в школу. Все реже снятся родители, и я уже почти не помню их лиц. Полные приключений годы детства кажутся теперь прочитанными в какой-то книге. Лишь осталось от всего этого тревожное чувство перед пустынной дорогой. Так и чудится, что вдали покажутся двое с козой и мне придется держать ответ за все, что делал не так...».

За яростной веселостью повествования в этой трагической вещи Евгения Дубровина пульсирует мысль о бесконечной сложности жизни и самого человека. То появляется среди персонажей, то исчезает, так и не разгаданный детьми до конца, то ли действительно родной дядя их, то ли авантюрист и бандит — некто Авес Чивонави.

Весь он изранен, изрезан, обгорел и заново «составлен из кусочков». Пока думают, что он брат их матери, дети не замечают, как он страшен. Они гордятся «дядей-летчиком» и тем, как он ловко «сшит из лоскутков». Но потом появляется подозрение, что это самозванец, присвоивший имя их дяди, возможно, жулик и даже бандит, прячущийся под своей «лоскутной кожей». А кто он был на самом деле, так и остается загадкой.

Загадок неразгаданных жизнь оставляет немало за спиной у каждого из нас. Дай бог, себя-то разгадывать без опоздания!

Человеческая сложность нашей литературы, понимание того, что не однозначен человек и что сам он порой всего себя не знает и всю жизнь открывает в себе новые «острова» и даже «материки» — где, в чем источник этой правды? В самом времени нашем, требующем не иллюзий, а правды о человеке, даже если она и жестокая. И само собой разумеется — в талантах, в жизненном опыте писателей.

Но также в опыте самого народа, столько испытавшего, познавшего за последние полвека. Народная память — это не всего лишь источник чувств и воспоминаний о пережитом. Но и критерий правды о человеке. Огромная людская масса городов и деревень вынесла из нелегкого прошлого и новое знание о человеке, о том, что есть в нас и чего нет, что мы можем и чего не можем, — заново выстраданное представление о пределах человеческих.

У многих и многих, переживших ленинградскую блокаду, трагедию Хатыней и заглянувших куда-то за край (и в себя — на всю глубину), такое понимание природы человеческой и такой суд над добром и злом, что действительно в пору вспоминать вели-

ких гуманистов. Не знаю, как объяснить, возможно, жизнь так круто развернулась — но то, что приходило на ум только «великим», что откровением звучало в книгах гениев, запросто звучит, живет в людях вроде бы малоприметных.

В сравнении с тем, что народ познал в войну да и в годы довоенные и послевоенные, что узнал, знает о человеческих пределах, наши записи блокадные и хатыньские — лишь отдельные пробы, взятые зачастую наугад, хотя и в точках, где боль памяти особенно острая. Мы ощущаем, сколько у этой памяти вопросов к человеку и человечеству, ко вчерашнему и завтрашнему дню. Зачастую тех самых «проклятых вопросов», которыми всегда мучилась великая литература. Если сама память народная ими назлектризована, так разве могла литература — военная, деревенская — их обходить по-прежнему считая вопросы «о смысле всего» уходом от «актуальных проблем»? Сегодня мы их слышим и от девятнадцатилетних солдат («навек — девятнадцатилетних») Григория Бакланова, от Сашки, Вячеслава Кондратьева, одного из тех, кому достался самый безрадостный, жестокий участок войны, и от вливающихся в идущую на запад советскую армию молоденьких партизан в новом романе Ивана Науменко «Печаль белых ночей», которым предстоит умереть на самом пороге Победы.

И даже от семнадцатилетних, которых в повести Виктора Козько «Судный день» война и смерть настигают уже в мирные дни...

Суд над карателями распечатал страшную память военного детства Коли Леточки: «Из красного выплыли пальцы-змейки со змеей-шприцем и указали ему на стол... Весь земной ужас сосредоточился для него на черной, косовато срезанной дырочке шприца...».

«Киндерхайм!» — это самое страшное на земле слово: эсэсовский «детский дом», где у детей отнимают кровь...

Не может, не хочет Летечка жить дальше, хотя ему так необходимо это — пожить еще, чтобы хоть чем-то «отблагодарить белый свет за то, что он видел солнце и небо, землю, за то, что он хоть и недолго, трудно, но все же жил на земле»...

Отблагодарить белый свет... Но из забытого детства такое вдруг всплыло, что свет белый померк. Само солнце, показалось герою Виктора Козько, «стыдилось взглянуть на землю. Оно тоже закрыло глаза и уши, чтобы не ранить себя памятью, чтобы, не дай бог, не проговориться, не на-

пугать других людей и другие народы страхом и ужасом свершившегося здесь».

Сколько мы их слышали, видели женщин белорусских, которые как бы винулись — не перед нами, а перед целым светом, перед всеми добрыми людьми! — в том себя винули, что знают, помнят все, что с ними сделали другие люди. Убили всех, сожгли всех на глазах у этих женщин: «Спаслась я одна, а зачем, когда такое было? Вот убежала, а куда убежишь?!».

Частичка этой совести — высшей народной совести — и этой муки и в герое Виктора Козько. И «вопросы» не придуманы, все оттуда — из души, из сознания, из памяти народа, пережившего такую войну и знающего такое.

«...Не сможет ни остановить, ни забыть ничего, не сможет больше жить на земле с этой своей памятью. Беспмятным мог, а с памятью нет... Нельзя ему больше жить, нельзя, потому что в каждом человеке ему будет мерещиться та черная образина» (с шприцем).

Виноват в том, что столько знает не очень хорошего о людях, виноват и в том... и в том. Он не мог высказать, в чем... «Он винул себя за все то окружающее зло, что творилось на свете, за то, что ему выпало изведать его, за людей, к которым принадлежал и он сам, и что дорогим ему будет больно его исчезновение».

Эстетическое родство деревенской и военной прозы особенно заметно по военным повестям «деревенщиков» — Виктора Астафьева, Евгения Носова, Валентина Распутина. «Пастух и пастушка», «Увятские шлемоносцы», «Живи и помни» — за этой прозой, конечно же, просматривается опыт всей нашей военной литературы 60-х и 70-х годов.

И эта связь с военной литературой через поиски, стилистику деревенской прозы. Особенно у Евгения Носова. «Шлемоносцы» — как бы сама деревенская проза, вспоминающая войну, про мысли, ощущения деревни и крестьянина тех лет. Деревенского народа тех лет, русского народа.

Как и встарь, крестьянская Россия позвана была подпереть ревущий от техники фронт — плечом, кровью своей приостановить врага. К сожалению, есть в повести Евгения Носова определенные издержки стилизации. При всем при том — это проза талантливая, вписывающаяся в контекст хорошей нашей литературы об Отечественной войне. Лирическим языком деревенской прозы в «Увятских шлемоносцах» рассказана правда о минувшей войне, на

многих страницах — достаточно жестокая и суровая.

Навстречу огненному валу фронта катятся по всем дорогам и перекресткам русские мужики-колхозники, а назад пойдут — полетят похоронки, но по-иному не мог народ, когда над родиной смертельная опасность.

На телеге упившийся новобранец Кузьма, он очнулся, протрезвел. И даже слишком протрезвел:

«— Где едем, батя?

— Далече уже, служивый. По Верхам едем.

— Ну-у? — не поверил Кузьма. — Вот это дак дали!

— Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снах видел?

— А-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который все брехал: попрут, попрут, на чужой территории бить будут.

— А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлепывая лошадей вожжами.

— А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу. — Так поперли, аж сами на тыщу верст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж доси не прут?

— Ну дак ежли не поперли, — передернул плечами Селиван, — стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрешь. Не подстрелишь — не отеребишь.

— Ага! Нечем! — усмехнулся Кузьма. — Еще и не воевали, а уже и нечем! А где ж она, та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуняво передразнил: «Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла?..

— Э-э, малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье собирается. Нас тут капля, да глянть туды, за речку, вись, народишко по столбам идет? Вот и другая капля. Да вон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже николюские прошли, разметнинские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, по-ди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!».

Да, главная армия! И это не громкие слова, а истинная и даже горькая правда тех кровавых лет. И на оккупированной территории Белоруссии было то же самое.

Воевал народ. Притом — от мала до велика. Кровью истекал. И не удивительно, что литература наша, как русская, так и белорусская, украинская, молдавская, литовская и другие стремится, и все настойчивее, заглянуть в самую середину — как бы раздвинув толпу, массу литература пытается увидеть и показать: а что там происходило, в самой гуще народной?! В душах людей.

Фашисты именовали эту среду биологическим потенциалом врага и всеми средствами старались ее истощить, ослабить. Белорусские публицисты называли этих людей партизанским резервом, активным партизанским тылом. Сегодня литература все более пристально всматривается именно в их память и трагический опыт — мужчин, женщин, детей из партизанских и непартизанских деревень.

Иван Чигринов решился писать многотомную хронику о жизни в условиях оккупации, о «войне» и о «мире» одной-единственной деревни. Опасности и трудности его подстерегали и подстерегают немалые, не все он преодолел и, видимо, не все преодолеть сможет. Но что замысел возник, осуществляется, что критика приняла его, а читатель романы такие воспринимает — говорит о многом. Значит, действительно, «война» и «мир», «война» и «деревня» в наших произведениях продолжают идти на сближение.

Думается, что скорее всего на этом пути ожидает нашу литературу тот синтез, о котором критика давно хлопочет. Ибо что может быть перспективнее для военной литературы, больше ей дать, чем сближение с открытиями, прорывами в народную жизнь, в душу народа, совершенными деревенской прозой.

У белорусов есть своя традиция такого совмещения «войны» и «мира» в произведениях о Великой Отечественной.

Традиция эта — прежде всего в романах Кузьмы Чорного, созданных в годы войны: «Млечный путь», «Поиски будущего», «Великий день».

Когда Янка Брыль после работы над записями о хатынских ужасах и муках обратился к давнишнему, совсем иному материалу, накопленному в его богатейших записных книжках, и создал «Нижние Байдуны» — самую, пожалуй, веселую белорусскую книгу прозы о деревне и крестьянах, это был более чем закономерный контрапункт в творческой биографии писателя: от ожога хатынской памятью талант спасался вот таким образом...

Но переход был закономерным и для самой литературы белорусской, в которой

есть мощная традиция вот этой «чорновской», «коласовской» веры в то, что все «таючыя крыніцы» (целебные источники) — там, где твой народ!

Снова и снова критика задается вопросом: где тот путь к синтезу, который открывает современной литературе об Отечественной войне новые пути и возможности?

Мне лично кажется, что военной литературе пути сегодня подсказывает именно деревенская проза; к этой мысли приводит нас сопоставительное изучение самых плодоносящих ветвей современной советской прозы — военной и деревенской.

Повесть В. Кондратьева «Сашка» особенно интересный пример военной литературы, где характернейшие черты исповедальной прозы о войне, новаторски заявившей о себе во второй половине 50-х и в 60-е годы, дополнены и обогащены качествами, утвержденными и нынешней деревенской прозой. Мы имеем в виду подчеркнута народную оценку — нравственную, житейскую, языковую — всего, что происходит с людьми, с жизнью, с самим героем¹. Вот почему «Сашка» — казалось бы, произведение, повторяющее прозу конца 50-х — начала 60-х годов, — так свежо и необычно прозвучало для современного читателя. Не оттого ли, что деревенская проза разбудила в читателе интерес особенный именно к такой интонации, таким краскам — языковым, психологическим?

В какое новое качество, состояние перерастет военная литература, опираясь на достижения деревенской, на открытые ею новые источники народных чувств, мыслей, языка, — покажет время.

Но синтез следует искать в этом направлении. Мне так кажется. Ничего, кроме бессилia и претензий, не демонстрирует сегодня та литература, которая без устали тянется, становясь на цыпочки, чтобы напрямую, обходя реальные, «горячие» проблемы живой современности, народной жизни, дотянуться до толстовской эпопеи «Войны и мира».

В белорусской литературе о сегодняшней и вчерашней деревне (проза М. Стрельцова, А. Кудрявца, И. Шамякина, В. Полторан,

¹ Можно увидеть здесь, как и у Е. Носова, и возвращение к поэтическому открытию Александра Твардовского — снова вспоминаешь «Василия Теркина». Хотя это действительно так, но старое вино наливается в новые мехи. То, что было гениальным взлетом, прозрением поэта, в 60-е — 70-е годы постепенно становится закономерностью, нормой развития прозы — целого направления. И вот сегодня прозаические ветви — военная и деревенская — заново и по-новому пошли на сближение...

М. Сипакова, А. Осипенко, А. Жука, В. Карамазова, М. Тычины, Я. Лецаго и других) вопросы нравственные тоже на первом плане. Правда, порой это несколько ослабленный вариант прозы, которую нам демонстрируют русские «деревенщики». Ослабленный в эмоциональном, в философском смысле. Нет ни боли абрамовской и шукшинской, ни остроты правды беловской, ни философичности Валентина Распутина.

А что есть?

Есть правда лирических чувств и прежде всего — чувства благодарности родным хатам, откуда мы все, есть проблемы приживаемости деревенского человека к городским условиям («сено на асфальте» — очень емкий образ, рожденный прозой М. Стрельцова). Много есть разного в современной белорусской прозе, примыкающей к русской деревенской. Нет, однако, той остроты проблемы. Растворены они в поэтичности, в лиризме.

Может быть, белорусская традиция обзывает, а возможно, в самой деревне нашей нет такой концентрации проблем, какая обнаружилась в среднерусской полосе? (И такое суждение высказывалось на писательском пленуме, посвященном белорусскому роману.)

Думается, однако, что не потому все так в нашей прозе, что мы уже «проскочили» все сложности, трудности, о которых пишет землякам Федор Абрамов. Причина скорее всего в том, что нет на наши деревенские проблемы своего Федора Абрамова. И, может быть, недостаток «глебоуспенской» и овечкинской традиции. (Хотя, впрочем, она обнаруживалась совсем не плохо в очерках Игната Дубровского.)

При всем том, есть и факторы объективные, смягчающие нашу деревенскую прозу, оттягивающие ту боль, остроту, без которой мы не представляем прозу Абрамова или Распутина.

Память о войне — вот что перекрывает в белорусском народе (а поэтому и в литературе) любую другую боль, память, остроту. Военная память все оттягивает на себя, а остальное приглушает. Герои Валентина Распутина, даже в безрадостное прошлое погружаясь, наслаждаются — как Люся в «Последнем сроке», когда припомнила, как худенькая девочка ходила по мокрому полю за пошатывающимся от слабости конем.

И мы приводили примеры из повестей белоруса Виктора Козько (а можно то же самое найти у Быкова, у Брыля, у Адамчика), когда память не ласкает, а обжигает, как припорошенные пеплом неостывшие угли...

Но даже принимая в расчет все причины, условия, объясняющие приглушенные тона современной нашей деревенской прозы, невозможно не испытывать томления по глубоким народной мысли, по ярким, острым чувствам и краскам, какие есть в нашей военной литературе. Но и в русской деревенской — тоже. «Нашим бы немного сих качеств!» — повторим слова Горького, когда он говорил о своей зависти белорусам. Мы же сегодня русским писателям завидуем — их деревенской прозе.

А ведь у нас, в истории нашей литературы, есть произведение, которое могло бы стоять в одном ряду с «Прощанием с Матёрой» — по мысли, по пафосу, по глубине народного чувства. Я имею в виду «Комаровскую хронику» Максима Горьцкого, созданную еще в 30-е годы.

Максим Горьцкий, пожалуй, первый, кто в нашей литературе «зафиксировал толчок», и писатель начал, повел систематические (дневниковые!) наблюдения за незаметным для всех началом погружения великой «крестьянской Атлантиды»... Сначала (еще в 20-е годы) лишь копился материал для какой-то будущей книги, эпопеи, потом сам материал, сами дневники (записи, письма) стали складываться в такую эпопею — монументальное свидетельство исторических судеб белорусской деревни. И деревни вообще...

Конечно, у Солоухина, Мальцева, Распутина свои национальные корни — и какие еще мощные! — свои истоки. Но читатель «Прощания с Матёрой» — всесоюзный. И тут у белоруса возникает свой аналог, у латыша или украинца — свой. А от этого еще ближе, роднее становится далекая сибирская Матёра — красота ее и судьба ее. И главное — люди ее!

Да, люди, потому что ими не одна Матёра стояла и стоит — такими. Они не пережиток, не обуза для дня сегодняшнего — как кажется Воронцову и другим «пожегщикам». И Дарья в «Прощании с Матёрой», и старуха Анна в «Последнем сроке» — закваска, дрожжи для будущей жизни. Нельзя беспамятством обрывать единую нить: ничего хорошего из этого никогда не получалось.

Через них, через Дарью, Анну, выходит Распутин, проза его выходит к главному вопросу, к вопросу вопросов: зачем мы и наши дела? наши страдания и радости? рождения и смерти? в чем смысл всего?..

Выходит к этому не один Валентин Распутин, но вся наша современная литература. Потому что большая, настоящая литература к этому неизбежно и всегда выходит

ла. Не налегке, не с уверенностью, что навсегда сможет разрешить «проклятые вопросы», ответить на них. Если бы можно было, давно бы ответила и разрешила. Когда у нее были Данте, Гёте, Толстой, Достоевский.

Так уж человек устроен, что лишь собственными усилиями обретенный, мукой собственного ума, совести открываемый «смысл всего» нужен ему по-настоящему. Чужой тоже бывает интересен и нужен: подтолкнет, направит работу твоей души, но душа-то сама трудиться обязана... Это верно по отношению к отдельной личности. Но и по отношению к любому времени.

Наше время заострило в каждом из людей, способном задавать вопросы, ощущение, сознание, что все мы подключены к судьбе человечества, всей планеты. К судьбе рода человеческого напрямую подключены.

В прежние времена благополучие человека и его рода зависело от вещей и событий, так сказать, местных — от хозяйства, здоровья, начальства и т. п. Лишь большие умы, исключительно активные души были склонны близкое сопрягать с далеким, все со всем. Но часто в отвлеченно религиозном или отвлеченно нравственном смысле...

А здесь, сегодня, почти каждый человек совершенно практически ощущает, видит: смысла его дел, планов, надежд напрямую зависит от того, что происходит на всей планете, со всеми людьми. Заострились вопросы в одном и главном направлении — быть или не быть человеку на Земле? В прямом, в физическом смысле и значении слова.

Заострять «проклятые вопросы» жизнь всегда умела — но чтобы так! И великая литература заостряла их, угадывая и нашего времени проблемы. Но одно дело предчувствия гениев и совсем другое — когда это стало повседневной реальностью, реальной судьбой для миллионов людей. Какое же тут необходимо заострение! Со школьных

лет помним уютный «шар — глобус», в который для Пьера Безухова (в плену, после пожара Москвы, после встречи с Платоном Каратаевым) «округлились», слились все вопросы о смысле жизни и смерти.

«...Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь,— сказал старичок учитель».

Этот уютный, плавный, зовущий вовнутрь «шар», ласково безразличный, как голос Платона Каратаева из «Войны и мира», припомнился, когда читал «Прощание с Матёрой», о воображаемом «клине», «треугольнике», на острие которого так неуютно и тревожно тетке Дарье — беспокойно и страшно от сознания, что ей, именно ей, ответ держать «за весь род»...

«...Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца,— все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. И на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего...».

Вот так сегодня и должно быть — не спрятаться нам в уютном «шаре»! Каждого, в ком есть, как в тетке Дарье, душа, совесть, каждого общая земная забота и тревога выталкивают на «острие» и спрашивают, спрашивают: за все и за всех.

Минск.



ПАВЕЛ ТОПЕР



БУДУЩЕЕ ДОБЫВАЕТСЯ В БОРЬБЕ

Новое издание книги Виталия Озерова
«Тревоги мира и сердце писателя»

Известны ленинские слова о том, что дело публицистов — «писать историю современности». Писать же историю можно, только владея ее законами. Иначе это будет не история, а нагромождение фактов. Что же касается истории современности, то в отличие от истории в прямом смысле слова она имеет дело с процессами, еще длящимися, еще способными удивлять неожиданными скачками и поворотами, задавать загадки, на которые еще нет возможности найти исчерпывающие ответы. Для того, кто имеет дело с современной историей, необходимо при наличии знаний, опыта, таланта обладать еще умением видеть в настоящем будущее, прогнозировать события.

Есть в ленинской мысли и еще один аспект, важнейший — активность публициста, целенаправленность его работы: мы должны «писать так, чтобы способствовать расширению движения, сознательному выбору средств, приемов и методов борьбы, способных при наименьшей затрате сил дать наибольшие и наиболее прочные результаты»¹.

Эта задача, поставленная перед большевистской печатью почти восемь десятилетий назад, и сегодня служит ориентиром во всех случаях, когда речь идет о прямом публицистическом слове, о насущных проблемах современности, о злобе дня.

Книге В. Озерова «Тревоги мира и сердце писателя» не так легко найти место среди разнообразных очерково-публицистических жанров современной литературы. Автор и не заботится о жанровой определенности, он дал своей книге подзаголовок «О

друзьях и врагах культуры». Известный критик и литературовед, он остается и здесь прежде всего исследователем проблем художественного творчества, бойцом идеологического фронта, утверждающим в аргументированной полемике с идейными противниками принципы марксистской эстетики. Значительная часть книги — это рассказ, основанный на фактических данных и на личных впечатлениях, о международных связях советских писателей. На страницах книги — множество встреч, симпозиумов, конференций и тому подобных, как принято говорить, «мероприятий», иногда сравнительно небольшого масштаба, иногда всемирных, проходивших как в Советском Союзе, так и за рубежом. Читая книгу, мы встречаем сотни писательских имен, советских и зарубежных, следим за дружескими, не очень дружескими и совсем не дружескими дискуссиями, которые за последние годы приходилось вести со своими коллегами из других стран представителям советской литературы.

Много ли знает читатель обо всем этом? Конечно, немало сведений о писательских поездках за рубеж содержится в очерках, в текущей газетной и журнальной публицистике. В наше искусство по разным каналам все шире проникает то, что именуется обычно зарубежной тематикой.

И все же о книге В. Озерова, сочетающей документальный рассказ с широкими обобщениями, можно сказать, что здесь впервые эта сторона советской литературной жизни показана во всем ее размахе и значении.

Советские писатели заинтересованы в творческих дискуссиях, во взаимном знакомстве, в расширении своего представления о мире. В противовес тем силам на

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 208.

Западе, которые стремятся вернуть времена «холодной войны», они руководствуются конструктивной концепцией литературных контактов (на одном из писательских пленумов, специально посвященном международным писательским связям, Г. М. Марков говорил об этом как о стратегическом принципе, последовательно проводимом в жизнь). Цель поездок советских писателей за рубеж отнюдь не туристская; они способствуют распространению правды о советской литературе, укреплению дружбы с единомышленниками, расширению круга наших друзей, устранению предрассудков; бывает, что эти поездки превращаются в острые схватки с идейным противником, с врагами социалистической культуры, врагами социализма.

В. Озеров сам неоднократно был участником таких дискуссий, он много ездил, много видел, встречался с известными, знаменитыми, подлинно интересными людьми; и рассказывает он не с чужих слов, а на основе собственного опыта. Книга родилась из повседневной работы, она не задумывалась, она складывалась. Объясняя ее замысел, автор говорит: «Не хотелось подробно описывать увиденные мельком города, восторгаться музейными экспонатами или экзотическими пейзажами. Шел от встреч с деятелями литературы и искусства, от их книг, и постепенно стала сливаться в более или менее цельную картину мозаика впечатлений именно о литературных делах, в какой-то мере о знакомой писательской жизни в разных странах. Не берусь утверждать, что картина полная, однако ее эскизы не случайны — схожее встречал в одном месте, в другом, третьем; процессы, подмеченные десять лет назад, проявлялись затем в их развитии, кульминации; судьбы знакомых завершались по их жизненной логике или поворачивались совершенно неожиданными гранями. Накапливался солидный багаж наблюдений — главным образом об активных пропагандистах советской Программы мира».

Советская литература стала важнейшим фактором культурной жизни в масштабах целого мира. Это не значит, конечно, что у нее сейчас нет врагов или что врагов у нее стало меньше, чем прежде. Скорее наоборот. В условиях сегодняшнего резкого обострения идеологической обстановки прямых противников у нее стало больше, ибо для антисоветской политики советская литература неприемлема уже потому, что она советская. Но шире стал круг ее друзей, ее пропагандистов, просто тех, для кого советская книга небезразлична, инте-

ресна. Шире стало воздействие советской литературы — далеко не всегда, конечно, «мирное», ибо все годы ее истории вокруг нее шли и идут сегодня идейные бои. В книге В. Озерова приведены характерные слова Арагона: «Во всем мире знают теперь Советский Союз, и это во многом благодаря советской литературе, через которую западный читатель знакомился с вашей страной. Пришлось приложить огромные усилия, чтобы советская литература дошла до французских читателей».

Ограничусь этим примером; высказывания такого рода известны во множестве, причем каждое из них интересно не только общим — высокой оценкой советской литературы, но и особенным — различиями в ее восприятии, в которых сказываются страна, время, личность высказывающегося. Советская литература в мире — это огромная тема для исследования, практически еще едва-едва затронутая. Она имеет временную глубину в шесть с половиной десятилетий, и пространственную широту, охватывающую сегодня весь земной шар, все страны без исключения. Есть еще один показатель растущего внимания к советской литературе: объективная статистика показывает, что такого большого количества и разнообразия писательских имен, находящихся живой отклик за пределами нашей страны, еще никогда не было.

В. Озеров видит исторические корни этого процесса. Многократно встречается на страницах книги имя Максима Горького не только как писателя, известного во всем мире, но и как организатора литературных сил, борца против войны и фашизма. Горький был инициатором конгрессов деятелей культуры 30-х годов. Эти конгрессы, которые, как справедливо говорит В. Озеров, «вошли в историю», не случайно все чаще вспоминаются в наши дни, они заложили традиции непосредственного участия писателей в политической жизни современного мира, традиции борьбы мастеров культуры против угрозы фашизма и войны.

Во всех странах и на всех континентах звучит сегодня шолоховское слово. Есть много свидетельств того, что в первые послевоенные годы «Поднятая целина» в будущих социалистических странах оказывала прямое воздействие на жизнь. Сегодня география шолоховского воздействия много шире. «Названо имя Шолохова, — пишет В. Озеров. — Где только не приходилось слышать его! Во время поездки в Кению нам показали сельскохозяйственный кооператив. Оказывается, его организаторы начали с того, что перечитали «Поднятую цели-

ну» Михаила Шолохова как учебник жизни, как художественную летопись народных свершений и побед. Во Вьетнаме нам рассказывали о знаменитой «шолоховской» операции...» (речь идет о победном ночном бое, в котором среди других трофеев был отвоёван у противника понавший в его руки единственный рукописный экземпляр «Поднятой целины», читавшийся вслух поочередно в каждом из взводов).

Говоря о международном авторитете Александра Фадеева, В. Озеров приводит неожиданные и яркие слова великого чилийца Пабло Неруды: «В моей стране есть река, которая похожа на Фадеева. Она начинается от снежных вершин и мощно врывается в поля и становится широкой, покойной и прекрасной... Дорогой Фадеев! Дорогой брат, такой похожий на мою любимую реку! Когда я вижу, как тыходишь в зал, когда я встречаю тебя в далеких городах за границей, я слышу голос реки моего детства...»

В самом начале книги дан выразительный набросок портрета Николая Тихонова — «личности яркой и многогранной, неутомимого путешественника, образованнейшего литератора, великолепного поэта, прозаика, публициста». Н. Тихонов называл себя человеком дороги: это, говорится в книге, «дорога длиной в сотни тысяч километров и содержанием в шестьдесят с лишним советских лет». Трудно подсчитать, сколько человек за рубежами нашей страны называли Тихонова своим другом, трудно перечислить все государства, в которых побывал Тихонов — глава советского Комитета защиты мира.

Писатели приходят к другим народам дорогами дружбы, сказал однажды Тихонов. Множество таких дорог проложено на карте мировой литературы писателями всех советских республик, всех поколений.

Восприятие произведения искусства всегда индивидуально. Относится это не только к отдельным людям, но и к целым народам. Исследователям еще предстоит объяснить, в силу каких конкретных причин творчество Леонова, всемирно известного классика советского искусства, вызывает особый, повышенный интерес в Югославии, почему «Битва в пути» Галины Николаевой составила целую эпоху в литературном развитии ГДР, почему драматургия Горького пользуется в Польше большей популярностью, чем в других зарубежных странах, и т. д. Не только поучительно, но и необходимо для понимания процессов, происходящих в современном мировом искусстве, проследить, как менялось восприятие

советской литературы в разных странах и в разных общественных слоях в зависимости от хода истории. Картина получится достаточно пестрая, но будут в ней видны и определенные общие закономерности. И есть все основания согласиться с В. Озеровым, когда он говорит, что «ядро проблем, сближающих нас с передовыми писателями всех стран,— гражданская и поэтическая активность».

Уместно вспоминает автор о письме Максима Горького известному монгольскому общественному деятелю Эрдени-Батухану. В этом письме 1925 года Горький, отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал переводить на монгольский язык из зарубежной литературы, высказался за «проповедь принципа активности»: «Вам следует переводить именно те европейские книги, в которых наиболее ярко выражен принцип активности, напряжение мысли, стремящейся к деятельной свободе, а не к свободе бездействия». Это горьковское письмо высоко читается — другого слова не подобрать — в Монголии. Ю. Цеденбал говорил, что оно имело «огромное значение для развития новой монгольской революционной литературы». К пятидесятилетию горьковского письма в Монголии вышел в свет сборник «Принцип активности», составленный Л. Туевом.

В. Озеров имеет все основания снова и снова вспоминать горьковские слова об «общественной активности», рассказывая о встречах советских людей с зарубежными писателями и в Азии, и в Африке, и в самой Европе. Советская литература, всегда привлекавшая к себе внимание характером выдвинутого ею героя, в наши дни всеобщей «идеологизации» литературы воздействует в этом смысле особенно сильно.

И, конечно, справедливо мнение В. Озерова, говорящего о том, что попытки бойкота советского искусства, прикрытые словами о коммерческой непопулярности и другими отговорками, или же прямые, незамаскированные противодействия продиктованы «страхом противника перед советской литературой, которая несет человечеству правду о новом строе и новом человеке. На ее пути пропагандисты мнимых преимуществ капитализма ставят преграды куда выше, нежели придуманный ими пресловутый советский «железный занавес»...»

В книге есть свой «сюжет», ведущий читателя по странам и континентам, и движущей пружиной этого «сюжета» неизменно остаются контакты советской литературы

с зарубежным миром — с читателями и с писателями, с друзьями и с недругами. Широкий мир современности и бушующие в нем политические бури мы видим прежде всего через соотнесение с советской литературой, через отношение к ней, восприятие ее — в Испании, Японии, в странах Африки, в Шри Ланке, Монголии, Югославии, Болгарии, ГДР, во многих других странах.

Проблема освоения зарубежного материала непроста, особенно при современном развитии международных связей, при нынешнем потоке очерковой литературы и все большем вторжении «чужеземной» проблематики в пределы собственно художественного творчества (не только в советской литературе, но и в литературе других стран). Все это вопросы отнюдь не праздные.

Маяковский в очерках «Мое открытие Америки» (Маяковского мы должны назвать среди самых непосредственных предшественников сегодняшних публицистов, обращающихся к зарубежной тематике) утверждал:

«Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе.

Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее».

Езда хватает сегодняшнего читателя... Дело, конечно, не в противопоставлении факта вымыслу, документа образу (противопоставлении достаточно модно еще недавно на страницах критических статей), а скорее в дополнении одного другим в читательском восприятии. О зарубежных странах и об их жизни советский человек наших дней знает неизмеримо больше, чем прежде, причем с каждым годом кругозор его расширяется. Неизмеримо чаще и больше сталкивается он с зарубежной литературой, причем спрос на нее и интерес к ней постоянно возрастает; Советский Союз по-прежнему остается первой переводческой державой мира. Интернационализм советского народа, широта горизонтов советской культуры проявляются в этих процессах самым непосредственным образом. И книга В. Озерова вызывает живейший интерес не в последнюю очередь потому, что содержит множество конкретных и документально подтвержденных наблюдений, деталей, зарисовок, характеристик, драгоценных для каждого, кто следит за совре-

менной литературой, за современной историей.

Вот всего лишь несколько примеров. В 1970 году в еще франкистской Испании проходило очередное заседание Международной ассоциации литературных критиков, в котором принимали участие советские писатели. Вечером 22 апреля в честь столетия со дня рождения В. И. Ленина вице-президент ассоциации от Советского Союза Ал. Михайлов прочел доклад «Ленин и проблемы культуры». Сделано это было с согласия президента ассоциации, ныне покойного Ива Гандона, но против желания некоторых делегатов и даже при бурном протесте одного из них. Замысел удался как нельзя лучше: ленинские идеи в тогдашней Испании, находившейся на пороге многих перемен, привлекли острое внимание аудитории, об этом наутро писали газеты. «В Испании тех лет доклад Михайлова прозвучал как нечто совершенно необычное», — пишет В. Озеров. Надо думать! Не случайно этот эпизод, рассказанный в главе «Пути-перепутья истории», не стерся в памяти членов МАЛКа, о нем не раз вспоминали впоследствии.

Агния Барто, присутствуя в Лондоне на выставке литературы для детей, столкнулась с явно дискриминационным отношением к советским писателям. Выступая по лондонскому телевидению с чтением своих стихов, она неожиданно и «незапрограммированно» обратилась к английским детям с предложением прийти, спросив разрешения у родителей и учителей, на выставку советской детской книги. «На следующее утро, еще до открытия выставки, у входа в нее выстроилась длинная очередь».

Анатолий Ананьев, оказавшись в Сицилии, решил встретиться и поговорить с Леонардом Шашей, популярным у нас итальянским писателем. Но выяснилось, что встретиться с ним нелегко: боясь мести мафии, о которой бесстрашно пишет Шаша, он постоянно меняет квартиры, никому не сообщая своего адреса. Когда его все же удалось разыскать, он вышел к гостям в сопровождении телохранителя, которого представил как дальнего родственника. Только убедившись, что перед ним люди из Советского Союза, он перестал держаться настороженно. На удивленные вопросы по поводу столь странного для писателя образа жизни он ответил только: «Да, к сожалению, такова наша действительность».

В 1977 году Александру Чаковскому предложили выступить в Париже по телевидению в дискуссии с несколькими фран-

цузскими комментаторами. Передача была задумана как антисоветское шоу и заранее широко разрекламирована. В. Озеров пишет: «Советский гость был доброжелателен, спокоен, вежлив, но потребовал точности перевода, паритета в использовании времени. Он сумел перехватить инициативу, сосредоточиться на действительно важных проблемах, а не на тех, которые пытались навязать оппоненты». Диспут закончился явной победой советского писателя со всех точек зрения; как писала парижская газета «Монд», «больно было смотреть, какое разочарование постигло наших трех мушкетеров... Из-за неосторожности ведущего мы едва избежали того, чтобы нам были зачитаны все сто семьдесят четыре статьи новой советской Конституции».

В одной из глав книги В. Озерова воспроизводится рассказ Мирзы Ибрагимова о том, как был убит Юсеф эс-Сибай, председатель Организации солидарности народов Азии и Африки. Мы знаем об этом преступном акте терроризма по сообщениям телеграфных агентств, помним, как волновались за судьбу советских участников конференции, оказавшихся на некоторое время в роли заложников. Но Мирза Ибрагимов был не просто очевидцем этого события; он произносил свою речь с трибуны конференции как раз в то время, когда за стеной раздались выстрелы и в зал с рыданиями вбежала девушка-секретарша, выкрикнув: «Убили, господина Сибай убили!»

В книге В. Озерова читатель найдет множество фактов — или, точнее, жизненных сюжетов, — поучительных, интересных, веселых, трагических. Есть на ее страницах классик кубинской литературы Николас Гильен, который, оказавшись в Москве в день ленинского субботника, потребовал себе лопату и вышел во двор Союза писателей убирать подъездные дорожки; Роберто Обрегон Моралес, прекрасный гватемальский поэт, молодой, живший в Москве, который был зверски убит реакционерами в своей стране; Анна Зегерс — писательница, чье имя известно широчайшим кругам советских читателей, державшая на недавнем восьмом съезде писателей ГДР напутственную речь, перед тем как уйти по болезни с поста председателя союза; Алекс Ла Гума, передавший сыну портрет Ленина, который он сам получил от своего отца, привезшего портрет из Москвы с конгресса Коминтерна, — всего не перечислишь. Книга активно обогащает наше представление о зарубежной литературной жизни, о судьбах зарубежных писателей.

Вот рассказ В. Озерова о посещении Кобо Абэ. «Как всюду в Японии, у высокого порога, отделяющего прихожую от жилых комнат, снимаем обувь. Взамен получаем домашние туфли-шлепанцы. Просторная гостиная. Наконец-то сидеть будем не на полу, к чему нелегко привыкнуть; в гостиной — мягкие диваны и кресла вокруг низенького стола. Приглушенный электрический свет, несколько картин на отделанных деревянной панелью стенах. А за огромным, во всю стену, окном — садик с карликовыми деревцами, цветами в кадках. Всюду смесь европейского и японского. Но угощение — японское: креветки, крабы и даже такой деликатес, как жареные воробы. В комнате стоит жаровня, на которой хозяйка prepares блюда тут же, при гостях, чтобы не остыли».

Это все не просто интересно, подобные зарисовки (а их много в книге В. Озерова) помогают понять писателя из далекой страны, его часто весьма не простое для восприятия творчество, они добавляют существенные черточки к картине современного мира, которая рождается перед нами в потоке ежедневных газетных сообщений и телеграмм.

Трудно удержаться, чтобы не привести описание кенийской природы, хотя оно и может показаться необязательным в книге такого рода. Но прочтите: «Богата и красива кенийская земля. Слева и справа от дороги — безбрежная плодородная саванна. На ней пасутся стада антилоп, бродят жирафы, зебры, страусы; если где-нибудь встретите скопление машин — знайте, что в этом месте туристы обнаружили льва; царь зверей лениво дремлет на солнышке, а вокруг него столпились «джипы» и микроавтобусы, из окон щелкают фотоаппараты. На шоссе нередко выходят слоны, и тогда движение останавливается на час, два, три. (В скобках приведу одну цифру: в стране двенадцать миллионов жителей и столько же миллионов диких зверей.) Птиц не счесть; незабываемое зрелище — озеро Накуру, оно приобретает нежно-розовый цвет, когда на воде видишь тысячи и тысячи фламинго».

Нет, это вовсе не лишнее место в книге. И не только потому, что оно придает ей своеобразную объемность; живая природа — богатство африканских стран, которое грабилось колонизаторами так же, как и ресурсы, скрытые в недрах черного континента. В годы господства колонизаторов уникальные фауна и флора оказывались под угрозой, и забота о природе — это часть борьбы освободившихся народов за

свое будущее. Политика и здесь настаивает на нас.

Умение видеть неоднозначность происходящих событий, их подчас сложный состав, противоречивость человеческих судеб, поразному складывающихся в разных условиях и далеко не всегда прямых и ясных, — все это относится к особенностям книги «Тревоги мира и сердце писателя». Жизнь сложна, а в наш быстротекущий век и по-прежнему. Автор непримирим к врагам, идейным противникам, ренегатам, двурушникам, но он неизменно готов спорить с инкомыслящими, доказывать, убеждать — жизнь дает ему для этого необходимые аргументы.

Подробно рассказывает В. Озеров историю некоего высокопоставленного гостя, участника симпозиума писателей афро-азиатских стран, проходившего в Советском Союзе, — известного поэта и к тому же министра в правительстве своей страны. Это, в сущности, небольшая вставная новелла в книге. Гость вызвал неприязненное отношение других участников встречи своей чопорностью и высокомерием, он доставлял хозяевам немало забот и хлопот. Вернувшись на родину, однако, он потребовал организации в своем королевстве колхозов, ссылаясь на личные свои впечатления и на изученные им печатные источники. Можно было ожидать чего угодно, но только не такого результата. Автор пишет: «Наивность, благородная, но все же наивность? Очередной парадокс современности? Скорее закономерность нашей эпохи. Советский опыт неодолимо влечет к себе самых разных писателей, заставляя забывать порой и о чинах, сословных и других предрассудках. Сколько ни старается буржуазная пропаганда, а люди воочию убеждаются: социализм — это свобода, равноправие народов, счастливая и обеспеченная жизнь трудящихся. Сам факт существования страны социализма — лучшая пропаганда советского образа жизни».

Особое место в книге занимает литературная жизнь зарубежных социалистических стран. «Социалистическое сотрудничество в литературе, писательских организаций, — пишет автор, — феномен, рожденный нашей эпохой». Страницы, посвященные сражающемуся и победившему Вьетнаму, быстро развивающейся Монголии, коренным переменам в жизни социалистических стран Европы, полны чувства братской дружбы. На этих страницах автор часто обращается к недавнему историческому прошлому — к годам совместной антифашистской борьбы, к тем общим революционным традициям,

которые получают особый смысл и дальнейшее развитие в новых условиях. Немалый интерес представляют, в частности, рассказы о годах фашизма, услышанные автором от видных болгарских писателей и общественных деятелей — Т. Павлова, Л. Стоянова, Г. Караславова. Эти рассказы, записанные В. Озеровым, дословно приведены в книге. Сегодня многое из трудного и боевого прошлого вспоминается как бы даже с улыбкой — полон своеобразного юмора, например, рассказ Г. Караславова о том, как он раньше всех в царской Болгарии оказался обладателем стенографического отчета Первого съезда советских писателей, купив его за огромные деньги у полицейского шпика, решившего заработать на интересе революционера к Советскому Союзу; не менее удивительна и история того, как Караславов, будучи задержан во время облавы, вслух переводил полицейским рассказ Зоценко из московского журнала «Крокодил», за что и был отпущен вне очереди.

Главу, посвященную Болгарии, В. Озеров начинает словами о дорогах Европы не в переносном смысле, а в прямом, о тех дорогах, вдоль которых стоят памятники героям освободительной, революционной борьбы, связывающей неразрывными узлами народы социалистических стран. «Символика памятников — реальность самой истории», — говорит автор. Он спрашивает: не заслонила ли благополучная мирная жизнь героиню прошлого, которая подготовила теперешний день? И отвечает — нет, не заслонила. Революционные традиции живы в социалистической современности, живы они и в литературе.

К характерным приметам жизни социалистических стран наших дней относится сближение их литератур, крепнущее взаимодействие между ними. Это объективно идущий процесс. Но это и результат целенаправленных усилий, в том числе и со стороны творческих организаций. Книга В. Озерова рассказывает о том, как зародились координационные встречи руководителей Союзов писателей социалистических стран. Первая из них состоялась в 1964 году; сегодня накоплен большой опыт таких встреч, они «во многом задают тон во всей работе братских писательских организаций».

Рядом с координационными встречами возникли и другие формы общей работы: совместные заседания секретариата правления СП СССР и правлений Союзов писателей той или иной социалистической страны, встречи редакторов литературных газет

и журналов и т. д. В книге хорошо передана атмосфера этой работы — отнюдь не парадная, а деловая, всегда дружеская, откровенная по своему характеру.

Именно на земле социалистических стран проходят в наши дни наиболее широкие и наиболее значительные международные писательские формы. Софийская встреча 1977 года («Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры») может служить неопровержимым тому примером. Свыше полутораста участников из многих стран, в их числе ряд крупнейших писателей современности, свыше 60 ораторов, широкий отклик во всем мире — это был несомненный успех. Но всем ли известно о том, что у этой встречи было немало врагов, что с того дня, когда было опубликовано воззвание к писателям всего мира с предложением встретиться в Софии, на нее велось форменное наступление? «Западные пропагандисты занялись персональной «обработкой» подписавших воззвание. Их отговаривали ехать в Софию. «Диссиденты» рассылали письма, расписывая «вред», который поездка причинит защитникам «прав человека». В иных западных посольствах писателям показывали фиктивные списки едущих в Софию — фальсификаторы вычеркнули из них наиболее известные имена: неуклюжая попытка доказать, что встреча будет непредставительной. Устно твердили: тем, кто поедет в болгарскую столицу, «красные навяжут свои политические лозунги». И «очень хорошо, — говорит В. Озеров, — что организаторам встречи не изменило хладнокровие».

Софийская встреча 1977 года — «литературные Хельсинки», — так же как и вторая Софийская встреча, состоявшаяся через два года, отчетливо показывает ту притяга-

тельную силу, которую имеет культурная жизнь социалистических стран. Сегодня, когда в мире поднялся очередной всплеск антисоветизма, эти страницы книги В. Озерова читаются с особым вниманием; они напоминают о том, что глубинные, позитивные тенденции в общественной жизни современности прокладывают себе путь, несмотря на все сложности, на все происки врагов разрядки.

На последней координационной встрече, в которой ему пришлось участвовать — это было в 1971 году, — К. Федин говорил: «Во всем писательском мире, на всех пяти континентах у нас есть и друзья, и союзники, и временные попутчики, и лжесоюзники, и тайные и откровенные враги. Мы научены долгим опытом, что в трудный час оттенки стираются и происходит неумолимое размежевание. Это предостерегает нас от безграничной доверчивости, но, с другой стороны, не приводит к чрезмерной осмотрительности. Потому что тот же долголетний опыт говорит нам, что у крупных деятелей западной культуры могут быть тяжкие заблуждения, которые, однако, могут быть и преодолены, если проявить настойчивое терпение в разъяснении нашей позиции. Это нам удавалось и будет удаваться совсем не потому, что мы такие красноречивые златоусты, а потому, что за нами правда и будущее культуры».

Эти слова В. Озеров привел в самом конце книги «Тревоги мира и сердце писателя». Их спокойная уверенность выражает и ее основную мысль: сложный, пестрый, быстро меняющийся мир движется к лучшему будущему, но будущее никогда не приходит само, оно добывается в каждодневной упорной борьбе.



ЖИЗНИ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Евг. Евтушенко. Причастность.— Сергей Баруздин. Живая история.— Д. Зантонский. Когда молодость зрела.— Н. Крымова. Вместо легенды.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Иг. Бубнов. Дух неуспокоенности человеческой.— Вл. Кузнецов. Свидетельства очевидца.— И. Бестужев-Лада. Семья — извечная ценность.

Литература и искусство

ПРИЧАСТНОСТЬ

Владимир Амлинский. Нескучный сад. Повесть. Романы. Рассказы. М. «Молодая гвардия». 1979. 606 стр.

Есть тайная зрелость ребенка. Взрослые часто и не догадываются, как много видит ребенок. А когда ребенок становится взрослым, то его взрослая зрелость — дитя его детской зрелости.

Была песенка «В жизни раз бывает семнадцать лет». Теперь она все реже раздается с эстрады, на танцплощадках, в молодежных кафе и по радио в поездах дальнего следования. А когда-то она лезла в уши, отовсюду преследовала, как марктовское «Режьте билеты, режьте билеты, режьте осторожно. Перед вами, перед вами пассажир дорожный...».

Песенка эта, конечно, не знак времени. Так, значочек... Даже не приметя, а приметка... Из усилителей хлещут новые шлягеры и кружатся у общежитских ламп как заранее обреченные бабочки-однодневки. Но и бабочку-однодневку можно поймать и, прикрыв булавкой к бумаге, застеклить навечно в музее, где среди всех катализмов будут слышаться мягкие шаги сменяющих друг друга поколений, созерцающих безмолвные — главные и второстепенные — экспонаты. Она кому-то для чего-то будет нужна, эта бабочка-однодневка. Нечто она подскажет чьим-то проникательным анализирующим глазам в осмыслении мира, в котором нет ничего, не имеющего хотя бы потенциального аналитического значения.

В прозе Владимира Амлинского, писателя, остро и социально чувствующего современность, атмосферу и колорит сегодняшнего дня, встречается тем не менее не частая и тем более сокровенная ностальгия человека, шагнувшего за сорок (раннее детство: война, эвакуация, затем многие испытания послевоенного времени). У него хорошая художническая память, потому он и запомнил так точно многие приметы того времени. Все эти «бабочки-однодневки»: песенки, словечки, повадки, манеры времен юности нашего поколения.

«В жизни раз бывает сорок восемь лет», — грубоваго пошутил один из героев Владимира Амлинского. Не знаю, сколько лет точно Владимиру Амлинскому — кажется, года сорок четыре. Но до сорока восьми недалеко, так что этот грустновато-иронический парафраз он может отнести и к самому себе.

Один стареющий поэт пожал плечами после того, как я прочел ему «Когда мужчине сорок лет»: «Что тебя так заботит твой возраст? В жизни есть лишь две даты — рождения и смерти...» Так ли это? Даже если некоторые годы выглядят в наших собственных глазах однообразными, слипшимися, каждый из них дает нам что-то новое, меняемся мы сами, меняется мир вокруг нас независимо от нас или независимо. Но, видимо, независимо от нас ничто не меняется — ни к лучшему, ни к худше-

му. Поэтому и восемнадцать лет и сорок восемь действительно бывают только раз вместе со своим неповторимым в каждом случае ощущением себя и других. И каждый раз кажется, что этот возраст самый трудный, самый мучительный.

Владимир Амлинский сейчас опубликовал свою самую объемную книгу, подытоживающую его примерно двадцатилетнюю работу в литературе. Хотя в книге явно недостает повести «Жизнь Эрнста Шаталова», но три романа и десяток рассказов складываются в некий временной итог, когда, оттолкнувшись от книги, надо идти дальше — половина жизни еще впереди. Но половина уже позади, и это немало. Время во второй половине жизни как бы уплотняется, становится безжалостней. Чем больше написано, тем писать становится трудней.

Я читал до этого почти все, включенное в книгу, — имя Амлинского неотъемлемо от судьбы нашего поколения, от летописи нашего военного опыта, от наших социальных и художественных надежд и разочарований.

Литературная судьба Владимира Амлинского сложилась внешне яснее, стабильнее, чем судьбы некоторых его сверстников, может, оттого, что тех в свое время больше одергивали и вокруг их имен кипели водовороты дискуссий. Теперь, когда шум былых дискуссий затих и некоторые фигуры того времени подраздвинулись, когда их раскидало в разные стороны с неумолимой исторической закономерностью, проза Владимира Амлинского не то чтобы торжествующе поднялась, она и до этого не занимала ничего чужого места, — она более отчетливо проступила.

Три главных его книги — повесть «Тучи над городом встали» и романы «Нескучный сад» и «Возвращение брата» независимо от воли автора сливаются в некий триптих о судьбах поколений, о тайной взаимосвязанности младших и старших. Все это производит впечатление серьезной психологической документации времени. От этих романов остается чувство нежнейшего воскрешения деталей предвоенного и военного времени с горько-сладкой свежестью мировосприятия, с драгоценностью спасенных от исчезновения мельчайших примет простого и строгого бытия. Такое восприятие бывает лишь у людей, осознающих печальную и прекрасную неповторимость жизни. Когда делаются доклады о военной литературе, мне бывает всегда до горечи обидно, ибо докладчики как бы начисто вычеркивают неотъемлемые от истории

Великой Отечественной страницы, написанные теми писателями, которые во время войны были детьми и запечатали ее стороны, не замеченные теми, кто был тогда взрослым.

Если бы Амлинский не был прозаиком, он был бы наверняка прекрасным учителем — он природный педагог, лишенный какой бы то ни было надменности по отношению к маленьким людям, проникнутый к ним не только любовью и пониманием того, что маленький человек бывает порой более одинок, чем взрослый, но и уважением и даже завистью. «Он не знал, как разговаривать с мальчиком и о чем. И говорил то слишком взросло, то слишком сюсюкая, и все время как бы переводил свою мысль на какой-то другой, искусственный язык, на псевдоязык детей, на котором, думал он, говорит сын, а иногда он вдруг ощущал, что мальчик понимает гораздо больше, чем ему представлялось, — он думает и говорит как большой человек, а не как ребенок, и удивлялся и не был к этому готов».

Поразительной карапающей силой полно начало «Нескучного сада», когда отец находит мальчика, забившегося в мрачный сад гардеробных вешалок, и чувствует трагизм этого — в то время как в непреклонных глазах гардеробщицы возникает лишь жесткое чувство творящегося «безобразия». А вот как описана перемена, когда отец ищет своего сына и узнает его:

«Вылетали и выходили, выплывали и выскальзывали, фигурно катались по паркету и вышагивали как часовые, вприпрыжку или с нарочитой степенностью, с достоинством и не торопясь, а некоторые так просто катапультировались — надо было вернуться, чтобы летящее по закону физики живое тело не натолкнулось на бездыханное твое... И как бы в мгновенном разрежении и пустоте увидел он своего.

Он не летел, не прыгал, не плыл, не висел в воздухе, как другие, не свистел и не пел. Он медленно и несколько понуро шел по коридору. В синей обвисшей курточке, бывшей ему не по росту, медленно шел навстречу, и лицо с размазанной пастой на лбу казалось серым, озабоченным и усталым, будто он не спал ночь. И враз потянуло броситься, обнять, взять на руки, унести из этого гвалта, но он мгновенно переборол свое желание.

Это было то, что он сам называл «наседкино чувство» и чего немало стыдился, так как ему казалось, что необходимо совершенно другое: мужское спокойное покро-

вительство, а не это тревожное, нервное, постоянно защитительное».

Мужское спокойное покровительство и является интонацией Амлинского в разговоре о детях, но иногда он срывается на «наседкино чувство», и ничего стыдного в этом нет, как ничего нет стыдного в том, что, сама еще девочка, Варя яростно, как наседка, защищает от шпаны идущего с ней рядом подростка («Тучи над городом встали»).

Амлинский замечательно описывает то, как маленькие люди спят. Красной нитью, как пишут посредственные критики, проходят в книге эти сны и мучительное чувство взрослого человека, склонившегося над этими снами: «Только через несколько месяцев однажды, придя поздно домой, впервые испытал он животную любовь и жалость к существу, пахнущему молочным запахом, к его лобу, к спутанным волосам и открытым светлым глазам с бессмысленно мудрым взором. Теперь это было навсегда его существо».

Как проникновенно написана сцена, где подросток ложится на пол между теплыми дышащими телами Хайдера и Фролова, того самого Фролова, который его бил, и эта прикрытость с двух сторон такими же худенькими позвонками, ключицами, лопатками надежней, чем все на свете крепости («Тучи над городом встали»).

Замечательно, скупо и точно, без расчетливого педалирования написана сцена, когда драка мальчишек замирает в момент сообщения из траурной тарелки репродуктора об отступлении наших войск.

Фролов читает лермонтовские стихи так: «Ну, в шапке золота литого... Ну, старый русский великан... Так, ну, приглашал к себе другого...» «Он ронял слова все так же лениво, будто семечки лужгал, и улыбался большим красивым ртом, и был выше Лермонтова, и учителя, и обоих великанов, даже если бы они встали один на другого. И я понял, кто он. Он — оголец». Это сочное кличное слово тех времен звучит у Амлинского как звание. Звание, заработанное голодом, драками, стоянием в очередях, бесстрашием мальчишеского риска, нравственной невозможностью упасть до школьного ябедничества — первого тренинга для иных будущих взрослых лизоблюдов.

Сцены первых поцелуев редко удаются нашим писателям — они скатываются либо в сентиментальность, либо в накручиваемую ими чувственность. У Амлинского две такие сцены в разных романах, и они поразительно удались. Когда подросток смог-

рит на спящую Варю, в нем вдруг возникает чувство мужского покровительства, сменяя безотчетный порыв плоти, и подросток становится мужчиной, даже в чем-то отцом. «Она дышит на меня каким-то детским, теплым, молочным запахом. Мне ее вдруг ужасно жалко. Спящих всегда жалко. А ее особенно... Небошь она думает: малолетка, ребенок... А я вот старше ее на тысячу лет, на целую огромную жизнь, вот сейчас она малолетка передо мной. Жалкая, спящая малолетка. И дышит, как малолетка. Молоком».

Тот же самый молочный запах, но он другой, потому что это запах ребенка, улавливаемого ребенком. Это высочайший момент — миг зрелости ребенка. И склоняясь над своим младшим сводным братом, вернувшийся из тюрьмы Иван (роман «Возвращение брата»), прошедший огонь, и воду, и медные трубы, и чертовы зубы, вдыхает в себя, усталого, измотанного, изверившегося, новую жизнь именно из этого детского молочного запаха, возвращающего его в покаленное войной черно-белое, бескрасочное детство.

Амлинский детей не идеализирует, не заискивает перед ними. Он понимает их опасную склонность к маленьким мафиям, их ошибку, когда сила кажется им мужеством. «Все мы любили классного, хотя нельзя сказать, чтобы очень уважали. У нас была странная черта: мы уважали тех, кого боялись».

Вот точное ощущение ребенком женщины его отца, когда внутри детской души борется любопытство, может быть, тайное обожание и ревность за отца как за собственную, иногда даже ломаемую детьми игрушку: «Мне нравится ее лицо, вернее, нравилось бы, если б она была просто женщиной, посторония женщина, которую я увидел на улице. Но она не просто женщина. Поэтому лицо ее мне все-таки не очень уж нравится».

Тончайше написана сцена, когда мальчик, чувствуя, как тяжело этой женщине под его постоянно испытующим взглядом, сначала не хочет есть, а потом все-таки берется за ложку, помогая и ей и отцу — покровительствуя им с тяжело стоящей ему ранней взрослостью. Роман «Нескучный сад», где переплетаются два таких непохожих детства, разделенных временем, выполняет еще и задачу растерянной перед этой разделенностью педагогики.

Одно дело — стояние в очередях со стиснутыми в кулачке хлебными карточками, другое — обмен оберток американских жвачек «Джин Грин» на «Бруклин». Но,

несмотря на изменение обстоятельств, главная проблема та же: опасность одиночества маленького человека.

В определенные моменты жизни одиноки все — и маленькие и взрослые. Лучше всего понимаешь состояние чужого одиночества через вызывание в памяти своего собственного. Писатель, да и вообще каждый человек должен относиться к людям так, как судья Малин, описанный Амлинским. «У Николая Александровича была странная и мешающая в ряде дел привычка: ставить себя в положение тех, кто к нему пришел». Если бы все так поступали, то не было бы бюрократов и много чего другого, не дающего людям жить в поинимании друг друга. Бывает, что расчетливо не понимают, а бывает, что просто из лени. Такая лень и порождает проклятое страшное явление, изысканно звучащее, как иностраннизм: некоммуникабельность. Напускная грубость, о которой много пишет Амлинский, не так опасна, пока она остается напускной, но беда в том, что слишком привычное напускное может стать второй натурой, а потом незаметно и первой. Амлинский тонко чувствует природу напускного: «И эти девочки, вольные на язык, с сигаретками во рту, с оголившимися коленками, потягивающие вино и усмехающиеся, такие доступные, протяни только руку, были недоступными, недостижимыми, если по правде... Так, только до буйка...»

Предметы забот прозы Амлинского — это «Аксели, Аксель Акселевичи, Акселины», то есть, как принято научно выражаться — акселеранты, «племя младое, пьющее, курящее, мыслящее критически». Забота об этом племени — главное в прозе Амлинского.

Взрослые прекрасно раскрываются у Амлинского во взаимоотношениях с детьми, просвечивая до дна друг друга, с меньшей силой получают взрослые со взрослыми. Было бы несправедливо сказать, что это всегда так: вспомним трагическую новеллу о старике Яне или взаимоотношения отца и Антонины в «Нескучном саде». Но мне кажется, писатель боится оставить взрослых без детей, будто бы меньше доверяет собственному возрасту, чем возрасту детей. Но ведь из уст его же героя вырвалось ироническое и не случайное «в жизни раз бывает сорок восемь лет».

Если воспринимать эту книгу как избранный, то скорее всего в рассказах (а не в повести и романах) чувствуешь, что писатель «недоисповедовался», что он чего-то избегает, а может быть, страшится. Может

быть, ему мешает излишняя строгость вкуса, оберегающая от открытости чувства. Хочется большей раскованности и даже растрепанности, взвихренности, большего вываливания на страницы всего, что накопело. В ком не накопело? Я не за искусственное взвинчивание темперамента, не за расплеск африканских страстей, но если учитель говорит на уроках только сдержанным голосом, то когда-нибудь, пусть в одиночестве, он может и взвыть или замычать, пряча от пугающего зеркала свое лицо набрякшими смертельной усталостью руками.

Некоторые рассказы, особенно ранние, на мой взгляд, не выдержали испытания временем. Другое дело «Над рекой Кизир», «Двое в квартире», «В стихах это необыкновенно». «Мансур — бунтующая целина», «Каролина-Бугаз» выглядят не на уровне даже крошечного эпизода из романа «Нескучный сад», когда мальчик затаился в гардеробной. Эти рассказы только милы, чисты интонацией — и больше ничего. Здесь я, может быть, слишком жестковат, но ведь мне сорок восемь лет, а «в жизни раз бывает сорок восемь лет» и надо говорить то, что думаешь, — ничего не поделаешь.

Искренность — знак уважения по отношению к тому, с кем ты искренен, знак уважения к таланту. С бездарными людьми искренним быть невозможно — это бессмысленно.

В прекрасно написанном эпизоде о пионерлагере («Нескучный сад») у Амлинского есть строки: «Трудно определить, кто именно были первыми и почему они такими становились. Первыми, главными были те, кто обладал авторитетом». Писательский авторитет зарабатывается не только в таких борениях, когда надо что-то пробивать, прошибать, но и, по точному выражению Пастернака, в борениях «с самим собой, с самим собой». В романе «Нескучный сад» учительница говорит отцу о его сыне: «И не в том беда, что думает о своем. Другие тоже отвлекаются, а некоторые даже хулиганят, представляйте себе, старшеклассники, юноши, а стреляют из трубочек. А он никому не мешает. Но отсутствует... Отсутствует».

Многие виноваты в том, что столько юноши, да и не только юноши присутствуют во времени лишь своим отсутствием. Корни социальной индифферентности надо искать не только в учениках, но и в учителях. Иначе никогда не будет такого желанного бытия, когда не надо будет что-то прошибать и пробивать людям (как это

делает герой повести «Тучи над городом встали»), хотящим только хорошего. Об этом с детским удивлением говорит одна из героинь Амлинского. От пробивания и прошибания люди порой слишком устают, и незаметно для них борьба за хорошее превращается в борьбу за выживание.

Но есть такая борьба, когда и в сорок восемь лет может оставаться вечное чувство восемнадцати. Важно не терять чувства прикосновения, пусть хотя бы к любимой игрушке нашего детства — фигурке Чапаева, скачущего в развевающейся черной бурке на вороном коне, о которой

вспоминает писатель в одной из своих повестей.

Возраст имеет значение только тогда, когда превращается в духовную старость, то есть в прижизненную смерть. Амлинский говорит о своем герое из романа «Нескучный сад»: «Он привык быть молодым. Переход к новому состоянию был для него труден». Переходы из одного возрастного состояния в другое не означают потерю молодости, потерю счастливой и мучительной зрелости ребенка, если «маленький оловянный Чапаев» все еще плывет в душе художника, выгребая раненой рукой против течения.

Евг. ЕВТУШЕНКО.



ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Сергей Алексеев. Рассказы о русском подвиге. М. «Советская Россия». 1979. 344 стр.

Очень давно я знаю Сергея Алексеева, и в какой-то мере на моих глазах проходило его становление как писателя. Бывший воин и бывший педагог, он посвятил свое творчество русской истории, а точнее теме подвига в русской истории. Более того, представляется, что он как бы создал новый жанр в нашей детской литературе — жанр маленькой исторической повести, короткого исторического рассказа. Об этом свидетельствует и новая книга Сергея Алексеева — «Рассказы о русском подвиге».

Книга С. Алексеева охватывает большой период русской истории — от петровских времен и Северной войны со шведами через Отечественную войну 1812 года до минувшей Великой Отечественной. В чем секрет успеха этой книги? Автор строит свое повествование на точных исторических фактах. Книга его — целая галерея ярких, психологически и жизненно выверенных человеческих образов: государственных деятелей, военачальников и, самое главное, рядовых солдат — очень разных, не похожих друг на друга, со своими судьбами. И наконец, что очень важно, манера повествования: удивительно простая, доверительная, чистая и прозрачная по языку. Наверное, надо к этому добавить и точный классовый подход к историческим личностям, будь то Петр Первый или Меншиков, Демидов или генерал Горн, Суворов или Барклай-де-Толли.

Автор не приукрашивает ни исторических событий, ни людей, делавших историю. Труднейшая в истории России Северная война со Швецией, которая длилась двадцать один год, полна трагических событий и горечи поражений. И только благодаря

сильной личности Петра, сумевшего перестроить русскую армию и подчинить дела всей страны укреплению ее мощи, Россия выиграла эту войну.

На страницах книги рельефно оживают образы тружеников этой войны — Ивана Брыкина и Федора Грача, Данилы и Никитки, Бабарыки и многих других. И, конечно, сам Петр и его окружение, шведский король Карл, его генералы и офицеры. Все они наделены живыми приметами времени. Неповторим их внешний вид, манера поведения, язык.

В повести «Небывалое бывает» четыре главы («На реке Нарове», «Радуйся малому, тогда и большое придет», «На реке Неве» и «Опять Нарва»), и каждая из них состоит как бы из отдельных, сюжетно законченных новелл. Новеллы эти емки и до предела насыщены событиями. События под пером автора приобретают живую реальность, в них раскрываются конкретные люди. Я уже называл некоторых персонажей повести «Небывалое бывает». Назову еще бояр Буйносова и Курносова, блистательно олицетворяющих свое время.

«За непослушание императору Суворов был отстранен от армии» — так непросто начинаются алексеевские «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Сергей Алексеев рассказывает нам и о сложной биографии Суворова, и о его первой победе под Туртукаем, и о Фокшанской битве, и о сражении у Рымника, и о штурме Турина, и о переходе через Сен-Готард. Сцены боевых сражений сменяются картинами быта суворовской армии. Суворов показан и как военачальник, и как человек, и как создатель

знаменитой науки побеждать. Мы видим рядом с Суворовым простого солдата Кузьму Шапкина, генерала Пирягина-Тамбовского, поручика Козодубова, денщика Прошку, императрицу Екатерину. С одними Суворов добр и нежен, с другими сдержан, третьих не приемлет вовсе. Но он неизменно искренен и человечен.

Читая рассказы о Суворове, видишь не только блистательные победы русской армии, а и противоречивую сложность екатерининской эпохи. И опять здесь, как и в «Небывалое бывает», каждая глава повествования состоит из небольших, законченных сюжетно новелл. Очень хороши, помоему, и «Медаль», и «Палочки», и «Говорун», и «Невесты», и «Шуба», и «Генеральский погон», и «Разрешите пострадать...». В них много доброй улыбки и точных примет времени.

Повесть «Птица-слава» посвящена Отечественной войне 1812 года и, конечно, Кутузову. Она состоит из отдельных новелл, которые, взятые вместе, создают широкую панораму эпохи, и прежде всего самой освободительной войны. Перед нами образы Наполеона и Кутузова, Багратиона и Барклай-де-Толли, маркиза Лористона и Мюрата, Дениса Давыдова и Василисы Кожинной, десятки солдат и офицеров. Автор находит для каждого из них выразительные характеристики. Вот, к примеру, как у него выглядит Василиса Кожина:

«Баба есть баба. Впрочем, не всякая.

Василиса Кожина была женой деревенского старосты. По-бабьи она проворная. В избе чисто, дети накормлены, скотина в хлеву в довольствии.

Да не только этим Кожина славилась. Муж у нее хоть и староста, да то ли с ленцой, то ли просто не очень проворный мужик. Вот и сложилось так, что по всяким делам крестьяне ходили не к старосте, а к женке ленивого Кожина.

Оказалась старостица первой в селе фигурой».

Очень хороша в повести заключительная глава «Последний крик Наполеона».

Половину книги С. Алексеева составляют «Рассказы о Великой Отечественной войне». Эта часть книги охватывает основные битвы минувшей войны — Московскую, Сталинградскую и Берлинскую. Мне думается, что «Рассказы о Великой Отечественной войне» — первая попытка рассказать, детям об одном из величайших испытаний, выпавшем на долю нашей родины и нашего народа. И попытка весьма удачная.

Как и в «Небывалое бывает», «Рассказах о Суворове и русских солдатах», «Птице-

славе», С. Алексеев верен себе. Он использует конкретные эпизоды войны, населяет свое повествование живыми образами людей от генералов до солдат и повествует об этом строгим, четким, выразительным языком. Может, более, чем в других его вещах, чувствуется тут лаконизм каждой фразы. Сие, мне думается, вполне закономерно, поскольку придает суровую напряженность всему повествованию. Автор тут не просто исторический повествователь, а живой свидетель минувшей войны, прошедший ее, как и многие из нас, от начала до конца. Приведу лишь несколько наугад взятых примеров. Вот как начинается первая глава «Арифметика»:

«Осень коснулась полей Подмосковья, Падает первый лист.

30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву.

«Тайфун» — назвали фашисты план своего наступления. Тайфун — это сильный ветер, стремительный ураган. Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты...»

Первая глава сталинградской части — «Семь тысяч яростных атак»:

«Третий месяц идут упорные, кровопролитные бои на юге. Горит степь. Сквозь огонь и дым фашисты рвутся к Сталинграду, к Волге.

Шло сражение на подступах к Сталинграду. 16 солдат-гвардейцев вступили в неравный бой.

— Ни шагу назад! — поклялись герои».

Или начало второй главы заключительной части — «Последние метры война считает»:

«В центре Берлина огромное мрачное здание. Целый квартал занимало здание. Это имперская канцелярия — ставка Адольфа Гитлера.

Сотни комнат находились в имперской канцелярии, сотни окон, множество лестниц, коридоров, просторных залов. Но не здесь, не в этих комнатах, этих залах, а глубоко под ними, в мрачном и глухом подземелье, в 16 метрах от поверхности земли, вдали от света, от солнца находился фюрер фашистской Германии».

Через страницы повествования проходят Г. К. Жуков и солдат Гаркуца, политрук Клочков и Зоя, сержант Мисанов и генерал Доватор, старик Тимофей Данилыч и рядовой Евстегнюк, лейтенант Чернышев и майор Устинов, полковник Людников и солдат Ковригин. Образ Г. К. Жукова — несомненная удача писателя.

И опять мне хочется сказать, что автор ничуть не упрощает событий минувшей войны, а показывает ее во всей сложности, во всем трагизме.

Книга Сергея Алексеева «Рассказы о русском подвиге» адресована детям. Но мне кажется, что адрес ее куда шире. Недаром многие вещи из этой книги публиковались во взрослых толстых журналах. Вот поче-

му в связи с выходом этой книги мне хочется прежде всего поздравить наших читателей. Кстати, следует добавить, что и издана книга «Советской Россией» прекрасно.
Сергей БАРУЗДИН.



КОГДА МОЛОДОСТЬ ЗРЕЛА

Леонид Киселев. Последняя песня. Стихи. Предисловие Ивана Драча.
Киев. «Молодь». 1979. 192 стр.

В мартовской книжке «Нового мира» за 1963 год было помещено 5 небольших стихотворений, над которыми значилось: «Леонид Киселев, ученик 10-го класса школы номер 37 города Киева». Подборка именовалась «Первые стихи». Это действительно была первая публикация поэта Киселева. Осуществлена она была с ведома и одобрения Александра Трифоновича Твардовского, редактировавшего в те годы «Новый мир».

Книга стихов поэта вышла уже посмертно, в 1970 году.

В рецензируемой книге около 40 стихотворений, которых не было в первой, и она дает истинное представление о том, каким сложным и тонким поэтом был ее молодой автор, как много он обещал...

В самых ранних стихах, датированных 1959 годом, он видит не банально, по-особому — сразу несколько сторон явления, мимо которого многие из нас прошли бы, даже не обернувшись («Квартал забором обнесен...»). Он терпим из мудрости, которой вовсе не ожидаешь от тринадцатилетнего мальчика: и старые дома жалко и новое строить нужно... Что его притягивает особенно, так это диалектичность, существование между бытием и небытием, вернее — бытие уже призрачное, но еще о том не подзабывающее. Он философичен. Но без обнаженных мудрствований и без громоздкой метафоричности. Его образы чуть ли не по-бытовому реальны, стих прост. Позже Леонид Киселев развивает, углубляет, совершенствует те стороны поэтического дарования, которые проступали уже в этих его ранних стихотворениях, когда он легко и естественно отдавался порывам собственной фантазии: то сохнувшая на балконе простыня силою его воображения превращается в парус с синим андреевским крестом, то он воскрешает легенду о таинственном граде Китеже, видит себя посреди объятых волшебным сном улиц и, чтоб пробудить китежан, бьет в набат. Мальчишки, которые мелом рисуют на ржавых боках мусорных ящиков море и пальмы, куда ближе и понятнее Леониду Киселеву, нежели осторож-

ные взрослые, сторонящиеся скользканок... Может быть, именно поэтому он чаще, чем принято в его возрасте, размышлял о старости, как бы даже побаивался ее («Зимним вечером, летним вечером», «Что останется в старости?», «Все по годам: восторженность...»). Впрочем, как раз восторженность — слепая, бездумная — поэту Киселеву была чужда. И не случайно он после каждого взлета фантазии непременно опускается на грешную землю. Недаром звучащему над Китежем набату отвечает «гудок скорого поезда Куйбышев — Москва».

Порой в поэзии Киселева угадывается желание во что бы то ни стало разоблачить выдумку, нарушить достигнутую было гармонию (в стихотворении «Цирюльники»: «Зеваки на казнь равнодушно смотрели — худые цирюльники плохо горели»).

Леонид Киселев за правду, за реальность. Он рос в трудные скудные послевоенные годы и говорит о себе: «Я воспитывался в очередях и доволен своею школой».

В стихотворении «Расковали Прометей» диссонансная, «жесткая» последняя строка даже по своему размеру вызывающе прозаична:

Он узнал, что бог Юпитер
Людям дал огонь.
И жилось ему на свете
Хорошо, легко.

Только печень пощаливала...

То, что можно бы наречь (в гётевском смысле этих слов) поэзией и правдой мироощущения Леонида Киселева, если и пребывает в противоречии, так в противоречии плодотворном, порожденном самой жизнью. Вместе с любимым поэтом Тарасом Шевченко Киселев ненавидит зло и старается сберечь добро, помочь ему утвердиться. Строфа из его написанного в 1966 году стихотворения о войне США с народом Вьетнама звучит и сегодня с тревогой:

У вас Голливуд и Пресли
И хлеба невпроворот,
И все-таки страшно, если
Враг твой — целый народ.

Во взоре поэта Леонида Киселева, с уверенностью, с надеждой глядевшего в глаза действительности, своя дерзость, бестрепетность. Оттого, наверное, что видит он, понимает сложность жизни. И Галилей, отрекшись от Коперниковой космогонии, бросает в лицо вселенскому обывателю: «Есть вещи поважнее вашей правды». Его Колумб, не вынесши пытки ожиданием, кричит над пустынным морем: «Земля! Земля!» И даже «перед Командором трехметровым» вопреки легенде стоит не дерзкий дон Гуан, а «тоненькая женщина», донна Анна.

Эта донна Анна в какой-то мере сам поэт; и еще он сам Дон Кихот (так часто встречающийся в его поэзии образ). В стихотворении «Если дни становятся синей» он говорит о себе как о «робком пророке». У него от природы «тихий голос», мягкая, застенчивая интонация человека деликатного и чуть насмешливого. Но как поэт он ощущает себя избранным взглянуть на мир «не свысока, а с высоты» и сказать миру правду о величии и проклятии, о добре и зле. И это удешевляет силы, помогает выстоять и выдержать, подняться над собой. «Звездой падучей, огненным знаменем, поэты умирают в небесах», — сказано в стихотворении «Гарсиа Лорка».

Тема поэта и поэзии у Леонида Киселева особая. Она проходит через многие его стихи («В мире рифм, на улице на любой», «Не поможет ни сила, ни меткость», «Стихи о Тарасе Шевченко», «Памяти Лермонтова», «Рылеев», «Дударик», «На терасах деревьев тільки вітер»). И решается как тема избранника, тема избранности, но не на царство, а на служение, горькое и светлое служение людям.

Двуязычные поэты — вещь редкая; хорошие двуязычные поэты — редкая до чрезвычайности. Леонид Киселев был хорошим двуязычным поэтом. Он владел украинским стихом, украинским словом с тем же совершенством, что и русским. Только украинские стихи он начал писать позже, незадолго до смерти. И потому на них («Рано ще,

рано», «Як у нашому селі», «3 листа Джонатана Яреми Свіфта», «Додому») лежит печать трагизма и доброй мудрости понимания. И это сообщает стихам особую глубину. Пока не существует русского перевода этих стихов. И я ограничусь одним коротким примером — четверостишием «Осінь»:

Така золота, що нема зупину,
Така буйна — нема вороття.
В останніх коників, що завтра загинуть,
Вчуса ставленню до життя.

Удивительно, но снова повторяется вопрос, волновавший Киселева-мальчика, — вопрос о существовании на пороге небытия. Только там речь шла об обреченных на снос домах, о чем-то стороннем, внешнем. А здесь о самом себе. Леонид Киселев выдержал этот непростой экзамен. Он научился отношению к жизни терпимому, спокойному и твердому. И учит этому нас, читателей.

Он видит мир иначе, чем мы, по-своему. И потому важно присовокупить его индивидуальное видение к видению других поэтов. Ведь именно совокупный взгляд по-настоящему открывает дали и прозревает глубины. Это ощущение угадывается и за строками предисловия Ивана Драча к рецензируемой книге. Драч пишет о Киселеве, как один мастер о другом: «Есть у него стихи, которые поддаются анализу, толкованию, а есть такие удивительные словесные вспышки, как, например, «Подол — плохое место для собак», к которым грешно применять алгебру...»

В самом деле, поэзию Леонида Киселева хочется прежде всего не разбирать, а читать. Леонид Киселев еще многого не успел, не раскрылся до конца, но он несомненно обещал стать большим мастером. И потому книгу его «Последняя песня» (хотя вышла она не таким уж малым для поэзии семитысячным тиражом) даже в Киеве невозможно найти ни в одном книжном магазине.

Д. ЗАТОНСКИЙ.

Киев.



ВМЕСТО ЛЕГЕНДЫ

А. Мацкин. Орленев. М. «Искусство». 1977. 383 стр.

И. Соловьева. Немирович-Данченко. М. «Искусство». 1980. 408 стр.

С начала несколько слов о легенде как о спутнике театра.

Мир театра предрасположен к мифотворчеству в разных формах и видах. Материалом легенды служит что угодно внутри театра и вокруг него: впечатления очевидцев, полужанрия, домыслы, критические отзывы,

слухи — все идет в дело, перерабатывается, обретает устойчивость и конечную простоту. Легенда не терпит сложностей, она всегда проста и даже элементарна. Но у нее свой норов, с ней трудно спорить — она лукаво отворачивается от ученых аргументов. Она соответствует чему-то, что в массовом

эстетическом сознании сильнее серьезных доводов. Список легендарных имен нетрудно составить — от Мочалова до Михаила Чехова. Но при всей определенности подобного списка в нем свои загадки. Например: почему Станиславский — это легенда, Немирович-Данченко — нет, а Мейерхольд — уже не одна легенда, а несколько, и очень разных, даже враждующих между собой (будто по законам мейерхольдовского театра)? С другой стороны, почему легенда, прочно соединившая два имени — Станиславский и Немирович, — одному из них дала как бы свободный выход из этой пары, а другому нет?

Короче, с легендами, хочешь не хочешь, надо считаться. Вопрос в том, ради чего.

Имя Павла Орленева одно из самых эффектных (хотя и чуть забытых) в легендарном ряду. Если разобраться, тут во всем много тумана и невнятицы. Но в легендах не разбираются — они как бы в воздухе, как положено быть туманностям.

В книге А. Мацкина замечательно спокойствие, с которым автор относится ко всему легендарному. Биография Орленева романтична, в ней причудлива смесь высокого и низкого. Но самое высокое не приводит А. Мацкина в состояние экстаза, а низкое не отпугивает. В исследовании путаной чужой жизни автор проявляет неспешность и обстоятельность. Эти качества сегодня не в моде, нетерпеливого читателя они могут и отпугнуть. Но книга А. Мацкина своим характером сама резко отвергает всякое верхоглядство. Она не приманивает к себе читателя. К ней придет тот, кому она нужна.

Но сколько же открытий таит в себе одна-единственная актерская судьба! Нескладная, в чем-то нелепая, странная, она, оказывается, вобрала в себя нечто неизмеримо более значительное, чем орленевская «неврастения», увековеченная легендой. Известно, например, что Орленев в молодости много играл в чепуховых водевилях. Но эта сторона его творчества раскрыта в книге неожиданно — как «веселое и яростное отражение «нервного века». И тут вдруг вспоминаешь о рассказах Антоши Чехонте. Кстати, Чехов был высшим авторитетом для Орленева.

Известно, что Орленев — классический тип актера-гастролера, актера-бродяги. Но каковы реальные масштабы этого бродяжничества и какой новый в нем раскрыт смысл! Уже не «из Керчи в Вологду», а из Вологды до Нью-Йорка, от Тюмени до Женева, и не просто на заработки или за громкой славой. Нет. «мне обязательно нужен смысл и страдание!» — и русский актер

отправляется в Америку, «чтобы оправдать страдание как необходимый элемент поэзии театра...».

Орленева еще при жизни преследовала легенда о «невропатологии». Она и оказалась особенно устойчивой. Книга А. Мацкина указывает ей должное место. В причудливом смешении, которое представляло собой орленевское искусство, автор книги высвечивает иное начало — трагическое. Неврастения и трагедия в творчестве Орленева связаны друг с другом примерно так, как у Достоевского в литературе. Это новый и более серьезный взгляд на актерское искусство — в России оно всегда было своеобразной «рифмой» литературы.

Легенда сохранила внутренний облик актера и обаяние его «неуправляемости». Но А. Мацкин, отдав должное стихийному, направляет внимание в иную сторону и восстанавливает то, что восстановлению, кажется, вообще не подлежит, ибо вместе с актером исчезло: лабораторию его труда. Орленев, погрузившийся в роман «Преступление и наказание»; Орленев, одержимо (годами!) изучающий душевный мир Мити Карамазова, чтобы добраться до самой сути этого характера, а вместе с ним и карамазовщины вообще; Орленев одновременно импровизатор и аналитик; Орленев, как и Станиславский, в момент исторического перелома мучимый вопросом, «что станет с отдельным человеком самим по себе, сохранит ли он свою ценность», — все это совсем новый Орленев, труженик и искатель. Это верно, что в его лице уходил в прошлое гастролерский театр и ореол бродяжничества. Но легенде недоступна сложная внутренняя диалектика его особого вида творчества — А. Мацкин ее раскрывает. В историю театра вписаны новые страницы. При этом ни одного из своих открытий А. Мацкин не подает и не подчеркивает — строго держится фактов и не заботится об эффектной форме собственных выводов. Это, если можно так сказать, высокое мастерство экспонирования, в нем особое достоинство исследователя.

Легенда сохранила некоторые детали знакомства Орленева с Львом Толстым, Плеваковым, Чеховым. Мастерски расположив известный материал и добавив к нему новый, потребовавший кропотливейших поисков, А. Мацкин осветил то, что опять-таки легендой было заслонено: смысл духовного общения, к которому художник буквально рвался. Встреча с Львом Толстым — почти анекдот. Толстого удивил странный человек в моднейших ботинках и романтической матроске, рассуждавший в яснополянской

гостиной о театре для народа. Но идея такого театра — это идея всей орленевской жизни, и без «участия» Толстого она, возможно, не родилась бы. Толстой, Чертков, Чехов, Плеханов, Кропоткин — знакомства с ними раскрыты не в плане актерской общительности, но как поиски «мудрого наставничества», то есть духовных исканий, которыми всегда был значителен русский театр.

В итоге книга, касающаяся исключительно истории, задает довольно серьезные вопросы сегодняшнему театру. Скажем, почему наш театр сегодня обходится без трагиков, а актеры, природа которых тяготеет к этому, осиливают трагическое лишь в drobных, нецелостных формах? (Кажется, последним трагиком на памяти нашего поколения был Николай Симонов, на склоне лет как бы прорвавшийся к самому себе в ролях Федя Протасова, Маттиаса Клаузена и Сальери.) А раз так, то какой заменой будет удовлетворен сегодняшний зритель, или театр вообще откажется от мирового трагического репертуара? Что заменяет сегодняшнему актеру «мудрое наставничество», или он вообще не испытывает к этому тяги? Театральные критики робеют ответить, но за эту робость уже не в ответе А. Мацкин.

«Немирович-Данченко не рассказал своей жизни». Первая же фраза книги И. Соловьевой заставляет подумать и удивиться. По ходу чтения это повторится не раз.

Действительно, Станиславский, тот рассказал, и по гениальному простосердечью и глубине самоанализа «Моя жизнь в искусстве» не сравнима ни с какими другими подобными рассказами. Немирович-Данченко обладал характером иного рода, его аналитический дар был направлен вовне, и исповеди после себя он не оставил. По стечению многих обстоятельств ему суждено было стать персонажем той легенды, которая навсегда и, в общем, справедливо соединила два имени.

Книга И. Соловьевой, по существу, впервые отделяет от великолепной жизни Станиславского другую жизнь, не менее замечательную. До сих пор легендарный союз заслонял правду и индивидуальность и его истинную ценность. Когда эта ценность восстановлена, союз не распался, но окреп. Не думаю, что о жизни Немировича-Данченко будет когда-нибудь написана книга более полная. Не кажется мне и то, что такая книга могла быть написана, скажем, лет тридцать назад. Бывает счастливым выбор момента — когда пора писать. Широкий взгляд на какое-то значительное явление уже возможен, полнота знаний о нем стала потребностью, притом что само явление

еще на памяти, еще доступно живому ощущению.

Жизнь Немировича-Данченко рассказана в огромном множестве планов и ракурсов. Многоплановость в данном случае не только отклик на природу личности, но сознательно избранный прием, трудный, но с блеском примененный. Повествование то и дело меняет стиль и русло; автор постоянно переходит с места на место и, кажется, берет в руки то бинокль, то очки, то лупу. Меняется характер письма — от свободной живописности, щедрой, иногда переизбыточной, к сухому конспекту. Смело обрубленная фраза внезапно что-то собой закрывает — будто дверь захлопнулась. Уже потом, совсем на другой странице, понимаешь смысл этого резкого жеста и его необходимость. И вдруг становится ясно видимым то, что за дверью. Хотя автор ничего об этом не сказал.

Интересно, что вся эта довольно непростая стилистика использована в рассказе о личности и творчестве, которые не тяготели к каким-либо изощренным приемам, напротив, декларировали простоту. Однако простота такой жизни в искусстве, какую прожил Немирович-Данченко, изнутри совсем не проста хотя бы потому, что благополучно прошла через несколько эпох и в конце концов, удалившись во времени, стала сама уже как бы художественной эпохой. Авторский слух и авторская любовь направлены к жизни, которая уже ушла, но еще в нас осталась; в зримых своих приметах она уходит именно сейчас, на наших глазах. Потому я и говорю о счастливо выбранном моменте, когда надо писать.

Эстетика Художественного театра предполагала особый дар: острое ощущение жизни. Это первый, самый простой, но и самый главный секрет того, чем владели Станиславский, Немирович и их прямые ученики. Не имеет смысла упрекать авторов, которые писали или сегодня пишут о МХАТе, этим даром не обладая. Может быть, головой они и понимают секрет, но что делать, если сама жизнь ощущается ими как-то иначе? Что ни говори, но всякая эстетика (театра или книг о театре) первоисточком имеет, должна иметь начало чувственное, природное. Если Художественный театр позволено сравнить с ветвистым деревом, то книга И. Соловьевой о Немировиче — одна из его ветвей. Тут общие корни, общая порода и законы цветения. Общее начало. Общее чувство жизни. Но книга написана тогда, когда сама жизнь сильно изменилась, — отсюда и сложности внутренних ритмов.

Автор книги не просто владеет мастерством деталей, красноречием частных. Сознательно или бессознательно она исповедует опять-таки одну из заповедей театра, впервые в русском сценическом искусстве нашедшего глубокую связь частного и общего, детали и целого. Книга И. Соловьевой написана по тем же законам, при живом ощущении настоящего времени. Это не что иное, как подлинно мхатовский стиль, реализм которого лишь на первый взгляд состоит в полном и прямом соответствии с реальностью и не таит никаких секретов.

Ради полного соответствия с реальностью в книге, наверное, должен был появиться Станиславский во весь рост, обстоятельно написанный. Но его нет. И в этом правда. Этот изредка упоминаемый, «незримый» Станиславский присутствует, однако, на каждой странице, постоянный, на всю жизнь «собеседник души». Может быть, историю Художественного театра еще осталось написать под этим углом зрения — как диалог двоих, длившийся десятилетия. Этот диалог в открытую не ведется на страницах книги, но звучит — то тихо, то громко, сначала в недолгом счастливом согласии, потом в долгом бурном и глухом споре. Он звучит, а из него расгут спектакли, роли, открытия.

Так почему же все-таки Немирович не рассказал своей жизни? А потому (понимаешь в итоге), почему и Чехов почти ничего не рассказал о себе — растворился в рассказах, повестях, пьесах. «Растворяться» (в деле, в актере, в авторе) было осознанным принципом Немировича-Данченко — корректно-закрытого человека, занятого предельно открытым, публичным делом. Чехов, между прочим, тоже антиатеатрален по натуре, но пишет пьесы. И чем более закрытой становилась чеховская внутренняя биография, тем большее место в этой жизни занимал театр. «Чехов — это талантливый я» — такую поистине салериевскую фразу, не вложив в нее никакого зловещего смысла, мог произнести только Немирович, но — это важно! — в момент, когда собственная его сила стала открываться не в литературе, хотя и рядом с ней. Известный писатель Вл. И. Немирович-Данченко изжил в себе писателя и потерял к нему интерес. «Он родился режиссером. Вот проклятое призвание: все равно что родиться летчиком, когда еще нет авиации. Остается создать авиацию».

Природа режиссерской профессии в книге И. Соловьевой запечатлена художественно, в ее истоках и драматизме. Рассказано, как эта профессия в человеке вырос-

ла, из чего сложилась и как вырвалась наружу. Рассказано о том, как у основателя этой профессии были поставлены зрение и слух, и о том, как не только зрение и слух, но и чувства он умел ставить актерам.

Разумеется, можно по-иному писать об искусстве Художественного театра. По-иному до сих пор и писали — описывали и теоретизировали. И. Соловьева лишь изредка прибегает к описаниям, а многие канонические оценки попросту минует. Это особый взгляд на театр и на спектакли — через призму одной человеческой жизни, отданной театру, который современники полюбили особой любовью: «глубоко и как-то домашне, как лучшее в собственном своем мире». Мотив дома один из главных в книге. Художественный театр — как дом; Немирович — как создатель и хранитель этого дома; дом и тема потери дома в чеховских спектаклях; русские классические комедии на сцене МХАТа («Горе от ума», «Ревизор» и др.) как «комедии русского дома». (Тут ключ к особой природе смеха художественников: они «открывали как источник комического — себя», они смеялись над тем, что любили. Словами В. Шверубовича авторская мысль завершена: «Они не любили того, над чем нельзя было смеяться».) Перечень всем известных счастливых подробностей первых лет жизни театра кончается такими словами: «Все это само собой помнящееся слишком просто и достоверно, чтобы называться театральной легендой, — скорее оно входит в «преданья русского семейства», составляет наследие домашней памяти нации: многое ведь знаешь, не беспокоясь, откуда знание это взялось, — кажется, оно всегда было при тебе».

«При нас» было многое. Книга зовет осознать, что же именно это было, чем наша культура владела и какие люди ее создавали. «Он делал себя сам» — сказано о Немировиче. То же можно сказать о Чехове. Оба делали себя сами в годы безвременья. Если слово избито, стоит восстановить его простой реальный смысл. Безвременье — это время, «которого для тебя как бы нет, которое ты не живешь, а переживаешь, пока минует». Другие так и умерли, переживая. А Чехов и Немирович ж и л и. Оба были наделены не только острым чувством жизни, но и твердым знанием ее пределов. Кстати, о пределах: отношение к религии у них тоже было сходным. О Немировиче в книге сказано так: «Он вполне — вне веры. Отсутствие бога для него не трагедия, а данность. Он с тем живет». Речь идет о натурах исключительной собственной силы, которые выстояли вне всяких сторонних опор.

«Деловой человек» — так часто говорили о Немировиче. Книга укрепляет другое понятие: человек дела. А это, в свою очередь, и эстетические взгляды героя книги освещает по-новому. Например: «...даже тяга к совершенству сама по себе не принимается Немировичем-Данченко с порога: тяга к совершенству тоже должна быть соразмерена с чем-то внеположенным, с делом. Оно важнее совершенства». Художественный театр как дело культуры он творил своими руками.

Смею сказать, что не столько спектакли Немировича ждали полноты понимания, но сама его личность. Она очень долго ускользала от мемуаристов и теоретиков. Изучали творчество — не был изучен творец. Вне поля зрения, казалось, остается личное, а значит — частное. Но взгляд на личное явно меняется — сегодняшний биограф считает, что «загадка и интерес истории Немировича-Данченко в том, как один и тот же человек способен неотторжимо вживить себя в одну и в другую пору». То есть историческую эпоху. И вот объяснено, почему у такой человек, как Немирович, принял Октябрь, чем это личное его приятие отличалось от других (скажем, от Мейерхольда и Блока) и отчего оказалось решающим для последующего пути МХАТа — театра, который поставил «Любовь Яровую», «Бронепоезд 14-69», «Врагов».

Серьезности революции Немирович-Данченко «соответствовал серьезностью» (мысль А. Мацкина, развитая И. Соловьевой). Оттого родилось стремление «единым духом, единой волей» охватить «Пугачевщину»; оттого нашлась энергия для резкого омоложения труппы в 1924 году; отсюда категоричность членений в «Воскресении» (суд, тюрьма, деревня и т. д.) — «сила взгляда, который видит все живо и отчужденно». Отсюда, наконец, тайна новых «Трех сестер», поставленных восьмидесятидвухлетним человеком. Ни ему, ни театру при нем не дано было узнать «оскудения сил».

Когда глубоко понята сущность крупной личности, это осветило и других рядом с ней новым светом. Понятным становится многое из того, что поэтизировалось сверх меры или легендами недобро искажалось. Например, Станиславский велик в своих затеях и опытах, но и капризен. А у Немировича своя правда — он знает, что каприз руководителя может обернуться разрушительной силой. Да, «он вовсе не хотел видеть

свой театр экспериментальным». Наконец-то произнесено нечто ясное на тему, до сих пор дающую пищу кривотолкам. Эксперимент — это как сквозняк, выдувающий старье, и один человек склонен дверь распахивать. Другой же, берегущий дом и дело, уверен, что дверь должна спокойно открываться и вовремя закрываться. Сквозняки не мешают Станиславскому; сквозняки в природе Мейерхольда. А Немировичу чуждо мейерхольдовское «торопящее согласие, чтобы мир был иным...». У него свое, совсем иное чувство согласия — с жизнью как таковой и со всеми переменами в ней. Он хранитель театра-дома, и ему судьбой велено соединять противоположности в деле и в искусстве.

О том, в чем конкретно выражалась такая деятельность, написана одна из лучших глав книги — «В театре от десяти до семи». Ничего подобного о Художественном театре написано не было, а сейчас кажется непонятным — почему? Так или иначе, ни теоретикам, ни мемуаристам не приходило в голову, что необходимо тщательно осмыслить или хотя бы запечатлеть талант театрального строительства, уж если он явился однажды таким прекрасным примером.

Человек «с железной маленькой рукой и с мощной, целительно действующей на других волей». Но та же воля неотделима и совсем от другого — например, от доброты, которая действует не напоказ и без свидетелей, всю жизнь, не уставая. И без этого постоянного жеста (о котором наконец кое-что сказано, а о многом можно догадаться) нет Немировича. Сейчас кажется, нет его и без тех слов, которые произнесены в больнице перед самым концом: «Отгопталась мои ноженьки...» — сказал перед смертью основатель Художественного театра. Старик, рабочий человек.

Так и тянет перечислять, какие еще удивительные свойства одной жизни и характера увидела И. Соловьева и как о них написала. Но, пожалуй, пора остановиться.

Книги о театре — как спектакли, живые или неживые. Неживые часто претендуют на академическую солидность. У живых другой склад и судьба. Так называемое театроведение может и присоединить их к своему уже известному ряду, но, по существу, оно само к ним пристраивается, ими питается, ощущая в них силу реального.

Н. КРЫМОВА.

Политика и наука**ДУХ НЕУСПОКОЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ**

**Преолимпийские размышления по поводу серии книг
«Спорт и личность» издательства «Молодая гвардия»**

Их вышло уже 40 — небольших по формату, удобных для чтения книжек. Начата серия почти полтора десятка лет назад. Впрочем, вполне возможно, издательство «Молодая гвардия» имеет и другой рубеж отсчета — помнятся книги того же рода и формата, вышедшие в начале 50-х годов, на обложке которых стояли славные имена Николая Королева, Григория Федотова, Галины Зыбиной. Но то была другая эпоха и в спорте и в литературе. И читать те книги сейчас, увы, не так уж интересно.

Быть может, это вообще судьба книг о спорте — стареть со временем? Бывает такое. Если сводится книга, по существу, к репортажам о соревнованиях с участием героя и отчетам о проделанной тренировочной работе (такие случаи, к сожалению, в серии есть). Но вот стал я недавно просматривать ранние книжки нынешней серии, добрался до третьего выпуска — «500 метров» Евгения Гришина (1969). Читал ее и раньше, но и теперь оторваться не смог. Захватывающей мне показалась исповедь выдающегося конькобежца о своем необыкновенно продолжительном (двадцать лет в сборной страны!) пути в большом спорте, до отказа заполненном яркими успехами (четырёхкратный олимпийский чемпион в спринте и чемпион Европы в многоборье — уникальное сочетание!) и досадными неудачами (травмы, падения, погода и камушек под коньком на Олимпиаде). Речь в книге идет о событиях и результатах почти забытых — что там гришинские 39,5 в сравнении с сегодняшними 37 секундами Е. Куликова. Да и фон спортивной жизни автора кажется декорацией устаревшего спектакля. Тем не менее передо мною встал живой характер Человека Спорта, встал во всей своей сложности (цельности и противоречивости одновременно) и, не боюсь слова, величии. И оказалось против ожидания, что впечатления от этой давней книги и от вышедшей совсем недавно книги известного нашего тренера по фигурному катанию Елены Чайковской «Шесть баллов» (1980) не уступают друг другу. И это притом, что за десятилетие заметно ушел вперед не только сам спорт, но и представления о нем.

Цель серии, очевидная не только из ее названия, но и содержания лучших книг, — раскрыть сущность человека, живущего в спорте, особенности его характера, мыслей

и чувств, дать представление о всем том, что ныне связано с понятием «психология спорта», показать, наконец, через характеры людские развитие самого спорта. И все это (непременное условие серии) от лица самого «объекта исследования» — выдающегося спортсмена или тренера (некоторые исключения в книгах серии не в счет). Конечно, далеко не каждый из них способен сам разрешить столь сложную задачу — это требует особого призвания и умения. Примеров «чистого» авторства в серии немало, хотя не каждый опыт представляется удачным. Большинство, вполне естественно, прибегает к помощи профессионального литератора, имя которого фигурирует на титуле как записчика (хотя, конечно, к записи его работа не сводится), и качество книги во многом зависит от его квалификации и старания. Вообще-то мне не кажется столь уж удачным принятый порядок, когда имя литзаписчика не попадает на обложку, а скромно прячется на титуле (или еще дальше). Ведь, по существу, он равноправный соавтор книги. Узаконить это равноправие значит привлечь к такого рода работе немало новых и интересных высококвалифицированных литераторов, а может быть, и известных писателей. Немалая доля труда в конечном счете, особенно при отсутствии записчика, принадлежит, очевидно, и редакторам книг. И здесь следует с благодарностью назвать имена тех, кто с самого первого выпуска ведет серию: В. Таборко и М. Лаврика. Но все это ни в коей мере не снижает роли и ответственности автора (он же герой книги), ибо за каждым фактом, сценой, суждением стоит его имя.

Среди них, авторов, много наших великодушных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, несколько известных тренеров, чьи имена иногда годами держались в поле нашего зрения, за успехами и неудачами которых мы следили или продолжаем следить. В серии представлены почти все олимпийские (и многие неолимпийские) виды спорта. Хотя обнаруживается вдруг, что нет книг на материале плавания и водного поло, волейбола и гандбола, лыжного спорта. Но по этому поводу высказывать упрек бессмысленно, поскольку серия не антология спорта. А масштаб и интересность человеческой личности никогда, как извест-

но, не были функцией профессии или рода занятий, и существует общая для всех видов спорта психология (хотя несомненно существует и специфика командных видов спорта). Заметим, кстати, что издательство «Молодая гвардия» не единственное, кто выпускает подобные книги. Их издают, и в не меньшем количестве, также «Физкультура и спорт», «Советская Россия» и другие.

О, спорт! К тебе идем...
Льер де Кубертен.

Год нынешний — олимпийский, для нашей страны олимпийский в квадрате, поскольку Великий Праздник Спорта состоится в Москве, и потому растет всеобщий интерес к спорту и, конечно, к литературе о спорте. Но весь массив ее — огромная пирамида, у основания которой, как можно представить, правила соревнований и разного рода специальные издания, далее репортажи о текущих событиях вкупе со столь милыми сердцу «профессионального» любителя спорта техническими результатами и, наконец... По инерции в вершине пирамиды увиделась мне художественная литература о спорте. Однако — не знаю, закономерность ли это или временная слабость — не кажется она пока столь сильной и богатой, чтобы достойно представлять в человековедении жизненную сферу, необычайно насыщенную удивительными и драматическими характерами и коллизиями. Сам Юрий Власов, уникально сочетающий в себе конкретный опыт в большом спорте с литературным талантом, похоже, еще только мечтает о спортивном романе. Что же остается вершиной? Пока, а может быть надолго, учитывая вечную и неудержимую динамику спортивной жизни, художественный (публицистический и аналитический) очерк, очерк-книга, художественно-документальная повесть. Вот, видимо, на сегодня предел, если говорить о литературе широко читаемой и истинно привлекательной. Следует, очевидно, добавить сюда, что высшая конкретность реалий спортивной жизни требует предельного доверия читателя к автору. И такое доверие — и это еще одна особенность литературы о спорте — возникает несомненно, когда автор сам деятель спорта, особенно если деятель выдающийся.

Доверие это возлагает на автора великую ответственность за точность и объективность оценки ситуаций, свидетелями и участниками которых являются многие люди, продолжающие еще трудиться (не важно, в спорте или вне его). Но, с другой стороны, неизменная острота жизни большого спорта, обнаженность нерва взаимоотношений,

сжатые до предела во времени человеческие судьбы в нем (авторы, кстати, в большинстве люди сравнительно молодые: возраст ветеранов спорта — это тридцать — тридцать пять лет, а то и меньше) дают, по моему мнению, право на остроту и известную субъективность отражения событий человеком причастным.

Как установить эту меру субъективности (или объективности?), не знаю. Не история спорта сама по себе сущность книг серии, но человек и его судьба в спорте. И бесспорная ценность таких книг в их исповедальности. Всегда, очевидно, поэтому может возникнуть у кого-то иное мнение, иная оценка событий и фактов. Так что же — сглаживать все углы и публиковать только «верняк»? Но не устраивать же по каждому поводу «круглый стол»! В таком случае результат было бы нетрудно предвидеть — литература о спорте не состоялась бы. Спорт конфликтен по природе своей, и скрывать эти конфликты значит выхолостить из него жизнь. Не забудем, что цена правоты здесь — победа или неудача спортивная, призы, победы и поражения (и даже крушения) спортивные.

В последние годы мы заметно продвинулись в нашем анализе спорта как зрелища, как элемента культуры, связанного с восприятием — непосредственным или с телеэкрана — спортивного действия, факта соперничества, момента достижения высокого результата. При этом стало очевидно, что, хотя традиционный приоритет в популярности у публики сохранили футбол и хоккей (их смотрят практически при любом уровне мастерства), всеми качествами массового зрелища при соответствующей организации обладают едва ли не все виды спорта. Особенно если речь идет о выступлениях на высшем уровне — лучших спортсменов страны или мира. Квинтэссенция спортивного зрелища — в реальном противоборстве сторон, незапрограммированности исхода этого противоборства, импровизации, непосредственности переживаний (и сопереживания, если хотите) по поводу его перипетий, своеобразной эстетики и при всем том в известной его условности, предопределенной правилами соревнований. На высшем уровне спорт давно уже встал в ряд с другими видами зрелищ не только по количеству зрителей, но и по глубине содержания, выразительности, соответствию духовным и интеллектуальным запросам человека. И в этом нет никакого преувеличения. Наличие людей, не приемлющих спортивное зрелище (или не идущих в своих симпатиях далее «телевизионного» фигурного катания), про-

типовопоставление спорта искусству, например театру, уже не убеждает ни самих любителей спорта, ни специалистов в области социокультуры.

Живет, однако, такой тезис: нельзя, мол, наслаждаться спортом как зрелищем, просиживая часами на трибунах или перед телевизором и читая спортивную прессу, если при этом игнорируется собственно занятие спортом. Почему-то забывают при этом, что никто не призывает любителей театра, например, перемежать посещение спектаклей непременно занятиями режиссурой, а посетителей художественной выставки пробовать себя за мольбертом. Не заниматься спортом здоровому человеку в наше время действительно грешно. Хотя, я уверен, не более чем бездумно с календарной регулярностью просиживать двухсерийные сеансы в кинотеатрах или трехчасовые театральные спектакли, если этому не сопутствует проникновение в суть драматургии, режиссерского замысла и актерского мастерства, шагнуть на людную выставку, не пытаясь постичь увиденное в контексте истории искусств. Одним словом, не сам по себе предмет зрелища определяет его духовную значимость, а глубина постижения и затрата интеллектуальной работы. А постичь в спортивном зрелище, кроме чисто физических действий, можно немало: динамику живого конфликта характеров, волевые усилия одиночек и психологические волны внутри коллективов, изощренность тактических ходов (продукт динамичного мышления), проявление образцов высокой нравственности, раскрытие предельных физических возможностей человека, различного рода эстетические мотивы, связанные с движением и силой.

Впрочем, сторонники той позиции допускают еще одну ошибку: они готовы пропустить интерес к спорту как зрелищу человеку... регулярно по воскресеньям катающемуся на лыжах и делающему зарядку. И эти занятия, конечно, прекрасны. Но нельзя же путать понятия физической культуры, необходимой несомненно каждому, и настоящего большого спорта. Современный большой спорт, как и всякий другой вид (подсистема) культуры, — это сфера профессиональной деятельности многих и многих людей: ученых, тренеров, медиков, работников спортивных сооружений, организаторов, журналистов и, конечно, самих спортсменов. И как во всяком другом виде культуры, ориентироваться в ней образованному человеку необходимо, хотя нет смысла требовать от каждого профессиональных знаний и участия.

Незаметно мы перешли от понятия спорта как зрелища к понятию спорта как культуры. И здесь, мне кажется, специфика спорта выделяется необычайно ярко. В быстро развивающейся системе в предельно сжатое время специфично проявляются, фокусируются едва ли не все основные элементы нашей «общей жизни»: приход человека в профессию, выявление способностей и выбор вида деятельности, взаимоотношения ученика с учителем и молодежи с ветеранами, личность (одаренная личность) в коллективе, повышение квалификации как путь к самоутверждению и осуществление честолюбивых устремлений в соревновании, призы и награды как подкрепление деятельности, срывы и неудачи как при отсутствии, так и при наличии должной настойчивости, отношения руководителей (организаторов) и подчиненных (тренеров, спортсменов), уход из профессии или смена рода деятельности.

Все это, будучи спроецированным на спорт, приобретает особое звучание, связанное с общедоступностью какого-либо состязания как факта конкретного проявления сущности спорта. Недаром — не только благодаря своей зрелищности, праздничности — крупные соревнования, и особенно Олимпийские игры, привлекают внимание широких масс людей, для которых высшими ценностями являются мирное сосуществование народов, дружеские связи между ними, высокие нравственные и духовные идеалы.

Существенное отличие спорта от всех остальных подсистем социокультуры в том, что активная жизнь в большом спорте, как уже говорилось, дело сравнительно молодых людей. Практика последних лет безжалостно доказывает: большой спорт требует профессионального подхода, который далеко не каждому удастся сочетать с максимальными успехами в учебе, особенно в пору расцвета физических сил — в восемнадцать — двадцать лет. Поэтому все отчетливее звучат здравые голоса в защиту права одаренного спортсмена отложить получение высшего образования (отложить, а не отказаться от него!) на несколько лет. Да и какой прок от диплома, скажем, технического вуза, если спортивный талант и опыт крупного спортсмена нередко оказываются более необходимыми обществу, чем его инженерные знания! (Примеров сколько угодно: вне своей вузовской квалификации работает не только Ю. Власов, но и знаменитые хоккеисты Б. и Е. Майоровы, И. Ромушевский, легкоатлетка И. Пресс, конькобежка Л. Титова и многие другие.)

Большой спорт — это занятие личностей,

особым образом одаренных, не менее исключительных в своем таланте, чем выдающиеся деятели любой другой сферы, будь то театр, живопись, музыка или наука и техника. При нынешней своей социальной значимости спорт, очевидно, вправе рассчитывать на отдачу со стороны людей, которым он даровал столь многое. Ценности, создаваемые большим спортом, хотя, быть может, и условны, но для общества существуют и оправдывают такую отдачу.

Все эти невидимые неприобщенному глазу особенности большого спорта совершенно необходимо проявить и проанализировать для понимания его природы. Поэтому вполне объяснимо желание едва ли не каждого крупного спортсмена или тренера рассказать о них на основе своего опыта. Более того, это желание может оказаться страстью, естественной для человека, склонного к самоутверждению.

Итак, спорт, большой спорт изнутри. В журнальной рецензии нет возможности подвергнуть разбору все 40 книжек серии (было бы неправомочно сделать исключение для некоторых из них) или рассмотреть пути и способы реализации в них основных элементов жизни большого спорта (такая задача стоила бы затрат времени и ждет своего автора). Обратим внимание лишь на некоторые моменты, используя для этого тексты самих книг.

О, спорт!.. Ты дерзание!
Пьер де Кубертен.

Выдающийся хоккейный тренер **Анатолій Тарасов** («Совершеннолетие», изд. 2-е, 1968): «В отличие от театрального режиссера, работа которого над спектаклем к премьере в целом уже заканчивается, хоккейный режиссер — тренер обязан к каждому спектаклю (а наши спектакли — это матчи) готовить какую-то новинку». **М. Ботвинник** после проигрыша в 1960 году матча на первенство мира двадцатитрехлетнему **М. Талю**, обдумывая решение, играть ли матч-реванш (это в пятьдесят лет!) («К достижению цели», 1978)¹: «И решил я играть, работая в двух направлениях: 1) пойти на выучку к Талю и стать хорошим, хитрым практиком и 2) подготовить такие начала и связанные с ними планы в середине игры, когда... свои быстродействие и память мой партнер не сумеет использовать». (Матч, как известно, Ботвинник выиграл.) **Е. Гришин**: «Как-то ночью в норвежской гостинице я поднялся с кро-

вати в четыре часа и стал имитировать на полу. Сумасшествие — имитировать ночью. Но я и был сумасшедшим — от меня ушло все ценное, то, чем я был силен». **Евгений Буланчик**, знаменитый наш легкоатлет послевоенной поры («Барьеры неизвестности», 1976): «Я поставил перед собой высокую цель... выйти из 14 секунд. Эту мечту... осуществить не удалось. Но... я не позволял себе успокоиться, расслабиться, снизить интенсивность тренировок: ведь главной цели я еще не достиг, она все еще зовет и манит меня!»

О, спорт! Ты — вечный прогресс!
Пьер де Кубертен.

Михаил Воронин, олимпийский чемпион и чемпион мира по гимнастике («Первый номер», 1976): «Самая большая радость — когда после ряда неудач вдруг с вами происходит чудо: упражнение вышло так, как надо!.. Мне долго не удавался «крест» на кольцах — не хватало силы... Бросать гимнастику, и все тут... Стал разучивать большие обороты с прямыми руками. Тогда этого никто не показывал... Вдруг легко исполнил «крест»...» **Е. Чайковская**: «Иногда даже ночью во сне слышу музыку и вижу танец. И опять-таки тороплюсь записать, запомнить то, что сверкнуло, кажется, совсем неожиданно, а на самом деле появилось совершенно закономерно, потому что о своих программах не забываю ни на час». **Тамара Пресс**, трехкратная олимпийская чемпионка по метанию диска и толканию ядра, — об олимпийской чемпионке в толкании ядра **Галине Зыбиной** («Цена победы», 1977): «Галина Ивановна, проявляя чудеса самоотверженности и трудолюбия, росла от состязания к состязанию. Все свои лучшие результаты она показала после 30 лет. Но и я не стояла на месте... Ни разу при этом не уступила Зыбиной». **Альгирдас Шоцикас**, чемпион Европы по боксу («Четвертый раунд», 1974): «Быть вторым, всегда только вторым, может, и почетно, но для меня это было неприемлемо. И суть тут заключалась не в гордости, не в честолюбии и прочих хотя и естественных, но вторичных вещах; она скрывалась гораздо глубже, там, где люди хранят ключи от собственных резервов. Ощущение, что существует барьер, который тебе никогда не взять, надежно заперало эти резервы... Из тупика был лишь один выход: победить Королева».

О, спорт! В тебе — красота!
Пьер де Кубертен.

Е. Гришин: «Выстрел стартера! И одновременно выстреливает Юра (Сергеев. —

¹ Книга **М. Ботвинника** вышла вне серии «Спорт и личность», однако по своему характеру весьма близка к ней.

И. Б.]. А когда он входит в поворот, то Глас Тунберг... роняет в снег сигару — он поражен, он восхищен, он не представлял себе такого, он не думал, что можно так красиво, так умно и так быстро бегать на коньках». Тренер по фехтованию Виталий Аркадьев и его ученица Татьяна Любецкая — о выдающемся спортсмене 50-х годов В. Вышпольском («Диалог с поединке», 1976): «Казалось, вся сложная фехтовальная техника покоряется ему лишь посредством желания. Удивляли легкость и быстрота, с которыми Володя по ходу боя придумывал небывалые еще в фехтовальной практике приемы и тут же применял их». Игорь Егоров, чемпион мира по самолетному спорту («Право на штурвал», 1979): «В спорте, как и в искусстве, ценится в первую очередь классическая строгость формы, точность линий, чистота исполнения. Спорт не менее, чем искусство, не приемлет приблизительности... Принцип искусства: сперва до конца овладей ремеслом, а потом твори — равноценен и для спорта».

О, спорт! Ты обещаешь победы!
Пьер де Кубертен.

Леонид Шелешнев, тренер сборной страны по велосипеду («Большие гонки», 1978): «За 400 метров до финиша Виктору (Капитанову.— И. Б.) вдруг почудилось, что уже конец гонке, и он решил финишировать. Он буквально вырвал несколько сантиметров у Трапе, победно вскинул руки. «Да вперед же, вперед!...» Нужно было проехать еще один круг... Гонщик вцепился в руль. Виктор за 100—120 метров до финишной черты мощным спуртом обошел итальянца. «Спуртовал, как демон!...» Альгирдас Шоцикас: «Сколько бы я раз ни встречался с Королевым, привыкнуть к нему я так и не сумел, никогда не переставая удивляться его нечеловеческому упорству. Он всегда и во всем шел до конца, никогда не утрачивая своей безграничной способности искать возможность переломить бой в свою пользу, искать каждый миг, каждую секунду, искать вплоть до последнего удара гога». Тамара Пресс: «— Выскачка! Куда ты лезешь? — За золотой медалью!... «Выскачка» — это слово разбудило дремавшие во мне силы. Первый раз в жизни я осознала, что могу сокрушить всех». Л. Шелешнев — приводит слова знаменитого гонщика А. Череповича: «Те-

перь я понимаю, что такое победитель и почему все до единого спортсмены стремятся к этому. У меня сейчас такое состояние, словно не было мучений и переживаний на протяжении более двух тысяч километров,— готов хоть сейчас на старт».

О, спорт! Ты жизни источник.
Пьер де Кубертен.

Игорь Емчук и Гелий Аронов, специалисты по академической гребле («Одержимость», 1975): «Краткое определение спорта...— постоянное стремление к идеалу». Тамара Пресс: «Мировые рекорды, показанные в спорте, являются такими же человеческими ценностями, как прекрасные стихи и волшебная музыка... Каждый результат, каждая цифра, каждый рекорд даются нам кровью. Труд, самоотверженность, упорство — вот разгадка наших результатов». А. Тарасов: «И если кто-либо из них, пусть и весьма одаренный, забрасывающий у себя в клубе много шайб, имеющий уже широкую прессу, окажется нехорошим товарищем, недобросовестным человеком, эгоистом... то он пробудет в сборной не более недели...» И. Емчук и Г. Аронов: «В спорте находит выход дух человеческой неуспокоенности, тот самый дух, которым жив прогресс в любой области. Поэтому и бессмысленны все разговоры о пределах человеческих возможностей, о рекордах, установленных навсегда».

«Дух человеческой неуспокоенности»... Более точно, мне кажется, выразить сущность большого спорта было бы нелегко. Да, воспитание высоких физических и моральных качеств. Да, самоутверждение и честолюбие. Да, стремление к красоте. И все же такая неистовость, такое безудержное стремление к совершенству, которые проявляются в спортивной жизни выдающихся спортсменов и тренеров (и которые, кстати, присущи едва ли не каждому автору серии «Спорт и личность»), могут существовать только в людях, живущих постоянно — хотя бы часть жизни — в состоянии великой неуспокоенности! И в этом спорт сродни любому роду деятельности, создающей земные ценности и двигающей человечество по пути прогресса.

Так пожелаем же им, труженикам спорта, больших удач на московской Олимпиаде!

Иг. БУБНОВ.



СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦА

Виталий Кобыш. Глядя на Америку. М. «Известия». 1979. 271 стр.

Современная международная жизнь, динамичная, бурная, то и дело преподносящая нам сюрпризы, насыщенная событиями, которые, бывает, трудно предвидеть и даже предугадать, быстро старит журналистские, репортерские книги, написанные на злобу дня. Но если публицист пишет историю современности (а его призвание именно таково), докапываясь до сути и подоплеку происходящего, постигая главное, если он не сосредоточивается на чисто внешнем, поверхностном описательстве, он может рассчитывать на то, что его произведение не потеряет своей актуальности.

Именно такую книгу — «Глядя на Америку» — написал Виталий Кобыш, в течение нескольких лет представлявший в США газету «Известия». Она вышла еще до того, как в политике нынешней вашингтонской администрации явственно обозначился поворот к отходу от политики разрядки, от конструктивного развития отношений с Советским Союзом. И мы, естественно, не можем судить о книге исключительно с позиций сегодняшнего дня, хотя и столь же естественно, что читатель, знакомясь с нею сейчас, будет искать ответа на вопрос, какая же муха укусила нынешних вашингтонских лидеров, почему они начали пренебрегать политикой международной разрядки, которая единственно отвечает и национальным интересам США. Сразу же скажем, что читатель, думаясь, такой ответ получит — может быть, не прямой и исчерпывающий, а косвенный (ибо, повторяем, автор просто не мог ответить на вопрос, возникший уже после выхода его книги в свет), но достаточно убедительный. Его дает вся книга — ее фактическое содержание, ее пафос. Со страниц ее перед взором читателя встает столь же многоэтажная (политически), как и нью-йоркские небоскребы, Америка, сложная и противоречивая, обуреваемая страстями страны, в которой, кажется, все возможно: и крутые выражи во внешнеполитическом курсе, и угарный чад шовинизма, и рецидивы «форрестоловой болезни», и бесцеремонное вмешательство в жизнь других стран и народов, и политические убийства (Джон и Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг), заставившие в свое время содрогнуться мир. В. Кобыш дает читателю почувствовать ту атмосферу непредсказуемости, неразберихи, хитросплетений закулисной борьбы, когда берет верх то одна, то другая группа политического и военного истеблишмента, в каждой из которых есть и свои «ястребы»

и свои «голуби», — словом, ту неустойчивую атмосферу перепадов и скачков политического давления, в которой возникло и нынешнее завихрение на берегах Потомака.

Один из репортажей книги озаглавлен «Фултонская история». «Бензocolонка со множеством разноцветных флажков, но без единого автомобиля. Крошечный «даунтаун» — деловой центр — тоже пустой и ленивые взгляды томлящихся от безделья лавочников. Приметы скучной американской провинции, как двадцатипятицентовые монеты, похожи одна на другую. Но в этом городке, затеряншемся в кукурузном раздолье штата Миссури, нам не скучно... Мы в Фултоне. Здесь, в Вестминстерском колледже, в марте 1946 года Уинстон Черчилль произнес речь, от которой принято вести отсчет временам «холодной войны». Здесь он, любивший, как известно, побаловаться живописью, нарисовал картину будущего устройства мира, из которой следовало: Британская империя уступает место американо-английской. Под ней и ходить человечеству. Это в фултонской речи Черчилль пустил заимствованный у Геббельса термин «железный занавес», поместив за него Советский Союз и другие не вписавшиеся в его картину страны. Тихий, до того никому не известный Фултон стал своего рода колыбелью международной напряженности».

Скупая, но выразительная деталь, пронизательно подмеченный штрих плюс точность политического анализа, включающего, когда это представляется уместным и необходимым, и обращение к памяти, фактам истории, — этот отрывок характерен для творческой манеры и стиля В. Кобышца-журналиста. Напоминание автора о Фултоне воспринимается сейчас читателем его книги как нельзя более своевременное, побуждает к ассоциациям. Разве не чем-то вроде второго Фултона стало в этом году январское послание президента США Джеймса Картера конгрессу «О положении в стране», где выдвинуты откровенные притязания на «лидирующую роль в мире» и вновь прокламируется политика «большой дубинки»?

О многом рассказывает эта компактная книга. Автор ведет читателя в индейские резервации и негритянские гетто, к бастующим рабочим, в «коридоры власти» правящей элиты и офисы промышленных корпораций, знакомит его с целой галереей американцев — от президента до гротескмейстера Бобби Фишера и боссов мафии. Но больше всего страниц посвящено анализу советско-

американских отношений, рассказу о том, как они складывались в самых различных областях в 70-е годы. И это понятно. Автор стал очевидцем самого, пожалуй, продуктивного периода в развитии контактов и сотрудничества двух великих держав не только в послевоенные годы, но и за всю историю взаимоотношений. Есть особый смысл в том, чтобы напомнить об этом именно сейчас, когда в Вашингтоне начали пересматривать и выхолащивать то, что было достигнуто ценой огромных и кропотливых взаимных усилий.

В. Кобыш запечатлел в своих журналистских репортажах многое из того, что сблизило наши народы. Визит в США Л. И. Брежнева летом 1973 года, в результате которого простые американцы, «может быть, не стали политиками, но здоровым чутьем и своим практическим мышлением ухватили главное: появилась действительно реальная возможность освободиться от страха перед войной, спокойно думать о будущем своих детей». Первые за четверть века советские корабли у причалов Нью-Йорка, Портленда, Сан-Франциско, Окленда, Олбани: «Теперь советские корабли в Америке — привычные гости». Рассказ о посещении Амторга, представляющего в США все советские внешнеторговые организации: «Советско-американская торговля больше не лозунг и не призыв, а реальность. Вопрос — торговать или не торговать? — уже не стоит. Возникли другие, конкретные вопросы: как торговать, чем торговать?». Встреча с председателем крупной компании «Артур Д. Литтл» Джеймсом Гэвином, который, будучи генералом, участником второй мировой войны, встречался в Берлине с маршалом Жуковым, а теперь один из директоров Американско-советского торгово-экономического совета: «Его основные позиции не всегда совпадают с нашими. Но он остается союзником. Теперь уже в общей борьбе за предотвращение ядерной катастрофы, за то, чтобы люди лучше понимали друг друга».

Впечатляют репортажи автора о космической советско-американской одиссее — подготовке и проведении совместного полета «Союза» и «Аполлона» с советским полковником Леоновым и американским генералом Стаффордом на борту, чье рукопожатие над Землей, по словам «Нью-Йорк таймс», «неизбежно породило вопрос: а почему такое дружественное сотрудничество не может стать более частым на Земле?». «Удастся ли на Земле, — подхватывает В. Кобыш, — добиться той гармонии, что несколько дней светялся нам из космоса? Не дашь прямого ответа на этот вопрос, но пятеро отважных помогли человечеству по-

верить в то, что еще вчера казалось ему невозможным».

«Отработка совместимости» — так назвал автор раздел, посвященный совместному полету. Это относилось не только к космосу. Оработка совместимости началась и в более широком плане — во всем комплексе советско-американских отношений. Она достигла своей кульминации в заключении соглашений об ограничении стратегических вооружений и предотвращении ядерной войны. Похоже, однако, в Вашингтоне вознамерились прервать этот процесс дальнейшей отработки совместимости, мирного сосуществования, добрососедства, взаимного сближения, процесс, который идет на пользу не только народам обеих стран, но и всему человечеству, на пользу всеобщему миру.

Автор в заключении к своей книге, как бы извиняясь, предупреждает о том, что некоторые из его репортажей и корреспонденций о советско-американских отношениях в свете событий самого конца 70-х годов могут показаться излишне розовыми. Могу как читатель заверить: розовыми они мне не показались. Автор запечатлел то светлое, что начало утверждаться в отношениях наших стран и народов, то, что сейчас противники разрядки и добрососедства в США пытаются очернить. Из песни слова не выкинешь. То же самое можно сказать и об истории: как бы этого ни хотелось антисоветчикам в Америке, а добрые семена, посеянные в 70-х годах, им не затоптать. Нынешние вашингтонские заморозки могут задержать появление новых всходов, но рост их все же не остановить. Потенциал разрядки, в том числе и в советско-американских отношениях, таков, что разрушить его не так уж легко и просто. Тем более что опирается он на прочную жизненную, объективную основу. Репортажи и корреспонденции В. Кобыша, посвященные так многообещающе начавшемуся сотрудничеству, нельзя читать без чувства сожаления и горечи. Но автор глубоко прав, веря в торжество разума и реализма. Вот каковы его впечатления об общении с простыми американцами: «Они немало встревожены ходом дел и в Америке, и в мире, многим раздражены, но в подавляющем своем большинстве исходят из того, что без прочного мира на земле, без договоренности с Советским Союзом по жизненным проблемам, от которых зависит само будущее рода человеческого, Соединенным Штатам не решить их проблем...»

Начинает и заканчивает автор свою книгу такими словами: «Страна, как бы то ни было, захватывающе интересная, хотя разобратся в том, что с ней происходит, куда

она идет, нелегко. А разобраться, должно быть, важно. Знать мы должны друг друга лучше. Ведь жить нам на одной планете...» Это искренняя, честная книга, проникнутая духом объективности и непредвзятости, духом доброжелательства к той Америке, которая хочет жить в мире и согласии с другими странами и народами.

«Глядя на Америку» написана журналистом зорким, компетентным, свободно вла-

деющим обширным и сложным материалом. Это хорошее пополнение серии журналистских книг об Америке наших дней, которая создана пером С. Кондрашова (кстати, редактора рецензируемой книги), ныне покойного Б. Стрельникова, Г. Васильева, Н. Карева, А. Пумпянского и других авторов.

Вл. КУЗНЕЦОВ.



СЕМЬЯ — ИЗВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ

А. Г. Харчев. Брак и семья в СССР. М. «Мысль». 1979. 367 стр.
З. А. Янкова. Городская семья. М. «Наука». 1979. 184 стр.
Диалоги о воспитании. М. «Педагогика». 1979. 320 стр.

Не надо идеализировать старую патриархальную семью. В ней было много бесчеловечного. Деспотизм ее главы, забитость жены, дети, лишенные детства, старики, обреченные на унижения беспомощной старости, «пожизненная каторга» домашнего хозяйства — все это нам известно по литературе, а старикам и по живой памяти детских лет. Когда-то такая социальная организация людей была исторически неизбежной, чтобы выжить, не **стгнуть** от голода и лишений. В современных условиях она изжила себя. Это прошлое.

Но не надо смешивать одну из разновидностей семьи с семьей как важным социальным установлением, первичной ячейкой человеческого общества. Семья семье рознь. Бывает патриархальная семья со всеми ее выше перечисленными «прелестями». А бывает семья социалистическая, основанная на любви и взаимоуважении своих членов, скрепленная единством не только хозяйственных, но и, главное, духовных интересов. И без такой семьи нет для человека полного человеческого счастья, даже если у него всего остального в избытке.

Об этих простых истинах приходится напоминать по двум причинам.

Во-первых, с давних времен многие благороднейшие умы человечества, справедливо проклиная окружающую их социальную действительность, в том числе патриархальную или буржуазную семью, забывали подчас добавлять эпитет «патриархальная» и «буржуазная», считая это само собой разумеющимся, так как ничего иного вокруг себя не видели. Некритическое отношение к такого рода высказываниям, забвение азбуки марксизма-ленинизма, требующего конкретно-исторического подхода к действительности, способны привести к смешению понятий «семья» и «патриархальщина», дезориентировать людей. Осо-

бенно важно это для ценностных ориентаций, жизненных планов молодежи.

Во-вторых, до сих пор встречается упрощенное, вульгаризаторское понимание элементарных положений исторического материализма, в частности тех, где говорится об историческом характере такого социального института общества, как семья. Да, была эпоха, именуемая доисторической, когда семьи не существовало. Да, наступит эпоха, когда известные нам формы семьи во многих их сегодняшних конкретных проявлениях отойдут в прошлое. Но доколе будет существовать род человеческий, можно ли **представить** себе, что исчезнет сама семья как содружество женщины, мужчины и их детей, как единственно мыслимая организация человеческого (а не животного) удовлетворения ряда насущных человеческих потребностей, ни к хлебу, ни к сексу отнюдь не сводящихся? Существует ли какая-то альтернатива семье в этом ее понимании? Достаточно задаться подобным вопросом и поразмыслить как следует, чтобы отрицательный ответ явился сам собой.

Встречается представление (в свое время разделявшееся и автором этих строк), что при коммунизме семьи не будет, а будут люди, выполняющие свой долг перед обществом путем воспроизведения потомства, сдаваемого затем на воспитание в соответствующие общественные учреждения. Опыт коммунистического строительства в условиях зрелого социализма показал нежизненность подобных представлений. Дети не повинность, оторвать детей от родителей значит не только разорвать живую связь поколений и тем самым обесчеловечить человеческое общество, но и обеднить жизнь каждого человека. Ибо дети дают нам, взрослым, не меньше, чем мы им, детям. Ибо, воспитывая детей, мы совершенст-

вuessя духовно, происходит как бы взаимовоспитание. Ибо жизнь человека без родительской любви и для родителей и для детей неполноценна. А такая любовь чахнет на корню при скудной диете «родительских дней» в общественно-воспитательных учреждениях.

Да не усмотрят здесь пренебрежительно отношение к общественным учреждениям. Сегодня семье без помощи яслей, детсада, школы невозможно существовать. Но вопрос не стоит — семья или детсад. Он ставится иначе: и семья, и детсад, и школа в единой системе. На крутых поворотах истории семье приходится иногда нелегко. Например, в современной обстановке сложнее создать семью, еще сложнее уберечь ее от распада, еще сложнее воспитать двух-трех детей (в среднем, разумеется), столь необходимых для нормального воспроизводства населения, для нашего же с вами будущего. Ну и что? Это означает лишь, что семье необходимо повышенное внимание со стороны общества, государства. И это означает, что наше с вами общественное и личное сознание должно подняться на более высокую ступень.

Социалистическая семья взята под защиту специальной статьей новой Конституции СССР. XXV съезд КПСС включил в программу социального развития советского общества ряд конкретных мероприятий, направленных на содействие формированию и укреплению семьи, на создание для женщины возможно более благоприятных условий совмещения роли участницы общественного производства и матери, хозяйки дома. Нет сомнений, что такие мероприятия будут разворачиваться. Ну а мы сами-то, мы, мамы и папы, бабушки и дедушки, невесты и женихи, что же, мы так и будем сидеть сложа руки и ждать, когда государство решит наши семейные проблемы? Нет, здесь больше чем в каком-либо другом отношении государство — это прежде всего мы и есть. Если, конечно, есть соответствующее сознание.

Перестройка сознания происходит не просто. Но она началась и идет полным ходом. «Укрепляя авторитет семьи — частицы нашего общества, мы заботимся о будущем Родины», — указывалось в передовой «Правды» (13 мая 1979 года). «Извечная ценность семьи» — так была озаглавлена обстоятельная статья, помещенная в «Правде» 2 апреля того же года. Статья вызвала поток читательских писем, в которых единодушно подчеркивалась необходимость заботливого отношения к ценностям семьи — мира, из которого все мы вышли

и из которого должны выйти те, кому мы передадим плоды наших трудов и завет их продолжать. Проблематика семьи не сходит в наши дни с полос газет и журналов. И это закономерно: советские люди проявляют огромный интерес к путям дальнейшего развития семьи, к конкретным способам преодоления того, что мешает этому развитию, к конкретным чертам коммунистической семьи будущего, ростки которой зримо пробиваются в миллионах счастливых семей, социалистических семей сегодняшнего дня.

Та же проблематика затрагивается в растущем потоке книг и брошюр о советской семье (замечу в скобках, что, на мой взгляд, художественная литература все еще отстает в этом отношении от современных запросов), в том числе и в обозреваемых здесь.

Почти половина книги «Брак и семья в СССР» посвящена вопросам особенностей их социологического исследования, анализа их социальной сущности, тенденций развития в досоциалистических формациях, а также в условиях социализма. Автор приходит к выводу: «У Маркса, Энгельса, Ленина нет даже намек на отрицание института семьи. Они отвергали лишь собственническую семью и торгашеский брак по расчету, требовали освобождения брачно-семейных отношений от извращающей их власти собственности и денег, боролись за равноправие женщин с мужчинами. Истолковывать все это как «враждебность семье» может лишь тот, кто отождествляет семью с собственностью, с принуждением, с угнетением и порабощением женщины».

В остальных главах книги рассматриваются динамика структуры и численности, а также основные социальные функции советской семьи. Особое внимание уделяется проблемам стабилизации брака в современных условиях. Заключительный раздел касается будущего семьи. Автора можно упрекнуть в том, что он недостаточно полно раскрыл сложные перспективные проблемы дальнейшего развития семьи, связанные с тревожной динамикой роста разводов и лиц брачного возраста, желающих создать семью, но остающихся одиночками (теперь уже не только женщин, как ранее, но и мужчин тоже), с продолжающимся падением среднего числа детей в семье и т. д. В свою очередь, эти проблемы связаны с трудностями формирования современной семьи, с не менее тревожной динамикой потребления спиртных напитков — прямой или косвенной причины большинства случаев распада семей, — с трудностями бытового устройства молодой семьи, с перерас-

пределением традиционных домашних обязанностей между мужем, женой и подростками детьми, наконец, с преодолением этического невежества во взаимоотношениях между членами семьи. Недостаточно раскрыт, на наш взгляд, и социальный идеал дальнейшего развития семьи, как он рисуется с позиций научного коммунизма. Справедливость требует указать, однако, что в рамках одной книги эти вопросы трудно раскрыть с надлежащей полнотой, а ставит их автор по ходу изложения вполне определенно и четко.

Так, он подчеркивает, что «в идеале многоамный брак равнозначен пожизненному супружеству» и тем самым восстает против модной на Западе концепции «смены брачного партнера» как якобы неотъемлемой черты «модели семьи будущего». Развод не идеал, а несчастье, особенно для детей, остающихся чем-то вроде сирот при живых родителях. Идеал — это любовь на всю жизнь. И неверно, будто с годами любовь проходит. Настоящая любовь остается. Необходима только высокая культура чувств, неотделимая от столь же высокой культуры общения. В этом отношении ценностная ориентация людей должна быть недвусмысленной. Иное дело, что порой развод оказывается неизбежным злом, что это зло надлежит сделать наименьшим не для себя одного, но и для окружающих, что при этом несчастье важно сохранить достоинство человека. Правда, верно и то, что «одной лишь любви не всегда достаточно для успеха брака, что нужны еще по меньшей мере подготовка молодежи к супружеству, отцовству, материнству, создание системы помощи семье, которая оперативно разрешала бы противоречия, спонтанно возникающие в семейной, и прежде всего в сексуальной, жизни».

Подчеркивая, что «алкоголизм и половой аморализм — практически неразлучные спутники», книга констатирует тот факт, что «дома отдыха, пансионаты, турбазы, обслуживающие отдельных отдыхающих, отличаются значительно более высоким уровнем алкоголизации, чем семейные». И, добавим, чем все мыслимые разумные формы проведения досуга в семье. Этот факт не мешало бы взять на заметку любителям противопоставлять семейный досуг «общественно-организованному» как нечто низшее высшему. Смотри как организованному!

Существенно важно также замечание автора: «О значении семьи в развитии личности можно судить по тому факту, что даже в тех случаях, когда воспитанники дет-

ских учреждений не имеют родителей, для них стараются создать условия, которые в какой-то мере имитировали бы влияние семьи». Добавим только, что мы пока еще не нашли оптимальных форм создания таких условий. И поиск в этом направлении представляется чрезвычайно важной социальной задачей.

«Основные контуры будущего семьи в социалистических странах,— говорится в заключение книги,— представляются отнюдь не как предсказываемое многими буржуазными социологами движение к легко расторгаемым, сравнительно непродолжительным и даже не всегда строго многоамным формам сожительства мужчины и женщины. Будущая семья явится итогом освоения и развития всех ценностей человеческой культуры в сфере соотношения полов и главной из них — романтической любви с присущими ей атрибутами долга, верности, самоотверженности, постоянства. Это торжество подлинной многоамии осуществится благодаря расширению и упрочению духовно-нравственного базиса единобрачия в ходе дальнейшего развития социалистического общества». Под этими словами подпишется каждый, кто хоть сколько-нибудь основательно занимался перспективными социальными проблемами дальнейшего развития социалистического общества.

Большая часть глав «Городской семьи» также посвящена различным аспектам социологических исследований, включая показатели структуры, функционирования и развития семьи. Особое внимание обращается на профессиональную работу женщины как важнейший фактор формирования ее личности и изменения семейно-бытовых отношений, а также на формирование семей из представителей разных социальных и национальных групп общества, на социальную среду, в которой развивается семья, на внутрисемейные конфликты и пути их преодоления, наконец, на конкретные меры помощи семье, в первую очередь женщине — хозяйке дома.

В книге констатируется, что СССР в настоящее время занимает первое место в мире по уровню профессиональной активности женщин (свыше 90 процентов женщин — работницы народного хозяйства). Однако, как правильно отмечает автор, «широкое вовлечение женщины в профессиональную деятельность является показателем общественного прогресса только в том случае, если сопровождается кардинальными изменениями ее характера, содержания и условий». Можно только пожалеть, что в книге мало места отводится

показу сложной проблемной ситуации, при которой совокупная трудовая нагрузка работающей замужней женщины с малолетними детьми на работе и дома в полтора-два раза превышает среднюю трудовую нагрузку мужчины. Это вызывает самые нежелательные социальные последствия для общества. Было бы интересно более детально познакомиться и с путями преодоления этой проблемной ситуации. Конкретных предложений, направленных на выравнивание фактического положения мужчины и женщины в системе общественного производства, выработано довольно много, и, на наш взгляд, целесообразно познакомить читателя не только с теми из них, которые реализуются, но и с теми, которые намечаются в обозримой перспективе.

Подавляющее большинство женщин, говорится в книге, считает идеальной семьей с двумя-тремя детьми. Того же мнения, по-видимому, должны придерживаться все мужчины, ибо данный средний показатель, как уже говорилось выше, составляет для нашей страны в современных условиях социальный оптимум нормального воспроизводства поколений, абсолютно необходимого для полноценного социально-экономического развития родины.

Очень любопытны страницы книги, где говорится о сложной комплексной «потребности в детях». Да, именно потребность людей в детях, которую социалистическое общество призвано целенаправленно формировать и возможно более полно удовлетворять, — вот в чем ключ вопроса о дальнейшем развитии семьи при социализме. Опять-таки жаль, что объем книги не позволил детальнее развернуть эту важную сторону функционирования семьи.

Книга рассказывает, как все больше семей создается у нас из представителей разных национальных и социальных групп (он рабочий, она педагог или он инженер, она работница). Очень это непростое дело — сложить дружную и прочную семью, когда сталкиваются разные традиции, нравы, обычаи, даже языки. Тем больше гордости должно быть за успехи, тем больше внимания драгоценным крупицам опыта. Совершенно неосновательны бытующие подчас вульгаризаторские представления о будущем коммунистическом обществе как о «всех на одно лицо». Наверное, различий будет больше даже, чем сейчас. Просто они должны носить качественно иной, более сложный характер. И, во всяком случае, базироваться на дальнейшем сближении наций, на социальной однородности общества (кото-

рая, кстати, тоже не имеет ничего общего с обезличкой). Дружные, счастливые смешанные семьи наших дней, где заботливо сохраняется и передается из поколения в поколение все ценное из культурного наследия обоих родителей, способны дать некоторое представление о дальнейших путях развития социалистической семьи в одном из наиболее важных аспектов этого процесса.

Если у кого-нибудь из читателей возникло стремление поменять жилье так, чтобы жить поближе к своим родителям или другим близким родственникам, стремление расширить контакты с соседями, стремление наладить кооперацию между семьями в сфере бытового обслуживания, досуга и ухода за детьми, не воображайте, будто это какое-то из ряда вон выходящее чудачество. Напротив, как убедительно показывает книга, эти закономерные стремления приобретают ныне все более широкое распространение, делаются, можно сказать, модными. Наверное, такого рода перспективным сторонам дальнейшего развития семьи стоило бы уделить большее внимание.

Полное заглавие третьей книги — «Диалоги о воспитании. Книга для родителей». По сути, это мысленные диалоги читателя с хорошо известными и авторитетными в вопросах воспитания авторами. Правда, вряд ли это книга для родителей, так как ее тираж (126 тысяч) рассчитан скорее на библиотеки. Между тем перед нами не что иное, как своеобразная публицистическая энциклопедия домашнего воспитания (шире даже — педагогики семейных отношений), необходимая каждой семье. В современных условиях такая книга намного важнее, чем архиважнейшая «Книга о вкусной и здоровой пище».

Читатель найдет в ней рассказы о том, от чего зависит развитие ребенка и как помочь детям учиться, о семейной демократии и о микроклимате семьи, о возрастных кризисах и о методах воспитания, о психологии юношеской дружбы и о выборе жизненного пути, о сотрудничестве семьи со школой и о многом другом не менее важном. Это не справки, не нотации и не набившие оскомину отрывки из диссертационных трактатов. Это мнения, которые можно принимать к сведению и с которыми можно спорить, над которыми можно размышлять и которые можно (и должно!) творчески развивать. Короче, это неторопливый и обстоятельный разговор о делах семейных, от чего мы порядком отвыкли.

Мне лично эта книга кажется знаменем времени, знаменем поворота общественного мнения к нуждам и достижениям, к радостям и трудностям развития социалистической семьи. «Всю жизнь мы воспитываем наших ребят, и они воспитывают нас, — говорится в ней. — Точнее, мы сами себя воспитываем под влиянием наших детей. Чтобы оставаться нужными им всегда, когда они, став взрослыми, будут находить у нас понимание, мудрость, духовную близость...» Неплохо сказано о самой сущности семьи вообще и социалистической семьи в особенности.

PS. Когда заканчивал обзор, в руки по счастливой случайности попала книга В. Ф. Шаталова «Куда и как исчезли тройки» (М., «Педагогика». 1979. 136 стр.). Из-

вестный педагог рассказывает о возможных превращения урока в увлекательную игру с резким повышением кпд учителя и учеников, а главное — с существенным повышением результативности процесса обучения. Книги на такую тему нуждаются, разумеется, в специальном обзоре. Но вот какая мысль пришла в голову: ведь эти приемы могли бы быть с успехом применены и в домашней педагогике, могли бы помочь превратить некоторые вечера семьей в вечера занимательного самообразования, которые и детям и их родителям запомнились бы на всю жизнь как самые светлые минуты...

Вот и еще один мостик сближения семьи и детсада, семьи и школы.

И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ. Белые города. Рассказы, публицистика. М. «Современник». 1979. 288 стр.

АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ. Билет на Усть-Илим. Публицистика. М. «Советская Россия». 1979. 88 стр.

Пьесы Александра Вампилова — одно из наиболее интересных явлений нашей послевоенной драматургии. И выход в свет «Белых городов» не неожиданность. Творческое наследие безвременно ушедшего из жизни писателя относительно невелико, интерес к нему растет из года в год, и подобный сборник рано или поздно должен был появиться. В «Белых городах» впервые собраны рассказы, очерки, газетные заметки, сценарий документального фильма — то, что раньше было разбросано по разным изданиям.

Короткие рассказы «Стечение обстоятельств», составившие первый раздел книги, были напечатаны в 1961 году под псевдонимом А. Санин. А. Санин — еще не Вампилов, хотя в саннинском уже просвечивает вампиловское. Анекдот, случай, стечение обстоятельств лежат в основе как вампиловских рассказов, так и его поздних пьес. Несомненно влияние, оказанное на А. Санина Антошей Чехонте. Стоматолог Верочка влюбилась в своего пациента, но невыносимые физические муки, причиняемые ему Верочкой, пресекают ответное чувство в зародыше («Стomatологический роман»). Нервный литконсультант сходит с ума при чтении очередного, переполнившего чашу терпения графоманского четверостишия («Сумочка к ребру»). Рядом с рассказами юмористические сценки, монологи — зачатки будущего вампиловского театра. Да и некоторые рассказы, например «На пьедестале», и не рассказы вовсе, а своеобразная мини-драматургия, еще не осознавшая, что она такое, и потому записанная прозой. Наша критика уже приступила к сравнительному разбору вампиловских рассказов и пьес. Но это нужное дело будет по-настоящему плодотворным, если мы не забудем, что речь идет не о зрелой художественной прозе, а только о талантливой пробе пера еще не нашедшего себя молодого автора. «Сухоруксы не любили художественной самостоятельности, не любили общественных поручений, комсомольской работы. Они любили себя, свой домишко, Владимир любил еще выпить. И душным июльским вечером Танька ушла от Сухоруквых». Трудно поверить, что автор по-

добных простодушно-прямолинейных заметок в провинциальную газету не кто иной, как Александр Вампилов, что через шесть лет он напишет сложнейшую «Утиную охоту».

А вот в «Листке из альбома», вернее в его неожиданно дронзительной концовке, прорвется собственно вампиловский мотив душевного диссонанса, возникающего при общении:

«За обедом он вдруг спросил Таисию Григорьевну:

— Я как-то все забываю поинтересоваться.. Ты счастлива со мной?

Таисия Григорьевна вздрогнула и, глядя на меня и неловко улыбаясь, проговорила:

— Евгений Сергеевич всегда шутит так неожиданно...

— Счастлива. тебя спрашиваю, или нет? — беззастенчиво повторил Потерин.

Таисия Григорьевна перестала улыбаться и опустила глаза.

— Разумеется, я счастлива, — сказала она».

Вампилов начинал с газеты. И первые его материалы несли на себе печать ученичества. Усть-илимские очерки 1963 года, составившие особый отдел «Белых городов» и одновременно вышедшие отдельным изданием, несомненно, написаны более уверенной рукой, чем ранние заметки. Вампилов живо и нескучно рассказывает о буднях молодых сибирских строителей, шоферов, бульдозеристов. Неиссякающий интерес к сегодняшней реальности Вампилов сохраняет на всю жизнь. Но странное дело: не то чтобы действительность изображалась Вампиловым-очеркистом как некая идиллия, нет, но изображаемое словно не вызывает у автора особых размышлений. Видимо, было что-то в самом даровании Александра Вампилова, что позволяло ему выразить себя только в драматургии. И как раз пьесы его полны острых коллизий, живых, резко поставленных проблем, далеко выходящих за рамки повседневности. И наиболее «размышляющий» очерк «Прогулки по Кутулику» написан уже Вампиловым-драматургом.

Нелепый случай оборвал жизнь писателя, когда только начали проясняться его подлинные возможности, истинные масштабы его таланта. Повторю: выход в свет «Белых городов» — несомненный шаг к лучшему пониманию творческого пути драматурга.

Андрей Василевский.



ВЛАДИМИР ТУРКИН. Полюс доверия. Стихотворения и поэмы. М. «Современник». 1979. 269 стр.

«Полюс доверия» — книга избранного. тут и «роковые, сороковые», и послевоенные тревоги и радости, и поднятые целинные дали, и разбуженный космос. Стихи о Ленине, Кирове, героях битв и строек. Множество имен и событий, голосов на ветру... Вот, казалось бы, очень личное:

И чаще жду, что вот придет-приедет,
Вдвоем с женой, а лучше — без жены.
Мой школьный друг, мой Николай
Медведев, —
Майор запаса, инвалид войны.

Названю мало кому известное имя воина, недавно умершего от фронтовых ранений и травм (кстати, это и мой товарищ по военному училищу), а для поэта в этом имени олицетворено целое поколение. Поколение солдат Великой Отечественной...

О многом, о чем пишет В. Туркин, писали и пишут его сверстники и современники, но у него все по-своему, со своим ракурсом. То или иное событие, явление он рассматривает как в плане его мимолетности, неотвратимой необходимости, так и философии — на какой почве, в какой среде оно стало возможным. С позиций рабочего человека ему хорошо видно, куда, как идти. У него жгучая забота: «Как мне до всенародный опыт свою добавку положить?» Ему глубоко ненавистен бюрократизм: «Пока не смята, не исчезла, не изжита, не умерла шамающаяся сила кресла и кабинетного стола».

В книге есть стихи о Маяковском, Есенине, Смелякове, Коваленкове, но мастерская Твардовского, видимо, поэту ближе всего. Лицо века для него в конечном счете определяют люди. О человеке больше всего и размышляет В. Туркин. Не оставляет поэта тревога за судьбу человечества в наш беспокойный век. Незабываемо жаркое солнце «22 июня»: «Я в этот полукруг гляжу с опаской. Мне кажется — с того крутого дна, — что там не солнце, а в кровавой каске лежит солдат и целится в меня».

Как это ни странно, в нашей поэзии все больше становится стихов и книг без биографии поэта. Уже не потому ли в завершающей сборник поэме «Ленинградский венок» В. Туркину приходится как бы оправдываться:

Ты извини меня, читатель,
А в поэтической судьбе
Сложилось — кстати или некстати, —
Но автор пишет о себе.

Но тем и привлекательна эта поэма, что она целиком построена на автобиографическом материале. Судьба одного человека, его семьи здесь тесно переплетается с судьбами других людей, с судьбой родины. В поэме показываются лишь годы детства, прошедшего в Ленинграде. А через другую судьбу, через образ учительницы, видятся годы войны, 900 огненных дней и ночей блокады... Получилась емкая вещь. Как это трагично и пронзительно сказано:

Склонились тихо —
У Невы —
Два непохожих силуэта —
Две седые головы.

Это два старевших человека — учительница и ученик. Два свидетеля времени!

Виктор Федотов.

★

МИХАИЛ ШЛАИН. Вечные темы. Стихи. М. «Советский писатель». 1979. 71 стр.

Поэт Михаил Шлаин главной мерой избрал Великую Отечественную войну, точкой отсчета — декабрь сорок первого года: «Пишет мама, что будет ребенок. Это, значит, она про меня». Давно это было. А жизнь продолжается, движется от былых времен до уже сегодняшнего трехлетнего малыша, у которого все впереди... «А эпоха все выше и выше, все весомей, трудней и светлей»...

Поэт Михаил Шлаин существует в этом потоке — как его частица, как капля в реке, что помнит и светлые воды истока, и водопады, и удары о пороги. Он знает, что течение вечно, об этом и говорит даже главным своей книги. Но когда существуешь внутри течения, остро видны приметы повседневные. Пристальный и влюбленный взгляд разгадывает черты высокого даже в малом, в бытовом. И если придется уйти — может, на лето, а может, и в Лету, — только бы «вот эту родную приметку с собою бы взять не забыть».

Я как читатель поэзии слабо воспринимаю громогласных ораторов, кабинетных философов, напоказ выдающих высокую эрудицию. Лично мне больше всего дорог поэт-собеседник. Конечно, если он человек прямой, добрый, с ясным умом и четким видением — короче говоря, если он мне интересен. Поэтому-то для меня радостна встреча с Михаилом Шлаиным.

Он собеседник, уважительный к тому, с кем говорит со страниц своей книги, и к тому, о ком рассказывает. Особенно ощутимо это, когда героем стихотворения или его адресатом оказываются солдаты Великой Отечественной. При этом вовсе не обязательно, чтоб они носили военную форму, — сколько сердечных слов сказано о матерях того времени, нынешних бабушках! На Пискаревском кладбище, где на памятниках только дата смерти, размышляя о горестной мере «чистых свершений и мук», поэт спросит: «Может, их матери живы? Или их матери здесь?» Михаил Шлаин памятливы — в нем живет чувство сыновней благодарности. Но он помнит и тех, кто виновен в гибели миллионов. И рассказывает о них с уничтожающей беспристрастностью!

Мне пришлось с огорчением убедиться, что внешняя беспристрастность, отсутствие эффектной броскости принимаются иными читателями за прозу. Им подавай страсти или хотя бы афоризмы, а у Шлаина — «простые, как мир, облака», «некиношная была»... У него есть такие строки, которые и я готов повторить от первого лица:

Так мало желаний осталось:
До звездного часа дожить,
Да на ноги младших поставить,
И мир для Отчизны оставить,
И голову честно сложить.

Книга «Вечные темы» шла к читателю трудно и долго. Автор книжки, как мне кажется, чем-то похож на одного из своих героев: «Неудачник положительный: все в руках его горит». Поэт утешает этого симпатичного ему и мне «очкаристого дачника», неутомимого труженика, «крепко сбитого, коренастенького» несдающегося человека: «Что не зажило до свадьбы, после свадьбы заживет». Эти слова мне хотелось бы адресовать и самому Михаилу Шлаину.

Марк Соболев.

★

СТАНИСЛАВ ТОКАРЕВ. Наташа и другие. Документально-лирические повести о спорте. М. «Молодая гвардия». 1979. 205 стр.

«Спортивная журналистика тороплива. Порой нам некогда размышлять, недосуг вглядываться в глубь событий, и мы довольствуемся готовыми конструкциями. Чемпион спокоен, чемпион уверен — на то он и чемпион...»

Книга Станислава Токарева, из которой взята эта цитата, является как раз попыткой вглядеться в глубь событий, вглядеться и умом, и сердцем, и опытом.

Сборник «Наташа и другие», где встретились уже опубликованные ранее в журналах повести «Наташа», «Гонка, честная работа», «Хомо спортсивус», «Тренерская» и который композиционно объединен «Репортажем о ненаписанном в репортажах» и изящно, остроумно оформлен художником Б. Жутовским, стал заметным явлением в литературе, посвященной спорту. Он не безупречен: автор порой слишком увлечен поиском метафор и сравнений, которые мешают за тем, как написано, разглядеть то, что написано.

В этой связи вспоминаю репортажи Станислава Токарева — их лихую и несколько кокетливую манеру общения с читателем, в которой словно подспудно, как сверхзадача — гениальное открытие Станиславского — звучит «и я там был, мед-пиво пил»... И при чтении книги преследует это постоянное, навязчивое напоминание о личном присутствии, участии, соучастии. Короче говоря, в книге переизбыток «я». И какой-то очень легкой, из одних приятностей состоящей кажется жизнь спортивного журналиста — человека, живущего где-то около пота и стрессов большого спорта. Мне немало доводилось читать книг самих спортсменов — они как-то скромнее. А здесь — открывай на любой странице и цитируй: «Ах, какие тренеры водили гонку в самой

середине века, какие фигуры — литые». Хорошо? Еще бы. Но далее: «...чернобровый Шелешнев, похожий на маленькую свинцовую битку, загадочный немец Шиффнер, идолоподобный итальянец Прозетти, прищуренный и уклончивый француз Уброн, бельгиец Аху в его черных очках...». Стало быть, черные очки — уже характеристика. Как и черные брови или загадочность. Но это, согласитесь, нелепо. И ни о чем не говорит читателю, кроме одного: «и я там был».

А вместе с тем, рядом с тем книга полна размышлений и сравнений столь емких и удачных, что ловишь себя на низменном чувстве журналистской зависти. Например, из «Наташи»: «Спортивная слава застигает врасплох, когда она в юности и души к ней не готовы. Она как самум — вознесла, закрутила, отшвырнула и умчалась, а ты лежишь на песке опустошенный». Или это (из повести о велосипедистах): «БСДн взять обыкновенную человеческую жизнь и стиснуть ее гермошкой, получится жизнь спортивная». Но зачем-то через несколько строк: «Семенит себе ослик, взбивая копытцами дорожную пыль, поводья оранжево-серыми ушами, насквозь высветленными солнцем...» — и т. п. Ослик тут ни при чем. Просто «друг Аркадий» говорит красиво. А читать интересно не то, как говорят, а то, о чем. В этом пробивающемся через каскады эпитетов, сравнений, метафор значении и интересности книги. В попытке разгадать мимолетность карьеры Кучинской, поведать о не избалованном прессой велосипедном спорте, лусть немного, но добавить к пониманию того, как берутся барьеры гимнастами и фигуристами — этими популярными, как кинозвезды, мальчиками и девочками... И, главное, потому, что (об этом известно менее всего, а в книге рассказано наиболее ярко и серьезно) здесь красоты не мельтешат, здесь повесть соткана из знания и уважения к людям, о которых она написана, — о тренерах.

Книга очень небольшая для того объема информации, которую она дает. Но Монтескье считал: «...никогда не следует исчерпывать предмет до того, что уже ничего не остается на долю читателя. Дело не в том, чтобы заставить его читать, а в том, чтобы заставить его думать». Да и реально ли исчерпать когда-нибудь такой вечный меняющийся и бесконечно привлекательный мир, как мир спорта? Того самого «трижды проклятого и трижды прекрасного», как сказал Евгений Гришин, чьи слова приводит в своем послесловии к книге чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Петушкова. «Трижды проклятый и трижды прекрасный» живет, постигается в книге в обеих этих своих ипостасях. Он побеждает — даже самого автора, не говоря уж о читателе.

С. Овчинникова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- К. Маркс, Ф. Энгельс.** Манифест Коммунистической партии. 63 стр. Цена 10 к.
В. И. Ленин. Уроки Коммуны.— Памяти Коммуны. 16 стр. Цена 3 к.
Л. Либединская. С того берега. Повесть о Николае Огареве. («Пламенные революционеры») 356 стр. Цена 1 р. 30 к.
М. Труш. Международная деятельность В. И. Ленин. 302 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- А. Ализаде.** Шафрановый берег. Стихи и поэма. Перевод с азербайджанского. 80 стр. Цена 30 к.
Г. Горбовский. Вокзал. Повести. 342 стр. Цена 1 р. 50 к.
Н. Михайлов. Круг земной. Повести жизни и путешествий. 512 стр. Цена 1 р. 90 к.
Д. Мулдагалиев. Сель. Поэмы. Перевод с казахского. («Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР») 142 стр. Цена 80 к.
А. Тарновский. Зимний день. Стихотворения. 95 стр. Цена 30 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. И. Ленин в воспоминаниях писателей.** 494 стр. Цена 2 р. 50 к.
А. Барбюс. Огонь.— Ясность. Романы. Переводы с французского. 540 стр. Цена 2 р. 60 к.
И. Никитин. Сочинения. 717 стр. Цена 3 р. 10 к.
Рассказы и очерки о В. И. Ленине. 335 стр. Цена 1 р. 90 к.
И. Стоун. Жажда жизни. Повесть о Винсенте Ван Гоге. Перевод с английского. 478 стр. Цена 3 р. 10 к.
А. Чехов. Повести и рассказы. Скучная история.— Палата № 6.— Душечка.— Невеста. 213 стр. Цена 2 р. 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. Козлов.** Нежданное наследство. Роман, повесть, рассказы. 447 стр. Цена 1 р. 80 к.
Л. Ошанин. Собрание сочинений в 3-х тт. Том 1. Стихотворения, поэмы, песни. 351 стр. Цена 1 р. 80 к.
В. Распутин. Повести. 654 стр. Цена 2 р. 60 к.

- Р. Самбук.** Сокровища «третьего рейха». Роман. Перевод с украинского. 320 стр. Цена 1 р. 30 к.
Л. Фролов. Сватовство. Рассказы о любви. 350 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВРЕМЕННОК»

- В. Дементьев.** Исповедь земли. Слово о русской поэзии. 508 стр. Цена 1 р. 10 к.
В. Михальский. Стрелок. Повести, рассказы и роман. («Новинки «Современника») 415 стр. Цена 1 р. 80 к.
А. Харчиков. Заводские повести. Повести и рассказы. («Новинки «Современника») 239 стр. Цена 95 к.
Л. Щипахина. Час вечерних огней. Стихи. («Новинки «Современника») 111 стр. Цена 35 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- Г. Бакланов.** Пядь земли. Повести и рассказы. 382 стр. Цена 1 р. 50 к.
Р. Бершадский. Почти вся жизнь. Документальные рассказы и очерки. 397 стр. Цена 80 к.
М. Горький. О литературе. Составление и предисловие П. С. Строкова. 480 стр. Цена 1 р.
Д. Тевекелян. Вера Панова. («Писатели Советской России») 165 стр. Цена 25 к.

«ИСКУССТВО»

- С. Рассадин.** Фонвизин. («Жизнь в искусстве») 288 стр. Цена 1 р. 80 к.
Роберт Флаэрти. Статьи. Свидетельства. Сценарии. Составитель Т. Веляева. Вступительная статья Д. Фирсовой. («Мастера зарубежного киноискусства») 224 стр. Цена 80 к.
Н. Эфрос. Записки чтеца. 248 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ПРОГРЕСС»

- Д. Д'Агата.** Доктор. Роман и рассказы. Перевод с итальянского. 255 стр. Цена 1 р. 30 к.
К. Нёстлингер. Ильза Янда, лет — четырнадцать. Повесть. Перевод с немецкого. 179 стр. Цена 75 к.
И. Окпехо. Последний долг. Роман современного нигерийского писателя. Перевод с английского. 251 стр. Цена 1 р. 60 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 25/IV 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 16/VI 1980 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,0 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (24,2 усл.-печ. л.)
А 03432. Тираж 320.000 экз. Зак. 1458.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 02927.

Цена 70 коп.

70636